ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[11] 2006

Conseil des Arts du Canada
Canada Council for the Arts

КАК БЫТЬ КАНАДЦЕМ: РОМАН НАДИН БИСМЮТ "SCRAPBOOK" / ФРАГМЕНТЫ РОМАНА МИРИАМ ТОУЗ "НЕПРОСТАЯ ДОБРОТА" / КАНАДСКИЕ ПОЭТЫ В РУБРИКЕ "НАРИЦАЮ ИМЯ. АНТОЛОГИЯ ПОЭЗИИ" / РАССКАЗЫ ЭЛИС МАНРО, МЕЙВИС ГАЛЛАНТ, ПАТРИКА ЛЕЙНА И ДР. / МАЛЬКОЛЬМ ЛАУРИ В РУБРИКЕ "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА" / "ФОЛЬКЛОР": ЛЕГЕНДЫ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ИНДЕЙЦЕВ

Основан в 1891 году

Если спросить любителей современной зарубежной литературы, знают ли они таких писателей, как Маргарет Этвуд, Дуглас Коупленд, Робертсон Дэвис, Майкл Ондатже, большинство ответит утвердительно – книги этих авторов исправно переводятся на русский, охотно раскупаются. На вопрос же, какую литературу представляют эти востребованные у современного российского читателя авторы или, скажем, такие именитые фигуры старшего поколения, как Малькольм Лаури, Мейвис Галлант или Брайен Мур, ответят наверняка не все.

Дело в том, что канадские писатели пользуются у нас известностью и спросом, а вот канадская литература остается до сих пор белым пятном. Этот парадокс, должно быть, и побудил нас посвятить ноябрьский номер "Иностранной литературы" до сих пор еще мало изведанному литературному материку, зовущемуся "канадская литература". Взгляните на оглавление журнала, и вы убедитесь, что литературная Канада ничуть не менее богата, сложна, многообразна и даже непредсказуема, чем Канада географическая.

В этом номере вы познакомитесь с нечастой в литературном мире ситуацией, когда в пределах одной национальной культуры сосуществуют две совершенно непохожие друг на друга и при этом равнозначные литературы: англо-канадская и франко-канадская. Есть ли у Торонто и Квебека единая национальная почва, общие корни, традиции, взгляды на жизнь – или же писатели и поэты, пишущие на двух великих языках, ориентируются на принципиально разные литературные установки, – ведь между литературным Парижем и литературным Лондоном во все времена существовала "дистанция огромного размера"?

В этом номере вы прочтете произведения и живых классиков, таких, как Элис Манро – у нас эта крупная писательница, лауреат многочисленных литературных премий почти неизвестна, а между тем ее уже не первый год прочат в нобелевские лауреаты; и легенды канадских аборигенов, чья литература хранит многовековые традиции, и рассказы молодых канадских новеллистов, в гла-

s Arts Canada Council for the Arts

[11]
2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

Как быть канадцем

3 Мартин Левин *Когда появилась современная канадская литература?* Перевод с английского Т. Казавчинской

7 Надин Бисмют *Scrapbook.* Роман. Перевод с французского Е. Клоковой и Н. Хотинской. Вступление Н. Хотинской

Нарицаю имя. Антология поэзии

90 Антон Нестеров *Канада: малый поэтический атлас*

99 Эрл Берни, Леонард Коэн, Патрик Лейн, Джо Розенблатт, bpNichol, Майкл Ондатже, Кристиан Бёк. Переводы с английского Григория Стариковского, Антона Нестерова, Ирины Машинской, Марины Бородицкой

112 Мириам Тоуз *Непростая доброта.* Фрагменты романа. Перевод с английского и вступление Ольги Дементиевской

133 Эмиль Мартель *Соло для поэта с оркестром.* Поэтическая проза. Перевод с французского Марии Аннинской

Антология новеллы

143 Элис Манро *Жребий.* Перевод с английского М. Карп

167 Мейвис Галлант *Поздневозвращенец.* Перевод с английского Анны Асланян

183 Элистер Маклеод *А солнце рождают птицы.* Перевод с английского Анны Парра

188 Мадлен Тьен *Простые рецепты.* Перевод с английского Е. Ривкиной

195 Патрик Лейн *Как есть...* Перевод с английского А. Веденичевой

201 Тереза Гринвуд *Суд равных.* Перевод с английского А. Веденичевой

208 Нил Смит *Зеленый флуоресцирующий белок.* Перевод с английского Е. Домбаян

222 Анар Али *Крылатая малютка Хаки.* Перевод с английского Олеси Качановой

235 Уильям Меткаф *Классная тачка и рэп, доносящийся из окна.* Перевод с английского А. Соколинской

Из классики XX века

241 Малькольм Лаури *Парадоксальное утешение, даруемое нашей профессией.* Рассказ. Перевод с английского С. Силаковой

Фольклор

255 *Легенды североамериканских индейцев.* Перевод с английского Ксении Подгорной

Эссе

264 Маргарет Этвуд *Выбор профессии: "Кем ты себя воображаешь?" (Что такое "писатель" и как я им стала?)* Перевод с английского Е. Скрылевой

277 Робертсон Дэвис *Зимняя зарисовка: творчество в преклонном возрасте.* Перевод с английского Е. Скрылевой

Статьи

286 Мария Карп *Исследование импульсов*

Ничего смешного

294 Уилл Фергюсон, Иан Фергюсон *Как быть канадцем.* Фрагменты книги. Перевод с английского Е. Домбаян

Среди книг

310 Леонид Костюков *Одной улицей больше*

Канадская литература на страницах "ИЛ"

312

Авторы номера

314

© "Иностранная литература", 2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
К. Я. Старосельская
Н. Г. Усова
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Мартин Левин

Когда появилась современная канадская литература?

Перевод с английского Т. Казавчинской

"В декабре 1910-го – может быть, чуть раньше или чуть позже – переменилась сама человеческая личность", – объявила Вирджиния Вулф в одном из своих эссе 1924 года.

Обычно это ее высказывание, которое сегодня у всех на слуху, трактуют как своеобразную точку отсчета – так сказать, констатацию перелома эпох, – что характерно и для Малколма Гладуэлла, постоянного автора "Нью-Йоркера" и, кстати сказать, канадца, который, охотно повторяя эту мысль, толкует ее в том роде, что за малоприметными социальными сдвигами могут стоять сдвиги очень значительные.

На самом же деле утверждение Вулф имело смысл несравненно более узкий (или если угодно, более широкий) и относилось к изображению личности в художественной литературе. В конце концов, не стоит забывать, что процитированное эссе так и называлось: "Личность в художественной литературе" – и представляло собой настоящее фронтальное наступление, прямо-таки объявление войны господствовавшему в ту пору (так называемому) реализму, который описывал героя как продукт внешних обстоятельств: среды, классового происхождения, социального статуса, национальной принадлежности. Согласно новому литературному канону, воспроизводить следовало внутреннюю жизнь изображаемого лица, а не отслеживать его местонахождение, манеру одеваться, говорить и держаться в обществе. Запечатлевая работу человеческого сознания, модернистские сочинения (а романы Вулф являют собой высочайшие их образцы) постулируют существование неразрывной связи между течением времени и конкретными жизненными обстоятельствами.

Не стану утверждать, будто нечто столь же радикальное повлияло на судьбу современной канадской литературы, но я не так уж сильно погрешил бы против истины, если бы, желая произвести эффект в духе Вулф, объявил: "Весной 1996 года – может быть, чуть раньше или чуть позже – изменилась сама канадская литература" (в данном случае под литературой я подразумеваю только прозу, точно так же, как Вулф подразумевала не человеческую личность вообще, а лишь художественное ее изображение).

В годы своего младенчества канадская литература, которую тогда любовно и насмешливо именовали "канлит", являла собой зрелище довольно жалкое, и корифеи, вроде "родоначальника канадской поэзии" сэра Чарльза Дж. Д. Робертса и новошотландского юмориста Томаса Чандлера Халибёртона, отзывались о ней как о колониальном довеске к британской литературе. С этим можно было и поспорить – что и сделала в 1972 году Маргарет Этвуд, которая в своем имевшем принципиальное значение эссе "Выживание" напомнила о том, что среди первых эмигрантов были и такие авторы, как Сусанна Муди и ее сестра Кэтрин Парр Трейлл, повествовавшие в своих книгах о суровости новой родины с истинно канадской

© Martin Levin, 2006
© Т. Казавчинская. Перевод, 2006

точки зрения. Весьма примечательно, если вспомнить, что их третья, оставшаяся в Англии, сестра писала совершенно "верноподданные" романы об особах королевской крови.

Тогда, в 70-е годы XX века, в аргументах Этвуд звучали и сожаления о худосочности канадской литературы — по крайней мере английской ее части, и печальная, дорого доставшаяся мудрость. В сочинениях квебекцев (не граничивших с великой державой и не имевших с ней общего языка, — а именно так обстоит дело в английской Канаде) никогда не видели — ну разве что совсем недолго! — колониальный придаток великой литературы, в данном случае французской. Пожалуй, в ту пору (не будем пока касаться последнего тридцатилетия) у нас не нашлось бы и дюжины прозаиков, достойных упоминания, и хотя бы одного, известного за пределами страны, — конечно за исключением Мордехая Рихлера, Робертсона Дэвиса, Маргарет Лоренс и еще одной Маргарет: недавно дебютировавшей мисс Этвуд. На Элис Манро и Мейвис Галлант смотрели как на авторов "Нью-Йоркера" и тонких стилистов, но стилистов не канадских (в ту пору большинству рецензентов подобное словосочетание показалось бы смехотворным), а американских.

Однако в связи с возникшей в Торонто и его окрестностях издательской жизнью, на первых порах тихой, но быстро набиравшей обороты и силу, стала пробуждаться надежда на появление национальной литературы. В середине 60-х "Анансихаус" и "Коучхаус-пресс", начинавшие с очень скромных вложений, принялись публиковать таких авторов, как поэт и критик Деннис Ли, драматург Дэвид Янг, романисты Дейв Годфри, Грэм Гибсон и Мэтт Коэн. Вскоре имена завоевавших международное признание Маргарет Этвуд и Майкла Ондатже уже прочно ассоциировались с этими издательскими домами, делавшими ставку на национальную и только на национальную культуру, в чем порой доходили до антиамериканизма.

Году в 1995—1996-м все коренным образом изменилось. Канадская литература вступила в период расцвета, что можно приписать счастливому стечению обстоятельств: в 1994 году появилась Гиллеровская премия, к этому же времени сложился целый круг молодых авторов, а круг более узкий авторов постарше удостоился заслуженного признания. Премию, которую учредил Джек Рабинович в память о покойной жене Дорис Гиллер, блестящем и азартном главном редакторе книжного обозрения, вручали на торжественном приеме (гости в вечерних туалетах!), который сразу стал главным литературным событием года; награжденного возвели в ранг Букеровского лауреата местного значения и одарили 25 000 американских долларов; впоследствии — благодаря спонсорству финансового гиганта "Скотиабанк" — сумма эта "округлилась" до 40 000. В 1996-м Гиллеровская премия приобрела статус ежегодной и, в свою очередь, вызвала к жизни неиссякаемый поток сходных наград (как и ослепительных галаприемов): за прозаические сочинения, за дебютный роман, за публицистику, за поэзию (последней — премией Гриффина — отмечают двух поэтов: канадского и зарубежного, каждый получает по 50 000 канадских долларов). И тут же с феерической скоростью стало расти число хороших канадских книг, причем годных не только для "внутреннего употребления", но и способных выдержать конкуренцию с мировыми бестселлерами. В 90-е годы, когда Манро, Этвуд, Мейвис Галлант, Робертсон Дэвис, Рихлер и Тимоти Финдли еще плодотворно трудились, выпуская книгу за книгой, явилось буйное соцветие более молодых литераторов: Дэвид Адамс Ричардс, автор весьма мрачных романов, действие которых происходит в Нью-Брансуике на берегах реки Мирамиши; наделенная редкой приметливостью Камилла Гибб — в прошлом антрополог, — которая использует научный мир как среду обитания своих персонажей; Джейн Эр-

харт, для чьих поэтичных и живописных сочинений фоном чаще всего служит южное побережье Онтарио; меннонитка из Манитобы Мириам Тоуз, чей последний роман "Непростая доброта" завоевал вожделенный приз — Премию генерал-губернатора, равно как и сердца сотен тысяч читателей; и много-много других. Гай Гэвриел Кэй, Полин Гедж и Джек Уайт относятся к огромному числу канадцев, работающих над историческими романами, причем самыми разными: будь то верный фактам беллетризованный рассказ о прошлом, повествование, в котором смешаны реальность и фантастика, или произведение о событиях вымышленных.

В то же время на канадскую литературу появился спрос за границей. Так, роман Энн Майлз "Эфемерные вещи" — поэтический сплав археологии и истории Холокоста — стяжал большой успех в Европе, особенно в Германии. От Майлз не отстают и другие.

Некоторые канадцы жалуются, что литературную площадку полностью захватили выходцы из Торонто и что писателям из других городов — если они хотят, чтобы их заметили, — приходится перебираться в столицу Онтарио, где, в основном, сосредоточены издательские дома. Если раньше так и было, теперь все изменилось. И в Британской Колумбии, и в Ньюфаундленде — на противоположных концах канадской "книжной полки" — полным-полно подающей большие надежды молодежи, просто в каждой провинции литературный процесс протекает по-своему. В университетах Британской Колумбии (в Университете Виктории и в Университете Британской Колумбии) громадный общественный резонанс имел курс литературного мастерства, чем отчасти и объясняется то, что в этой провинции такой большой отряд (больше чем где-либо в Канаде) способных писателей, которым еще нет сорока.

И в самом деле, столь щедрая на таланты Британская Колумбия может похвастать такими романистами зрелого возраста, как Джек Хиггинс и Билл Гастон, но есть там и целая плеяда очень одаренных прозаиков помоложе, среди которых и столь разносторонний Дуглас Коупленд, и Тимоти Тейлор, и Жужи Гартнер, и Эйслин Хантер (которая пишет также замечательные стихи), и Эннабел Лайон, и Стивен Галлоуэй, и Мадлен Тьен, и Нэнси Ли, и Шарлотта Гилл, а кроме того, три Кевина: Чонг, Паттерсон и Армстронг.

В Ньюфаундленде, самой восточной нашей провинции, которая присоединилась к Канаде в 1948 году, чему предшествовали жаркие дебаты, сложилась совсем другая литература. Эта провинция, долгое время бедствовавшая (сравнительно недавно там нашли нефтяные поля), тем не менее произвела на свет удивительное количество первоклассных писателей. Достаточно привести лишь несколько примеров: Уэйн Джонстон, прославившийся историческими сочинениями, Майкл Крамми и Майкл Уинтер (резко отличающиеся по стилю и подаче материала) и наделенная неповторимой восприимчивостью Лайза Мур.

Разумеется, не обделены талантами и огромные территории в центре страны. Назовем только самых ярких авторов (в большинстве своем не достигших пятидесяти): Кэтрин Буш, Андре́ Алексис, Майкл Хелм, Элизабет Харвор, Элизабет Хэй, Ален Камин, Гай Вандерхег, Дэвид Берген (получивший в прошлом году Гиллеровскую премию), Марк Джармен, Майкл Берри. И таких становится все больше и больше.

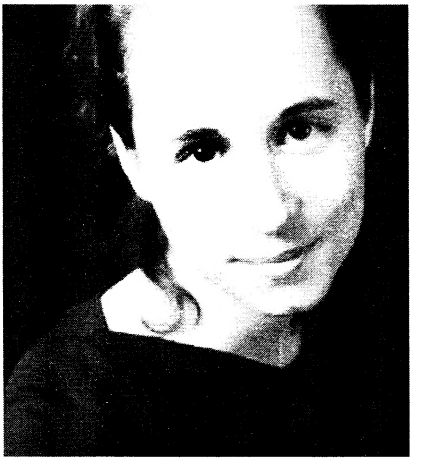
По общему мнению, сегодня канадская литература — одна из самых интересных и быстро развивающихся в мире. Теперь ее не так легко охватить взором, как прежде (если и впрямь когда-нибудь было легко). В течение многих лет считалось, что тем в ней раз-два и обчелся: природа, неотвратимость неудачи — что, возможно, особенно близко сердцу русского читателя, самоуничижение и неизменный антиамериканизм. Да, есть еще немного сатиры и юмора. Конечно, местные пробле-

мы, как и описания наших диких просторов, никуда не исчезли из современной канадской прозы, но сегодня она в большой степени результат многих культурных подходов, разных описаний городской жизни и темных, но богатых событиями страниц истории.

С некоторых пор очень интересные попытки понять нашу литературу предпринимает культуролог Пико Айер — вот уж кто путешествует по всему миру! (Наверное, если спросить его, где он живет, ответ будет таков: "Повсюду, где есть аэропорты, в которых я побывал".) Ему пришлось отказаться от представления о нашей словесности как о явлении беспочвенном и комполитическом и разработать другую модель — новой, постнациональной, полиэтничной литературы. И впрямь действие наших романов нередко разворачивается в чужих краях, как, например, в "Травинке" Льюиса Десото. Герои романов "Сладко во чреве моем" Камиллы Гиббс и "Переходный мир Викрама Лала" М. Дж. Вассанджи живут в Африке, Рохинтона Мистри и Аноши Айрани — в Индии, а Остин Кларк, Шани Муту и Тессы Макуатт — на Карибских островах. В самом деле, в Канаде, особенно в Торонто, много карибов, и среди них немало писателей. Иные из приезжих подробно описывают опыт эмигрантской жизни в мультикультурном пространстве Канады (которая гордится своей многонациональностью, иногда справедливо, иногда — нет). У нас живут китайцы, вьетнамцы, африканцы. Есть мусульмане, индусы, парсы. И среди них множество интересных, а порой и прекрасных прозаиков.

Очень надеюсь, что, прочитав этот специальный выпуск "Иностранной литературы", вы сможете составить достаточно полное представление о новой, разнообразной, недавно сложившейся канадской литературе, которая отличается многогранностью, свежестью, а зачастую и великолепием.

Надин Бисмют



Scrapbook[1]

Роман

Перевод с французского Е. Клоковой и Н. Хотинской

Вступление Н. Хотинской

Юная студентка написала книгу, благосклонно встреченную читателями и критикой. Талант начинающей писательницы признан, от нее ждут новой книги. О чем она напишет? Конечно же о юной студентке, написавшей книгу, благосклонно встреченную читателями и критикой... Более того, героиня подумывает о следующей книге, в которой юная студентка... смотри выше. Вот так закольцевала свои литературные дебюты канадка Надин Бисмют. Вышедшему в 1999 году сборнику новелл двадцатитрехлетней студентки из Монреаля "Без измены нет интриги" была устроена настоящая овация; критики в один голос — и вполне заслуженно — превозносили талант юного автора, живой язык, "незамыленный" взгляд и психологическую достоверность. Книга была удостоена двух литературных премий, а Надин Бисмют признана новой звездой, взошедшей на литературном небосклоне Канады. Многообещающее начало обязывает: о новой книге Бисмют говорили задолго до того, как она была закончена. Было известно, что писательница намерена выступить в совсем другом жанре и после коротких рассказов порадовать своих читателей большим романом. Она и порадовала их историей юной студентки, которая... (смотри выше). Еще по первой книге было ясно, что Бисмют лучше всего удается повествование от первого лица. В сборнике

© Les Éditions du Boréal, 2004
© Е.Клокова. Перевод (части I, II), 2006
© Н. Хотинская. Перевод (части III, IV), вступление, 2006

1. Альбом для наклеивания вырезок (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

так написаны двенадцать рассказов из тринадцати, и писательница одинаково органично, без единой фальшивой ноты звучит в самых разных "лицах": среди ее рассказчиков — студенты и студентки, домохозяйка, уборщица, стриптизерша, богатая наследница, семидесятилетняя старушка и десятилетний ребенок... "Scrapbook" тоже написан от первого лица, и здесь стоявшая перед автором задача была не в пример проще: с первых страниц читатель понимает, что героиня романа, Анни Бриер, — alter ego Надин Бисмют. Вот и критики, извечные любители наклеивать ярлыки, отталкиваясь от того, что лежит на поверхности — явного сходства между героиней и автором и узнаваемости многих лиц из канадских литературно-издательских кругов (которую русский читатель не оценит в полной мере: увы, литературная жизнь Канады для нас пока "терра инкогнита", которую мы только-только начинаем открывать!), — зачислили роман в разряд автобиографических. Бисмют, однако, поспешила отмежеваться от своей героини, в первом же интервью заявив: "Я не Анни Бриер", да и в аннотации на обложке книга названа "*пародией* на автобиографический роман". Это определение, тотчас растиражированное прессой, пожалуй, ближе к истине. Но оно не исчерпывающее. Ручаюсь, многие сочтут "Scrapbook" типичным женским романом, очередной вариацией на тему любимицы публики Бриджет Джонс, с непременным хеппи-эндом... Так-то оно так, но опять просится слово "пародия" — чего стоит возведенный на уровень античной трагедии выбор героини между "высоким" и "низменным", сиречь между издательским редактором и рекламным криэйтером! А еще "Scrapbook" — это, несомненно, семейный роман, но и семейные ценности вкупе с проблемами "отцов и детей" поданы в нем все так же пародийно. Более того, этот роман — с секретом: только приняв условия игры автора, проникшись ироничностью замысла, можно получить истинное удовольствие от чтения. И пусть кто-то прочтет "Scrapbook" как историю "девушки, обдумывающей житье", кто-то оценит описание литературного закулисья (ничуть не уступающее язвительным пассажам суперпопулярного Бегбедера), а кому-то окажется ближе любимая тема Бисмют, заявленная еще в названии ее первой книги, — как бы то ни было, автобиография ли, женский роман, семейный или пародия на все, вместе взятое, историей Анни Бриер с ее литературными амбициями и любовными перипетиями Надин Бисмют оправдала ожидания канадских читателей, покоренных талантливым дебютом, и есть все основания надеяться, что и в России она завоюет немало сердец.

Часть 1
Деловая практика

Глава 1
Пролог

Бернар Самсон открыл балконную дверь, в комнату ворвался черный кот и на мгновение застыл на желтых плитках кафельного пола, глядя на нас с явным недоверием. Убедившись, что никакой опасности мы для него не представляем, он начал деловито вылизываться под хвостом. В этот воскресный день середины ноября резко похолодало. Бернар закрыл балкон, и порыв ветра смахнул с деревянного стола несколько страниц.

— Черт побери! — выругался Бернар.

Он опустился на четвереньки и, подбирая унесенные сквозняком листки, пополз прямиком в коридор.

— Симпатичный котяра, — сказала я Марион Гулд, чтобы заполнить паузу.

— Бернар подарил мне Черныша пять лет назад.

Марион поправила шаль на плечах и улыбнулась. Оголившиеся верхушки деревьев мерно раскачивались на фоне неба. В кухню, потирая поясницу, вернулся Бернар.

— А вот и я.

Он протянул мне стопку листов, и я снова разложила их по порядку.

Содержание я знала наизусть: это была глава моего романа "Вечеринка в саду", представленного в качестве магистерского диплома. Восемнадцать месяцев Бернар курировал мою работу, отсылал к творчеству то одного, то другого любимого писателя, исписывал поля неразборчивыми комментариями, жаловался, что теперь, когда его курс литературного мастерства завоевал популярность у студентов, ни на что другое у него не остается времени. "Я слишком востребован", — говорил он.

Сокрушался Бернар вполне обоснованно. Десять лет назад, наперекор массовому увлечению теорией литературы с ее заимствованными из других гуманитарных наук аналитическими решетками и таблицами, Бернар основал новое, творческое направление, и теперь к нему в семинар записалось человек сорок студентов. Преподаватели, наставлявшие "критиков", исходили желчью и "оттаптывались" на учениках Бернара, отказываясь включать их в исследовательские группы. Преподавательский ящик мастера ломился от толстых желтых конвертов, мне даже пришлось смять пару или тройку, чтобы найти место для последнего варианта "Вечеринки в саду", который две недели назад затребовал Бернар.

Убедительно, сообщил он, прочитав мое творение. Я сидела на маленьком неудобном деревянном стульчике в его кабинете, располагавшемся на четвертом этаже Петерсон-холла на улице Мактэвиш.

Надин Бисмют. Scrapbook

Бернар грыз карандаш, чем ужасно меня нервировал. Он сломает зуб, думала я. За эти месяцы я успела привязаться к своему шефу и не хотела, чтобы с ним случилась неприятность, а ношение протезов я считала *серьезной* неприятностью. У Бернара были черные с проседью волосы, светлая кожа, благородной формы нос, серые миндалевидные глаза и кустистые брови. "Да, — задумчиво повторил он, — мне понравилось". Из-за двери кабинета доносились обрывки разговора и взрывы хохота: другие студенты ждали встречи с мастером. Бернар раздраженно взглянул на дверь и уронил карандаш. "Оригинально, свежо, есть настоящее чувство". Я потупилась и с невинным видом приоткрыла рот. "Ты правда так думаешь?"

Честно говоря, я понимала, о чем говорит Бернар, потому что на семинарах имела возможность сравнить свой текст с писаниной сокурсников. Герои рассказов, сочиненных студентками Бернара, напоминали этаких несчастных сироток а-ля Анна Эбер[1] и чаще всего служили поводом для рассуждений о размерах полового члена и его "эффективности" в зависимости от выбранного отверстия (значит, некоторым и правда нравится делать это *так*). Парни же в своем творчестве разрабатывали две основные жилы. Сюжет № 1: планету терроризируют вампиры, которых невозможно отличить от нормальных людей, что приводит к многочисленным *квипрокво*[2], и люди, естественно, гибнут просто пачками. В сюжете № 2 страдающий от неразделенной любви рассказчик заходит в бар, напивается, пытаясь забыть свое растоптанное "я", после чего трахает — в полутемном сортире, куда из зала доносятся обрывки мелодий Леонарда Коэна или Джей-Джея Йохансона, — во все дырки официантку или юную незнакомку, а если он везунчик, хоть и страдалец, то обеих одновременно.

Я же, Анни Бриер, пыталась проникнуть в душу моих героев, а не в их сонную артерию, и последствия этого могли быть гораздо серьезней. Если моим персонажам приходила в голову мысль посетить спальню, я отправляла туда парочку, а не целую толпу и закрывала за ней дверь.

Бернар перевел взгляд на меня и откашлялся. Студенты за дверью окончательно распоясались. "Если ты не против, я отнесу экземпляр 'Вечеринки' в 'Дюфруа'. Они издали мой первый роман, думаю, твоя книга им понравится". Не знаю, как мне удалось не заерзать от восторга на стуле. В бедноватых литературных кругах Квебека "Дюфруа" считали большим издательством. Они публиковали фантастику, эссе, литературу для детей и даже серию книг карманного формата под названием "Классики современности". "Серьезно?" — Я наконец снова обрела дар речи. "Но я ничего тебе не обещаю, — добавил Бернар, провожая меня до двери. — Решение принимает совет. Нам в любом случае придется встретиться еще раз, чтобы навести последний глянец перед сдачей работы на факультет. Думаю, у нас хорошие шансы на успех".

Бернар взял меня под крылышко, что было весьма лестно. Честно говоря, будь я одной из тех девиц, кому недостает материнской нежности и они в любом мужчине ищут отца-покровителя, мой восторг не знал бы границ. Но мне всего хватало в этой жизни: у меня были отец, мать, старшая сестра и нежно любимый шурин. Два года назад я даже за-

1. Известная канадская писательница.
2. Qui pro quo — зд.: путаница, недоразумение (*лат.*).

вела любовника. Тут, правда, выходил некоторый облом: прочитав на семинарах рассказы своих однокашниц, я поняла, что он не вполне достоин этого гордого звания, и тем не менее...

Кот заканчивал умываться. Страницы моей рукописи снова лежали по порядку. Бернар налил нам кофе и поставил кофеварку-эспрессо на газовую плиту.

— Как я уже говорила, — продолжила свою мысль Марион Гулд, — внутренние монологи Джессики кажутся мне слишком длинными, особенно когда она произносит их в ванной.

Внося последние поправки в окончательный вариант "Вечеринки в саду", Бернар счел нелишним узнать мнение стороннего наблюдателя и попросил Марион прочесть роман. Я впервые видела эту женщину, но сразу ее узнала: образ студентки Мари, которая становится любовницей рассказчика в романе Бернара "Шепоты песка" (четыре года назад он вошел в шорт-лист конкурса на Премию генерал-губернатора Канады), списан с Марион. Что и говорить, девушка, которая вот-вот получит степень магистра по литературе и искусствам, не должна путать литературных героев с людьми из плоти и крови, но как тут не спутать? Марион была высокой, хрупкой и очень красивой брюнеткой и — в точности как Мари из "Шепотов песка" — работала книжным иллюстратором. Бернар в конце концов мог бы назвать свою героиню не Мари — слишком похоже на Марион! — а как-нибудь иначе. Я, конечно, знала, что в мире литературной критики подобный звуковой детерминизм считается допотопным методом, но в случае с романом Бернара он оказался беспроигрышным. Я была почти готова поверить, что ситуация, в которую я попала этим воскресным утром, безнравственна (сижу за одним столом с парочкой любовников), в комнату с минуты на минуту войдет законная жена Бернара (одна из его бывших студенток — он познакомился с ней за десять лет до встречи с Марион), вернувшаяся раньше времени из Прованса, и надает Марион пощечин, как это случилось с Мари в "Шепотах песка". На свое счастье, я дочитала роман Бернара до конца — несмотря на многочисленные отступления от темы, которые мастер с таким пылом порицал на семинарах. Мне было известно, что в конце четырехсотстраничного кругосветного путешествия (в реальном времени оно продлилось бы семь лет) рассказчик, рефлексирующий, боящийся старости человек, решается — во многом благодаря тому, что его любовнице однажды вечером приходит в голову гениальная идея открыть при нем "Вечного мужа" Достоевского! — расстаться с женой. Значит, в любви Бернара к Марион нет ничего преступного, а у экс-жены вряд ли имеются ключи от квартиры. Я черкнула на лежавшем передо мной листке: "сократить, когда Джесс сидит в сортире". Там уже были записаны два замечания: "стр. 23: 'крокет' повторяется семь раз (чередовать с 'игрой' или с чем-нибудь еще)"; "стр. 54 и 96: если Лиза разбила очки, как ей удается разобрать серийный номер на телевизоре?".

— Гм, гм, — засомневался Бернар. — Мне эти монологи очень нравятся. Они разрежают повествование. Если хочешь что-нибудь ужать, займись ретроспекциями, но, на мой взгляд, ритм "Вечеринки в саду" идеален.

Три месяца назад Бернар нашел название для моего романа. Я бесконечно долго сомневалась ("Вечер с грилем" или "Однажды жарким

вечером"?), но Бернар меня убедил. С одной стороны, название "Вечеринка в саду" очень точно отражало внешнюю канву романа: жители предместья устраивают в саду барбекю и приглашают друзей поиграть в крокет, а с другой — никто со времен Кэтрин Мэнсфилд[1] его не использовал, и Бернар счел вполне приличным своровать то, что придумали три четверти века назад. "И вообще, это более чем деликатное заимствование, - добавил он. — Совсем другое дело, чем если бы ты назвала свой роман 'Отверженные'". К слову сказать, определение Гюго идеально подходило к персонажам моей книги. Но я подумала и согласилась с Бернаром: кто в наши дни читает Кэтрин Мэнсфилд? Разве что его студенты. Никто, кроме них, и не усмотрит связи. Впрочем, сомневаюсь, что ученики мастера действительно *читают* эту английскую писательницу, и уж точно не она вдохновляет их на написание эротических бредней и кровавой белиберды. "Хорошо, — объявила я Бернару при следующей встрече. — Мы назовем книгу 'Вечеринка в саду'". Мой учитель ужасно обрадовался, а потом мы так прикипели к названию, что даже придумали сокращенный вариант: "Сад". Ну разве не прелестно?

Я зачеркнула слова "когда Джесс сидит в сортире" и написала "ретроспекции (если сочту нужным)".

— Ты уверен? — воскликнула Марион. — Но, если она ужмет ретроспекции, как читатель узнает, что Жильбер — бывший алкоголик, Лиза часто обзывала дочь жирдяйкой, а Янник ограбил Ланжевенов, чтобы завоевать авторитет у дружков?

Бернар призадумался. Он откинулся на спинку стула, уставился на мою рукопись и принялся грызть ластик.

— Гммм...

Марион изящно наклонила голову к левому плечу, потом повторила маневр с правым. Я подсчитала: если в "Шепотах песка" студентке факультета графики, которая записывается на дополнительный курс литературы и влюбляется в преподавателя, ведущего семинар "Пруст и сновидения", двадцать четыре года, значит, Марион сейчас около тридцати семи. Она выглядит моложе своих лет: волосы стянуты на затылке в хвостик, который при каждом движении раскачивается из стороны в сторону, делая ее похожей на девочку-подростка.

— Марион права, — заключил Бернар. — Не сокращай ретроспекции.

— А монологи?

— Нет, ни в коем случае, — вмешалась Марион. — Бернар прав: они как воздушные карманы — позволяют тексту дышать.

Несмотря на восемнадцать лет разницы в возрасте и трудности, через которые они прошли в самом начале своего романа, — в "Шепотах песка" эти самые трудности побуждают Мари встречаться, кроме автора повествования, еще и с другими мужчинами, — Бернар и Марион, судя по всему, достигли определенного равновесия. Неясным оставалось одно: Марион семь лет ждала, чтобы заполучить любимого мужчину, не стала ли она с подозрением относиться к любой другой женщине, вторгающейся в их мир? Когда я часом раньше позвонила в дверь, мне открыла Марион, и я почувствовала, как внимательно она меня изучает. Я,

1. Кэтлин Бичем, или Кэтрин Мэнсфилд (1888–1923) — английская и новозеландская писательница, автор рассказов, в том числе написанной в 1922 г. новеллы "Вечеринка в саду".

конечно, не дурнушка. Но мои сто восемнадцать фунтов, вполне гармонично распределенные по фигуре ростом один метр пятьдесят четыре сантиметра, светло-каштановые волосы, зеленовато-карие глаза, вздернутый нос, розовый рот сердечком, безупречные зубы, голубые джинсы, черный шерстяной свитер, расстегнутая бежевая куртка с меховым капюшоном — короче, все это, вместе взятое, не показалось Марион Гулд опасным. Бросив на меня короткий взгляд и оценив каждую деталь моей внешности по отдельности, она чмокнула меня в щеку и пригласила войти самым что ни на есть радушным тоном.

Я зачеркнула на листке "ретроспекции (если сочту нужным)", и Марион поинтересовалась за кофе, начала ли я писать следующий роман.

— Боже ее упаси! — воскликнул Бернар. — Нужно собраться с мыслями, подкормить воображение. Писать — все равно что участвовать в Олимпийских играх: публиковать очередную книгу можно по прошествии как минимум четырех лет. Иначе рискуешь повториться или истощить свой талант.

Марион расхохоталась и обвинила Бернара в том, что он стоит на таких позициях по весьма банальной причине: в своем единственном опубликованном на сегодняшний день романе он раскрыл читателям все секреты их жизни. Марион, судя по всему, была совершенно уверена, что подобный источник вдохновения не обновляют каждые четыре года. Она снова набросила на плечи шаль и поковыряла указательным пальцем черный глазок в деревянной столешнице.

— Я читаю курс литературного мастерства вовсе не для того, чтобы растить графоманов! — оскорбился Бернар и повернулся ко мне: — Ты возьмешься за докторантскую работу в январе, как мы и договаривались?

— Да. Я даже получила стипендию некоего господина У. Д. Мак-кто-там-еще. На то, чтобы оплатить отдых на Бирюзовых островах, ее, конечно, не хватит, но все равно приятно.

Кот подпрыгнул и исчез в коридоре.

— Прекрасно. Подбери тему, которая позволит тебе углубленно рассмотреть проблему, напрямую связанную с творческим процессом. Персонажи в произведении такого-то автора или структура романов такого-то. Отточим все детали, чтобы совет не придрался, я узнал, что на этой неделе кафедру возглавит мадам Дюбуа.

— Только не она!

— Эта упертая лесбиянка? — уточнила Марион Гулд, мывшая под краном чашки.

Из всех недоброжелателей Бернара на отделении французского языка и литературы Университета Макгилл мадам Дюбуа была, без сомнения, самой зловредной. Убежденная сторонница феминистских и "расчленительных" теорий, мадам Дюбуа считала несправедливым, что студенты, выбравшие профиль "литературное мастерство", получают тот же диплом, что и "критики". По ее мнению, изложение на бумаге "собственных буйных фантазий" никоим образом не может сравниться с овладением теоретическими постулатами. Двумя годами раньше, попав наконец в штат университета, мадам Дюбуа передала декану факультета искусств пухлое досье, разоблачавшее эту вопиющую несправедливость. К счастью, несколько профессоров Петерсон-холла быстро переубедили декана, напомнив ему, что бюджеты кафедр рассчитывают-

Надин Бисмют. Scrapbook

ся в соответствии с количеством тех, кто на них обучается, и что творческий профиль, "поставленный на ноги" Бернаром Самсоном, за несколько последних лет привлек в Макгилл множество студентов.

И моя рукопись, думала я, ловя такси на углу улиц Утремон и Лажуа, стала первой, которую Бернар счел достойной предложить издателю.

"Вечеринка", "Вечеринка", "Вечеринка", — напевала я, пока машина везла меня на юг, в сторону улицы Сент-Юбер.

Два с половиной года назад, решив покинуть родительский дом в Ахунтсике, я не стала попусту тратить время и подыскивать квартиру в кварталах Вильре, Птит-Патри, Розмон и Нотр-Дам-де-Грас.

— Ты должна поселиться на Плато! — не терпящим возражений тоном воскликнула моя сестра Леони. Они с Гийомом обитали на улице Сент-Юбер, рядом с площадью Мари-Анн. — Все тут живут.

Вот так я и нашла миленькую трехкомнатную квартирку с холлом на улице Бребёф, между Жильфор и Мон-Руаяль. *Прелестная квартира в самом сердце Плато. Полы из натурального дерева. Две лоджии. Чисто. Косметический ремонт. Отдельный вход в прачечную/сушилку. Рядом с метро и всеми необходимыми службами. Идеально подходит для пары или для одного жильца. $ 640 в месяц, без отопления. Кто станет счастливым обладателем? Рекомендации обязательны.* Объявление звучало заманчиво, я посмотрела квартиру, и она мне сразу понравилась. Владелец, некий господин Лагасе из Сен-Ламбера, был, конечно, страстным любителем гипербол: только такой человек мог назвать "лоджиями" два куцых серых балкона, где едва хватало места для стула, стола и горшка с цветком, но в остальном жилье соответствовало описанию.

Моя маленькая очаровательная квартирка расположена в спокойном пятиграннике из рыжеватого кирпича. Чтобы попасть домой, я поднимаюсь по винтовой лестнице и отпираю дверь, выходящую на лестничную клетку, где находится еще одна квартира. Мои соседи, молодые муж и жена — бледнолицые аптекари, вижу я их редко, но всегда вежливо здороваюсь, на случай, если глухой зимней ночью мне вдруг позарез понадобится сироп от кашля или тайленол от насморка (судя по конвертам с образцами в почтовом ящике, у них эти лекарства имеются в промышленных количествах!). Открыв входную дверь на самом верху лестничного марша, слева, я попадаю прямо в гостиную. Здесь тесновато: кремовый диванчик, кофейный столик, два книжных шкафа и подставка под телевизор соседствуют с картотекой и рабочим столом с ноутбуком и принтером. Подобное смешение зоны отдыха с рабочим пространством нисколько меня не раздражает. В среднем я провожу гораздо больше времени перед монитором компьютера, чем перед голубым экраном, хоть и плачу за кабельное телевидение. Честно говоря, учитывая уровень телевизионной культуры — пошлые юмористы, до ужаса провинциальные квебекские сериалы, действующие лучше любого снотворного, американские каналы с их фильмами в жанре "экшн" и французские ток-шоу, где честные граждане изливают душу на тему "Я коллекционирую *сосны*", — я и сама не знаю, зачем взяла этот абонемент. Позор! Каждый месяц, получая квитанцию на оплату, я обещаю себе вызвать менеджера по работе с клиентами, чтобы он отсоединил кабели, связывающие меня с миром телепридурков, но тут появляется моя сестра, звонит Бенуа Гужон, и момент бывает упущен.

В моей гостиной-кабинете много света благодаря двум большим окнам и застекленной двери, выходящей на первый балкон. Днем это выгодно подчеркивает продуманную отделку желтых с голубой лепниной стен.

"Сочетание теплого и холодного цветов — беспроигрышный вариант", — сказала моя сестра, и я последовала ее совету, обустраивая свое жилище.

Ну, скорее не я, а мой шурин Гийом, который двое суток орудовал валиками, кистями, старыми простынями и прочей хурдой-мурдой.

В спальне, выходящей в коридор, стоят двуспальная кровать, ночной столик, комод, туалет с зеркалом, ротанговая банкетка и книжный стеллаж. Ванная у меня узкая, и я попросила Гийома повесить над раковиной этажерку и прикрутить к стене и двери несколько крючков, чтобы полотенца, халат и чесалка для спины были всегда под рукой.

В конце коридора находится кухня, она у меня большая — если захочу, смогу накрыть стол на девять персон. Но я редко готовлю, да и зачем, если есть люди, которым за это платят? Я покупаю еду в кулинарии на авеню Мон-Руаяль: свиные медальоны под сметанным соусом, семгу со щавелем, треску по-провансальски, говядину в красном вине с луком по-бургундски, — главное, чтобы в блюдах не было и следа вишни, потому что у меня на эту ягоду аллергия. Остается поставить тарелку из фольги на верхнюю решетку печки, и — оп-ля! — через двадцать минут "кушать подано". На столе из полированной сосны всегда стоит ваза с фруктами — я ем их на завтрак вместе с тостами и йогуртом. А еще на этом столе всегда лежат четыре голубые салфетки, эту "обманку" я придумала, чтобы придать помещению более уютный вид, потому что ко мне редко кто приходит на ужин.

"Твоя квартира похожа на магазин 'ИКЕА'!" — сказал мне как-то Гийом, что не было таким уж великим открытием: именно там я всю свою мебель и покупала. Собирал ее, кстати, Гийом. Он вешал картины, привинчивал крючки, доводил все до ума, и я в благодарность подарила ему биографию Мохаммеда Али и годовую подписку на легендарный "Спорт иллюстрейтед". "Знаешь, Анни, это было не обязательно, честно. Ты мне как младшая сестра, а родственники должны помогать друг другу, так ведь?"

Что правда, то правда. Гийом так давно присутствует в жизни Леони, что я могла бы и не задаривать его. Они встретились, когда обоим было по восемнадцать, в колледже Андре-Грассе. Их театральный курс ставил "Беренику". Моя сестра много лет готовилась к амплуа премьерши в подвале родительского дома и была счастлива, получив заглавную роль. Поскольку ставилась классическая трагедия, режиссер одел Беренику в длинный пеплум из многослойного муслина и прозрачное покрывало на голове, а Тит, Антиох и все остальные исполнители мужских ролей расхаживали по сцене в белых юбочках и золотых сандалиях с пластиковыми шнурками, обвивавшими ноги от щиколоток до коленей. После двух недель репетиций в костюмах Леони, имевшая богатый опыт декламации, заявила, что больше не может видеть, как безвкусно одетые мужики бубнят написанный александрийским стихом текст. Неудивительно, что всякий раз, оказываясь за кулисами, она бурно реагировала на главного бутафора Гийома Демера: он один выглядел настоящим мужчиной. Гийом пробовался на роль Антиоха, не получил

ее и сохранил за собой привилегию ходить в джинсах, старых кроссовках и майках, обтягивавших мускулистую грудь. Пока все остальные особи мужского пола репетировали в полураздетом виде, Гийом таскал на плечах металлические балки и занимался софитами, изрыгая смачные ругательства, если что-то не получалось. На четвертой неделе репетиций царица, пообмирав на сцене по своему повелителю, бежала за кулисы и взасос целовалась в темных углах с бутафором. После генеральной репетиции Гийом "узаконил" их союз, подарив моей сестре тонкую золотую цепочку, которую она носит не снимая.

Леони и Гийом ровесники, сегодня им по двадцать пять, он стал телеинженером, а вот актрисы из моей сестры, увы, не вышло. Она рассталась с мечтой через год после расиновского опыта: один независимый киношник – брат преподавателя колледжа, видевший "Беренику" и запомнивший имя моей сестры, – пригласил ее на пробы. Дидескалии[1], полученные по факсу, гласили: персонаж Леони – впавшая в депрессию из-за любовной драмы девушка, в этом эпизоде она все время плачет. Прослушивание назначили на восемь утра, Леони очень старалась, но не могла выдавить из себя ни слезинки, режиссер четыре или пять раз предлагал ей начать сначала, потом вышел из себя и наорал на нее. "Это никуда не годится! Вы бесчувственны и фальшивы, идите подучитесь!" По щекам сестры потекли крупные слезы, но он уже вызвал очередную претендентку: "Пустая трата времени! Следующая!" Мама попыталась уговорить Леони не сдаваться, напомнив годы, проведенные в школе дикции "Говорим красиво", и успех, который она снискала в роли Береники, но все было напрасно.

– Нет! Я никогда больше не пройду через подобное унижение! Я сдаюсь! Этот негодяй растоптал мою веру в себя, все кончено!

Но было ли все кончено? Чисто теоретически шансы на успех моя сестра не потеряла. Ни одна морщинка, ни один прыщик не портили молочно-белой кожи ее лица, за которым она тщательно ухаживала с помощью продукции Лизы Ватье[2]. Волосы у Леони просто роскошные – густые, с золотистым отливом, а талия такая тонкая, что уж точно можно было не опасаться загадочного для обычных людей постулата: "на экране все выглядят толще, чем в жизни". Но самое главное – проучившись три года в Высшей коммерческой школе, Леони получила место координатора в "Монтаж мондьяль", фирме, занимающейся раскруткой кино- и телепродукции. Если это случайность, то уж точно счастливая: именно в такой компании можно встретить полезных для актерской братии людей.

– Анни, сумасшедшая! Ты меня напугала!

Я в этот момент спокойно снимала шарф и подпрыгнула от неожиданности. В коридоре, завернувшись в одно из моих полотенец, стояла Леони. С мокрых волос на изящные плечи стекала вода, под ногами была лужа. Я перевела дыхание.

– Черт, что ты здесь делаешь, сегодня же воскресенье!

– В пятничном письме ты сообщила, что встречаешься со своим профессором и вы будете править роман!

1. Указания драматурга актерам в Древней Греции.
2. Косметическая фирма.

— Ну, я же не Библию сочинила, а историю на сто тридцать страниц, в конечном счете менять почти ничего не пришлось.

Сестра пробормотала "так получилось" и вернулась в ванную.

— С каких это пор вы видитесь по воскресеньям? — крикнула я ей вслед.

— Его приятель уехал на уик-энд из города, квартира свободна, вот и...

Я пошла в кухню за сигаретами и тут же намочила носки в луже, которую оставила за собой в коридоре Леони. "Черт!" Сестра вышла из ванной: ее голову украшал огромный тюрбан из моего махрового полотенца. Одета она была в джинсы с заниженной талией и белую рубашку. Мы поцеловались, она уселась сушить волосы в спальне перед туалетным столиком, а я сменила носки.

— Мне пора! — объявила Леони и побрызгала туалетной водой шею, приподняв золотую цепочку. — Я сказала Гийому, что у нас бранч в "Бьютиз". Его дворовая хоккейная команда открывает новый сезон, и я пообещала постирать экипировку.

Она уложила свою драгоценную косметичку со средствами Лизы Ватье в сумку и отправилась в гостиную надевать сапоги на шпильке и пальто. Я расставила по местам крем, духи и чехол с контактными линзами, убрала фен в шкаф, потом повесила мокрое полотенце на дверь ванной.

Леони торопливо чмокнула меня на прощание и спросила:

— Ну что, твою "Вечеринку с сюрпризом" опубликуют?

— Книга называется "Вечеринка в саду".

— Конечно, но, по-моему, чаще говорят "с сюрпризом", чем "в саду", так что запутаться нетрудно! В любом случае я уверена, что все получится. Ну ладно, чао, Нини!

— Чао, Лео. Появишься в четверг?

— Должна.

Вирджиния Вулф говорила: чтобы писать, нужно иметь отдельную комнату с запирающейся дверью. Переехав в свою трехкомнатную квартиру, я пренебрегла этой мудростью и дала Леони дубликат ключей. Сами посудите: ключ от драгоценной "отдельной" комнаты может ведь и потеряться, и что тогда будет? Вирджиния Вулф такой вариант не рассматривала, вот я и нашла собственное решение. Если я вдруг посею всю связку ключей, сестра явно доберется до меня быстрее (и с работы в квартале Вьё-Монреаль, и из дома с улицы Сент-Юбер), чем хозяин дома из Сен-Ламбера. Проблема заключалась в том, что с января Леони стала пользоваться дубликатами ключей еженедельно, а об этом мы не договаривались. Был, правда, один случай больше полутора лет назад, когда я позвонила сестре на сотовый, умоляя немедленно бежать ко мне на квартиру и выключить конфорку, что я забыла сделать, вскипятив воду для чая.

— Я все потеряю, Леони! Моя юношеская писанина не скопирована на жесткий диск!

Я находилась в Петерсон-холле и ждала первой судьбоносной встречи с Бернаром Самсоном. Мы собирались обсудить проект моего романа, и мастер должен был наконец сообщить, принята я в его творческий семинар или нет. Леони плюнула на встречу с координаторами из "Монтаж мондьяль", прыгнула в такси и примчалась спасать мое имущество.

Вечером она отчитала меня по телефону:

– Паникерша! Все было выключено.

Я извинилась, объяснила, что стресс поверг меня в полубезумное состояние, и сообщила великую новость:

– Бернар Самсон берет меня в свой семинар. Он согласился, согласился!

Тогда я свято верила, что Бернар Самсон следует жестким принципам отбора, но несколько месяцев спустя узнала, что мастер редко кого отвергает: за каждого студента ему доплачивали приличную сумму к основной ставке, что позволяло решить проблему алиментов первой жене.

Леони так часто пользовалась дубликатом моих ключей, потому что в январе у нее начался роман с неким Пьером, производителем рекламных роликов и видеоклипов, клиентом – "моим клиентом", говорила она – "Монтаж мондьяль". Каждый четверг, около семи вечера, она приходила ко мне принимать душ после свидания. Сначала я ужасно удивлялась:

– У Пьера что, нет душа?

Леони объясняла, что Пьер живет с подругой, так что встречаются они не у него дома, а в студии приятеля, который возвращается не раньше половины восьмого.

– Там тоже нет душа?

Леони начала красить ресницы, не удостоив меня ответом.

Той осенью снег в Монреале выпал рано. Уже в первые дни декабря зима набросила на парки и сады тонкий белый покров.

В кампусе Университета Макгилл студенты в пестрых, надвинутых на глаза шапочках, со стаканчиками кофе "Старбакс" в руках, торопливо перебегали из одного корпуса в другой. Некоторые окопались в библиотеке Макленнана. Они так крепко спали, положив головы на книги, что изо рта у них текла слюна. Некоторые еще не приступили к занятиям: они курсировали между Роддик-гейтс и улицей Мильтона, таская на себе яркие щиты, чтобы заработать на летний отдых.

– Судя по твоему виду, – сказала Мартина Хури, – доработка текста прошла без особых потрав.

В ту пятницу, утром, случай свел нас в деканате факультета искусств, куда я пришла, чтобы сдать три экземпляра "Вечеринки в саду". Паровые батареи работали на полную мощность, и в маленькой комнате было очень жарко. Сидевшая за стеклом дама проверяла, штемпелевала и раскладывала по стопкам магистерские и докторантские работы. Перед нами стояла внушительная очередь из жаждавших "сдаться" до конца года: одни беспокоились за стипендию, другие не хотели вносить дополнительную плату за обучение.

– Ну, несколько уколов моему самолюбию все-таки нанесли. А у тебя как, обошлось?

– Бернар сказал, что считает работу завершенной.

Мартина Хури была худой остроносой девицей с черными, цвета лакрицы, жесткими прямыми волосами. Пробор она делала в зависимости от настроения и всегда ходила в обтягивающих свитерах, хотя сиськи у нее были не больше моих. Тем не менее внимание они – в смысле сиськи – к себе привлекали. В то утро она прижимала к себе три экземпляра "нетленки" под названием "Юная самка". Этот сборник расска-

зов, написанный псевдопросторечным языком и напичканный дешевыми метафорами, повествовал о мастурбации и проституции, клубах обмена половыми партнерами, пирсинге гениталий и всякой другой эротико-зазывной похабени.

— Он прав, Мартина, твои рассказы — большая литературная удача. Я не все читала, но то, что ты представляла на семинаре, здорово меня впечатлило. Описания просто восхитительные. Нетривиальные. Удивительные. Неожиданные. Оригинальные.

— Ты преувеличиваешь!

— Вовсе нет, клянусь тебе!

— Именно так я воспринимаю повседневную жизнь. Кстати, давно хотела сказать: твой роман просто изумителен. И мне правда досадно, что я видела только куски. Психологическая атмосфера очень оригинальна, образы четко прописаны. Одним росчерком пера ты передаешь те маленькие странности, что есть у каждого из нас.

Вот так, ни больше ни меньше. А ведь три месяца назад, моя руки в туалетной комнате Петерсон-холла, я подслушала разговор Мартины Хури с девицей, которая пи́сала в соседней кабинке. Тогда она утверждала, что "Вечеринка в саду" больше всего напоминает провонявшие нафталином телепьесы пятидесятых. Этакая бездарная старомодная стенограмма закрытых судебных слушаний, в которой если и есть что познавательное, так только правила игры в крокет да рецепт куриного шашлыка "по-гречески", а о человеческой душе — и уж тем более о теле! — ничего нового не узнаёшь.

— Ты слишком великодушна, — запротестовала я, делая шаг вперед.

— Да нет же, это чистая правда!

Дожидаясь своей очереди, мы обсуждали планы докторских проектов. Мартина Хури вознамерилась исследовать разрушающее влияние женской прозы на личную жизнь автора на примере нового, нецензурованного издания дневника Анаис Нин.

— Она меня очень вдохновляла, когда я писала "Юную самку". А ты что выбрала?

— Наверное, займусь изучением персонажей или структурой романов, но чьих именно, определюсь во втором полугодии.

— Если бы я могла позволить себе такую неспешность! Увы, придется приступать немедленно. Чтобы оплачивать аспирантуру, приходится горбатиться в баре, а совмещать работу и учебу тяжеловато. У меня каждая минута на счету.

В очередь за нами встали три студента-"критика". Их "макулатура" была килограмма на четыре тяжелее наших работ. Они так галдели, что мы с Мартиной Хури начали прислушиваться к их трепу о новых исследовательских группах, получивших финансирование. Анализ социального дискурса XIX века. Поэтика путевых заметок Новой Франции. Герменевтика Рембо. Внезапно один из парней взглянул на нас.

— Для вас все это китайская грамота, так?

— А дипломы ваши "бумагомарательские" будут котироваться наравне с нашими! — горько посетовал его приятель.

— Жалкие придиры! — Мартина отбрила их так же дерзко и стремительно, как одна ее героиня, девушка из массажного салона. Мы отвернулись. Ребята возмущенно фыркнули и продолжили беседу.

— Классно ты их умыла!

— Те еще гиганты критической мысли! Мы себя тоже не на помойке нашли!

Мы обменялись понимающими улыбками, и я поняла, что наше соперничество было искусственно раздуто. Что с того, что Мартина Хури пишет порнушку, а Анни Бриер — романы с флёром старомодности? В конечном счете мы подобны двум плотникам, вместе строящим дом. Нужно проявлять солидарность, теснее сомкнуть ряды. Дама за стеклом выкрикнула: "Следующий!", — и я пошла сдавать свои три экземпляра "Вечеринки в саду". Она шлепнула на каждую копию университетскую печать и положила на столик. Я пожелала Мартине Хури как следует повеселиться в праздники, отдохнуть и сделать интересные открытия касательно Анаис Нин.

— Зачем ты принесла лишний экземпляр? — спросила она, кивнув на "Вечеринку", которую я держала в руках.

— Этот? Я должна отнести его Бернару, он отдаст его в "Дюфруа".

— В издательство "Дюфруа"!

Ее беличьи глазки едва не выпали на пол.

— Хочешь сказать, что издатель опубликует твой... твой так называемый ро... слащавый романчик для дачников?

Трое "критиков" заржали, подталкивая друг друга локтями.

— Точно еще ничего не известно, но есть шанс, что...

"Следующий!" — крикнули из-за стекла, и Мартина Хури ринулась к двери, проскрипев скептически: "Ну ни фига себе!"

Я начала писать в двенадцать лет, после того как отец отвел меня к знакомому ортодонту и тот надел мне брекеты. С того дня я больше не могла брать у мамы уроки дикции вместе с сестрой и соседскими детьми. Железная дорога во рту мешала мне произносить губные, губно-губные и губно-зубные согласные подобающим образом. Теперь Леони после уроков бежала в подвал, а я закрывалась наверху, в своей комнате, и описывала в тетради, как прошел день. Я придумывала объяснение для каждой детали. Если прическа математички напоминала обтрепанный клубок шерсти, значит, она проспала. Если биолог не пришел на урок, значит, ночью его жена умерла от инфаркта. Если гардеробная колледжа кишит муравьями, значит, старшеклассницы оставляют свой ланч тухнуть в шкафчиках, чтобы влезть в платье, купленное для выпускного бала. И так далее, и тому подобное, избавлю вас от нудного перечисления.

Каждые полгода папа водил меня к врачу, тот подкручивал железки теснее, пока в один прекрасный день их наконец не сняли. Мне было пятнадцать. Мама устроила праздник в саду. Все думали, что я заброшу тетради и карандаши и покину вольный край, где укрывалась от реального мира девочка с набитым железом ртом, но ничего подобного не произошло! Я делала успехи. Мне больше не требовались живые модели для моих историй. Персонажи и обстоятельства сами собой возникали в голове, требуя от меня одного — оживить их.

Думаю, каждый осознает писательское призвание на свой особый манер. Возьмите, к примеру, Бенуа Гужона, моего горе-любовника. Однажды вечером, когда мы лежали в постели, я спросила:

— Как ты понял, что хочешь быть спортивным журналистом?

Его ремесло вызывало у меня живейший интерес. Многие американские писатели, прежде чем создать свои шедевры, были журналиста-

ми. Достаточно вспомнить Хемингуэя и Капоте. Куча народу придавала спорту сакральное значение, в том числе фанатики бейсбола Пол Остер и Филип Рот. Вдохновляли его хоть самую малость сии благородные примеры или нет?

— В колледже по программе полагалось прочитать "Старик и море", но я не глупее паровоза и взял в прокате кассету с фильмом. Писанина — самая скучная часть моей работы. Я уже четыре года жду места на канале "Спорт".

Неприятно пораженная, я наблюдала, как он одевается в полумраке комнаты. Маленькая вялая попка. Волосатая грудь. Безвольный подбородок.

— Что ж, каждому свое, так ведь?

Моя встреча с тем, кому было суждено сделать меня женщиной, произошла двумя годами раньше, на вечеринке, устроенной Гийомом по случаю Супербоула[1].

— Мою гостиную вот-вот заполонит стадо свиней! — уныло сообщила мне по телефону сестра. — Ты живешь в двух шагах, приходи и помоги приготовить начос[2].

Весь вечер я просидела на полу рядом с парнем, который по ходу матча объяснял мне правила игры в американский футбол. Обалдев от кин-оффов, киккеров, ретернеров, голевых линий, эндовых зон, скримеджей, ресиверов, снэпов, даунов, 45-ярдовых линий, тачдаунов и рассказа о переломе коленной чашечки ресивера (жуткая трагедия!), я только кивала. Во время перерыва, когда мы удалились на кухню, чтобы взять еще чипсов, я спросила сестру: "Кто он?"

— Бенуа Гужон, кузен Гийома. Спортивный журналист, работает для "Газетт".

— Журналист?

— Идиот. Прошлым летом мне понадобился пропуск на теннисный финал с Агасси. В город съехалась чертова прорва голливудских звезд, я могла бы не только увидеть их, но и — а вдруг? — оказаться рядом с кем-нибудь на трибуне. Знаешь, что он мне ответил? Мол, если все начнут доставать контрамарки своим знакомым, ему понадобится помощница на целый рабочий день! А ведь я, как-никак, девушка его родственника!

— Начинается! — заорал кто-то из гостиной. — Где чипсы?

— Спокойно! — отрезала в ответ сестра. — Вы взяли последнюю креманку под общую копилку!

Посмотрев в нескольких шкафчиках, Леони решила наполнить чипсами кастрюлю "Vision".

— Скоты!

Бенуа Гужон повез меня домой на своей красной "хонде-сивик".

— Я рад, что мы познакомились, — сообщил он, снял машину с ручника и включил указатели поворота.

— Это мне повезло. Без тебя я бы ничего не поняла в игре.

1. Финал чемпионата по американскому футболу.
2. Хрустящие кукурузные чипсы, подаваемые с различными соусами.

Градусник на потолке салона показывал температуру на улице: -23°С. Печка работала на полных оборотах, но изо рта при разговоре вырывались облачка пара, и ветровое стекло тут же запотевало.

— От противообледенителя батарея изнашивается, — посетовал Бенуа Гужон, тыкая в кнопки на приборной доске.

Само собой разумеется, я пригласила его зайти.

Я нервничала в ожидании великого события. Но Бенуа Гужон взял инициативу на себя так легко и непринужденно, что трепыхаться сверх меры мне не пришлось.

— Должна тебя предупредить... — в последний момент я все-таки решила проинформировать его, — ты у меня первый.

Он не сильно впечатлился, и меня это слегка задело: в наши дни редко кто ухитряется сохранить невинность до двадцати одного года.

Бенуа Гужон достал из бумажника презерватив и подул в него.

— Сейчас мы это проверим.

Минут через десять, когда я лежала, уставясь в потолок, он заглянул под одеяло. Никаких следов моего девства там не обнаружилось, и я сочла нужным объяснить:

— В юности я много каталась на велосипеде.

Бенуа Гужон никак не отреагировал на мои слова, а потом спросил, знаю ли я правила парковки на моей улице. Нужен ли талон? В какие часы стоянка запрещена? Велосипед так давно заменял мне такси, что я понятия не имела ни о каких правилах, и он решил вернуться к себе в Вест-Айленд, чтобы не платить штраф.

— Я позвоню, договорились?

Наш жизненный распорядок оказался вполне совместимым. Бенуа Гужон был очень занятым человеком: зимой он освещал хоккейные турниры в Монреале и за границей, а летом — местные матчи, международные теннисные турниры и всякие другие соревнования. Несколько раз в год, по приглашению промоутеров, он писал об экстремальных видах спорта: мотогонках по снегу, гонках на собачьих упряжках, рафтинге и мотогонках на льду. Однажды вечером он пригласил меня в Спортивное кафе на бульваре Сен-Жан и, поедая грудинку под соусом, сообщил доверительным тоном:

— Терпеть не могу занудных баб!

В этом смысле Бенуа Гужону со мной повезло: наше знакомство совпало с началом моей работы над романом, и я редко о нем вспоминала. Он звонил мне гораздо чаще, чем я ему. Несколько раз мы встречались у него в кондоминиуме Пуэнт-Клер, где был отапливаемый гараж, но я предпочитала, чтобы он приходил ко мне. Мы выяснили, что разрешение на стоянку на моей улице требуется после восьми утра, так что Бенуа Гужону приходилось отваливать очень рано и он не ломал мне день. А в те три или четыре раза, что я ночевала у него, мне приходилось ждать, пока он встанет, побреется, примет душ, выхлебает пинту апельсинового сока и сожрет ведро мюсли "Vector" и только после этого отвезет меня домой.

— Не вызывай такси, — говорил он, — мне все равно нужно в город.

Однажды — как раз на следующий день после ужина в кафе — на автостраде Метрополитен произошла авария и образовалась жуткая пробка. Мало того, что меня укачало, так еще пришлось "наслаждаться"

телефонным радиоопросом, где всякие придурки высказывались по поводу замены вратаря в "Сент-Фланель". Попав наконец домой, я добрых два часа пролежала в постели, приходя в себя.

Но по здравым размышлениям, то есть в те редкие мгновения, когда я на минуту-другую задумывалась о Бенуа Гужоне, наши отношения меня вполне устраивали.

В четверг вечером, накануне Рождества, я сидела на бортике ванны. Сестра, принимавшая душ, забыла включить вентиляцию, зеркало запотело, я вывела на нем кончиком указательного пальца *Анни Бриер* и подписала чуть ниже: "Вечеринка в саду". Потом взяла все это в рамку, чтобы получилась книжная обложка. Утром позвонил Бернар и сообщил, что моя рукопись благополучно попала в "Дюфруа" и за время каникул члены издательского совета прочтут ее. Я протерла зеркало рукавом махрового халата.

— Ты скоро, Лео? Мне нужно купить рождественские подарки на Сен-Дени, а к девяти я должна вернуться. У меня всего два часа на все про все!

Я схватила висевшую на крючке чесалку и потерла лопатки.

— Встречаешься вечером с идиотом?

— Не *такой* уж он и идиот, и будь любезна, оставь мне хоть немного горячей воды.

— Уже промываю волосы!

Я вернула чесалку на дверь. Запах цитрусовых смешался с витавшим в воздухе ароматом персика.

— Вечером ты выглядишь чище, чем утром. Гийома это не удивляет?

Моя сестра наконец высунулась из-за занавески, и я протянула ей полотенце.

— Думаешь, он замечает? Я вот что хотела сказать: это очень здорово — сидеть, уткнувшись носом в собственную писанину, но не пора ли найти настоящего мужика?

Леони не выключила душ, я влезла в ванну. Теплая вода ласкала кожу, и я попыталась объяснить ей свою позицию:

— Иногда я об этом думаю, но тебе и в страшном сне не приснится, с кем приходится общаться в университете. Во-первых, парней вчетверо меньше, чем девок. Во-вторых, они либо гомики, либо страдают нарциссизмом и сочиняют романы о незаживающей любовной ране. Лео, окажи мне любезность, если пользуешься моей бритвой, не забывай потом закрывать ее, а то я рискую порезаться, когда тянусь за мылом. Есть, конечно, Юбер Лакасс, наследник сырной империи, он бегает за мной с первого курса, но ты бы его видела! В отличие от Гужона, Лакасс прочел Полное собрание сочинений Хемингуэя. Он даже подражает ему в своем романе. Но это ничего не меняет: он дико меня раздражает. Парень так словоохотлив, что его устные сообщения никогда не бывают меньше сорока пяти минут — даже если преподаватель написал жирнющими буквами и подчеркнул: НЕ БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ МИНУТ! Он нудный и слегка придурковатый. Тебе известно, что его отец женат третьим браком? Я прочла об этом в каком-то желтом журнальчике, пока сидела в очереди в парикмахерской. Его последняя жена — бывшая топ-модель, финка, красивейшая баба... О нет, Лео! Ты снова забыла закрыть шампунь. В бутылку натекла вода, и он не пенится! Под раковиной есть другой, ты мне не

подашь? Лакасс вечно ходит с обмороженной мордой, посещает beer bash[1] и трахается со всеми девками в округе, в том числе с Хури, это я точно знаю. Отдельные кретинки всерьез западают на то, что он сын Жан-Шарля Лакасса, можешь себе представить? Им нравится, что Юбер катает их на своем "порше" или возит в огромном "патфайндере" к себе домой, что по соседству с "каморкой" отца в Мон-Руаяль. Лео! Поторопись! Через несколько секунд вода замерзнет! Где этот чертов шампунь?

Я отодвинула занавеску. Дверь ванной была распахнута настежь, следы мокрых босых ног вели в коридор. "Лео?" — От холода у меня стучали зубы. По всей квартире разнесся шум включенного фена.

Глава 2
Издательство "Дюффуа"

На следующей неделе — водоворот праздников едва успел закрутиться — я создала на жестком диске моего компьютера новый файл РОМАН-2 (рабочее название). Я сидела, пытаясь облечь мысли в слова, но ничего не выходило: придумывала новый персонаж и через три абзаца понимала, что это пустышка. "Если вы сами не верите в своих героев, — то и дело повторял на семинарах Бернар, — читатель и подавно не поверит, я это точно знаю".

— Ан-ни, — спросила мама за рождественским ужином, — когда же мы будем иметь счастье прочесть твой роман?

Хочу сразу пояснить, что моя мать назвала свою первую дочку Леони, а вторую — двумя годами позже — Анни не по забывчивости и не по недомыслию. Она просто хотела, чтобы в ее доме правильно артикулировали все, а не только ученики располагавшейся в подвале школы дикции "Говорим красиво".

Итак, в тот вечер семья собралась в столовой дома на улице Дотёй в квартале Ахунтсик. Нарядная елка отражалась в оконном проеме гостиной. Другое окно выходило в сад, на согнувшиеся под тяжестью снега кусты и прикрытый пленкой бассейн. Радио щебетало "Alegria" через установленные в четырех углах комнаты колонки. Это была идея Гийома — создать в доме музыкальную обстановку surround[2].

— Во всяком случае, я впервые в жизни смогу похвастаться знакомством с писателем! — засмеялся он. — Дорогая, по-моему, это твой мобильник?

— Похоже на то... Черт, извините, я поговорю минутку?

Леони убежала в кухню.

— О-бо-жаю эту мелодию, — воскликнула мама. — Кто ее написал?

— Это Цирк Солнца, — ответил Гийом, накладывая себе картошку. — В прошлом году они выступали у нас в утреннем эфире. Во был балдеж! Женщина-змея ложилась на живот, поднимала ноги и обхватывала ступнями голову. Пятки доставали до сисек.

— В конце она умирала? — поинтересовалась я.

— Нет, но шеф велел нам пустить "подбрюшник", предупреждающий зрителей, что это не сеанс утренних потягушек!

1. Пивная вечеринка (*англ.*).
2. Зд.: стереоэффект (*англ.*).

— Никто не застрахован от судебного иска, — заметил мой отец. — Я уже несколько лет беру у всех пациенток расписку, прежде чем делать рентген. На случай, если одна из них окажется в положении и потом заявит, что из-за меня у нее возникли осложнения с беременностью! Не всем пациенткам нравится такой подход, но я объясняю, что работаю по американской модели.

— Да уж, они там у себя в Штатах совсем с ума посходили, — подхватил Гийом. — Выдвигают иски по любому поводу. Говорят, один мужик пересчитал изюминки в мюсли "Raisin Bran" и подал в суд на компанию за рекламное надувательство: в коробке, видите ли, не было положенного количества изюма!

— А мне говорили, — я решила поддержать тему, — что какая-то женщина судилась с производителем противозачаточного желе, потому что имела привычку каждое утро есть фруктовое желе и даже помыслить не могла, что желе можно намазать на что-нибудь, кроме тоста!

— Анни! Замолчи немедленно! Мы едим!

— Извини.

— А-ла-ла-ла...

— Alegria — это даже не французское слово, — заметила я.

— И правда, — шепнул папа, — если вслушаться, кажется, что какой-то несчастный ангел томится от тоски! Н-да. Твоя индейка просто изумительна, дорогая.

Моя сестра вернулась за стол.

— Рецепт матери моего ученика, малыша Пакена. Секрет в гвоздике. Твоя еда не слишком остыла, Ле-о-ни? Можно поставить ее в печку на две-три минуты.

— Кто звонил? — спросила я.

— Ошиблись номером, — ответила сестра, расстреляв меня взглядом.

— Давай тарелку, я подогрею. Мне просто необходим этот диск: "Alegria" — это наверняка "веселье", "ликование", возможно, от латинского корня...

— Ошиблись номером? — удивился Гийом.

— Ну да! Да будет тебе известно, милый, на свете много одиноких людей, которые ищут друзей, особенно под Рождество! Так о чем мы говорили? Ах, да. Вы запланировали Корсику на это лето, папа?

Начало января, Петерсон-холл, улица Мактэвиш. Чтобы отметить свое назначение, мадам Дюбуа заклеила все доски объявлений ВАЖНЫМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ. Туалеты — не курилка. Стипендиаты У. Д. Макконнелди не получат свои чеки, пока не сдадут розовый бланк с отчетом, подписанный научными руководителями и заверенный деканатом второго и третьего курсов обучения. Соискатели степени бакалавра, желающие записаться в творческие семинары Бернара Самсона, смогут это сделать, только прослушав подготовительный диссертационный курс.

Я пошла в аудиторию. Проблемы теории литературы I, Жанры I, Литература и лингвистика I, Литературный метод I. Курсов было так много, что я едва могла переварить информацию. Дома я открыла файл РОМАН-2 (рабочее название), но текст выходил таким убогим, что я затосковала по прежнему миру "Вечеринки в саду", населенному готовы-

ми персонажами. Я почти завидовала студентам, толпившимся у дверей кабинета Бернара в университете. Как бы мне хотелось снова оказаться в их числе и дорабатывать и дорабатывать свой первый роман, ведь я так и не придумала, о чем сочинять следующий.

— У тебя озабоченный вид. Надеюсь, это не потому, что сегодня вторая годовщина нашего знакомства, а я не принес ни цветов, ни конфет!

Этот разговор происходил после традиционной вечеринки у Гийома — он каждый год собирает у себя друзей, приятелей, знакомых и знакомых знакомых в честь открытия чемпионата мира по футболу. Мы с Бенуа Гужоном лежали в моей кровати, и я курила сигарету. Он махал рукой перед носом, отгоняя дым.

— Надо же... А я и не вспомнила.

— Но ты все время о чем-то думаешь.

— Как тебе объяснить? Представь, что ты должен написать отчет о хоккейном матче, а играют две новые команды и ты ничего не знаешь ни об игроках, ни о вратаре, понятия не имеешь, получил кто травму или нет, даже имен не знаешь...

— Зайду за информацией на сайт НХЛ. Забросаю всех вопросами на прессухе. Я...

— Возможно, я привела не лучший пример. Ладно, давай так: ты приходишь вечером на "Форум"...

— Здрасьте! На "Форуме" больше не играют.

— Неважно, ты приходишь, а каток в четыре раза больше обычного, кроме того, появились новые правила...

— Тихо! Прислушайся. По-моему, по улице едет скребок! Ну да, точно! Они что, чистят твою улицу от снега сегодня вечером? Где мои кальсоны? Могла бы предупредить! Нельзя, чтобы мою машину отбуксировали, завтра в десять мне надо быть в Дорвале, я отправляюсь в Буффало! Дерьмо собачье! Куда, черт возьми, ты запихнула мои кальсоны?

— Да не трогала я их, честное слово!

Вечером, устав от бесплодных попыток, я создала на жестком диске новый файл и напечатала название: "Вечеринка в саду"-2. Раз уж я сотворила свой собственный мир, почему бы не копнуть вглубь, вместо того чтобы предавать его забвению?

Я начала первую главу. События происходят год спустя, в "Хоум Депорт"[1]. Эмиль Форже стоит в дальнем конце третьего ряда и собирается купить новый гриль для барбекю. Тут я остановилась: если Эмиль Форже взорвал свой гриль на последних страницах "Вечеринки в саду", но — предположим — выжил, то всю оставшуюся жизнь, выбирая между блюдами, приготовленными на пару, и жареными, он будет отдавать предпочтение первым. Я все стерла и начала сначала, переместив действие на десять лет вперед. Джессика Лонжевен — ей двадцать пять — и Янник Форже — ему двадцать восемь — случайно встречаются на кладбище, на могиле Эмиля Форже, который все-таки умер от ожогов. Они рассказывают друг другу, как протекала их жизнь после той вечеринки

1. Сеть магазинов, торгующих садовой мебелью и инвентарем.

в саду. Джессика работает бухгалтером в Доме моды, Янник стал инженером, специалистом по аэронавтике. "Если вы сами зеваете, когда пишете, читатель заснет за вашей книгой". Будьте уверены, эту фразу мог бы произнести Бернар на своем семинаре, но все было еще печальнее — ее придумала я сама. После третьей попытки я сдалась. Возможно, олимпийская метафора Бернара справедлива и я должна отдохнуть, прежде чем приступать ко второму роману. Пусть идеи сами придут мне в голову, я ведь не бумагомарательница, чтобы насиловать собственные мозги и воображение.

Помимо всего прочего, меня начали одолевать сомнения: может, у Бернара и Марион странные вкусы и "Вечеринка в саду" нравится только им? К середине февраля терпение мое было на исходе.

— А это нормально, что издательство "Дюфруа" не подает признаков жизни? — спросила я Бернара.

Это было во вторник утром, я позвонила ему домой. Из трубки доносилось звяканье посуды и голос Марион: "Нет, Черныш, только не мой йогурт!"

— Не накручивай себя, Анни, — успокоил меня Бернар. — Иногда все происходит не так быстро, как нам бы хотелось.

Здание библиотеки Макленнана Университета Макгилл занимает шесть этажей. Пятый целиком отдан на откуп литературе. Стеллажи трехметровой высоты битком набиты монографиями, коллективными сборниками, романами и периодикой. Рабочие места — четырехместные столы и индивидуальные пюпитры — расположены по обе стороны от стеллажей, у окон, которые с южной стороны выходят на улицу Шербрук, на западной — на улицу Мактэвиш, а на востоке — на кампус. Вообще-то, пахнет в библиотеке не слишком приятно, особенно зимой: посетители приносят на ботинках снег, он тает, ковровые покрытия промокают, а потом месяцами сохнут. К запаху сырости примешиваются ароматы студенческой еды: чипсы "Doritos", сандвичи с тунцом на ржаном хлебе, овощной сок V8, восточная лапша с неопознаваемыми пряностями и курага поедаются украдкой, потому что правилами это строго запрещено.

Накануне недели самостоятельной работы, решив заняться подготовкой к сессии, я отправилась в библиотеку и устроилась за столом у окна с видом на улицу Шербрук. Я лущила под столом фисташки и размышляла об отсутствии трансцендентального означающего у Дерриды. Как связать этот постулат с работами де Соссюра?

Как изменилась интерпретация литературных произведений? Есть ли будущее у критики после постструктурализма? За пять часов я выдавила из себя три страницы. В плане курса "Проблемы литературной теории I" было указано, что представить нужно не меньше двенадцати и не больше пятнадцати страниц.

— Псст! Псст!

Я подняла голову. По другую сторону стола, заложив руки в карманы шикарного кожаного пиджака, стоял Юбер Лакасс. Он переминался с ноги на ногу и скалил свои лошадиные зубы. Оглядев зал, Юбер откашлялся и подмигнул. Я нахмурила брови, давая понять, чтобы не мешал, но даже не успела простонать "О Боже, только не это!", как он плюхнулся на угол стола и подъехал на заднице прямо ко мне.

– Привет, курочка моя.

Юбер Лакасс запечатлел мокрый поцелуй в нескольких миллиметрах от моих губ и каркнул: "Ням-ням! Солененькие!"

– Чего тебе?

Он сунул руку под стол, мазнув ладонью мне по моим бедрам, и загреб горсть фисташек.

– Говорят, Бернар отнес твой роман в "Дюфруа"?

– Голову даю на отсечение – тебя просветила Мартина Хури.

Он заржал и кинул в рот несколько орешков.

– А еще говорят, что ты с ним спала, вот он тебя и отблагодарил.

– Чушь!

Две очкастые азиатки, сидевшие за соседним столом, подняли головы от книг с изображениями частей человеческого тела.

– Я так и подумал, – продолжил Юбер, понизив голос. – Если ты отказываешься спать со мной, с какой стати тебе трахаться со стариком? Не твой стиль. Но люди всегда завидуют чужому успеху. Возьми, к примеру, меня. Я ведь не дурак. Я знаю, что обо мне говорили в прошлом году. Мол, он играет краплеными картами. Все дело в его отце. Но в тот день, когда мой роман опубликуют, вы увидите, что папаша тут ни при чем! Я сейчас перерабатываю вариант, который представил на факультет. У меня есть план.

Юбер Лакасс, как и я, закончил магистерскую работу по литературному творчеству. Он написал пародию на Эрнеста Хемингуэя "По ком звонит кол?". Герой его короткого романа, утративший вдохновение молодой писатель, оказывается на Ибице, где у него завязываются дружеские отношения с диджеем-австралийцем. Они каждый вечер нажираются экстези и таскаются по ночным заведениям, где гремит музыка в стиле техно, соблазняют итальянок, голландок, японок и далее по списку, пока однажды вечером молодой писатель не просыпается в совершенно пустой квартире. Исчезло все: его одежда, кредитки, ноутбук. Австралиец оставил ему письмо, в котором признается, что все это время любил только его. Совершенно потрясенный – неужели диджей накачал его наркотиками и изнасиловал, прежде чем ограбить? – наш герой возвращается в лоно семьи, где, несмотря на кучу растраченных нервных клеток, описывает всю эту историю. В прошлом году первая глава "По ком звонит кол?" получила первую премию на конкурсе рассказа, организованном одним монреальским еженедельником. На кафедре французского языка и литературы Университета Макгилл тут же пошли разговоры о том, что Юбера Лакасса наградили только потому, что у его папаши, сырного короля Жан-Шарля Лакасса, есть связи в среде медийных бонз.

Юбер Лакасс снова угостился из моего пакета фисташками и бросил взгляд на экран компьютера.

– Деррида? – удивился он. – Да у тебя еще шесть недель на эту работу! Вырубай машину и пошли. Это наш последний шанс порезвиться в ближайшие десять дней, папаша затеял маленькое семейное путешествие на неделю самоподготовки, завтра утром я еду кататься на лыжах в Аспен. Давай, соглашайся, меня пригласили на открытие ресторана на бульваре Сен-Лоран. Потом мы отправимся на beer bash в Квебекском университете, после чего испытаем новый "полигон любви" в спальне – кроватку доставили на прошлой неделе, и она пахнет свежим деревом.

– Хорошо, что не зеленым сыром.

— Будь умницей, соглашайся, а то отказываешь каждый раз и разбиваешь мне сердце.

Я ответила, что он мог бы уже сделать правильные выводы из этой печальной статистики. Юбер спрыгнул со стола.

— Наступит день, когда ты пожалеешь, что не сказала мне "да".

— Buzz off![1]

Он присел на корточки, чтобы поправить отвороты вельветовых штанов, выпрямился, пощупал промежность, сделал танцевальное па и удалился, по-акульи рыская между столами.

— Псст! Псст! — услышала я и обернулась: Юбер Лакасс пытался привлечь внимание девицы, сидевшей за столиком с видом на фонтаны.

Я вернулась к работе и задалась вопросом, может ли означающее "дурак" иметь абсолютное означаемое.

В пятницу утром, когда я с сигаретой во рту гладила свои голубые салфетки, зазвонил телефон. Я побежала в гостиную и схватила валявшуюся на диване трубку.

— Да?

— Добрый день. Могу я поговорить с Анни Бриер?

Голос на другом конце провода звучал чуточку гнусаво, но не противно, разве что излишне чопорно. Беспокоясь за судьбу моих любимых салфеток, я вернулась в кухню.

— Это я.

— С вами говорит Мюриель Венн из издательства "Дюфруа".

Я уже было взялась за утюг, но сердце едва не выпрыгнуло из груди, и я застыла как изваяние.

— Слушаю вас.

— Наш главный редактор Софи Бланше хотела бы с вами встретиться. Утром, на следующей неделе. Вы найдете время?

— Господи, конечно. В понедельник утром. Вы опубликуете мой роман?

— А вы как думаете? Если бы мы встречались со всеми, кому отказываем, пришлось бы работать двадцать четыре часа в сутки.

Звонившая мне дама была безусловно права, но как сдержать свой восторг?

— Подождите, я сверюсь с ее расписанием. Вторник подходит больше.

— У меня встреча с оптиком.

— Прекрасно, ее вы легко перенесете. Без четверти десять. Знаете, где мы расположены? Улица Сангине, 1713. На южной стороне Онтарио. Хочу заранее предупредить, что в 14.30 Софи должна будет уехать в аэропорт встречать мсье Дюфруа. У них важная встреча с министром культуры в "Королеве Елизавете". Так что не опаздывайте, юная леди!

Черт возьми! — подумала я и затянулась.

Во вторник утром столбик термометра на балконе моих соседей опустился до −22°С, но я надела самую короткую черную юбку, красный ангорский свитер и сменила зимние ботиночки на шнурках на тонкие кремовые сапоги до колен. Волосы у меня были не в лучшем состоянии из-за мороза и ежедневной сушки феном, и я собрала их на затылке заколкой. В последний момент, поглядев на себя в зеркало в спальне, я за-

1. Исчезни! (*англ.*)

сомневалась. Бежевая куртка была практически одной длины с юбкой, но когда я решила переодеться в джинсы, на улице пробибикало такси. "Дьявольщина! – выдохнула я сквозь зубы. – Быть того не может!" Машину я вызвала десять минут назад, уверенная, что из-за собачьего холода движение будет парализовано. Прошлой зимой я как-то попросила у Гийома его "гольф", сама не помню зачем, и он мне отказал, заявив, что при –15°С тачка не заведется.

Шофер снова нетерпеливо засигналил, и я побежала вниз, перепрыгивая через ступеньку.

В 9.15 такси везло меня на юг через улицу Христофора Колумба, я тянула вниз юбку в надежде, что она станет хоть чуточку длиннее, а в 9.30 уже стояла перед домом 1713 по Сангине, в самом сердце Латинского квартала. Эта часть улицы выглядела тихой и обжитой. Люди выходили из своих домов, ставили на тротуар баки, наполненные пакетами из-под молока и газетами, потом шли к машинам с уже разогревающимся мотором, чтобы отбывать на службу. Я толкнула калитку и подошла к двери с серебряной табличкой "Издательство 'Дюфруа'. Звоните, пожалуйста". Ноги у меня заледенели, я натянула на голову отороченный мехом капюшон и нажала на кнопку. Здание с фасадом из зеленоватого кирпича выглядело обаятельно старомодным. Взглянув на окна, я поняла, что оно трехэтажное, заметила на карнизе прямо у себя над головой здоровенные сосульки и снова позвонила.

– Простите, – раздался голос у меня за спиной.

Парень, похоже, торопился. Я шагнула в сторону, и он вставил магнитный пропуск в щель над ручкой. Незнакомец был одет в красное дутое пальто, на плече болтался черный портфель из кожзаменителя. Он по самые глаза обмотался толстым шерстяным шарфом цвета хаки, на макушке из-под него выбивались длинные пряди темных волос. Дверь пискнула, и замок щелкнул. Парень ничего мне не сказал, но я не собиралась торчать на холоде под смертоносной сосулькой и просочилась следом за ним внутрь. В приемной по обе стороны от книжного шкафа стояли стулья для посетителей. Дама с пуделиными кудряшками наклеивала марки на конверты.

– Половина десятого! – бросила она спасшему меня от вымерзания парню. – Кот со двора, мыши в пляс?

Я узнала гнусавый голос звонившей мне на предыдущей неделе дамы. Нерадивый сотрудник схватил из ящика на левой стене несколько бумажек, буркнул нечто невнятное и исчез за дверью комнаты под дубовой лестницей.

– Анни Бриер, – представилась я, откидывая капюшон. – По-моему, ваш звонок обледенел.

Тетка лизнула марку.

– Когда я попросила вас не опаздывать, это не означало приглашения явиться на четверть часа раньше, – отрезала она и карандашом нажала на кнопку на телефоне: – Мадемуазель Софи? Пришла Анни Бриер.

– Пусть поднимается, – ответил слащавый голосок.

– Третий этаж, третья дверь в глубине, за ксероксом.

Я пошла к лестнице, не поблагодарив и не оборачиваясь.

На стенах висели рекламные плакаты. Цвет менялся в зависимости от серии: красный выбрали для "Классиков современности", зеленый – для "Эссе о мире и стране", желтым наградили "Романы и рассказы",

"Книги для детей" удостоились лилового. У ксерокса черноволосая девушка с несколькими золотистыми прядями в прическе и дама лет пятидесяти обсуждали макет обложки. Они улыбнулись, давая мне дорогу.

— Софи Бланше. — Главный редактор издательства протянула руку и обернулась, чтобы представить меня коллегам. — Анни Бриер — Элоиза Жоанетт, наш главный художник; Жинетт Лабе, наш бухгалтер. Роман Анни выйдет в мае.

— Здравствуйте.

— Да она совсем молоденькая! — материнским тоном прокомментировала бухгалтерша.

— Привет, — произнесла девица и показала Софи Бланше набросок, на котором фигурировали темное перо и название: "Новая иллюстрированная история коренных народов".

— Не слишком фольклористично? — засомневалась Софи Бланше. — И тон слишком темный. Эта серия создавалась для борьбы с предубеждениями. Придется поинтересоваться мнением шефа.

— Shit, — каркнула девица.

— Да будет вам! — успокоила ее Софи Бланше, обняла меня за талию и завела в свой кабинет. Кивнув на вешалку у заваленного рукописями стеллажа, она попросила меня не смущаться, и я повесила на крючок куртку и шарф.

Кабинет главного редактора был очень большим. Сквозь оконный переплет у дальней стены виднелись заснеженные задние террасы баров на Сен-Дени. Софи Бланше направилась к столу, загроможденному бумагами, папками, книгами и кофейными чашками, я заметила, что юбка у нее короче моей, и перестала обдергиваться, как помешанная.

— Это лаванда? — спросила я.

Справа от стола, на серых ящичках картотеки, стояла маленькая курильница для благовоний. Софи Бланше кивнула, добавив, что лаванда расслабляет. Я уселась в кресло перед ее столом, и она изящным движением мизинца почесала правую щеку. Софи Бланше оказалась очень красивой женщиной от силы лет сорока. Блестящие черные волосы были собраны в пучок. Худое, идеально симметричное лицо оживляли темно-синие глаза. Я положила ногу на ногу и пристроила ладони на коленке.

— Господин Дюфруа хотел бы принять вас лично, но он в Торонто с одним из наших авторов, его книга только что вышла там в переводе.

— Если нужно, я могу прийти в любой другой день.

Софи Бланше чуть натянуто улыбнулась.

— Мы можем перейти на "ты"?

— Да-да, конечно.

— Старик никогда не встречается с начинающими авторами, даже если первая книга имеет шумный успех, или по ней снимают кино, или переводят в Нью-Йорке, ему на это плевать. Прежде чем пригласить вас на виски к себе в кабинет, он выжидает, его интересует только долгосрочная перспектива, второй и даже третий роман. Так что не принимай на свой счет.

— Ну что вы, конечно, я не буду настаивать. С ним знаком мой преподаватель, Бернар Самсон. Это он принес в издательство мою книгу.

— Дюфруа поддерживает отношения со всеми университетскими преподавателями Квебека. И с министрами. И с журналистами. На наши коктейли является тот еще зверинец. Скоро сама увидишь.

Софи Бланше раздвинула бумаги на столе, достала рукопись "Вечеринки в саду", полистала и резко захлопнула папку.

— Твой роман очаровал четверых членов издательского совета из пяти. У тебя прекрасный слог. Тему, конечно, слишком оригинальной не назовешь, но это интересно. Есть чувство, собственный взгляд на жизнь. Местами ты пережимаешь с драматизмом, но в двадцать три года никто не творит чудес. В издательском бизнесе отпускной сезон подобен штилю на море, так что если уж рисковать, то сейчас. Лично мне твой роман навеял воспоминания о собственной семье. Когда я была совсем еще молоденькой, моя бабушка владела шале в Ровдоне. Мы с братом играли в крокет на лужайке. Сейчас мы видимся хорошо если раз в год, а когда бабушка умерла, он продал крокетное оборудование вместе с домом, не поинтересовавшись моим мнением на сей счет. И зачем я тебе все это рассказываю? Ладно! Привыкай. У людей есть скверная привычка доставать писателей деталями своей жизни, как будто вы лучше других способны в них разобраться. За два года работы на Дюфруа я повидала немало писак и точно знаю, что дело обстоит иначе, но ты совсем зеленый новичок, вот я и не удержалась. Чем еще ты занимаешься помимо сочинительства?

— "Вечеринка в саду" была моей магистерской работой. Теперь я в докторантуре.

— Я защитила диссертацию по Рабле в Оттавском университете. А потом восемь лет вела скучнейшие коллоквиумы, писала статейки для так называемых научных журналов и была почасовиком в Монреальском университете. Кошмар. О чем будет твое исследование? Напишешь еще один роман?

— Нет, на третьем курсе семинаров по литмастерству нет.

— Извини за нескромный вопрос — на что ты живешь? В наши дни нужно иметь мужа-врача, чтобы позволить себе писать книги.

— Мой папа — дантист.

— Счастливица! Зарабатывать на жизнь искусством — древняя мечта романтиков, но чаще всего она приносит выгоду рисовым королям и производителям арахисового масла!

Софи Бланше расхохоталась, я ее поддержала, а когда отсмеялась и перевела дыхание, уточнила:

— Но у меня еще есть маленькая стипендия господина У. Д. Мак-какого-то-там.

— Странная идея — изучать французскую литературу в англофонном университете!

— Знаю, но именно поэтому студентов в группах гораздо меньше, а обстановка на кафедре приятная, более интимная. Преподаватели не являются в аудиторию в сопровождении трех ассистентов, проверяющих письменные задания, и не читают лекцию в микрофон в битком набитой аудитории, как это бывает в Монреальском университете или в Квебекском. Я хотела учиться в человеческих условиях.

— Мне следовало поискать вакансию в Макгилле.

В дверь трижды коротко постучали.

— Открыто! — крикнула Софи Бланше.

В кабинет вошел мой незнакомец. Волосы у него на голове по-прежнему торчали в разные стороны. Он поискал глазами кусочек пустого пространства на столе Софи Бланше и пристроил туда папку, которую держал в руках.

— Сверка первого тома "Новой истории коренных народов". Можешь не возобновлять рецепт на снотворное.

— Давай сюда, — велела Софи Бланше, сбрасывая на пол кучу бумажек.

— Министерство по культурному наследию решило сделать доброе дело? Не найдется и трех дураков, которые это купят.

Он сунул руки в карманы.

— Но зарплату они нам обеспечивают, — проронила Софи Бланше и указала на меня ручкой. — Это Анни Бриер, наш новый автор.

Парень повернулся ко мне. У него было осунувшееся лицо, трехдневная щетина на щеках, глаза в тон повязанному на шее шарфу цвета хаки отекли и опухли, как у лягушки.

— Анни Бриер — Лоран Вьо, наш издательский редактор.

Я протянула ему правую руку. Несколько секунд он молча смотрел на мою ладонь, а потом сказал:

— У меня насморк.

Моя ладонь снова легла на коленку.

— Тогда обойдемся без церемоний, — пробормотала я и одернула юбку.

— Микробный сезон? — поинтересовалась Софи Бланше.

— У меня он длится круглый год. "Вечеринка в саду" — это ее?

— Да. Набор будет готов через три недели.

Он кивнул и насмешливо улыбнулся:

— Подворовываем у Кэтрин Мэнсфилд?

Парень явно собирался добавить что-то еще, но в этот момент ноздри у него вдруг расширились, он сложился пополам и шумно чихнул, успев, правда, отвернуться.

— Это бережное заимствование. — Я попыталась защитить свою честь, пока он распрямлялся.

Лоран Вьо собрался уходить.

— Ты не придешь плавать сегодня вечером? — спросила Софи Бланше.

— Нет. — Он шмыгнул носом. — Возможно, на следующей неделе, если поправлюсь.

Дверь за ним закрылась.

— Завтра принесу ему флакон эвкалиптового масла. — Софи Бланше подмигнула мне.

Я не могла успокоиться:

— Она ведь уже лет восемьдесят как умерла!

Зазвонил телефон, и Софи Бланше потянулась к трубке.

— Это невозможно, Марсель! — закричала она через пару секунд. — Мы уже объявили о выходе твоей книги в сентябре, и ждать никто не будет! Котеночек, я должна получить доработанный вариант не позднее июня, тогда мы успеем к открытию сезона... Дюфруа хотел порадовать министра сегодня за ужином, а теперь мы снова будем выглядеть бандой придурков!.. Я тебя раз пятнадцать предупреждала... Июнь, Марсель, июнь, а не январь! Алло, алло? Марсель, ты меня слышишь?

Софи Бланше нажала на кнопку указательным пальцем и мгновенно набрала номер. Она сделала глубокий вдох, сцепила зубы, уставилась в потолок и с минуту слушала гудки. "Вот же черт!" — наконец произнесла она, вернула трубку на место и тут, вспомнив о моем присутствии, огорченно покачала головой.

— Производители виски тоже неплохо наживаются на людях искусства.

Она бросила нервный взгляд на часы и откопала среди бумаг большой желтый конверт.

— А теперь перейдем к вещам серьезным!

С карточкой автора я разобралась быстро, а вот с договором вышла засада. Софи Бланше выдала мне два экземпляра со словами: "Внимательно прочти, подпиши и верни их нам как можно скорее. Потом мы сфотографируем тебя для каталога". Из тридцати пяти пунктов договора я поняла всего два: в седьмом говорилось, что я получу десять процентов "от каталожной цены издания 'Вечеринки в саду'" в мягкой обложке или твердом переплете, а пятнадцатый гласил, что издательство "Дюфруа" любезно предоставит мне "десять экземпляров" книги "в личное пользование". Все остальное звучало как китайская грамота: "моральное право автора и право цитирования", "пользование уступленными правами", "переуступка издателем прав третьим лицам".

Во второй половине дня я позвонила Бернару.

— Что означает эта тарабарщина? — спросила я, зачитав некоторые из самых загадочных пунктов.

Бернар знал не больше моего, но заверил, что Дюфруа не мошенник.

— Мы вместе учились в классической гимназии. Он профессионал.

— Господин Дюфруа? Да, он очень порядочный человек! — высказала свое мнение Марион Гулд.

Два дня спустя Леони, приведя себя в порядок после свидания, присоединилась ко мне в кухне. Накануне я посмотрела по каналу "Теле-Квебек" кулинарное шоу и теперь готовила неаполитанский соус для спагетти в одной из новых кастрюль "Lagostina". Барная стойка была завалена продуктами: бутылка оливкового масла первого отжима, итальянские консервированные томаты, чесночная и луковая шелуха, морская соль, перец горошком, сахар, пучок свежего базилика.

— Давно стряпаешь?

— Час или два. Останешься продегустировать?

Сестра села и принялась нервно теребить одну из моих голубых салфеток, не переставая грызть золотую цепочку. Я мешала соус деревянной ложкой. В какой-то момент мне послышалось, что она ко мне обращается, и я выключила гудевшую над плитой вытяжку.

— Ты что-то сказала?

— Пьер в меня влюблен! Признался сегодня, прямо в койке. Сказал, что любит.

— Ты болтаешь, занимаясь любовью?

— Я — нет, он — да.

Я спросила, что она будет делать. Сестра молитвенным жестом воздела руки к потолку, потом хлопнула себя по бедрам и покачала головой: "Сама не знаю!" Я добавила к соусу щепотку сахара, прикрыла кастрюлю крышкой и присела рядом с Леони. Под вазой с клементинами лежали оба экземпляра моего договора с издательством. Сестра пролистала их, тараща от изумления глаза.

— Я тоже ничего не поняла. Но вроде беспокоиться не о чем.

Леони покусала губы.

— Подруга Пьера — адвокат и работает в артистическом агентстве. Если бы я не спала с ее мужиком, можно было бы с ней проконсультироваться, но ситуация уж больно деликатная, так что...

Она вернула договоры под вазу, а потом мы просто сидели и молчали. Стояла такая тишина, что было слышно, как потрескивает висящая над столом лампочка в плафоне из ноздреватого стекла. Небо за окном выглядело тяжелым и серым. Скоро стемнеет, но уже наступил февраль, и дни, несмотря ни на что, понемногу удлиняются. Я побарабанила пальцами по столу.

— Как у тебя с аппетитом?

— В каком смысле?

— Попробуешь мой неаполитанский соус?

— Я не могу остаться на ужин. Мы с Гийомом встречаемся у кинотеатра "Бобьен". Через час. Он дал мне свою машину, так что я успею.

— "Гольф" сегодня завелся?

Надо же, а ведь столбик термометра упал до −20°С. Сестра пожала плечами, а я длинно охнула, выражая разочарование.

— Почему бы тебе не позвонить Бенуа?

"Бенуа Гужон?" — подумала я без особого энтузиазма. Он не подавал признаков жизни с той самой ночи, когда мы смотрели у Гийома открытие чемпионата и ему пришлось забирать свою "хонду" со стоянки в конце улицы Партене. "Дерьмо собачье! — вопил он, покидая мою квартиру после звонка в снегоуборочную службу. — Надеюсь, подвеска не пострадала".

— Мне казалось, ты считаешь его идиотом.

Сестра вскочила, объявив, что ей лучше убраться от меня побыстрее, а то одежда навсегда пропахнет томатом. Я проводила ее до двери, мы расцеловались, я вернулась в гостиную, раздвинула шторы и увидела, как она садится в черный "гольф" Гийома. Когда машина скрылась за углом улицы Жильфор, я вернулась в кухню и закурила. Стекла запотели из-за булькавшей на огне кастрюли. Я взяла телефон и набрала номер сотового сестры.

— Только не говори, что я забыла у тебя косметичку! — воскликнула она.

На ее телефоне стоял определитель номера.

— Да нет, это я забыла попросить тебя захватить в следующий четверг черную блузку с круглым воротником. Мне предстоит сниматься для каталога издательства.

Я услышала, как на другом конце провода Леони затянулась сигаретой.

— Хорошо, в следующий четверг. Думаешь, мне стоит продолжать с ним видеться? Он сказал, что любит меня. А я не знаю, чего хочу.

Я выключила плиту и решила сходить на почту, чтобы отправить в издательство "Дюфруа" большой желтый конверт с моими договорами. В витринах магазинчиков на авеню Мон-Руаяль все еще были выставлены объявления: "Послерождественская распродажа. Скидки от 50 до 70%". В ресторанах официанты зажигали свечи на столах, проверяли на просвет чистоту бокалов. Обледеневшие тротуары были усеяны кусочками мерзлых собачьих какашек. Нищие на перекрестках подпрыгивали, чтобы согреться, время от времени кланяясь прохожим, решившим проявить милосердие и дать им монетку-другую. Я подошла к банкомату, чтобы обналичить папин чек и оплатить несколько счетов, а потом отправила конверт.

Вернувшись домой, я помешала неаполитанский соус. Он слегка загустел, листья базилика скукожились, но накормить я могла полк сол-

дат, а запах был просто изумительный. Я сходила в комнату за телефонной книжкой, открыла ее на букве "Г" в разделе "Репертуар", вернулась с трубкой в кухню и набрала номер. Услышав щелчок соединения, я произнесла игривым тоном:

– Ку-ку, Бенуа, это Анни, у тебя ничего не случилось?

– Кто это?

"Ничего себе!" – подумала я.

– Анни, сестра подруги твоего кузена Гийома.

– Ах да, прости. Я конспирируюсь. На этой неделе раскритиковал нового тренера канадцев, и мне уже несколько раз угрожали физической расправой.

Я ждала продолжения, не дождалась и сказала:

– Мир сошел с ума. Не хочешь сегодня со мной поужинать?

Бенуа Гужон объяснил, что он не только скрывается, но должен еще закончить две статьи, потому что послезавтра вечером улетает на два дня в Питтсбург, будет освещать хоккейный матч, а оттуда – в начале следующей недели – на тренировочную базу во Флориду, в общем, сама, мол, понимаешь.

Я прервала его излияния:

– Это окончательный отказ? Знаешь, я проверила: снег на моей улице сегодня убирать не будут.

Бенуа Гужон сказал, что позвонит, как только у него появится свободная минутка.

– Ладно, береги себя, – прошипела я, заканчивая разговор. – Никогда не знаешь, что спрятано под днищем твоей машины.

Ответом мне было гробовое молчание.

– Я пошутила.

– Черт, не смешно!

Сами понимаете – разговор с этой мокрой курицей перебил мне аппетит, я сунула неаполитанский соус в морозилку и пошла спать.

Глава 3
Исправления?

В четверг Леони забыла принести черную блузку с круглым воротником. "Клянусь, Анни, я не виновата! Сегодня утром я твердо решила, что не пойду на свидание с Пьером в квартиру его друга, но в три он позвонил, и я дала слабину". – "Черт возьми!" – воскликнула я, хотя на самом деле особого значения все это уже не имело. Накануне мне позвонила Софи Бланше: литературный сезон выходил бедноватым, и они решили не делать каталога. Моя фотография требовалась только на четвертую страницу обложки, и издательство "Дюфруа" освободило меня от визита в студию, предложив самостоятельно выбрать снимок, желательно портретный и достаточно свежий, чтобы меня можно было узнать.

В уик-энд я достала из шкафа в гостиной несколько пыльных обувных коробок и перебрала их содержимое. Чего там только не было: старая поздравительная открытка: *Нашей обожаемой дочурке к ее восьмому дню рождения*, крупноформатный портрет Леони в костюме Береники (надпись жирным черным фломастером гласила: *Моей дорогой младшей сестре.*

Люблю, Леони Б.), фотографии в купальнике и с книгой на бортике бассейна в Ахунтсике, на велосипеде на острове Посещения, в Париже с мамой у подножия Эйфелевой башни. Наконец я наткнулась на полароидный снимок, который показался мне вполне подходящим. Его сделал Юбер Лакасс на винно-сырной вечеринке по случаю окончания первого курса. Я стояла у буфета и разговаривала с новым преподавателем литературы XVIII века. "Псст! Псст!" — прошипел кто-то справа от меня. Я повернула голову и просияла улыбкой, не зная, кто меня зовет. "Щелк!" Юбер Лакасс ослепил меня вспышкой, и фотоаппарат немедленно выдал белую влажную карточку. Он помахал ею в воздухе, чтобы просушить. "Дай взглянуть-то!" — прошептал он мне на ухо. Я вырвала у Юбера фотографию. "Большое спасибо!" — небрежно поблагодарила я, хотя результат получился что надо. Обшитые панелями стены преподавательской гостиной создавали темный, величественный и какой-то вневременной фон, на котором четко выделялся мой белый корсаж. Выражение лица было мягким и приветливым, глаза вышли большими и круглыми, скулы высокими, а рот был приоткрыт, как будто я собиралась что-то сказать. Короче, фотография как нельзя лучше подходила для четвертой страницы обложки романа. Волосы у меня теперь были длиннее, лоб прикрывала челка, но сегодняшнюю Анни Бриер легко было узнать в девушке на снимке. Я уложила полароидную карточку между двумя квадратиками картона и отправила Софи Бланше в издательство "Дюфруа".

В середине марта я вовсю готовилась к сессии, но тему для диссертации так и не выбрала. Я искала источник вдохновения в "Дневнике" Вирджинии Вулф, в диалогах Дидро и переписке Флобера, хваталась то за одну, то за другую книгу, но ничего путного придумать не могла.

Как-то в полдень мы с Бернаром Самсоном столкнулись у бутербродной стойки кафешки в Шатнер-билдинг.

— Как дела, Анни? Позавтракаем?

Кафетерий был до отказа забит студентами. Когда мы наконец уселись, Бернар счел нужным сообщить, что попросил добавить к ветчине пророщенную люцерну, потому что в этой травке содержится масса антиоксидантов, которые замедляют старение тканей. По этой же самой причине он пил зеленый чай. Знания о чудодейственных свойствах этих продуктов Бернар почерпнул, тайно проглядев книжонку, которую иллюстрировала Марион. За соседним столиком три амбала в пуловерах "Redmen" поглощали гамбургеры, картошку и колу, и Бернар с завистью косился на их подносы.

Проглотив первый кусок сандвича, Бернар поморщился и поделился возникшей на мой счет идеей.

— Сравнительно недавно исследователи творчества Пруста обнаружили, что в "Поисках" он нигде не упоминает о самоубийстве. Я подумал, что тебя это может заинтересовать: Эмиль Форже, герой "Вечеринки в саду", в конце книги, судя по всему, сводит счеты с жизнью. Как получилось, что Пруст в своей книге говорит обо всем на свете, кроме самоубийства? Мы имеем здесь либо слабое место, либо ключ — но в любом случае это чертовски интересно. Что думаешь?

Я ответила, что тема и правда завораживает и что я попытаюсь развить ее, чтобы расширить проблематику исследования, гипотезы и ме-

тодологию, как от нас и требуется, после чего занялась своим бутербродом с паштетом по-деревенски.

Бернар глотнул зеленого чая, обнаружил, что тот пахнет средством для мытья посуды, и пошел за кофе.

— Выпьешь еще чашку? — предложил он.

— С удовольствием.

Сидевшая за дальним столиком Мартина Хури поедала йогурт и краем глаза наблюдала за нами. Когда Бернар отошел подальше, она сделала мне неприличный жест, помахав рукой перед ртом и надув щеку, я в долгу не осталась и показала ей средний палец.

Уже некоторое время Леони, приходя ко мне по четвергам, выглядела озабоченной. После душа она надевала махровый халат, падала на кровать и лежала, уставясь на вентилятор на потолке и теребя концы своего хвостика. Она размышляла вслух, говорила, что должна наконец принять решение, что так не может продолжаться и что ей нужен либо Гийом, либо Пьер, но не оба одновременно.

— Через два месяца мне стукнет двадцать шесть, а я ощущаю себя сорокалетней героиней французского фильма.

Я выводила ее из ступора, напоминая, что на часах почти шесть и ей надо немедленно высушить голову, если она не хочет заявиться домой слишком поздно, возбудив тем самым подозрения Гийома.

"Что ты сказала? Который час?" — Леони бросалась к туалетному столику, а я приводила в порядок постель.

Однажды в конце марта Леони вышла из душа еще более задумчивая, чем обычно. Пьер настаивает. Он готов на серьезные шаги — хочет бросить свою адвокатшу и продать квартиру в кондоминиуме.

— А ты-то сама чего хочешь, Леони?

Она склонила голову к плечу и постучала по левому виску, чтобы из правого уха вытекла вода.

— "Я не боюсь: меня всем сердцем любит Тит. / Сейчас он может все, и он заговорит"[1].

Сестра иногда цитировала Расина.

— Скажет? Да он, по-моему, яснее ясного сказал, что любит тебя.

Она раздраженно щелкнула феном.

Через несколько минут Леони появилась на кухне, чтобы я помогла ей причесаться: утром, когда Гийом высаживал ее у "Монтаж Мондьяль", у нее на голове был пучок.

— Как у Одри Хепбёрн в "Завтраке у 'Тиффани'".

Сестра села на мое место, а я занялась ее волосами, орудуя щеткой, резинкой, шпильками и лаком. Потом Леони заметила под вазой с фруктами макет первой и четвертой сторон обложки, которые прислали из "Дюфруа".

На первый взгляд рисунок был очень даже ничего — барбекю с открытой крышкой, но стоило вглядеться повнимательней, и вы понимали, что в гриле жарится дом с садом и бассейном. В верхней части жирными красными буквами было выведено мое имя: *Анни Бриер*, а внизу — *Вечеринка в саду*.

1. Цитата из "Береники" Расина. Действие I, явление 5. Здесь и далее перевод Н. Рыковой.

– Тебе следовало взять псевдоним. Более звучное имя. Если бы я все-таки стала актрисой, то звалась бы Беатрис Бувье. Красиво, правда?

– Если не прекратишь болтать, пучок выйдет кривой.

– *Леди и джентльмены, встречайте несравненную Беатрис Бувье!*

На четвертой стороне обложки фигурировали моя фотография и краткая аннотация.

Летним вечером в саду ничем не примечательного дома в пригороде собрались на вечеринку две семьи – Форже и Ланжевены. О чем думает Эмиль, забивая в землю крокетные воротца? Почему Джессика все время бегает в ванную? Что делает закрывшийся в своей комнате Янник? Будет ли Матильдин рецепт куриного шашлыка по-гречески куда более греческим, чем можно себе представить? Зачем Лиза так внимательно осматривает телевизор Форже? Победит ли Жильбер в схватке с бутылкой? В первом романе Анни Бриер открывает перед читателями мрачный и одновременно трогательный мир своих героев.

– Ой! – жалобно мяукнула Леони. – Ты что, убить меня хочешь?

– Прости... – извинилась я, зажав губами три шпильки.

Я воткнула их в волосы и взяла следующие. Леони вернула макет под вазу.

– Так когда же он выйдет? Эти люди уже лет сто кормят тебя обещаниями! "Монтаж мондьяль" давно разорилась бы, работай мы с клиентами в таком темпе!

– В мае, я тебе десять раз говорила. Наклони голову. Завтра утром у меня встреча с редактором.

– С кем с кем?

– Это такой человек, который работает с версткой, прежде чем издатель отправит ее в типографию. Вчера звонила секретарша и назначила время.

– Он грозный?

– Да нет. Мы встречались один раз. Этот тип с лягушачьими глазами позволил себе неуместный комментарий по поводу названия. Со мной у него особых хлопот не будет. Бернар и Марион читали рукопись, а факультет переслал мне отзыв из Квебекского университета с парой замечаний. Кроме того, у меня в компьютере стоит специальная программа. Так, подними голову, мне надо взглянуть.

Леони осторожно ощупала пучок.

– Умоешь своего редактора!

Я опрыскала прическу Леони лаком, и она ринулась в ванную оценивать результат. Я понесла орудия парикмахерского искусства в спальню, и тут сестра издала вопль отчаяния. Сначала я решила, что ей не понравилась прическа, но она вскрикнула второй и третий раз, я швырнула вещи на кровать и побежала к ней.

Леони наклонилась над стоком ванны, одной рукой она ощупывала шею, другой ковырялась в решетке.

– Моя цепочка! Я потеряла цепочку!

Мы обыскали всю квартиру: шарили за унитазом, ощупывали пол у туалетного столика и под кроватью, проверили даже кухонный стол.

– Утром она была на мне! – кричала впавшая в отчаяние Леони. – Я накручивала ее на палец во время просмотра с клиентом, я точно помню!

В 6.45 сотовый заиграл "Болеро" Равеля. Звонил забеспокоившийся Гийом.

— Я зашла к сестре, — промямлила она. — Выход книги задерживается, и ей очень одиноко, поскольку твой придурок-кузен ее бросил.

Постучав пальцами по "осиротевшей" шее, она подмигнула мне и продолжила:

— Хорошо, я возвращаюсь. Нам что-нибудь нужно?

Леони захлопнула телефон и воскликнула, что у нее больше нет сил сочинять небылицы. Прежде чем надеть сапожки на шпильке, она энергично их встряхнула: "Утром цепочка была на месте!" Она чмокнула меня в щеку и побежала по ступенькам к выходу, умоляя не ложиться спать, пока не отыщется пропажа. Пучок у нее на голове раскачивался из стороны в сторону.

— Мне ее Гийом подарил! У нее, как бы это сказать, огромная сентиментальная ценность! Раскопай все углы!

Дверь захлопнулась.

Я спрашивала себя, как выход романа изменит мою жизнь. Ну, например, сумею ли я продемонстрировать своре любопытных журналистов, которые будут осаждать меня звонками, темный и трогательный мир романистки Анни Бриер? Неужели придется сказать, что я начала писать, когда мне на зубы намотали километр металла и я больше не могла посещать мамину школу дикции и произносить: *На мели мы налима лениво ловили?* Пожалуй, стоило уже сейчас сочинить более затейливый миф. Серьезная иммунная болезнь, на долгие месяцы приковавшая меня к постели? Трудное детство в распадающейся семье, где родители сходились и расходились то ли четыре, то ли пять раз? Нужно все точно рассчитать, думала я, лениво поедая резиновый круассан в кафе на углу улиц Онтарио и Сен-Дени. Часы над стойкой показывали без десяти девять. В очереди стояли заспанные студенты Квебекского университета с рюкзачками и колледжа общего и профессионального образования Вьё-Монреаль. Они брали кофе и булочки, кидая рыжей подавальщице с татуированными руками монеты в блюдце. Я зевнула и вытянула из свитера длинную белую нитку. Солнце подтапливало наледи на тротуарах. Автомобилисты нетерпеливо бибикали, завывали сирены машин "скорой помощи".

Я дула на свой кофе с молоком, когда в дверь вошел Лоран Вьо и направился к стойке. Он был все в том же красном дутом пальто, на плече болтался нейлоновый черный портфель из кожзаменителя, но отеки вокруг глаз простуженной лягушки спали, а волосы он затянул в хвостик — в первую встречу меня поразило воронье гнездо у него на голове. Шагал он гораздо увереннее и меньше сутулился. Он заказал тосты с сыром навынос и взял с прилавка валявшуюся там газетную тетрадку. По залу разносилось тихое урчанье кофеварки-эспрессо, я вороватым жестом стянула с соседнего стула газету и развернула ее, прикрыв лицо. Мне не хотелось, чтобы редактор издательства "Дюфруа" заметил меня. Встреча должна была состояться в 9.30, поди знай, что он там себе вообразит, увидев меня в кафе в двух шагах от здания за полчаса до назначенного времени. Подумает, наверное, что я не только ворую названия у усопших авторов, но еще и живу ужасно скучно. Это будет не в мою пользу. Я вытянула шею, проверяя, не ушел ли Лоран Вьо, и увидела, что он беседует с мужчиной лет сорока: тот оплачивал счет, а на плече

у него висел серый портфель с логотипом издательства "Дюфруа". Коллега, догадалась я. Сахар, сливки, молоко и зубочистки стояли на стойке прямо перед моим столиком, и я снова спряталась за газету. Они подошли, и я услышала, как Лоран Вьо говорит:

— У нас встреча сегодня утром. Она хорошенькая. И роман очень даже ничего.

Они пошли к двери, звякнул колокольчик, но я — на всякий случай — выждала еще несколько минут, прежде чем вылезти из-за укрытия.

Светило утреннее солнце, я пила свой кофе и едва заметно улыбалась. "Подворовываем у Кэтрин Мэнсфилд?" Мне показалось, что теперь я понимаю, почему Лоран Вьо позволил себе эту реплику в кабинете Софи Бланше. Такой поступок больше всего напоминает поведение маленького мальчика, который дергает за волосы нравящуюся ему девочку, вместо того чтобы взять ее за руку или угостить конфетой. Я начала нервничать. В прошлом месяце, в кабинете Софи Бланше редактор издательства "Дюфруа" показался мне каким-то серым и незначительным, а сегодня у стойки кафе я нашла его симпатичным и достойным интереса: живое лицо, уверенная походка, изящные движения. Я забежала в туалет причесаться и подкрасить губы. Знай я, что нравлюсь ему, надела бы что-нибудь менее банальное, чем голубые джинсы и черный свитер. Невезуха. Я вернулась к столику и закурила, небрежно стряхивая пепел в тарелку, — аппетит у меня пропал. Бибиканье на улице стихло, и чем дольше я размышляла, тем менее глупой казалась мне идея пары, составленной из писательницы и редактора. Перечитывая этой зимой "Дневник" Вирджинии Вулф, я наткнулась на то место, где говорилось, что она правила верстку романа, лежа в постели рядом со своим мужем Леонардом. В 9.25 я раздавила окурок в брюшке недоеденного круассана, надела пальто и пошла к дому 1713 по улице Сангине. "Издательство 'Дюфруа'. Звоните, пожалуйста".

Ведьма в приемной усадила меня на стул и промариновала несколько минут.

— Хорошая сегодня погода, верно?

Она говорила сама с собой, поливая цветы на подоконнике, потом вернулась на вверенный ей пост и кивком подбородка указала на стоявшие вокруг ее стола штук пятнадцать коробок с бумагами. Все это были отвергнутые рукописи.

— Утром их заберут в утиль. Моя предшественница отправляла "брак" прямиком на помойку.

Я нервно теребила молнию на пальто, когда на расположенной в комнате дубовой лестнице появился Лоран Вьо. Серая рубашка, черные джинсы. Он впервые предстал передо мной без пресловутого шарфа цвета хаки, и я заметила, что плечи у него округлые и вполне крепкие. Спустившись, он направился ко мне.

— Могли бы, между прочим, предупредить, что зал будет занят! — буркнул он, проходя мимо секретарши. — Здравствуйте, — поздоровался Лоран Вьо, сменив тон.

— Здравствуйте.

— Следовало поинтересоваться, молодой человек! — рявкнула в ответ секретарша и тут же сладко пропела в телефон: "Издательство 'Дюфруа', здравствуйте".

Лоран Вьо протянул мне руку, заметил сомнение в моих глазах и счел нужным объяснить происхождение красных пятен на пальцах:

— Чернила. Не отмываются. Такая профессия, знаете ли.

Я наконец решилась и встряхнула его ладонь. Она оказалась слегка влажной, но темно-зеленые глаза смотрели мне прямо в лицо. "Мсье Самоконтроль", — подумала я и улыбнулась.

Лоран Вьо сообщил, что в конференц-зале на третьем этаже идет заседание совета, так что нам придется работать у него в кабинете. В его голосе я уловила некоторое смущение.

— Он крошечный, но добро пожаловать.

Пройдя по коридору, мы заглянули в кухоньку со стеклянной дверью, находившуюся по другую сторону от лестницы. За столом сидели двое сотрудников — тот самый мужик лет сорока, с которым Лоран Вьо общался утром в кафе, и женщина-блондинка, главный художник издательства. Они курили.

— Анни Бриер — Стив Жодуэн, он занимается рассылкой, Элоиза Жоанетт — наш арт-директор.

Мы обменялись приветствиями, я кивнула Элоизе: "Конечно, нас уже знакомили..." Главный экспедитор смерил меня взглядом и улыбнулся Лорану Вьо, я занервничала и сказала первое, что пришло в голову, сообщив Элоизе Жоанетт, что мне ужасно понравилась обложка моего романа. В действительности дело обстояло прямо противоположным образом. Ну что это за идея, скажите на милость, поджаривать дом в барбекюшнице?! Меня подмывало спросить, удосужилась ли она прочитать книгу, прежде чем выдать на-гора такую грубую иконографическую метафору, но Лоран Вьо быстренько закруглил встречу. Он выдернул из-за стола пустой стул и объявил, что у нас полно работы. "Хитрюга!" — подумала я, следуя за ним к двери в стене под лестницей.

Когда он повернул ручку, я едва не вскрикнула от изумления. Комната оказалась не просто маленькой — это была темная дыра без окна. Две трети пространства занимал металлический письменный стол, заваленный множеством перетянутых резинками папок. Компьютер и телефон примостились на самом краю. В книжном шкафу у левой стены стояли словари и справочники. Лоран Вьо пристроил взятый из кухни стул перед этой гробницей, пригласил меня садиться и боком протиснулся на свое рабочее место. Я сняла пальто и шарф, не переставая озираться. Лоран зажег свет над столом — лампочка болталась на конце электрического шнура.

— Простите, но... это ведь чулан?

— Переделанный, — кивнул он и не слишком ловко освободил кусок столешницы от папок.

Я скрестила ноги и положила ладонь на колено. Мне стало жарко, так что пришлось засучить рукава свитера. На краю стола валялся мешочек из-под завтрака; Лоран Вьо схватил корзинку, сгреб в нее жирные крошки и пакет, отряхнул руки и поинтересовался, как у меня дела.

— Очень хорошо, спасибо. Вы давно здесь работаете?

— Два года. Меня наняла Софи Бланше. Мы познакомились в Монреальском университете, она сидела в кабинете вместе с одним моим приятелем, он вел у нас семинары. Мы иногда ходим вместе плавать в бассейн Ассоциации. Она хорошая баба.

Лоран Вьо отвел взгляд от моего лица и посмотрел куда-то в сторону. Я не очень понимала, как себя вести, и почесала ухо.

— Вы изучали литературу?

— Может, перейдем на "ты"? — Он снова смотрел на меня. — Я прочел в карточке, что тебе всего двадцать три.

Я помолчала, ища ответ поостроумнее, чтобы придать беседе нужный тон. Ну, например, так: "Значит, тот факт, что я не замужем, уже не является для тебя тайной за семью печатями?"

— Я думала, карточка автора — конфиденциальный документ, — произнесла я, пожимая плечами.

Лоран Вьо мило улыбнулся уголками губ и хрустнул пальцами.

— В принципе — да.

— А тебе сколько лет?

Внезапно стены содрогнулись от утробного бульканья, лампочка качнулась, а лежавшая на столе ручка упала на пол.

— Сейчас пройдет, — успокоил меня Лоран Вьо, покосившись на левую стену. — Кто-то зашел в туалет на третьем этаже.

Когда чулан перестал наконец вибрировать, Лоран поднял ручку и заложил ее за ухо.

— Мне тридцать.

— О, возраст Христа.

Я посмотрела на его испачканные красным руки. Лоран Вьо, поймав мой взгляд, повертел ладонями перед глазами.

— Сказано к месту. Именно я "искупаю" все ваши ошибки. Кстати, возраст Христа — тридцать три года.

— Неважно, ты вряд ли сильно пострадал от гвоздей, читая "Вечеринку". Мой преподаватель литературного мастерства, его подруга и тип из Квебекского университета читали до тебя. Неужели остались опечатки?

Лоран Вьо со смехом подтолкнул ко мне кремовую папку с буквами "Ввс".

— Осталось внести исправления.

Он встал и снова протиснулся между столом и книжным шкафом.

— Кофе?

Я отказалась, покачав головой, и Лоран Вьо вышел, оставив дверь открытой. "Исправления?" Я раздраженно откинула обложку. Моя "нетленка" составила около двухсот страниц; на первой я прочла свое имя и название романа, заметив, что издательство заменило привычный мне Таймс 12 на другой шрифт, более крупный и округлый. Размещение текста на странице тоже изменилось, стало компактнее и теснее, кроме того, редактор использовал четыре вида разметки. На мгновение мне даже показалось, что произошла ошибка и это не мой роман, но потом я узнала собственные фразы — во всяком случае те, которые не были исчерканы уродливыми красными пометками. На полях появились какие-то неразборчивые значки, стрелки, тянувшиеся к абзацам, обведенные в кружки знаки вопроса и разнообразные эпитеты: "неуместно", "нескладно", "переформулировать", и так далее, и тому подобное. Я рывком захлопнула папку и сделала глубокий вдох. То, что Лоран Вьо в первую нашу встречу дернул меня за косичку, вместо того чтобы угостить леденцом, потому что не умел показать свой интерес другим способом, — это еще куда ни шло, но продолжать игру и бросать моих кукол в пруд, чтобы посмотреть, как я стану реагировать... Нет уж, извините!

— Тук-тук-тук, — пропел он, закрывая дверь. — Все в порядке?

Он поставил стаканчик с кофе на полку книжного шкафа, протиснулся на свое место, но садиться не стал, а перенес стул через стол и устроился слева от меня. Я ощутила аромат его одеколона — мускус и лимон — и слабый запах табака, но меня это не возбудило. Он вынул из шкафа "Малый Робер"[1] и справочник по грамматике, взял кофе, подул на него и подтащил к себе папку.

— Будем работать постранично.

Я заерзала на стуле.

— Но зачем? Повторяю — мой преподаватель и его подруга уже прочли!

Лоран Вьо выхватил из-за уха ручку, зажал ее между большим и указательным пальцем и принялся нервно постукивать по рукописи.

— Не знаю, насколько твой профессор и его красавица компетентны в правке текста. Возможно, они уделили главное внимание самой истории. Скажу вот что: это твоя первая книга. Готов поверить, что ты знаешь, как употреблять причастие прошедшего времени, но в книге слишком много наречий и прилагательных, ты не следишь за согласованием времен, в диалогах злоупотребляешь вводными предложениями, ты...

Перечисление продолжилось, и я поняла, что Лоран Вьо говорит вполне серьезно и что разгромная правка — не театральное представление.

— В общем, так, — сказал он, покончив с перечислением всех моих неофитских промахов, — можешь считать мои замечания дружескими советами, только если я и впрямь чего-то недопонял.

"Хорошенькое дело!" — подумала я. Он открыл первую страницу: в трех абзацах было шесть красных подчеркиваний.

— Просто скажи, что тебе не понравилось, и покончим с этим.

Лоран Вьо подвинул свой стул еще ближе ко мне и ответил, что ему платят не за то, чтобы он оценивал литературные достоинства книг, которые выпускает издательство. Я представила себе Вирджинию Вулф в постели с рукописью и мужем Леонардом и спросила себя, доводилось ли ей время от времени лупить его подушкой по башке.

Сто тридцать наречий, восемьдесят прилагательных и шестьдесят вводных предложений ушли в небытие, мы разобрались с двумя десятками зевгм[2] и анаколуфов[3], переписали целые отрывки в плюсквамперфекте, исправили множество англицизмов и варваризмов, и тут на столе Лорана Вьо зазвонил телефон.

— Извини.

Он потянулся за трубкой, и мне пришлось вжаться в спинку стула. Пары мускуса и лимона снова защекотали мне ноздри, и я вцепилась пальцами в коленки. Полы рубашки Лорана разошлись, обнажив упругую розовую кожу. Я спрашивала себя, сколько продлится разговор, но тут на его лице появилось удивленное выражение.

— Да, она со мной. Переведите звонок.

Я схватила трубку, а он поудобнее устроился на стуле.

1. Толковый словарь французского языка.
2. Зевгма - сопряжение, связь. Оборот речи, в котором какое-нибудь слово, чаще всего сказуемое, которое должно быть повторено два или несколько раз, ставится один раз, а в других местах лишь подразумевается.
3. Анаколуф — литературный прием, состоящий в нарочитом нарушении синтаксических правил.

— Кто это? — спросила я, задохнувшись от волнения.

— Морис Гревисс[1].

Лоран подмигнул, и я поняла, что он шутит.

— Тьфу на тебя! — шепнула я и произнесла в трубку: — Алло.

— Анни, это я.

— Леони?

Я отвернулась к стене.

— Помешала? Номер телефона твоего издателя нашелся в Интернете, а ждать я больше не могла. Ты нашла мою цепочку?

Я вздохнула: "Пока нет, Лео". Она горестно застонала. За завтраком она повязала шею шарфиком, чтобы Гийом не заметил пропажи, но долго ломать комедию не получится. Куда же подевалась ее цепочка? Золото ведь не испаряется. Я повернулась к Лорану и знаком показала, что сейчас закруглюсь. Он упирался взглядом мне в спину, и я инстинктивно прикрылась рукой.

— Черт, Лео! — взорвалась я, пытаясь запихнуть край трусиков в джинсы. — Я перебрала фрукты в вазе, смотрела между диванными подушками и ничего не нашла, что еще я должна сделать?

— Боже, сотовый звонит. Это Пьер. Ладно, пока, но вечером проверь еще раз. Договорились? И еще, Анни: не задирай нос только потому, что у тебя скоро выйдет книга.

Она отключилась, я положила трубку.

— Зараза!

— Надеюсь, ничего страшного? — поинтересовался Лоран Вьо.

Я покривилась, а стены чулана снова содрогнулись — на этот раз кто-то прошелся прямо по нашим головам.

— Совет закончился, — прокомментировал он, убирая выбившуюся прядь волос в хвостик.

Я взглянула на часы — стрелки показывали четверть первого — и размяла затекшие плечи. Чулан успокоился, и мы вернулись к тому месту, на котором нас прервал телефонный звонок. Это был внутренний монолог Джессики.

— *Когда моя мать неожиданно перестала ходить к психотерапевту*, — прочел Лоран Вьо, — *она красиво постриглась, но, честно говоря, не помнела.*

Он выдержал паузу.

— Ты *настаиваешь* на трех наречиях?

В 13.30 он проводил меня в приемную. Коробки с забракованными рукописями исчезли. Секретарша отсутствовала, и Лоран Вьо уселся за ее стол. Он достал сигарету из кармана рубашки, постучал ею по тыльной стороне ладони и закурил.

— Ты не очень злишься?

Я повязала шарф и нахлобучила на голову капюшон.

— Мне просто показалось, что мой роман *очень даже ничего*.

Он не понял намека. Я вынула из сумки пачку сигарет, и он вскочил со своего насеста, чтобы дать мне прикурить.

— Приятно было с тобой работать.

Я сильно затянулась.

— Не стоит преувеличивать.

1. Морис Гревисс (1895—1980) — бельгийский филолог, автор популярного справочника по грамматике французского языка

Я сдала сессию. Сестра еще несколько четвергов пользовалась моим душем, а потом однажды — это было во вторник, во второй половине дня — я вернулась из университета и нашла Леони в гостиной. Она лежала, свернувшись клубочком на диване.

— Все кончено.

Днем она обедала с Пьером.

— Да что случилось?

Она так никогда мне этого и не рассказала.

"Вечеринка в саду" должна была вот-вот выйти, и меня лихорадило. Иногда я просыпалась по ночам и, не зажигая света, пыталась разрешить дилемму: так все-таки — иммунная болезнь или проблемная семья? Выбрать я не могла.

— Скажи им, что ты была беременна! — настаивала моя сестра. — Многие женщины тебе посочувствуют и купят книгу.

Иногда я вспоминала о Лоране Вьо, но мысли о нем неизбежно вызывали у меня некоторое смятение чувств. С одной стороны, я ощущала ярость, потому что он ранил мое самолюбие романистки, но с другой, не могла забыть, что нравлюсь ему и что он тоже нравился мне в первые мгновения, проведенные в его чулане.

И вот наконец майским утром, когда я вытаскивала на задний балкон маленький столик и стулья из кованого железа, в дверь квартиры позвонили.

На пороге стоял почтальон.

— Анни Бриер? Вам посылка.

В огромном желтом конверте лежали десять экземпляров "Вечеринки в саду", которые издательство "Дюфруа" обязалось прислать мне по договору. Барбекюшница с обложки не исчезла, а на глянцевой бумаге краски выглядели еще ярче. Дрожа от возбуждения, я наугад раскрыла книгу и поднесла ее к носу, чтобы вдохнуть аромат типографской краски и свежей бумаги. Признаюсь — я слегка опьянела.

Часть вторая
Сезон отпусков

Глава 4
Кейп-Код

В первые дни июня на город обрушилась жара. Я рано просыпалась и кидалась просматривать газеты. Нигде не было ни слова о "Вечеринке в саду". Софи Бланше прислала мне десять авторских экземпляров, а на следующий день сообщила, что издательство "Дюфруа" отправило штук тридцать пресс-релизов о моем романе шеф-редакторам отделов культуры всех крупных газет, радио- и телеобозревателям, собиравшимся работать в сезон отпусков. "Остается скрестить пальцы и ждать", — сказал Бернар, когда я приехала на улицу Утремон, чтобы вручить ему экземпляр "Вечеринки" с посвящением. *Бернару и Марион*, — написала я на титуле зеленой ручкой. — *С благодарностью за бесценные советы, поддержку и помощь... Ваша Анни Б.* Кот потерся усами об обрез книги: "Это нужно от-

праздновать!" – решила Марион и смешала нам прохладительные коктейли с водкой и клюквенным соком.

Вечерами я совершала долгие прогулки. Иногда меня сопровождала сестра. Мы посасывали воду прямо из горлышка, утюжа босоножками тротуары Мон-Руаяль и Сен-Дени. "Это твоя первая книга, – утешала она. – Успех не всегда приходит мгновенно". Леони обозревала витрины ювелирных лавок в поисках золотой цепочки – свою она так и не нашла. "Я сказала Гийому, что наркоши взломали мой шкафчик в спортзале. Знаешь, что самое смешное? Он поверил. Я тоже могла бы стать романисткой, точно тебе говорю".

Первую рецензию я получила от мамы.

– Это наш дом! – рявкнула она, позвонив мне вечером по телефону. – Все очень похоже! Люди будут думать, что ты списала свою банду с нас!

Я объяснила, что должна была вдохновляться каким-нибудь знакомым местом, чтобы история выглядела правдоподобной. Но я же заменила наш выкопанный в саду бассейн крытым, а Ахунтсик – виртуальным пригородом, так ведь?

– Я бы предпочла, чтобы ты поинтересовалась нашим мнением, прежде чем писать в посвящении "Моим родителям". Я тебя так разговаривать не учила! Я насчитала одиннадцать "чёрт!", восемь "ведьм", тринадцать "fuck" и два "прикида"!

– Мой герой Янник – молодой наркоман, бросивший среднюю школу после третьего дубля, как еще он может выражаться?

– Если ты задалась целью распугать клиентуру моей школы, начало положено!

Я сделала вид, что мне звонят по другой линии. "Не мать, а деспот!" – воскликнула я, разъединившись. Да что она вообще понимает в литературе! Сидит в подвале и вдалбливает ребятне, как молитву, свои *ба-бе-би-бо-бу, цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла*, а они за три месяца усваивают одно: тональное ударение делается в конце фразы!

25 июня я сослалась на мигрень и отменила семейный именинный ужин. Мы с сестрой отпраздновали мой день рождения вдвоем, в суши-ресторане на улице Амхерст, где я без всякого удовольствия ковыряла палочками салат из водорослей. Мне исполнилось двадцать четыре: время неумолимо утекало. Никого не интересовало, родилась ли трогательная пессимистка Анни Бриер в "сложной" семье и были ли у нее проблемы с иммунитетом. Такое равнодушие быстро рассеяло угрызения совести из-за того, как я обошлась с Лораном Вьо: может, его поправки лишили мой роман своеобразия? Он виноват. Я ругала себя за уступчивость и проклинала утро, проведенное в чулане для хозинвентаря. Неужели два года работы – коту под хвост, и только потому, что Анни Бриер услышала от парня комплимент своей внешности? А она-то вставляла в текст пословицы, украшала его прилагательными, и разве зевгмы и анаколуфы не выглядели барочно и поэтично?

Облако смога линялым балдахином висело над Монреалем, делая воздух непригодным к употреблению. Я по три раза на дню влезала под душ. Пыльный балкон моей квартиры превратился в парилку, я читала там Пруста и поливала свои несчастные цветы, спокойно нося траур по мечте каждого писателя об успехе первого романа. Разве не лелеем мы все надежду попасть на литературную авансцену, запечатлев на бумаге свой жалкий лепет? Несколько лет назад именно это случилось с моло-

дым Марселем Жоликёром. Его первый роман "Железная рука", вышедший в издательстве "Эгль", номинировали на Премию генерал-губернатора Канады одновременно с "Шепотами песка" Бернара. Я то и дело вздыхала, вытирая виски, лоб и затылок влажной махровой рукавицей. Время от времени мои соседи-аптекари выходили на свою половину балкона, чтобы вывесить на веревку рабочую униформу. "Здравствуйте! Мы смотрели на термометр. Сегодня +34°, и это в тени!" Когда в конце июля позвонил папа и пригласил меня провести две недели на Кейп-Коде, я даже не спросила, почему они отменили поездку на Корсику, и мгновенно собрала чемоданы.

Кондиционер в "вольво" не функционировал, зато работала стереосистема. Не успели мы переехать мост Шамплейн, как моя мать засунула в щель диск.

— Alegria...

Мама сидела, положив ноги на приборную доску, ее волосы развевались на ветру, и она во все горло распевала эту мелодию Цирка Солнца, пока мы не добрались до съезда с I-93S на Манчестер—Бостон по 89-му шоссе. Папа не выдержал и заорал:

— Сюзанна!

Мама пошарила в бардачке, зазвучали первые такты 9-й симфонии Бетховена, и она выкрикнула в ответ:

— Мог бы, между прочим, починить кондиционер до отъезда!

Я лежала на заднем сиденье, умирая от желания пописать, а потом уснула под ровное фырчанье двигателя.

На Кейп-Код папу навел один его пациент. Хозяйка, дама из Бостона, предпочитала сдавать летний домик в Южном Ярмуте на Сивью-авеню, в сорока минутах езды до мыса, знакомым знакомых. При въезде на главную улицу расположились сувенирные лавочки, торговавшие надувными матрасами-акулами и свечами в колониальном стиле, и гигантские площадки для мини-гольфа.

— А не лучше ли было поехать в Монток? — Я проснулась и высунула голову в окно, чтобы освежиться.

Монток был крошечным городком на оконечности Лонг-Айленда, где, как всем известно, обитал Великий Гэтсби. В юности родители возили нас с сестрой в это оставшееся чуть более диким место.

На наше счастье, Сивью-авеню оказалась прелестной, обсаженной густыми деревьями и гигантскими соснами улицей. По ней медленно проезжали "бьюики", катались на велосипедах дети в купальниках, а большинство двухэтажных деревянных домиков стояли посреди широких, обнесенных оградой лужаек. Сосед вручил нам ключи.

— Mrs Kerry called this morning. She wishes you welcome[1].

Под козырьком у входной двери лежал коврик из хлопка-сырца с надписью "Добро пожаловать!". Обстановка большой гостиной была, на мой вкус, слишком вычурной. Я бросила чемодан в ближайшей спальне и ринулась в ванную, где немедленно наткнулась на висевшее под стеклом предупреждение: DON'T THROW TOILET PAPER, KLEENEX OR TAMPONS IN THE TOILET. MAKE SURE THE SHOWER CURTAIN IS

1. Миссис Керри звонила сегодня утром. Она рада приветствовать вас в своем доме (*англ.*).

INSIDE THE BATHTUB BEFORE TAKING A SHOWER. ALWAYS USE THE BATHMAT IN ORDER TO KEEP THE FLOOR DRY[1].

Я опустила сиденье, задрала юбку, сняла трусики, и тут у меня возникло странное ощущение чужого присутствия; впечатление усиливала мыльница в виде улыбающегося омара с задранными вверх клешнями.

Ехать на машине на пляж не имело никакого смысла. Мы прошли метров сто по Сивью-авеню, пересекли стоянку перед мотелем, взобрались на дюну с несколькими павильончиками и оказались на песчаном берегу. "Это тебе не Корсика, Реджин!" — бросила мама, открывая солнечный зонтик. Папа что-то невнятно пробормотал в ответ, и мы бросились бежать сломя голову. Песок был с мелкими камушками, под ногами хрустели высохшие черные водоросли, на пляже, у киосков с мороженым, шумели люди, но солнце сияло, море было спокойным, а вода прохладной.

Надышавшись соленым воздухом, мы устраивали себе после обеда сиесту. Вечером мы часто ужинали в рыбном ресторане: параллельно пересекавшему весь мыс шоссе прорыли канал и поставили там на приколе старый пароход, переоборудовав палубу под зал. Если идти никуда не хотелось, я помогала маме приготовить еду, пока папа, лежа на диване в гостиной, листал стоматологические журналы.

— Помой салат!

— Накрой стол под верандой!

— Сходи за отцом!

Мама отдавала приказы, а я их исполняла. Однажды после обеда мы поехали за покупками. Стоянка возле магазина была забита, и маме пришлось припарковаться во втором ряду.

— Возьми три бутылки розового, — велела она, выдав мне несколько купюр.

Когда я выложила деньги на прилавок, кассир с волосатыми ушами оценивающе оглядел меня с головы до ног. "Старая свинья", — подумала я. "ID"[2], — бросил он. Я показала ему страховое медицинское свидетельство, на что он ответил, что иностранцы могут предъявлять только паспорт. *Таков закон!* Мама начала нетерпеливо сигналить со стоянки, и я занервничала. *Черт возьми, сэр! Мне двадцать четыре!* Я помахала у него перед носом правами и студенческим билетом Университета Макгилл, он сдался, но, когда я наконец села в машину, вид у мамы был предельно раздраженный.

— Извини... — Я сочла за лучшее объясниться. — Мне попался продавец-фарисей.

Фа-ри-сей: правда, красивое слово? Мама пулей вылетела со стоянки, едва не протаранив выезжавший задом мини-"гольф-парадиз-айленд". It's "Family Fun"[3].

— Пристегнись! — прошипела она, погудев несчастному. — И верни мне сдачу, отец достаточно тебя балует!

— Есть!

1. НЕ БРОСАЙТЕ В УНИТАЗ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ, САЛФЕТКИ И ТАМПОНЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНИМАТЬ ДУШ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАНАВЕСКА ОТ ДУША НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ВАННЫ. ВСЕГДА СОДЕРЖИТЕ КОВРИК СУХИМ, ЧТОБЫ НЕ ЗАМОЧИТЬ ПОЛ (*англ.*).

2. Удостоверение личности (*сокр. англ.*).

3. Ну прямо "Забавная семейка" (юмористическая телепередача).

Я решила успокоить маму, прояснив ситуацию: мол, два-три года можешь спать спокойно, я должна "накачать мускулы", прежде чем браться за второй роман, но она уже зарулила на другую стоянку и снова выдала мне деньги:

– Спелые помидоры и огурцы!

Леони и Гийом должны были приехать на Кейп-Код на второй уик-энд. Леони могла бы уехать вместе с нами, но в пятницу вечером у Гийома матч по бейсболу в Монреале. "Нехорошо оставлять его одного на целую неделю, – сказала мне сестра накануне отъезда. – Он только что купил мне новую цепочку. Мы переедем к родителям и попользуемся бассейном".

В субботу утром кто-то хлопнул дверью комнаты, раздернул шторы и прыгнул ко мне в кровать. Солнце слепило глаза, и я прикрыла лицо подушкой.

– Анни, угадай, что я тебе скажу!

– Черт, Лео, я сплю.

– "*Не в моем дворе*", – произнесла она торжественным тоном. – *Эрве Юдон. Известно ли вам лучшее средство от доставшей всех нас жары? Конечно, литературная новинка! Первый роман Анни Бриер "Вечеринка в саду", одно из немногих изданий, выпущенных в этом сезоне издательством "Дюффруа", предлагает нам свежий взгляд на жизнь.*

Я отшвырнула подушку на пол и приподнялась на локтях. Мне показалось, что Леони держит в руках газету, но я схватила со столика очки и водрузила их на нос – так, на всякий случай.

– Что это?

Я потянула газету к себе.

По пятницам Эрве Юдон писал литературную колонку для "Прессы". В другие дни он обозревал театр, кино, балет и изобразительное искусство. Леони сдвинула дымчатые очки, подмигнула мне, хихикнула, потом вырвала у меня газету и начала читать поставленным, как у дикторши из теленовостей, голосом:

– *В одном из монреальских пригородов собираются на барбекю у бассейна две семьи. Ситуация самая обычная, даже банальная, но уже первые строки романа позволяют читателю предугадать готовящуюся драму. Пятидесятилетний офтальмолог Эмиль Форже мечтает, чтобы крокетные воротца на его участке превратились в противопехотные мины под ногами у его близких. Бедняга жаждет изменить свою жизнь, и причин для этого у него предостаточно. Его жена Матильда недавно увлеклась Лакисом Дуидисом – она встретила этого греческого поэта на вечере в муниципальной библиотеке. Его сын Янник бросил школу и уже несколько лет болтается по улицам метрополии в мотоциклетном шлеме и кожаной куртке с гербами и нашивками. У Янника темные круги под глазами, он не способен жить в окружающем его обществе и то и дело запирается у себя в комнате, где курит травку. Развеет ли визит Ланжевенов, бывших соседей Форже, тяжелую атмосферу в доме? Легко догадаться, что нет. Жильбер Ланжевен – мрачный брюзга, бывший алкоголик.*

Всякий раз, когда ему протягивали стакан, пишет Бриер, он отказывался, яростно кусая щеки, чтобы не поддаться искушению.

Увидев в гостиной Форже телевизор, Лиза Ланжевен внезапно опознает в нем свой собственный – тот самый телевизор, что грабители вынесли из ее дома пять лет назад, когда они путешествовали по Испании! Лиза немедленно ре-

шает обвинить в краже Янника, но обнаруживает его в пикантной ситуации со своей дочерью Джессикой, четырнадцатилетней анорексичкой, которая то и дело бегает в ванную поблевать. Напряжение нарастает. Пока Лиза и Матильда вразумляют подростков, а Жильбер опустошает бар Форже в гостиной, впавший в безумие Эмиль взрывает во дворе барбекюшницу.

– Зачем он так нагнетает?

– *"Вечеринка в саду" – семейная сага, "черный роман", его персонажи все время ищут себя, но так и не находят...* – И ля-ля-ля, и бум-бум-бум, тут он впадает в философию... – *Но разве не такова ежедневная драма каждого из нас? В своем первом романе Анни Бриер не до конца передала всю глубину отчаяния человеческих существ (к сожалению, некоторые коллизии слишком схематичны!), но продемонстрировала свой, неизбитый взгляд на чувства и характеры людей. Тон автора грешит некоторым простодушием и наивностью, но "Вечеринка в саду" счастливо избежала многих недостатков, свойственных начинающим писателям. Бриер не злоупотребляет наречиями и прилагательными, не путается в согласовании времен, не манерничает в диалогах и не ставит лишних знаков препинания. Бриер экономна в изобразительных приемах, у нее твердая рука мастера и большое будущее на литературной стезе. Вам остается одно – купить новинку... и вентилятор, если вы еще этого не сделали! NB. В следующий раз мы встретимся с читателями в конце августа...* – Дальше пустой треп, он уезжает в отпуск в Португалию.

Сестра заявила, что Эрве Юдон расщедрился на три с половиной звезды – между "хорошо" и "очень хорошо". Потом она спросила, где в этом доме ванная, и оставила меня наедине с газетой.

– Ух, зараза! – выдохнула я, пересчитывая звезды внизу страницы.

Мне было стыдно, но я перечитала статью. "Ты полная дура!" – сказала я себе, вспомнив, как вела себя в чулане, как уничтожала его взглядом, когда он дал мне прикурить, и как еще вчера думала о нем всякие гадости. Не внеси Лоран Вьо сотни изменений в мой роман, Эрве Юдон, скорее всего, отвел бы ему в обзоре одну строчку, обозвав выдрючиванием начинающей. А может, даже наградил бы "Вечеринку в саду" пылинкой звезды с четвертью. "Ну, зараза!" – повторяла я себе. Через два месяца после выхода книги кто-то наконец обратил на нее внимание, но получается, что я вроде как и ни при чем? Тот еще триумф.

– Почему у тебя такое лицо? – спросила Леони, залезая в кровать. – Я предупреждала: *Анни Бриер* на бумаге выглядит скучно!

Я положила газету на живот и вздохнула. Леони грызла свою новую золотую цепочку. Она была как две капли воды похожа на первую.

– Ну что, подашь мне завтрак в постель ради первого дня? Мы с Гийомом решили завести ребенка, и я должна правильно питаться.

Я кивнула на табличку на ночном столике: DON'T BRING FOOD OR BEVERAGES INTO THE BEDROOMS[1]. Леони вздохнула и окинула взглядом залитую солнцем комнату. Обстановка была спартанская: кровать, комод с тремя ящиками да коллаж из пыльных сухоцветов на стене.

– "Третий мир" глазами Марты Стюарт[2]!

– Ты действительно хочешь ребенка?

– Почему бы и нет? Делай я карьеру, отложила бы размножение "на потом", но теперь... Я бросила пить таблетки.

1. НЕ ПРИНОСИТЕ ЕДУ И НАПИТКИ В СПАЛЬНИ (*англ.*).
2. Известная американская телеведущая.

— А с Пьером вы больше не встречаетесь, даже на работе?

— Тсс! — Сестра кивнула на стену, за которой спал Гийом.

В доме было тихо и спокойно, и она продолжила шепотом:

— Мне удалось спихнуть его досье коллеге. Она предупреждает меня о каждом его приходе, и я отсиживаюсь в сортире.

— Живешь как в шпионском боевике?

— Судя по сообщениям, которые он оставляет на голосовой почте, это скорее психомелодрама.

Мы пошли готовить завтрак. Через четверть часа запах кофе, яичницы и тостов вытащил из постелей остальных членов семьи. Гийом провел за рулем всю ночь, но был очень мил в боксерских шортах и майке. Он подошел к плите, где я под бдительным маминым оком взбивала яйца.

— Не так! Возьми венчик, Анни, венчик, тебе говорят!

Шурин крепкой ладонью взлохматил мне волосы и поздравил со статьей Эрве Юдона.

— Впервые в жизни читал рецензию на книгу! И попал сразу на твою.

Я поправила прическу и чмокнула его в щеку.

После завтрака, когда мы впятером сидели вокруг стола на веранде и обсуждали, куда лучше поехать, на Нантакет[1] или на Мартас-Винъярд[2], мама небрежно поинтересовалась:

— Так что там за рецензия?

Она переводила взгляд зеленых глаз с меня на Леони, с Леони на Гийома и обратно, как будто подозревала, что мы готовим какую-нибудь каверзу.

— Ну давай, неси! — скомандовала Леони.

Прошло минут семь или восемь, но моя мать все еще делала вид, что читает колонку Эрве Юдона. Я собрала со стола крошки и высыпала их в свою тарелку.

— Хорошо, — наконец едва слышно произнесла мама и передала тетрадку "Искусство" отцу.

Не глядя на меня, она сделала глоток кофе. Папа читал Эрве Юдона и улыбался, а потом сказал, что гордится моими звездами и насладится "Вечеринкой в саду", как только закончит обзор прессы для интернетовского сайта Ордена дантистов.

— Ну конечно! — фыркнула моя сестра.

Она попрекнула отца посвящением, сказав, что, раз его имя фигурирует на обложке, мог бы уже и прочитать. Папа взглядом попросил у меня поддержки, но я два месяца воздерживалась от комментариев и согласно покивала, округлив глаза.

— Это как с моей премьерой "Береники", — мстительным тоном напомнила Леони. — Ты уже во втором акте захрапел!

Папа вылил остатки кофе в розовую фарфоровую чашку.

— Оставим судилище до другого раза, идет? Это вчерашняя газета?

Он пролистал газетную тетрадку от первой до последней страницы и спросил Гийома: "А где остальное?" Всю неделю отец жаловался, что местные газеты не публикуют курса акций Канадской биржи. Мама начала убирать со стола, а Гийом отправился через веранду в гараж. Гравий дорожки хрустнул у него под ногами, из кустов с недовольным ще-

1. Остров китобоев и нуворишей.
2. Остров в 23 милях к западу от побережья.

бетом выпорхнули птицы. Хлопнула дверца машины, и Гийом вернулся с газетой. Папа отыскал "Экономику" и нетерпеливо выдернул ее из середины, бросив остальное посреди стола. На первой странице красовался заголовок: "Пожар во владении Жан-Шарля Лакасса: у дознавателей по-прежнему нет версий".

– Ни фига себе! – выругалась я сквозь зубы, потянув к себе газету. – Что еще я пропустила?

– Полегче! – призвала из кухни мама.

– Я учусь с его сыном!

– И не знала, что их дворец на Мон-Руаяль сгорел дотла в прошлый понедельник? – поразилась Леони.

Я напомнила, что уже неделю, с субботы, расслабляюсь в Массачусетсе. Сестра состроила мне рожу.

– И то верно. Поторапливайся, я иду надевать купальник!

Пока папа, шевеля губами, изучал биржевые сводки, я уселась в кресло-качалку, чтобы прочесть передовицу. Статья занимала половину первой полосы. Сначала перечислялись факты: пожар во владении Жан-Шарля Лакасса начался в ночь с субботы на воскресенье, около часа, на место приехало больше ста пожарников, огонь уничтожил почти все, к счастью, людей в доме не было, а пожарный, которого доставили в больницу – ему на спину упала деревянная балка, – получил отпуск. Дальше шли комментарии членов семейства Лакасс – все они находились на своей гваделупской вилле на острове Сен-Мартен. Господин Лакасс-старший высказывал серьезные сомнения насчет версии поджога. "Я всегда очень аккуратно вел свои дела. 'Сырам Лакасс' никто никогда не угрожал". Третья жена Жан-Шарля Лакасса, бывшая топ-модель, чью фотографию я видела в "желтом" журнальчике в парикмахерском салоне, сокрушалась, что пожар случился в такой неподходящий момент. Ее дочь от первого брака, прима-балерина нью-йоркского балета, несколько месяцев назад получила травму колена, катаясь на лыжах в Аспене. "Этой осенью Ким возвращается в Монреаль. Мы хотели бы поселить ее в своем доме, но сколько времени уйдет на восстановление?" Юбер Лакасс – его слова приводились в самом конце – заявлял, что произошло чудо. "Я сейчас вношу окончательную правку в мой первый роман и оставил компьютер в Монреале, а с собой взял ноутбук. Следователи сообщили, что сгорело абсолютно все, и я благословляю небо за то, что прихватил на Сен-Мартен дискеты. По правде говоря, я, как и герой моего романа 'По ком звонит кол?', атеист, но на сей раз искренне благодарю Господа!"

– Он благодарит Господа, вот ведь придурок! – съязвила я. Леони за руку потащила меня переодеваться. – Он и пожар использовал для рекламы своего романа. Да в университете хранятся две или три копии его работы!

Впрочем, рецензия на "Вечеринку в саду" занимала половину страницы E 8 "Прессы", и три строчки саморекламы Юбера Лакасса на странице A1 не могли испортить мне день.

Родители решили проехаться в Провинстаун и по дороге забросили нас на пляж. Леони намазалась кремом для загара и погрузилась в чтение последнего номера "Мадемуазель", не выпуская изо рта золотую цепочку. Гийом заснул рядом с ней, прикрыв лицо бейсболкой, а тело – простыней в цветочек, которую прихватил из дома, наплевав на висевшее в шка-

фу DON'T BRING ARTICLES FROM THE HOUSE TO THE BEACH[1]. Я открыла второй том Пруста, перевернула десять страниц, не поняв ни строчки, убрала его в сумку и взялась за газету. Я дважды перечитала рецензию Эрве Юдона, пропуская через пальцы обжигающий песок, пока на ладони не остались только высохшие травинки водорослей. В груди у меня что-то сжалось. Я приподнялась на локтях и закурила, устремив взор к горизонту. По берегу прогуливались толстые мужчины и женщины, дети носились по пляжу с огромными глянцевыми пакетами чипсов, море лизало песок и сливалось с небом. Любуясь синевой небосвода, я вспоминала, как Лоран Вьо вошел в кабинет Софи Бланше с гранками первого тома "Новой иллюстрированной истории коренных народов": "Не найдется и трех дураков, которые это купят!" Потом, у стойки кафе, залитого утренним светом, он произнес: "Специальный тост с сыром и пакет, пожалуйста". В своем чуланчике он раздраженно бросил: "Это же твоя первая книга", а потом долго молча пялился на мою задницу, пытаясь разглядеть трусики. Прощался он со мной в пустой приемной издательства "Дюфруа" — наклонился, давая прикурить, и сказал: "Приятно было с тобой работать". Я понимала, что вела себя с ним не слишком вежливо, но вспомнила испачканные красной пастой руки и перестала драматизировать ситуацию: даже учение Христа сначала перевирали, отрицали и критиковали! Многие так поступали и до меня — с куда более разрушительными последствиями. "Она хорошенькая. Да и роман ничего". Если постараюсь, наверняка без особого труда снова завоюю сердце редактора издательства "Дюфруа".

Я закопала в песок окурок и принялась тормошить Гийома.

— Эй, проснись на минутку. Предположим, тебе нравится девушка. При встрече она ведет себя не слишком любезно, потому что ты ее достаешь. Не слишком любезно, но и не совсем безразлично. В один прекрасный день девушка осознает, что должна тебя поблагодарить — за то же самое, из-за чего ты ее раздражал, знаю, это выглядит по-идиотски, но это так. Что бы ты хотел получить от нее в подарок? Бутылку вина? Галстук?

Гийом потер глаза и попросил повторить вопрос. Он слушал внимательно, вытянув волосатые ноги на песке.

— Если девушка мне нравится, я бы хотел получить что-нибудь пооригинальней.

Он зашнуровал красные кроссовки и поинтересовался, будем ли мы бегать: "Мне нужно быть в форме к следующему матчу". Мы с сестрой дружно отказались. Гийом обозвал нас лентяйками и вышел на берег, затерявшись среди зонтиков, песчаных замков, будок с мороженым и купальщиков.

— Зачем ты забиваешь ему голову? — воскликнула Леони, шлепнув меня журналом по затылку. — Не хватает только, чтобы он кого-нибудь подцепил, теперь, когда я бросила Пьера!

Мы снова намазались кремом, я надела соломенную шляпу и рассказала ей свою историю.

В половине пятого мы приплелись домой. Родители уже вернулись из Провинстауна и пили на веранде кир. В гостиной бушевала "Alegria".

1. НЕ УНОСИТЕ ВЕЩИ ИЗ ДОМА НА ПЛЯЖ (*англ.*).

Я положила кусок газеты с рецензией на край буфета, а мокрое полотенце повесила сушиться на спинку стула в кухне.

— Что едим? — спросила Леони, вытряхивая песок из сандалий. — Яйца давно переварены, на таком пайке крепкие дети не получатся!

— Примите душ и одевайтесь, — ответила мама.

В плавучем ресторане обед подавали между четырьмя и шестью, для *ранних пташек.*

— Ранние пташки? — переспросил Гийом.

Отец поднял глаза от "Вечеринки в саду" — он читал, сидя в кресле-качалке.

— Местные жители, — пояснил он, послюнявил палец, перевернул страницу и подмигнул мне. — Я держал ее в багажнике "вольво". И правда смахивает на нашу семью.

— Вовсе нет.

— Все, кроме бассейна.

Леони и Гийом заняли ванную, я решила приготовить себе кир и взяла белое вино из ведра со льдом.

— Я сейчас тебе все сделаю, деточка, — прощебетала мама, вырывая у меня бутылку. — Сиропа побольше или поменьше?

Неужто мне придется благодарить Лорана Вьо еще и за то, что он помирил нас с мамой?

— Средне.

— Alegrrrrrrria, поклянись, что ни ты, ни твоя сестра никогда не вызывали у себя рвоту, как Джессика, чтобы похудеть. Я этого не переживу.

В комнату ворвалась Леони. Сестра обернула вокруг тела цветастое полотенце, лицо у нее было красное, и она отчаянно размахивала руками.

— Унитаз засорился!

— Ты бросила туда бумагу?

— Да, а что?

Папа уронил мой роман на пол, даже не заложив страницу. Мы перевернули вверх дном весь дом в поисках вантуза, ведра и тряпки. Придя вечером в плавучий ресторан, мы не застали там ни одной *ранней пташки* из местных.

Глава 5
Осенний коктейль

Что делает писателя гением?

В университете каждый преподаватель знал ответ на этот вопрос. Один, приверженец марксистской эстетики, говорил: чтобы быть гением, писатель должен уметь "максимально связно донести до читателя видение мира той или другой социальной группы через литературный вымысел". Другой, старый эрудит с трясущимися губами, утверждал, что гениальный писатель способен достичь "возвышенного, которое есть отзвук величия души". Третья, молодая почасовичка, сторонница деструкции, боровшаяся против засилья патриархата в университете, заявляла, что нет ни писателей, ни гениев, но только сюжеты, "создаваемые внутри властных структур самими этими структурами".

Ладно, говорила я себе, не без труда припоминая эти определения. Но предположим, что в один прекрасный день некий ученый получит

грант на какое-нибудь исследование типа: "Псевдокритика литературных коктейлей". Неужели он выдвинет такую вот гипотезу: писатель — гений, если единственное, что его волнует, это как привлечь к себе внимание официантов, черт бы их всех побрал! И неважно, что рядом с ним на сцене Овальной гостиной отеля "Ритц-Карлтон" стоит рассыпающаяся в похвалах издательша, а пестрая толпа бурно аплодирует.

Во всяком случае, поскольку мне всегда говорили о Марселе Жоликёре исключительно в превосходных тонах, я ни секунды не сомневалась, что он гений. "Надо же!" — воскликнула я, узнав в поднимавшемся на сцену человеке Марселя Жоликёра. Я решила, что Марсель, с которым скандалила по телефону Софи Бланше утром в день моего первого визита в издательство "Дюфруа", и есть тот самый мятежный вундеркинд бомжеватого вида — грубые сапоги, драные джинсы, рубашка с оторванными рукавами и длинные патлы, — который восемь лет назад, после невероятного успеха своего первого романа "Железная рука", вышедшего в издательстве "Эгль", не отступил от своих высоких политических принципов и открыто наплевал на единогласно присужденную ему Премию генерал-губернатора. А еще я совершенно отчетливо понимала, что Марсель Жоликёр, несмотря на прессинг со стороны нового издателя, так и не закончил второй роман, иначе с чего бы это Софи Бланше, надевшая на коктейль платье из лимонно-желтого муслина с заниженной талией, ограничилась представлением переиздания "Железной руки" карманного формата в серии "Классики современности"?

Следующим номером ее программы стало объявление о выходе второго тома "Новой иллюстрированной истории коренных народов", и на сцену поднялись два великана с вплетенными в косички перьями, в длинных замшевых плащах с бахромой.

— А где же ковбои? — язвительно поинтересовался мужчина в полукруглых очках.

Облаченная в серый костюм мадам Венн, раздававшая приглашенным новый каталог издательства, расстреляла его взглядом, укоризненно покачав пуделиной башкой: "Шш-шш-шш!"

Все это время Марсель Жоликёр, прятавшийся за спинами двух полномочных представителей племени аттикамек, пытался жестами привлечь внимание официантов. По залу пронеслись сдавленные смешки и перешептывания. "Прошу внимания!" — призвала Софи Бланше, стараясь скрыть нетерпение. Марион тоже стояла на сцене: в прошедшем сезоне она проиллюстрировала у "Дюфруа" две детские книжки. На ней была красная кофта с капюшоном, узкие кремовые капри и белая шаль, в одной руке она держала стакан, другую прятала за спиной. Когда Софи Бланше второй раз призвала зал к порядку, Марион незаметным движением передала свой стакан умиравшему от жажды гению. Марсель Жоликёр бросился на колени и обцеловал ей руку до самого локтя. Смешки перешли в хохот. Марион тоже подавилась смехом и нежно, как гладят верного пса, взъерошила Марселю длинные патлы. Софи Бланше что-то им крикнула, но слов, к сожалению, никто не разобрал: она предусмотрительно прикрыла микрофон ладонями.

Черное платье, которое я купила накануне, поддавшись на уговоры Леони, обтягивало мне попку. Я с любопытством наблюдала за происходившим на сцене фарсом.

— Жоликёр! — пробурчал Бернар. — Несчастный кретин! Никогда не просыхает.

Мы стояли у бара при входе в Овальную гостиную, рядом с роскошными зеркальными дверями. Я поставила пустой стакан на стойку и подумала, что мастер впервые позволил себе в моем присутствии комментарий в адрес ныне здравствующего писателя. "Хемингуэй вовсе не считал себя куском дерьма". "Вирджиния Вулф называла Джойса омерзительным студентиком, расчесывающим свои прыщи". "Кафка, как и Кьеркегор, отказался от брака". На семинарах по литмастерству Бернар никогда не заходил дальше. Но теперь, когда с его помощью моя первая книга увидела свет и мы стали встречаться на коктейлях, не было ничего удивительного в том, что Бернар делится со мной последними сплетнями. Да и вообще, присутствовать на светском мероприятии, где никто ни о ком не злословит, так же скучно, как смотреть фильм без звука.

На сцене Марсель Жоликёр вернулся наконец на свое место, и Софи Бланше продолжила:

— Издательство "Дюфруа" с гордостью сообщает, что в этом году мы будем участвовать в организации продовольственной помощи району Ошелага-Мезоннёв[1], и в связи с этим приглашаем наших авторов присылать кулинарные рецепты для коллективного сборника. Деньги будут направлены на счет благотворительной организации, которая каждый день протягивает руку помощи самым неимущим гражданам.

Бернар взял со стойки бокал с красным вином и знаком попросил бармена приготовить мне порцию джина с тоником. Потом он рывком ослабил узел галстука, спустив его до третьей пуговицы лиловой хлопковой рубашки. Бернар вспотел, под мышками на ткани темнели круги.

— Я так и не понял, почему "Железная рука" вызвала такой фурор. Между нами, роман-то из рук вон плох.

В его голосе прозвучала злобная враждебность. "Сцена ревности?" — спросила я себя, принимая из рук бармена стакан. Марсель Жоликёр был примерно одних лет с Марион и к сорока годам успел прославиться. А Бернар несколько минут назад признался, что артрит в запястьях помешал ему этим летом играть в теннис. Кроме того, несмотря на нелепую позу вечного бунтовщика и дикие лохмотья вместо приличных тряпок, Марсель Жоликёр *отказался* от Премии генерал-губернатора, а Бернар, штатный преподаватель крупного университета, носил брюки с безупречной стрелкой, раз в месяц ходил к парикмахеру, но наверняка *принял* бы награду, если бы ему ее присудили. Все это делало Марселя Жоликёра в моих глазах соперником Бернара, к тому же характер моего мастера был таким же мрачным, как у его альтер эго в "Шепотах песка": тот и помыслить не мог, что уставшая от пустых обещаний молодая любовница изменит ему.

Неожиданно какой-то усатый толстяк встал прямо передо мной, видимо, считая себя человеком-невидимкой. Я вздохнула и поднялась на цыпочки.

— А кто стоит за спиной у Софи Бланше?

1. Поль Мезоннёв — основатель Монреаля. Его именем назван один из кварталов, но при этом сохранено и прежнее — аборигенское — название: Ошелага.

— Это мсье Дюфруа, — сообщил Бернар. — Я говорил, что мы вместе учились в классической гимназии?

Его голос прозвучал очень спокойно. Я кивнула и вытянула шею, чтобы получше разглядеть основателя издательского дома. Приземистый, как обезьяна, и лысый, как коленка, мсье Дюфруа стоял совершенно неподвижно, засунув руки в карманы коричневого пиджака, и сурово смотрел вдаль. Я решила, что он прикидывает, во что ему обойдется этот шикарный прием.

Приглашенных было человек двести, и официанты уже час обносили нас тяжелыми серебряными блюдами с восхитительными крошечными пирожками. "Копченая семга с земляникой", "слоеные корзиночки с молодым шпинатом и рокфором", "боккончини с пюре из манго", "яйца 'мимоза' с икрой", "запеченные креветки", — завывали официанты в белых перчатках и черных бабочках, подставляя блюда гостям. Плюс спиртное, от которого у меня уже начала кружиться голова. Спору нет, кое-кто из присутствовавших в зале авторов — я думала о тех, чьи книги фигурировали в списках бестселлеров, — имели законное право набивать брюхо до отвала. Моя же "Вечеринка в саду", несмотря на щедрые три с половиной звезды Эрве Юдона, пока в этих списках не появлялась, разве что на самых последних позициях. Впрочем, вернувшись с каникул, я нашла на автоответчике следующее послание: "Алло, добрый день. Это Анни Бриер, писательница? Надеюсь, что набрал верный номер: мне дали его в справочной. Меня зовут Жослен Монетт, я режиссер, возможно, мое имя вам знакомо? Итак. Моя жена на днях купила вашу 'Вечеринку в саду': мы устраивали прием в шале, и она решила, что найдет в книге рецепты для барбекю. Я ее прочел, у меня возникла идея экранизации. Сегодня вечером я отправляюсь в Мексику и перезвоню вам, как только вернусь. В романе что-то есть, нам нужно встретиться". С тех пор прошло больше двух недель, этот господин не объявлялся, но я не слишком расстраивалась. Дени Аркана[1] я знала, но Жослена Монетта? Нет.

— Устрицы "рокфеллер", — шепнул нам с Бернаром официант.

Моллюски покоились в центре перламутровых раковин под золотистой корочкой из поджаренного пармезана, в середину была воткнута веточка петрушки с листочками в форме сердечка. Пахли они умопомрачительно, и усатый толстяк, заслонивший мне сцену, обернулся так стремительно, что заехал локтем по моему стакану и несколько капель ледяной жидкости попали на воротник платья. Я хмуро зыркнула на багроволицего хама, но он и не подумал извиниться, складывая раковины в пухлую ладонь. Я взяла у Бернара салфетку, чтобы промокнуть платье.

Софи Бланше закончила свою речь, и зал снова взорвался аплодисментами. Я обвела взглядом толпу, опустилась на пятки, одним глотком допила джин и простилась с Бернаром.

— Мы с Марион здесь не задержимся. Тебя подвезти?

— Очень мило с твоей стороны, но мне нужно кое-кого найти.

Мы расцеловались, и я ушла.

К потолку поднимались клубы сигаретного дыма, но зал оставался невозможно красивым. Угасающий вечерний свет первого сентябрь-

1. Дени Аркан (р. 1941) — канадский режиссер и сценарист ("Закат американской империи", "Иисус из Монреаля", "Нашествие варваров").

ского понедельника проникал через белый тюль и бархатные лиловые шторы на окнах и мягко отражался от стен цвета шампанского. Висевшая на розетке в центре потолка хрустальная люстра сияла, рассыпаясь бриллиантовым светом. Женщина во фраке села за стоявший на сцене рояль, к потолку взлетело несколько нот, но мелодию из-за гула голосов разобрать было невозможно.

"Простите! Осторожно! Ой! Извините! Сожалею! Прошу прощения!" – бормотала я, пробираясь через толпу, от которой пахло слишком терпкими духами и потом.

Я добралась до застекленных дверей, за которым находились Сады "Ритца". Отдышалась, пригладила волосы и одернула платье, съехавшее на сторону в схватке с толпой. Приведя себя в порядок, я обогнула несколько столиков и направилась к последнему, за которым сидел (вернее будет сказать – развалился), взгромоздив длинные ноги на стул и заложив руки за голову, одетый в белые джинсы и рубаху из неотбеленного льна Лоран Вьо. Он смотрел в потолок и мыслями был где-то далеко.

На Кейп-Коде я много раз воображала себе эту сцену. Сначала я думала, что позвоню Лорану Вьо на работу и договорюсь о встрече. Но после возвращения в Монреаль мне прислали приглашение из издательства, и я решила, что на шумном коктейле наша встреча получится более естественной, произойдет как бы по воле случая.

– Добрый вечер, мсье.

Лоран Вьо оглядел меня, улыбнулся, снял ноги со стула и даже стряхнул с него пыль. Я закурила, сделала несколько шагов, покачивая бедрами, как меня учила Леони, и села напротив него.

– Почему ты забился в угол и кукуешь тут в одиночестве?

– А почему бы и нет? – ответил он, чиркая спичкой.

Только тут я поняла, что плохо затянулась и сигарета не горит, но не подала виду, вытянула шею и прикурила, не сводя с него глаз. Волосы красиво обрамляли лицо Лорана, в пламени спички зеленые глаза казались почти желтыми. "Дела идут?" – спросила я, вдохнув дым. Он задул спичку и ответил, что у меня чудный загар.

– Я была на Кейп-Коде.

Я подвинула к нему по столу пакетик из глянцевой бумаги, обклеенный зеленой шелковой бумагой, который таскала с собой в течение всего приема.

– Кстати, я привезла тебе подарок. – Лоран взял пакетик – руки у него были испачканы чем-то красным, – а я добавила: – В благодарность за ту историю с наречиями, прилагательными, анаколуфами и всеми прочими "бух", "хлоп!" и "трах!". Эрве Юдон дал мне за них три с половиной звезды.

Я смотрела на Лорана, пока тот изучал этикетку.

– Я очень тронут, – произнес он наконец и убрал подарок – "Salt Water Taffy"[1] – в валявшийся на полу черный портфель из кожзаменителя.

Я провела языком по зубам, затушила сигарету и вытерла потные ладони о платье.

1. Особый вид леденцов, изготовляемых на основе воды из озера Солт-Лейк.

— Надеюсь, ты не диабетик?

— Да нет, что ты.

Лоран подозвал стоявшего неподалеку официанта и взял с подноса два бокала белого вина.

— Все бывает. У меня, например, аллергия на вишню.

Шум голосов не утихал. Мы с Лораном Вьо сидели на отшибе, пили вино и курили. Он родился в Труа-Ривьер, его родители всю жизнь преподавали в колледже общего и профессионального образования и недавно вышли на пенсию. Он был членом национальной сборной по плаванию. В двадцать один год переехал в метрополию, чтобы изучать в Монреальском университете французскую литературу, где позже начал готовиться к поступлению в магистратуру. Когда Софи Бланше позвала его с собой в "Дюфруа", он плюнул на экзамены: надоело вечно влезать в долги, чтобы платить за обучение, и горбатиться четыре вечера в неделю в "Круассантри", в этом "кафе для слабоумных" на улице Фермон. Я перебила Лорана:

— А о чем было твое исследование?

Я думала, он выдаст какое-нибудь заумное название, связанное с его нынешней работой. Основание Французской академии, лексикология, словарь Фюретьер. Лоран Вьо скорчил рожу.

— Я был записан в семинар по литературному мастерству. Писал роман.

— Как я в Макгилле! Ты так и не закончил?

Он ответил, что пытался вернуться к роману "поэтапно", но, проводя время на работе за чтением, перечитыванием и доведением до ума чужих книг, просто не способен, приходя домой, заниматься собственным творчеством.

— Моя работа выхолащивает мозги.

— Вот как! А меня этим летом доставала моя собственная мать.

Он снова окинул меня взглядом, покусывая губы. Я обмахнула лицо и затылок сумочкой.

— Думаю, это не одно и то же.

Музыка смолкла, пианистка захлопнула крышку рояля, спустилась со сцены и присоединилась к курившим на террасе Садов официантам. Бармены за стойкой с оглушающим грохотом убирали бутылки и стаканы, работали они проворно, как на конкурсе. Гости потянулись на выход к зеркальным дверям. Софи Бланше заметила нас с Лораном и так стремительно покинула аборигенскую делегацию, что в воздух взлетело несколько перышек из их косичек.

— Милые мои, — пропела она, — идете в ресторан?

Она взмахнула руками, словно призывая нас поторопиться. Появился почесывающий промежность Марсель Жоликёр.

— Чертовы английские аристократишки! Они больше не желают мне наливать.

Марсель попросил у Лорана сигарету.

— Спокойно, котеночек, мы идем в кабак.

— Страна англопедиков!

Софи Бланше и Марсель Жоликёр направились к выходу. Лоран Вьо поднял с пола свой черный портфель и встал. "Идем", — сказал он. Мы проследовали через пальмовый дворик в забитый людьми холл гостиницы. Мсье Дюфруа помахал Софи Бланше и Марселю Жоликёру,

Лоран Вьо извинился и пошел к роскошной лестнице с позолоченными стойками перил — там находились туалетные комнаты.

Глядя ему вслед, я думала, уж не разонравилась ли ему. Он говорил со мной только о себе, не задал практически ни одного вопроса. Я вспомнила "Salt Water Taffy": подарок, конечно, оригинальный, но, может, чуточку старомодный? Если не считать нескольких оценивающих взглядов, Лоран инициативы не проявлял. Неужели издательство "Дюфруа" опубликовало в этом сезоне роман другой молодой авторши и она привлекла к себе внимание Лорана? Как знать. Я подошла к столу, где среди пустых стаканов и пепельниц с горой окурков валялись осенние каталоги "Дюфруа", взяла наименее захватанный и начала пролистывать. На каждой глянцевой странице рядом с короткими аннотациями красовались черно-белые фотографии авторов. У некоторых был вид только-только вышедших из концлагеря мучеников, другие напоминали лишенных сладкого капризуль. Кое-кто, конечно, улыбался, по преимуществу авторы книг для детей и юношества. Но главным было другое: все они явно могли вспомнить, что именно ели в тот день, когда первый землянин высадился на Луне.

— Псст! Псст!

Я подпрыгнула от неожиданности. Юбер Лакасс подавал мне знаки, "жестикулируя" бровями. Бермуды в докерском стиле, тощие ноги, темные очки на макушке, прижатый к щеке мобильник — красавец, нечего сказать!

— Юбер?

Он закрыл телефон, обнял меня за талию, наградил мокрым поцелуем куда-то возле рта.

— Черт возьми, птичка моя, стала писательницей и бегаешь в коротком платьице на светские тусовки?

— Что ты здесь делаешь? — возмущенно воскликнула я, вырываясь из его цепких лап. — Мсье Дюфруа решил опубликовать "По ком звонит кол?"

Он смачно заржал, продемонстрировав лошадиные зубы.

— Шутишь! Я отослал рукопись французским издателям. Сама прекрасно знаешь, будь он опубликован у нас, все бы сказали: "Папаша помог!"

"По ком звонит кол?" издадут во Франции? Может, в "Галлимаре"? Я с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться прямо ему в лицо.

— Живешь здесь, пока перестраивают фамильный замок?

Юбер покачал головой.

— Вся коллекция надувных кукол сгорела. Ее оценивали в десять тысяч долларов.

— Милосердный Господь не мог спасти все.

— Неостроумно. Я, между прочим, нуждаюсь в утешении.

Я втянула голову в плечи и сделала вид, что внимательно изучаю каталог.

— Ну же! Апартаменты с джакузи, любые порнофильмы, панорамный вид на центр города. Можно заказать шампанское и даже экстези, у меня здесь свой человечек.

Я бросила взгляд в сторону золоченой лестницы: повернувшись к нам спиной, Лоран Вьо разговаривал у стойки портье с каким-то мужиком в галстуке. Я подумала: не хватает только, чтобы этот придурок

Юбер Лакасс все испортил. Слева от меня Марсель Жоликёр обращался к ковру с узором из акантовых листьев. Софи Бланше беседовала с мсье Дюфруа. Я воспользовалась моментом и ткнула Юбера Лакасса каталогом в живот:

– Пошел к черту!

Он пожал плечами, не переставая улыбаться.

– Тем хуже. Декор моего номера наверняка оценят первокурсницы! – бросил он и легким шагом направился к лифтам. – 504-й! – крикнул он и махнул на прощанье рукой. – Я зарегистрирован как Брэд Питт.

Несколько пьяных рож обернулись в мою сторону, по толпе пробежал шепоток: "Брэд Питт в 'Ритце'?" – спрашивали одни. Другие интересовались: "Это наследник 'Сыров Лакасс'?"

– Это вам не игрушка, девушка, – рявкнула мадам Венн, вырывая у меня из рук каталог и пытаясь спасти остальные.

Я уловила легкий аромат лимона и мускуса, узнала его и вздрогнула.

– Все в порядке? – спросил Лоран Вьо, бросив взгляд в сторону лифтов.

– Все прекрасно.

Неужели он уходил, чтобы надушиться?

Через несколько секунд вращающиеся двери вытолкнули нас на тротуар под козырек отеля в компании Софи Бланше и Марселя Жоликёра.

– Я слишком много выпила, – пожаловалась Софи Бланше, с трудом удерживая равновесие на высоких шпильках. – Не помню, что наговорила мсье Дюфруа. Нужно поймать такси.

Марсель Жоликёр энергично покачал головой.

– Ты пообещала ему мой роман на январь будущего года, ведьма ты проклятая!

– Ты сам поклялся, что отдашь мне его в июне, так что пиши жалобу на себя. Такси! Выкручивайся как знаешь.

Портье в бордовой ливрее свистком подозвал нам машину и уже открывал дверцы, когда тот самый усатый грубиян, что толкнул меня у бара, отпихнул нас в сторону.

– Земля горит под ногами, – возвестил он. – Опаздываю на премьеру!

Он с трудом втиснулся на заднее сиденье. Дверца захлопнулась, и такси покатило в сторону улицы Ивербрук. "Фашистюга!" – пролаял ему вслед Марсель Жоликёр, сделав неприличный жест и задрав ногу в грубом сапоге. Софи Бланше, опасно качнувшись на каблуках, мертвой хваткой вцепилась ему в руку.

– Хоть он и критик, но срать нам на голову права не имеет! – отбиваясь, вопил Марсель Жоликёр. – Фашист!

Подъехало такси, я втиснулась на заднее сиденье между Лораном Вьо и Софи Бланше, и тут она взорвалась:

– Эрве Юдон всегда очень умеренно критикует книги издательства. Этим летом он один заметил роман Анни. И даже присвоил ему три с половиной звезды. Не хватает только, чтобы он затаил на нас злобу из-за твоих обезьянних выходок.

– Это был Эрве Юдон? – спросила я Лорана, пару раз едва заметно толкнув его коленом.

Он кивнул, а я пролепетала: "Ну надо же! Кто бы мог подумать!" Нельзя сказать, что я часами воображала, как выглядит человек, так щедро наградивший мое творение, но есть какой-то минимум, на который вправе рассчитывать автор, представляя себе образ критика, и это уж точно не хам, обливающий дам спиртным, обжирающийся как свинья на приемах и перехватывающий у других такси. "Ух ты!" Тут Лоран Вьо прижался ногой к моей ноге, и я отвлеклась. Даже через джинсы я чувствовала, как напряглись у него мышцы. Может, он все еще находит меня хорошенькой?

— Ты-то плевать хотел на критиков! — негодовала сидевшая справа от меня Софи Бланше. — Если так пойдет и дальше, ни один из них не доживет до выхода твоего романа в свет!

Марсель Жоликёр занимал "место смертника". Он обернулся и, хотя голова у него болталась, как у марионетки, вперил в меня взгляд своих мутных, обведенных черными кругами глаз. Сальные пряди волос падали на серые угреватые щеки.

— Не помню, чтобы нас знакомили.

Я слегка застеснялась и протянула ему руку.

— Я — та самая Анни. Три с половиной звезды. Анни Бриер.

Марсель Жоликёр поднес мою руку к губам и, прежде чем я успела отреагировать, провел по коже теплым шершавым языком. Лоран прыснул со смеху. Я с трудом удержалась от брезгливой гримасы, говоря себе: "Ты не можешь делать 'козью морду' живому классику!" Успокоив себя этим догматом, я позволила ему наслаждаться процессом, пока не вмешалась Софи Бланше.

— Оставь малышку в покое! Тебе что, Марион Гулд не хватило?

— Цып-цып-цып! — прокудахтал Марсель Жоликёр и выпустил мою руку. Пока я вытирала его слюни о бархат обивки, он повернулся к смуглолицему водителю. — Зачем ты приехал в эту страну колонизированных олухов? — вздохнул классик, скорбно качая головой. — Здесь холодно восемь месяцев в году, а все бабы — толстые неудовлетворенные перестарки.

— Идиот! — выдохнула Софи Бланше, ткнув острым каблуком в спинку переднего сиденья. Шофер весело кивал в ответ на разглагольствования Марселя. Желтая оборка с шелестом опустилась мне на ноги, и Софи Бланше раздраженно поправила свой наряд.

— Мне очень нравится ваше платье, — сообщила я доверительным тоном: пусть знает, что я на ее стороне.

Софи Бланше улыбнулась, достала из сумочки пудреницу и принялась поправлять макияж. Такси ехало на север, к авеню Дюпарк. Заходящее солнце рассекло горизонт на розовые, лиловые и апельсиновые полосы, на небе показалась прозрачная луна. На западе по парку Мон-Руаяль прогуливались люди, желавшие насладиться дивным сентябрьским вечером. В восточной части города, на лужайке парка Жан-Манс, голые по пояс мужики гоняли мяч, а стайка девушек уплетала мороженое "Mister Freeze". "Гамбургеруйте всего за $ 1,39" — призывала реклама "Макдоналдса" с кормы ехавшего перед нами автобуса. Надпись в затейливой рамке под изображением пухлого, сочного, лежащего на белой скатерти гамбургера гласила: "Жареный камамбер, смесь из разных сортов салата и ароматных трав с домашним майонезом".

— Какая тупая игра слов! — вздохнул Лоран Вьо.

— И грубая, — добавила я.

— А майонез они кладут ненастоящий. Не майонез, а липкая желтая безвкусная замазка.

— Отврат! — поддакнула я, удивившись, что Лоран Вьо посещает "Макдоналдс".

— Остановите здесь! — приказала Софи Бланше.

Пока главная редакторша издательства "Дюфруа" платила по счетчику, Лоран Вьо протянул мне руку, помогая выйти из такси, — очевидно, заметил, что узкое платье стесняет меня в движениях.

— Спасибо. Значит, тебе нравится junk food[1]?

Лицо у него стало растерянным, и он закурил.

— Ничего страшного, я выгоняю отраву в бассейне.

Софи Бланше хлопнула дверцей и вступила в разговор.

— Вьо, нужно будет выяснить расписание свободной дорожки в бассейне Ассоциации, — сообщила она, увлекая нас за собой.

— Я голоден, — голосил Марсель Жоликёр.

Стены полуподвального зала греческого кабачка были украшены фотографиями белых домиков на фоне ярко-голубого неба. За столом уже сидели люди — некоторых я видела в "Ритце" и в каталоге издательства "Дюфруа". Наклонившись поближе, Лоран Вьо приглушенным, щекотавшим мне ухо голосом сообщил, кто есть кто. Известная поэтесса, хозяйка книжного магазина, два менеджера по продажам, переводчица, драматург, историк, пресс-секретарь, автор винного гида. "Знаете определение романа по Рамоне?" — спросил, обращаясь в пространство, специалист по винам. Низенький смуглолицый официант со жгуче-черными волосами подошел принять заказ. Только после этого Софи Бланше соблаговолила выслушать ответ.

— Роман — это нервная депрессия со знаками препинания!

Зал огласился хохотом. Официант принес красное и белое вино в графинчиках и начал подавать еду: поджаренный хлеб, тараму[2], цацики[3], оливки, жареные баклажаны и кабачки, помидорный салат с фетой, осьминога на гриле, ягненка, цыплят, дораду, морского сома. Когда на тарелках остались лишь крошки пахлавы, Софи Бланше расплатилась по счету кредиткой, все поплелись домой, а я осталась наедине с Лораном Вьо. В голубом стакане трепетал огонек свечи. На меня снизошло вдохновение.

— Ты знал, что Вирджиния Вулф правила рукописи, лежа в постели со своим мужем Леонардом?

Официант подал нам водку с запахом лакрицы.

— Узо. От заведения.

— Даже не знаю, — ответил Лоран, откашливаясь после крепчайшей водки, — что и сказать.

Я запрокинула голову и тоже выпила.

Через несколько мгновений мы оказались на тротуаре перед входом. Огни машин на авеню Дюпарк напоминали длинные волосы летящих в ночи ангелов.

— Ты по-прежнему живешь на Бребёф? — спросил Лоран, когда мы сели в такси.

— Ты ясновидящий?

1. Пища быстрого приготовления, "мусорная еда", вредная пища, поглощаемая на ходу (*англ.*).
2. Ястычная икра леща и воблы.

– Карточка автора. Я тебя отвезу.

– Ну конечно, карточка. Но как тебе удалось достать конфиденциальные данные?

– Бребёф – это между чем и чем? – нетерпеливо спросил шофер.

– Между Мон-Руаяль и Жильфор, мой добрый господин. Ну а ты где живешь?

Машина повернула на углу Сен-Вьятёр.

– В Вердене. Мне по дороге.

Лоран Вьо повторил эту фразу, поднимаясь по лестнице к моей квартире, потом произнес ее, когда мы рухнули на мой диванчик, и еще раз, когда пытался вытащить меня из платья.

– Только провожу. Черт, как оно снимается?

– Боже, там что, нет молнии? Я только вчера его купила.

– Подожди.

– Ох!

Мы продолжали ерзать по мягкому диванчику. Лоран Вьо жадно целовал меня, дергал за строптивую молнию, то и дело поглядывал на выпуклость в своих штанах, шарил руками по моему телу, и меня вдруг посетило сомнение: ненасытность Лорана Вьо внезапно стала столь откровенной, что он напомнил мне молодых волков в период гона, населявших рассказы студентов из Бернарова семинара.

Лоран Вьо в поиске? – подумала я. Может, он потому и сидел один в Овальной гостиной? Я высвободилась из его объятий.

– Что, цацики? – спросил он, подышав в ладонь.

– Нет, нет.

Я подтянула платье на груди (он наконец обнаружил над молнией два крючка) и доковыляла (одна босоножка потерялась где-то между входной дверью и диванчиком) до стереосистемы.

– Леонард Коэн или Джей-Джей Йохансон?

Компакт-дисков я не нашла. Пауза продлилась несколько секунд. В полумраке гостиной Лоран бросил взгляд на натянувшуюся ширинку, схватился за голову и произнес, дергая себя за волосы:

– Ставь что угодно.

Успокоенная его словами, я взяла первый попавшийся диск, но это оказался Цирк Солнца, который папа сунул мне, как горячую картофелину, после возвращения с Кейп-Кода. "Окажи мне услугу, – умоляющим тоном прошептал он, поднося мои чемоданы, – спрячь его у себя. Я больше не вынесу".

Ну уж нет, подумала я, заниматься этим под "Alegria" мы не станем.

У меня за спиной стонал на диване Лоран Вьо. Я услышала, как звякнула пряжка ремня, и сказала себе: не время искать Милен Фармер[1] или Лизу Экдаль[2], включила радио и попала на университетскую волну. Диктор поздравил слушателей с началом учебного года и объявил новые понедельничные передачи "хип-хоп – фанк – ритм-энд-блюз – микро – соул – блюз".

– Иди ко мне, Анни, так сойдет.

И я пошла к нему в темноте с бешено колотящимся сердцем.

3. Греческий салат из огурцов, заправленный натуральным йогуртом, мятой и чесноком.

Глава 6
Лю@бовница

Через неделю мы с сестрой сидели в набитом посетителями кафе "Вторая чашка" на авеню Макгилл-колледж и говорили о ее проблемах. У Леони возникли ужасные подозрения: не бесплодна ли она? Лео перестала принимать противозачаточные таблетки в июне, но до сих пор не забеременела. За покрытой каплями дождя витриной кафе бежали к площади Виль-Мари пешеходы, прикрывая головы мятыми пластиковыми пакетами. Дул ветер, и Леони сказала, что, если ничего не изменится, она, пожалуй, вернется к идее удочерения маленькой китаяночки.

— Так сейчас многие поступают.

Она сделала глоток обескофеиненного моккачино с белым шоколадом, а я проковыряла ложкой отверстие в шапке взбитых сливок над горячим шоколадом с ванильным соусом и корицей.

— А у меня ничего нового, — вздохнула я как бы между прочим.

Леони заерзала на табурете.

— Ой, и правда! Ты ведь не рассказала, как прошел вечер в "Ритц-Карлтон"!

— Нормально.

Леони спросила, с чего это я покраснела и почему у меня такой странный вид.

— Он гомик! — воскликнула она.

— Вовсе нет.

— Так в чем же дело?

Когда я рассказала, она так подпрыгнула, что едва не шлепнулась задницей прямо в грязную лужу на полу. "Успокойся", — буркнула я, нисколько не удивившись ее реакции: я и сама выплюнула две таблетки эдвила на барную стойку в собственной кухне, когда Лоран сообщил мне новость в восемь часов, на следующее утро после коктейля в издательстве "Дюфруа". Худшее, чего я опасалась, это что Лоран Вьо запал на другую молодую авторшу или разлюбил меня. Но уж никак не того, что он "окольцован" и умеет менять памперсы.

— Женат! — воскликнула Леони. — Женат! Ты шутишь!

— Это совсем не то, что ты думаешь, — запротестовала я, понизив голос. — Их брак находится в стадии свободного падения.

— Классический случай! Да еще и ребеночек имеется!

— Так ты хочешь узнать мою историю или нет?

Леони положила ногу на ногу и слегка кивнула.

Во-первых, сказала я, Лоран не спал с женой с прошлого Нового года: "Девять месяцев — что это, если не отсутствие желания?" Во-вторых, он подозревает, что у нее есть любовник: "Она отправилась на Кубу — якобы одна, с сыном". В-третьих, как я уже говорила, мой редактор увлекся мной в то самое первое утро, когда мы встретились в кабинете Софи Бланше. Да так увлекся, что влез в компьютер главного бухгалтера, чтобы побольше обо мне узнать. "Вломиться в кабинет коллеги — это ли не героизм?" Желая произвести на меня впечатление, он вычитал "Вечеринку в саду" с такой дотошностью, какой не проявлял ни разу за два года работы, а потом мечтал обо мне все лето. "Чем дольше я размышляю, тем яснее понимаю, что тоже думала о Лоране с той утренней встречи в его чуланчике,

задолго до выхода рецензии Эрве Юдона". И еще: у него только что челюсть не отвалилась, когда я подошла поздороваться на коктейле. "На мне было черное платье — ну, то, что ты уговорила меня купить, помнишь? Удачный выбор". Пользуясь тем, что жена уехала в отпуск на Кубу, Лоран всю неделю оставался у меня ночевать, и, наконец — *наконец*, — он поступал так впервые в жизни. "Теперь видишь, это совсем не то, о чем ты подумала".

Моя сестра покачала головой. По ее мнению, история не предвещала ничего хорошего. Мол, я даже не представляю себе, во что влипла. Это опасно. Я нарвусь на неприятности. И ля-ля-ля, и бум-бум-бум... Она и сама сожалеет о приключении с мерзкой пиявкой Пьером, на нее просто затмение какое-то нашло: "Ты должна была отобрать у меня ключи и запретить пользоваться душем!" А теперь он бомбардирует ее звонками: хочет знать, почему она передала его дела коллеге.

— По-моему, все яснее ясного, так ведь?

Леони принялась прихлебывать мелкими глотками моккачино.

— А как получилось, что ты не заметила обручального кольца, прежде чем перейти к делу?

Я объявила сестре, что больше не желаю говорить на эту тему. Она ведь сама когда-то сказала: Бенуа Гужон — идиот, потому что не захотел доставать ей билеты на теннис. Ну, и?.. Колесо я, во всяком случае, не изобретала. Марион Гулд, например, живет теперь с Бернаром Самсоном, моим преподавателем по литмастерству, и, похоже, счастлива.

— Но сколько ей пришлось ждать?

Я пожала плечами и проглотила полную ложку взбитых сливок. Сестра пожаловалась, что ее кофе слишком сладкий, и отправилась за водой к стойке. Она пробиралась через толпу, мило улыбаясь направо и налево, кивала знакомым. Как только она вернулась к столику, завибрировал ее мобильник.

— Зараза, — простонала она, глянув на высветившийся номер. — Помяни черта... Давай, импровизируй, а то он будет названивать, пока голосовая почта не переполнится.

— Да что говорить-то?

— Изобрази перевод звонка на коммутатор, все что угодно! Это Пьер.

Она нажала на кнопку и протянула мне телефон.

— "Монтаж мондьяль", — проблеяла я.

В трубке, под гулкий аккомпанемент водной стихии мужской голос начал сокрушаться, что на прошлой неделе оставил кучу сообщений на голосовой почте Леони Бриер.

— Она не перезвонила. Она все еще у вас работает?

— Конечно, мсье, но мадемуазель Бриер переадресует свои звонки. Она очень занята.

— Могу я с ней поговорить?

— Это невозможно. Она всю неделю на совещании с клиентами.

— Вызовите ее.

— Это очень важные клиенты.

— Я тоже важный клиент! — рявкнул голос. — Я Пьер Фильон из "Вау"!

Леони подавала мне глазами знак закругляться. Я ляпнула первое, что пришло в голову:

— Понимаю, мсье Фильон, но они со студии "Уолт Дисней".

Леони фыркнула, я тоже едва удержалась от смеха.

— С кем я говорю? Передайте трубку Леони.

Я посоветовала Пьеру перезвонить через месяц и вернула телефон сестре. Она выключила его и убрала в сумку.

— Кажется, он здорово разозлился. И точно мне не поверил!

— Я больше не боюсь, Фойника[1].

Леони взглянула на часы и сказала, что ее перерыв на ланч закончился пятнадцать минут назад. Она застегнула пиджак, убрала золотую цепочку под воротник блузки и спросила, сколько мне нужно денег.

— Двухсот должно хватить. Папа говорит, его чек потерялся на почте. Он пошлет другой.

Леони достала кожаный бумажник и отсчитала десять купюр по двадцать долларов. Я спрятала деньги в карман джинсов, сестра надела черный плащик, схватила мокрый зонт с портретом Мэрилин Монро работы Энди Уорхола, и мы обнялись на прощанье.

— Клянусь тебе, Лео, я счастлива.

— И все-таки не забывай надевать на него резинку, — посоветовала она. — Женатики иногда оказываются самыми шустрыми.

Выйдя на улицу, Леони раскрыла зонт, пухлые губки Мэрилин скрылись в тумане, а я достала ноутбук.

От кого: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: viaulau@edduffroy.qc.ca
Дата: Понедельник 13 сентября, 14.38
Тема: Сегодня вечером?

Дорогой Лоран,

сейчас почти 14.20, возможно, ты пытался дозвониться до меня сегодня утром. Я была в университете, а потом встречалась в центре с сестрой (она моя лучшая подруга, нужно будет вас познакомить). Сообщи, удалось ли тебе освободить сегодняшний вечер, как ты обещал вчера перед отъездом в аэропорт.

Если да, то во сколько? Поужинаем вместе? Я не из тех, кого американцы называют "ранними пташками", и могу без проблем ждать до девяти. Хочешь чего-нибудь особенного? Я всегда покупаю еду в кулинарии недалеко от своего дома. Те свиные отбивные в горчичном соусе, что мы ели в субботу вечером, были оттуда, и четверговая семга со щавелем тоже. Сегодня могу угостить тебя говядиной по-бургундски, она хорошо пойдет под дождь. Но решай сам.

Ладно, теперь пойду обольщать девицу за стойкой кафе, где я сижу. Надеюсь, она позволит мне воспользоваться выделенной линией, чтобы письмо ушло как можно быстрее.

Анни

Лично я подобные бытовые вопросы — в котором часу тебя ждать? будешь ли ты ужинать? — предпочла бы обсуждать с Лораном по телефону. Но он объяснил, что когда звонишь в издательство "Дюфруа", фразу "Если вам известен номер почты сотрудника, с которым хотите соединиться, наберите его" произносит вовсе не записанный на пленку механический голос. Трубку, оказывается, снимает мадам Венн, которая всегда спрашивает: "Как вас представить?" Ей наверняка показалось бы подозрительным, что автор по пять-шесть раз на неделе звонит редак-

1. Французская певица канадского происхождения.
2. Шведская джазовая певица.

тору, а то, что кажется подозрительным этой даме, может дойти до ушей патрона, и последствия для Лорана будут катастрофическими. Так что, сама понимаешь...

Когда господин Дюфруа больше двадцати лет назад основал свое издательство, его так пугал витающий над любым учреждением и понижающий производительность труда призрак эндогамии, что он строго запретил любые неформальные отношения между сотрудниками. "Не будем гадить там, где едим", — без устали повторял он.

— Но это нарушение прав человека! — воскликнула я. — Уверена, даже в Королевской жандармерии не придерживаются таких драконовских правил!

Мы лежали на моей кровати и курили при свете свечи. Лоран сказал, что, поскольку литература не является точной наукой, мсье Дюфруа может использовать для увольнения сотрудника любой аргумент, какой пожелает. Член издательского совета спит с художественным редактором? Его Дюфруа может выпихнуть под предлогом, что тот приносит в издательство барахляные рукописи, а ее вышибет, сославшись на уродливые макеты обложек. О вкусах, как известно, не спорят. Редактор встречается с романисткой? Мсье Дюфруа ни в чем не упрекнет сочинительницу, но уволит ее дружка, заявив, что тот слишком или недостаточно строго следует правилам грамматики.

— Ни фига себе! — Я возмущенно загасила сигарету и вылезла из койки. — И часто он так свирепствует?

Лоран признал, что за два последних года ничего подобного не случалось, но он опасается, что мсье Дюфруа употребит власть при первой возможности, чтобы наказать себя самого за отступления от собственного же приказа, которые он допустил, чтобы провернуть одну мародерскую операцию, не давшую, что хуже всего, ожидаемых результатов.

— Какую-какую операцию? — крикнула я из ванной, где вынимала контактные линзы.

— Мародерскую, — повторил в спальне Лоран. — Так говорят об издателях, которые переманивают у конкурентов успешных авторов.

Я вернулась в постель и скользнула под теплые простыни.

— Насчет девяти месяцев — это правда?

Как и накануне утром, Лоран поклялся, что да, и продолжил свой рассказ.

Три года назад Софи Бланше преподавала в Монреальском университете и нарвалась на неприятность: ей поручили читать курс современной квебекской литературы. На подготовку лекций у бедной раблезианки было всего несколько дней, так что в своем рабочем ежедневнике она то и дело помечала: "Приглашенный автор (определиться!)". Именно так Софи Бланше встретила Марселя Жоликёра, и они влюбились друг в друга. Их идиллия длилась уже несколько месяцев, когда о ней прослышал мсье Дюфруа. "У Марселя Жоликёра роман с одной из наших преподавательниц", — поведал издателю завкафедрой французской литературы Монреальского университета (они были однокашниками по классическому колледжу, и Дюфруа издавал его эссе). Имя Марселя Жоликёра напоминало мсье Дюфруа треньканье выдвижного ящика-кассы.

После успеха "Железной руки" и бурной полемики по поводу романа он пытался переманить к себе автора, но Марсель Жоликёр его по-

слал, проявив непоколебимую верность издательству "Эгль". Когда-то основатели этого издательского дома участвовали в глубоко законспирированной политической организации, рассылавшей гражданам письма с бомбами. Так они демонстрировали всему миру, что устали чувствовать себя колонизированными. А мсье Дюфруа в те времена никакой доблести не проявлял: он находился в Париже, где изучал азы профессии в каком-то крупном издательстве. "Проклятый француз!" — так обозвал его прямо в глаза Марсель Жоликёр.

Пустяки, подумал мсье Дюфруа, если Жоликёр хранит верность политическим идеалам, возможно, он таков и в любви? Руководствуясь этим предположением, он пригласил Софи Бланше отведать снежных крабов в ресторан "У Левека", где и предложил ей сделку, закрыв глаза на собственный девиз "Не будем гадить там, где едим". Он поставил единственное условие: если Софи Бланше уговорит Марселя Жоликёра подписать с "Дюфруа" договор на издание его второго романа, она войдет в издательский совет. Чтобы сделать свое предложение еще более заманчивым, Дюфруа добавил, что Софи легко сможет совмещать новую должность с работой на университетской кафедре. К превеликому его удивлению, тут-то все и застопорилось. Софи Бланше исполнилось тридцать семь, она имела докторскую степень по Рабле и находилась в двух шагах от увольнения из-за треклятого курса современной квебекской литературы. Какая уж тут университетская карьера!

На следующей неделе Дюфруа выгнал главного редактора, заявив, что тот вечно ошибается в выборе авторов, Софи Бланше принесла свою курильницу для благовоний в кабинет на третьем этаже здания на улице Сангине, а Марсель Жоликёр подписал с издательством "Дюфруа" договор на свой "будущий роман", рукопись которого обязался представить через восемь месяцев. Задаток составил восемь тысяч долларов. Увы, Марсель Жоликёр не представил ее и через два года, несмотря на три новые выплаты, и Софи Бланше было все труднее оправдываться перед шефом. Тот уже дважды заявлял, что издает "второй роман скандального автора 'Железной руки' в новом литературном сезоне", и терпение его было на исходе. Он задавался вопросом, не является ли задержка рукописи эмоциональным шантажом, своего рода тактикой, которой пользуется Марсель Жоликёр, чтобы вызвать у главного редактора чувство вины, а заодно создать ей трудности на работе. В действительности к моменту своего перехода в "Дюфруа" Софи Бланше уже порвала с Марселем Жоликёром, скорее всего, из-за его склонности к спиртному. И мсье Дюфруа наверняка уволил бы ее "за неудачную работу по подбору новых авторов", не потребуй Софи Бланше — возможно, подписывая бумаги, она не была уверена в своем женском счастье? — минимального контракта на пять лет.

— Теперь понимаешь, почему старик не должен ничего узнать о новой любовной истории?

Я обеспокоилась.

— Но позавчера все видели нас с тобой в греческом ресторане! Ты шептал мне на ушко, мы не сводили глаз друг с друга, только что из одной тарелки не ели!

— Но там не было секретарши. Опасаться следует только секретарши.

На щеках и подбородке Лорана отросла трехдневная щетина. Я ласкала его лицо и думала о том, что́ он сказал мне накануне утром, когда я

выплюнула на барную стойку две таблетки эдвила: "Ты не должна так реагировать. У нас давно все плохо". На мгновение мне показалось, что земля вот-вот разверзнется у меня под ногами. Потом я взглянула на Лорана: мятая рубаха из небеленого льна расстегнута до пупа, он стоял и почесывался: "Они на Кубе". Стол, стулья и мои четыре салфетки за его спиной остались на своих местах, бананы не улетели из вазы в подпространство, занавески все так же висели на карнизе, а ртутный столбик термометра на балконе моих соседей не сдвинулся ни на градус. Может, так оно и есть? — подумала я. Он обнял меня. "Главное, чтобы ты не считала меня ходоком. Я завел роман на стороне впервые за одиннадцать лет брака". Я достала свои таблетки из-под тостера и проглотила их. "Все в порядке?" — спросил он, промокнув каплю воды у меня на подбородке. "Разве сентябрь не сезон ураганов на Кубе?" Лицо Лорана потемнело, а я, чтобы взять себя в руки, положила в тостер два куска багета и сварила кофе. Потом я отправилась в университет, а он пошел на работу. В тот же вечер мы снова увиделись, на следующий тоже, и так доползли до третьей ночи, и вот я глажу его колючий подбородок и хочу спросить, что он скажет жене, когда она вернется, но прикусываю язык.

— Итак, секретарша — осведомительница?

— Она спит с мсье Дюфруа.

Я завела глаза к потолку и напомнила Лорану, что клише "шеф спит с секретаршей" — одно из самых затертых в литературе всех времен и народов. Впрочем, его аргументы звучали очень убедительно. В тот вечер, когда Лоран задержался на работе, чтобы пошарить в кабинете бухгалтера и найти мою авторскую карточку, он услышал, что кто-то идет, и спрятался за книжным шкафом. Через несколько секунд мсье Дюфруа и секретарша вошли в пустой — как они считали — кабинет, чтобы предаться плотским утехам. Сам того не желая, Лоран наблюдал за их игрищами через щель между томами годовых отчетов.

— Она жена Дидье Венна, председателя Квебекского совета по изящным искусствам и литературе. Образцовая мать семейства, переживающая экзистенциальный кризис: дети выросли и покинули родное гнездо. Ей нужна была работа для времяпрепровождения, она хотела ощущать себя полезным членом общества, и Дюфруа взял ее "по звонку". У него попросту нет выбора, он вынужден ползать на брюхе перед мужем мадам: тот распределяет деньги между издательствами, и Дюфруа каждый год "отхлебывает" больше всех. Судя по тому, что я видел, жалеть ему особо не о чем.

Ошеломленная услышанным, я задула горевшую на ночном столике свечу и сказала Лорану, что он мог бы написать роман а-ля Дэвид Лодж[1], где рассказчик, редактор одного из крупных издательств, повествует о плетущейся у него над головой паутине интриг.

— Секретарша сидит не надо мной.

Лоран моргал, глядя в потолок.

— Все равно, — проворковала я, укладываясь рядом с ним, — роман вышел бы гениальный!

— Роман! — рыкнул он, поправляя подушку под головой. — Сначала нужно закончить первую книгу. Я уже говорил, что у меня не вышло ничего хорошего.

1. Перефразированная цитата из "Береники" Расина. Фойника — наперсница Береники.

Пожелав мне доброй ночи, Лоран пообещал звонить каждый день — по мере возможности, но надежнее всего будет общаться по электронной почте. Мсье Дюфруа и мадам Венн — полные чайники по компьютерной части, а веб-мастер интернет-сайта издательства, молодой выпускник колледжа Вьё-Монреаль, наркоман, является раз в месяц, курит травку в сортире и если случайно наткнется на обрывки нашей переписки, то даже не вспомнит, кто мы такие.

— Я не слишком на тебя навалился?

— Нет.

В тот вечер я уснула у него на плече.

От: viaulau@edduffroy.dc.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Понедельник 13 сентября, 14.52
Тема: Ответ на: Сегодня вечером?

Дорогая Анни,

я буду к восьми, но не голодный, потому что пообещал Жюлю повести его в "Макдоналдс". Мой сын обожает куриные крокеты, а Куба, как ты знаешь, еще не "гамбургезирована". Подумать только, некоторым тугодумам платят по 60 000 баксов в год только за то, что они придумывают слоганы для рекламы гамбургеров! Судя по всему, отсутствие "Golden Arches"[1] каждый день портило моим удовольствие от поездки. Хочу тебя обрадовать: мы точно сможем видеться по понедельникам, средам и пятницам. Например, с 7 до 10. Я сказал, что по вечерам, три раза в неделю, буду ходить в бассейн.

Лоран

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: leonie_ briere@montagemondial.ca
Дата: Пятница 17 сентября,10.58
Тема: Твои деньги

Привет, Леони,

только что принесли с почтой папин чек. Завтра в "Бьютиз" верну тебе деньги.

Виделась с Лораном в понедельник и в среду вечером, жду его сегодня... Несмотря на все твои опасения, клянусь, все идет хорошо. А как твой прилипала-кровосос? Звонил?

Анни

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: leonie_ briere@montagemondial.ca
Дата: Вторник 21 сентября, 08.58
Тема: Мое пальто

Я не оставляла у тебя в субботу утром мое джинсовое пальтишко? Не могу найти. Надеюсь, что не забыла его в "Бьютиз"! Твои предположения не оправ-

1. Дэвид Лодж (р. 1935) — английский писатель.

дались. Лоран меня вчера не продинамил. Я не "проходной вариант". Он будет у меня завтра.

Чао!

Анни

От: viaulau@edduffroy.dc.ca
Кому: annie_briere @mcgill.university.ca
Дата: Вторник 21 сентября, 09.02
Тема: Доброе утро!

Дорогая Анни!

Пытаюсь дозвониться, но твой автоответчик сразу отключается.

Вчера все было просто суперски. Твоя хитрость удалась, только писательница могла до такого додуматься, но ты, кажется, слегка переборщила. Утром у меня щипало за ушами.

Сегодня большой день. Мне предстоит прочесть 294 страницы нервной депрессухи, она собьет спесь с Рамоне, который с синтаксисом вообще не знаком! Боже, ненавижу свою работу, а ты меня так заводишь, что я точно напропускаю кучу ошибок. Плевать.

Лоран

От: annie_briere @mcgill.university.ca
Кому: viaulau@edduffroy.dc.ca
Дата: Вторник 21 сентября, 09.13.
Тема: Ответ на: Доброе утро!

Черт, не везет – так не везет: я как раз проверяла, не звонил ли ты! Точно как в пословице: великие умы сходятся (надеюсь, ты все-таки перезвонишь). Чтобы избежать таких проблем в будущем, я позвоню на свое кабельное телевидение и попрошу прислать мастера, чтобы установил мне Интернет.

Кстати, я тоже отлично провела вечер.

Как продвигается работа над корректурой того сложного романа? Представляю, какой занудной бывает иногда твоя работа. Может, дело пошло бы веселее, будь у тебя в кабинете хоть одно окно? Кто такой Рамоне? Я впервые услышала это имя в тот вечер в ресторане. Как бы там ни было, он жуткий циник. Я вовсе не была в подавленном состоянии, когда писала "Вечеринку в саду". Лично мне ближе определение Лукача: "Роман – это эпопея оставленного Богом мира"[1]. Мой преподаватель литературного мастерства Бернар Самсон иногда добавлял: "...но переполненного лжепророками". Он так шутил. Остроумно, правда?

Целую тебя и жду не дождусь завтрашнего вечера. Хочешь сходить в киношку? Сестра недавно посмотрела немецкий фильм, где у главной героини, девушки с оранжевыми волосами, есть всего двадцать минут на то, чтобы найти что-то очень важное, и она несется, разрывая легкие, по Берлину, там три варианта развития сюжета, и это символизирует судьбу[2]. Сестре понравилось.

Целую, Анни

P. S. Я, конечно, поставлю Интернет, но, может, ты все-таки купишь сотовый, чтобы я спокойно звонила когда захочу? Так будет практичней.

P. P. S. Извини за уши. Завтра вечером уменьшу дозу.

1. Символ фирмы "Макдоналдс": золотая буква М, похожая на две золотые арки.

От: leonie_ briere@montagemondial.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Вторник 21 сентября, 11.58
Тема: Ответ на: Мое пальто

Анни,
вчера вечером Гийом нашел твое джинсовое пальто в мешке с мусором. И как только оно туда попало! Помойка не похожа на шкаф. Мне очень жаль тебя огорчать, но можешь с ним попрощаться. Оно все в пятнах – от кофе, сандвича с яйцом и риса с овощами плюс мой последний – отрицательный – тест на беременность. Придется тебе купить новое (с мозгами).

Лео

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: leonie_ briere@montagemondial.ca
Дата: Четверг 23 сентября, 00.58
Тема: Что делать?

Дорогая Леони,
уже поздно, и я не решаюсь звонить в такой час.
Несколько дней назад, когда мы сидели во "Второй чашке", ты сказала, что у меня будет куча проблем из-за Лорана. В прошлую субботу в "Бьютиз" ты сделала большие глаза, когда я о нем рассказывала, и издевалась надо мной в последнем письме... Я знаю, у тебя против него предубеждение, но больше мне довериться некому, вот и пишу. Надеюсь, что дашь совет и не станешь судить. Чтобы ты поняла, в каком я отчаянии, скажу, что в былые времена ты бы мое письмо не прочла – пишу и рыдаю.
Итак, сегодня вечером мы с Лораном впервые взяли в прокате фильм. Но он бросил меня одну прямо на середине, заявив, что не может явиться домой с опозданием. А ведь говорил, что у них с женой все из рук вон плохо. Он даже назвал меня "дорогая" (как будто мы с ним и впрямь супруги), но ведет себя так, словно у них ничего не кончено, а я не хочу выглядеть наивной дурой и не задаю ни единого вопроса о той, другой жизни. Я, конечно, сделала ему "козью морду", но он этого даже не заметил. Сказал только: "Не доедай весь попкорн, лопнешь!" (Жуть как остроумно, но я правда купила попкорн, чтобы все было как на сеансе в кинотеатре, куда он не желает ходить, потому что боится встретить знакомых.) По-моему, он вполне мог бы задержаться на часок. Или я не права? Сказал бы, что автобус сломался или была авария в метро, да какая разница! Я, кстати, свою "часть пути" прохожу. Его алиби для жены – бассейн, и я при каждом расставании мажу ему за ушами жавелевой водой, чтобы пахло хлоркой, как после плавания. Сегодня вечером, оставшись одна, я разрыдалась, когда хлопнула дверь на первом этаже. Я впервые плакала из-за мужчины. Чувствую себя ужасной дурой.

Анни

От: leonie_ briere@montagemondial.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Четверг 23 сентября, 09.01
Тема: Ответ на: Что делать?

Анни,
у меня в 9 встреча, поэтому пишу коротко. Держу пари: Лоран знает, что причинил тебе боль. Чтобы оправдаться, он объявится рано утром как ни в

чем не бывало (например, так: сегодня прекрасная погода). Разговаривай с ним сухо, и он будет валяться у тебя в ногах. Чувствую себя идиоткой, давая советы: не хочу, чтобы ты к нему привязалась. Ты говоришь, что ощущаешь себя дурой, — и это после месяца знакомства. Боюсь, что ситуация будет только ухудшаться.

Лео

P. S. С попкорном ты и правда здорово придумала. Насчет жавелевой воды — надеюсь, это шутка.

От: viaulau@edduffroy.dc.ca
Кому: annie_briere @mcgill.university.ca
Дата: Четверг 23 сентября, 09.23
Тема: Хороший денек!

Привет, дорогая!
Интересно, что ты поделываешь в это чудное осеннее утро.
У нас дым коромыслом: мадам Венн по ошибке стерла дискету третьего тома "Новой иллюстрированной истории коренных народов". Автор принес ее вчера вечером, и нам пока не удалось связаться с ним и выяснить, сделал ли он запасную копию. Эта серия жутко скучная. Издательство делает вид, что интересуется аборигенами исключительно из политкорректности. Между нами говоря, всем сто лет плевать на эти племена, которые не платят налогов, или я не прав?
Сожалею, что вчера вечером ушел, не досмотрев до конца фильм, но ты ведь понимаешь, что мне действительно нужно было вернуться домой. Ассоциация закрывается в десять, а мы засиделись до половины одиннадцатого... Расскажешь, чем все закончилось?

Целую,
Лоран

От: annie_briere @mcgill.university.ca
Кому: viaulau@edduffroy.dc.ca
Дата: Четверг 23 сентября, 09.39
Тема: Ответ на: Хороший денек!

Дорогой Лоран,
после множества перипетий и ретроспекций медсестра, которую играет Жюльетт Бинош, помогает умереть своему обугленному пациенту[1]. Жутко печальный конец. Желаю удачного дня.

Анни

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: leonie_ briere@montagemondial.ca
Дата: Пятница 24 сентября, 12.14
Тема: Действенное предложение

Дорогая Леони,
твой совет оказался супердейственным!
Вчера утром, после того как я послала Лорану глупый и злобный ответ, он в панике позвонил мне. Его отправили к автору за дискетой, и он провел у меня весь обеденный перерыв... Был очень мил: принес цветы, тосты с тунцом и конвертики с вишней (забыл, что у меня на нее аллергия, но это ничего). Мы

1. Дёрдь Лукач (1885—1971) — венгерский философ и литературный критик. Имеется в виду книга "Теория романа. Опыт историко-философского исследования форм большой эпики".

решили, что в следующий раз возьмем не такие длинные фильмы (позавчерашний шел два часа!). Он готов идти на жертвы: сказал, что подумывает купить мобильник – ради меня.

Анни

От: lesbeauxmots@coucoumail.com
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Копия: leonie_ briere@montagemondial.ca;
drbriere@dentisteahuntsic.qc.ca;
guigui@studiotech.com
Дата: Вторник 28 сентября, 11.17
Тема: Обращаюсь ко всем

Не захватил ли один из вас по ошибке мой лазерный диск Цирка Солнца? Я не видела его с самого Кейп-Кода. Занятия начинаются на следующей неделе, и я собираюсь использовать мелодию "Alegria" для раздела "телесная выразительность", она теперь входит в программу моей школы. Если кто-нибудь обнаружит диск до пятницы, предупредите меня. Иначе придется покупать новый.

Спасибо.

Сюзанна Бриер, директор школы дикции "Говорим красиво". "Говорить – это хорошо, правильно артикулировать – еще лучше".

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: drbriere@dentisteahuntsic.qc.ca
Дата: Среда 29 сентября, 09. 08
Тема: Alegria

Папа, ты, наверное, тоже получил мамино послание. Что мне делать? Жду указаний. Анни.

От: drbriere@dentisteahuntsic.qc.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Среда 29 сентября, 09. 08
Тема: Ответ на: Alegria

Анни,

думаю, мы попались. Позвони своей матери и скажи, что вернешь диск в следующий понедельник вечером. Она устраивает ужин по случаю дня рождения Гийома.

Принимая во внимание, что ты получила университетскую стипендию, ждешь ли ты от меня чек в октябре?

Папа

От: viaulau@edduffroy.dc.ca
Кому: annie_briere @mcgill.university.ca
Дата: Четверг 30 сентября, 11.45
Тема: Salt Water Taffy

Дорогая,

ты не ответила, должно быть, уже ушла.

Спасибо за вчера, вечер снова был замечательный.

Один маленький вопрос: те "Salt Water Taffy", которые ты подарила мне в прошлом месяце, не могли испортиться? Жюль нашел мешок в ящике ночного

столика и совершенно расклеился. Это было похоже на пищевое отравление, да такое сильное, что его мать готова была вызвать "скорую" и ехать в больницу...

Я не спал всю ночь (мы взяли Жюля к себе в кровать). Клюю носом над гранками книги о харчевнях Квебека. Некоторые заведения просто великолепны, и я думаю, как было бы здорово провести конец недели вместе в одном из таких местечек. До завтра.

Лоран

От: annie_briere @mcgill.university.ca
Кому: viaulau@edduffroy.dc.ca
Дата: Четверг 30 сентября, 13.18.
Тема: Ответ на: Salt Water Taffy

Лоран,

я в растерянности! Эти "Salt Water Taffy" были куплены в лучшей кондитерской острова Нантакет... На стенках висят фотографии некоторых членов клана Кеннеди: они каждое лето отовариваются в этой лавочке фьюджем и другими конфетами (я, конечно, имею в виду тех, кто еще жив!). Может, Жюль отравился чем-то другим? Как бы там ни было, надеюсь, сейчас ему лучше.

Не прошло и суток с нашей последней встречи, а я уже по тебе скучаю. Я с трудом уснула после того, как ты ушел вчера вечером, все думала о нашем разговоре. Ты к себе несправедлив. Уверена, если перечитаешь на свежую голову свой роман, который так едко называешь "навозной кучей", он покажется тебе не таким уж и дерьмовым. Оценишь вложенные усилия и потенциал. Хочешь, я прочту и выскажу свое мнение? Голову даю на отсечение — он очень хорош.

Сегодня утром я тоже клевала носом на семинаре по теории литературы. Да к тому же забыла, что нужно было сдать работу.

Твоя идея насчет уик-энда АБСОЛЮТНО ГЕНИАЛЬНА. Сообщи, когда ты хочешь поехать. Лаурентиды[1] просто великолепны, деревья до самой середины октября радуют глаз невероятными красками. Отец всегда дает мне машину по первому требованию, так что с транспортом проблем не будет. Позвонишь вечером?

Анни

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: drbriere@dentisteahuntsic.qc.ca
Дата: Четверг 30 сентября, 13.40
Тема: Мой чек и твоя "вольво"

Дорогой папочка, нам придется придумать другой способ вернуть маме диск, потому что я, к сожалению, не увижусь с вами в следующий понедельник. Этой осенью по понедельникам в университете будут читать лекции приглашенные исследователи, и я обязана их посещать. У меня будет тяжелый семестр. Выплату стипендии задержали из-за того, что я пока не довела до ума свою работу, она будет о Прусте и "отсутствии самоубийства". Они предъявляют нам кучу требований одновременно! Зимой я наверняка получу свои деньги, но ты ведь знаешь, что этой почетной стипендии едва хватит на оплату нескольких счетов, а мне еще нужны деньги на квартиру, еду, одежду, развлечения и всякое такое. Ты ведь обещал оплачивать мои потребности во время учебы в университете, так? Не думай, что дело в лени: я уже объясняла, как трудно по-

2. Имеется в виду фильм "Беги, Лола, беги" режиссера Тома Тыквера с Франкой Потенте и Морицем Блайбтроем в главных ролях.

пасть в исследовательскую группу. Я сделала творческую работу, а преподаватели предпочитают тех, кто занимается критикой. Почетная стипендия не спасает от предубеждения и предрассудков. Это почти заговор. Твоя помощь не только неоценима, она мне жизненно необходима.

Целую тебя,
Анни

P. S. Если я попрошу дать мне на выходные "вольво", ты согласишься? Ну пожалуйста, папуля. Великий Рамоне — ты наверняка о нем даже не слышал, но он сейчас совершает переворот в теории романтического искусства, впервые со времен Гегеля, — будет этой осенью читать лекцию в харчевне Лаурентидов.

От: drbriere@dentisteahuntsic.qc.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Пятница 1 октября, 08.01
Тема: Ответ на: Мой чек и твоя "вольво"

Анни,
не беспокойся о деньгах и сосредоточься на учебе.

Насчет "вольво": мой ответ — нет, и он останется неизменным. Даже если призрак Виктора Гюго пригласит тебя в свое шале. Думаю, мы достаточно часто это обсуждали с тех пор, как ты в семнадцать лет врезалась на моем "БМВ" в фонарный столб. Что за дурацкая идея — читать за рулем? Возможно, предубеждения твоих преподавателей не такие уж и дикие: я бы тоже дважды подумал, прежде чем доверить тебе базу данных.

Желаю хорошо провести время на лекции вечером в понедельник, нам будет тебя не хватать. Постарайся все-таки встретиться с Леони и отдать ей мамин диск, договорились?

Папуля

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: guigui@studiotech.com
Дата: Понедельник 4 октября, 10. 08
Тема: Поздравляю

Счастливого дня рождения, дорогой шурин! Пусть в этом году исполнятся все твои желания.

Буду думать о вас во время экзамена.

Хотела вчера обнять тебя живьем, но ты был на футболе, когда я забегала.

Анни

P. S. Не дашь мне свой "гольф" на выходные?

От: viaulau@edduffroy.dc.ca
Кому: annie_briere @mcgill.university.ca
Дата: Вторник 5 октября, 09.03
Тема: Окаменелость

Дорогая,
спасибо за очередной чудесный вечер. Я вернулся домой с отпечатком твоего лица на коре моего головного мозга...

Не могу прийти в себя от изумления: оказывается, ты сидела в кафе на углу в то утро, когда я читал твою верстку, и подслушала, как я сказал Стиву, что

нахожу тебя очень красивой? Тихушница несчастная, почему ты раньше не призналась?

Сегодня вечером мсье Дюфруа и Софи Бланше отправляются на книжную ярмарку во Франкфурт. Неделя обещает быть спокойной... постараюсь позвонить вечером, но если вдруг не сумею, завтра обязательно буду у тебя к семи.

Лоран

От: annie_briere @mcgill.university.ca
Кому: viaulau@edduffroy.dc.ca
Дата: Вторник 5 октября, 11.45
Тема: Ответ на: Окаменелость

Дорогой Лоран,

спасибо за письмецо. Пишу тебе из студенческой гостиной Петерсон-холла. Здесь есть телефонная розетка и можно курить в открытое окно. Кстати, как ты выходишь из положения в таком маленьком кабинетике? Наверное, жутко мучаешься? Или ходишь курить на кухню?

Я только что проснулась после длинной трехчасовой сиесты на семинаре "Литературная генетика". Ты только представь: преподаватель показывал диапозитивы рукописи *Ластиков* Роб-Грийе, исчерканных и жеваных. Не понимаю: эта книга в открытом доступе, так что интересоваться рукописными вариантами – чистый мазохизм. Мой мастер Бернар Самсон всегда цитировал на семинарах Вирджинию Вулф: "Придумал персонаж – напишешь и роман". Роб-Грийе явно не следовал этому совету!

Ух! О чем я говорила? Завкафедрой только что застукала меня с сигаретой... Слышал бы ты ее нравоучения!

Ах да, я уже рассказывала тебе о Бернаре Самсоне, но не поняла, знакомы ли вы. Дюфруа издал его "Шепоты песка", но, кажется, это было еще до тебя. Роман великолепный, там главный герой бросает жену ради молодой любовницы. Знаешь Марион Гулд? Она книжный иллюстратор в вашем издательстве. Она и есть та самая любовница, сейчас они вместе.

Ладно, пойду пообедаю, умираю с голоду. Ты придумал маршрут на уикэнд?

Анни

P. S. Если это правда насчет моего лица в твоих мозгах, то мы квиты: коечто твое впечаталось в мои простыни...

P. P. S. Надеюсь, ты не считаешь меня слишком грубой?

P. P. P. S. Что насчет вечера понедельника на следующей неделе? Это День благодарения. Ты не пролетишь с бассейном?

От: viaulau@edduffroy.dc.ca
Кому: annie_briere @mcgill.university.ca
Дата: Вторник 5 октября, 15.05
Тема: Ответ на ответ: Окаменелость

Анни,

я читал "Шепоты песка", когда книга вышла: Бернар Самсон бывал в "Круассантри", где я тогда работал, и мне было любопытно. Честно говоря, эта история меня не слишком взволновала, фабула показалась вполне заурядной. Классический случай запоздалой страсти, никакого прорыва в этом жанре он не совершил... Насчет Дня благодарения я проверю, и мы вернемся к разговору.

До завтра,

Лоран

От: annie_briere @mcgill.university.ca
Кому: viaulau@edduffroy.dc.ca
Дата: Четверг 7 октября, 23.45
Тема: Просто так

Это мне следовало уйти, хлопнув дверью, мне! Но я и этого сделать не могу, потому что мы всегда встречаемся в моей квартире! Сожалею, что встретила тебя, узнала, обхаживала и все такое. Не пиши мне больше и не звони, возвращайся в бассейн и наматывай метры на дорожке.

Анни

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: leonie_ briere@montagemondial.ca
Дата: Четверг 7 октября, 04.31
Тема: Полный кошмар

Дорогая Леони,

год назад я заканчивала свой роман. Только это и было для меня важно. Раз в неделю ты принимала у меня душ. Я жила спокойно.

Теперь все полетело к черту.

Лоран только что ушел, хлопнув дверью, и все потому, что я во вчерашнем письме упомянула один роман, в котором мужчина уходит от жены к любовнице. Это ужасно жестоко с его стороны, мы ведь оба литераторы, с кем же мне обсуждать книги, как не с ним? А о чем написано в половине книг, опубликованных с начала времен? Лоран обвинил меня в том, что я в такой вот хитрой форме давлю на него. Он говорит, что мне не хватает чувства такта, но как, черт возьми, быть чуткой в моей ситуации? Я могла бы повести себя еще более гадко! Например, читать при нем "Вечного мужа" – одна моя знакомая это испробовала...

В любом случае я ему не позволю так со мной обращаться! Я заявила, что он слишком обидчивый и что мне осточертела ситуация, когда я вообще ничего не могу сказать. С ним я чувствую себя как в том доме, который мы снимали прошлым летом на Кейп-Коде: у входа лежит коврик с надписью "Добро пожаловать!", а стены обклеены правилами поведения и запретами. Это подло. Он даже додумался обвинить меня в отравлении ребенка "Salt Water Taffy". Можешь себе такое представить? По-моему, не нужно иметь докторскую степень по педиатрии, чтобы догадаться, что ребенка, обжирающегося конфетами, рано или поздно вырвет. А он еще и водит малыша через день в "Макдоналдс", поди знай, что творится у того в животе после ведра куриных крылышек в неделю! Впрочем, все это не помешало Лорану ткнуть в меня пальцем, как в злобную ведьму, когда Жюль заболел. Да еще его жена, у которой якобы есть любовник и у Лорана с ней все так плохо! А ведь спят в одной постели! Однажды мсье даже позволил себе раскритиковать мой соус для спагетти, который я разморозила специально для него. "Базилик нужно класть в самом конце, чтобы сохранить аромат", – глаголет его жена, она работает у итальянского ресторатора, и больше мне о ней ничего не известно. Это из-за нее он так и не решился завести мобильник. "Как я буду выглядеть, если ты позвонишь при ней?" Я ответила, что телефон можно поставить на виброзвонок, как сделала ты во "Второй чашке", но он принял мои слова за сальную шутку. Естественно, ведь у него никогда не было сотового. А его сладкие обещания насчет уик-энда... Из-за него я пропустила именинный ужин Гийома! Месяц сиднем проси-

дела перед компьютером. Он писал нечасто, я же каждые двадцать минут проверяла почтовый ящик, а чтобы время шло быстрее, играла в "Тетрис". Ты когда-нибудь влипала в игру на целый день? Стоит остановиться, и уже кажется, что на тебя сверху сыплются эти блоки. А теперь представь, что занимаешься этим месяц кряду. Ужас. Ох, Леони, думаешь, он позвонит мне? Может, я зашла слишком далеко, "послав" его в бассейн в своем последнем письме? Неужели я потеряла Лорана навсегда? Что мне делать? В былые времена ты бы мое письмо не прочла: я съела две коробки мороженого "Häagen-Dazs" с шоколадной крошкой и заляпала всю клавиатуру. Теперь меня либо вырвет, либо я впаду в гипергликемическую кому.

Твоя любящая сестра ххх

От: leonie_ briere@montagemondial.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Четверг 7 октября, 09.08
Тема: FWD: За идиота меня держишь?

Во вторник 28 сентября, в 14.19, Пьер Фильон pet_f@ wow.prod написал Леони Бриер leonie_ briere@montagemondial.ca следующее:

Леони,

поскольку ты упорно мне не перезваниваешь, тебя никогда нет на месте, если я прихожу в "Монтаж мондьяль", и ты якобы обсуждаешь контракты со Слоном Дюмбо, я прибегаю к этому нелепому способу общения. Ненавижу писать о чувствах и потому буду краток.

Ты что, держишь меня за идиота?

Когда мы встретились два года назад, ты ходила вокруг меня кругами, завлекала и преуспела. Ты намеренно меня заводила: стреляла глазками в монтажных, одевалась в наряды с декольте, сладко нашептывала послания для голосовой почты. Когда мы впервые были вместе после рождественской вечеринки, ты заявила, что твой парень — юношеское увлечение, а теперь ты выросла, и вы оба изменились, и нужно каждому идти своим путем. Я еще сильнее влюбился. Рассказал, что моя подруга — адвокат, и что мы работаем почти 150 часов в неделю, и что для совместной жизни нужно что-нибудь другое: этого "другого" у меня не было (кстати, нет и сейчас, если тебя это волнует). С тобой у нас было будущее, и не говори, что тебе плевать. Зачем ты больше года соглашалась на встречи у Самюэля, если я тебе совсем не нравился? Скажешь, это было мимолетное увлечение? Полная чушь! Увлечение длится одну ночь, но не год. По-моему, я заслуживаю большего уважения. То, как ты со мной обращаешься, просто унизительно. "Чао, малыш, твои дела я передала девице из третьего кабинета на третьем этаже". Я хочу понять, где допустил промашку. Когда мы в последний раз ужинали "У бакалейщика", я, между прочим, сказал, что, если наш роман мешает твоей работе, если возникает конфликт интересов или бог знает что там еще возникает, моя студия может назначить тебя специалистом по связям с общественностью. Чего тебе еще? Я в растерянности, и это чувство грозит перерасти в ярость, если ты немедленно не прояснишь ситуацию. Напоминаю тебе, что "Монтегю" открыл свой офис в "Мультимедиа", в угловом доме через улицу от "Монтаж Мондьяль", и их оборудование ничуть не хуже вашего. Не хочу принимать крайние меры, но твое молчание невыносимо, связаться со мной легче легкого: по сотовому, в кабинете, в машине или на сайте.

Пьер

От: leonie_ briere@montagemondial.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Четверг 7 октября, 09.37
Тема: Ответ на: Полный крах

Анни,

сожалею насчет Лорана, но что я тебе говорила? Я ведь предупреждала! Извини за пустую болтовню, но мои прошлые глупости едва не стоили мне работы. На прошлой неделе Пьер решил, что его студия будет иметь дело с одним из наших конкурентов. Знаешь, сколько бабок мы имели в год с его рекламы и видеоклипов? Сотни тысяч долларов. Слава богу, что моя коллега Катя — только она была в курсе нашего романа — промолчала и меня не выкинули на улицу. А все потому, что мой любовник почувствовал себя оскорбленным, когда я променяла его на другого клиента. Я переслала тебе письмо, которое получила от него дней десять назад: чистой воды шантаж. Я его ненавижу. Ты знаешь — я пошла на связь с Пьером только потому, что он продюсер, надеялась, что он увидит во мне актрису, возродит мой талант, "запустит на орбиту". И он мог это сделать. В глубине души я знаю — актрисой мне не быть. Это самый крупный провал в моей жизни. Я не дура и все понимаю. Ужасно печально. Насчет ужина в честь Гийома не расстраивайся: ты ничего не потеряла. Кстати, странно, что ты вспомнила в письме о Кейп-Коде: родители весь вечер говорили о хозяйке дома. Она утверждает, что пол в ванной безнадежно испорчен, и требует две тысячи долларов (совсем рехнулась!). Мама нервничает: в этом году она недосчиталась десяти учеников на своих курсах, потому что одна соседка решила составить ей конкуренцию. Зато Гийом был доволен как слон: я подарила ему два свитера, а родители — пару билетов на хоккей на хорошие места. Думаю, за это я его и люблю: пустяки делают его счастливым. Мне кажется, и когда я изменяла ему, и теперь, когда терзаюсь кучей вопросов, он ничего не замечает. Поразительно, что он ни разу меня не заподозрил. Гийом будет хорошим отцом. Он такой нежный. Как тебе объяснить? Он — сама невинность.

Я приду сегодня вечером, чтобы хоть чуть-чуть тебя утешить и одолжить старый дождевик для рыбной ловли. Я проведу День благодарения с Гийомом, в Мон-Трамблане.

Лео

От: hubert_lacasse@mcgill.university.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Четверг 14 октября, 17.09
Тема: Он звонит по тебе

Лапочка, привет,

никогда не видел девушки печальней. Когда ты выступала сегодня утром, я боялся, что ты вот-вот трахнешься головой об стол. У тебя что, пострассставальный синдром? Не печалься! Любое несчастье легко поправить с помощью старого, как мир, средства. Ха! Ха! Мой метод опробован и общепризнан. Меня по-прежнему можно найти в "Ритц-Карлтон", апартаменты № 504.

Юб

P. S. Ты моя должница. Я опознал фотографию на четвертой странице обложки твоего романа. И требую авторский гонорар.

От: gerard_morin@mcgill.university.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Среда 27 октября, 07.14
Тема: Ваша работа

Мадемуазель Бриер,
вы должны были сдать работу в понедельник. Что происходит?
Я жду самое позднее до завтра, до 17.00. Если меня не будет в кабинете, подсуньте под дверь.
Сердечно ваш

Жерар Морен,
преподаватель кафедры французского языка и литературы
Университета Макгилл

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: leonie_ briere@montagemondial.ca
Дата: Среда 3 ноября, 11.52
Тема: Ветер переменился

Дорогая Леони,
это письмо наверняка покажется тебе странным, учитывая то состояние, в котором я пребывала, когда мы виделись в последний раз. Тогда я была способна только ругать Лорана: придурок, трус, параноик, эгоист, малодушный и далее по списку. Словом, все злые эпитеты, которые только способна придумать девушка, чье сердце разбито. Спасибо, что слушала так терпеливо и сочувственно. Но сегодня я беру назад все слова, слетевшие с моего языка под влиянием чувств.

В прошлую пятницу вечером мы с Лораном вернулись ко мне домой вместе. Студентов, выбирающих на втором курсе литмастерство, становится все больше, вот студенческая ассоциация и организовала творческую встречу с главным редактором издательства "Дюфруа" Софи Бланше. Ее попросили рассказать о профессиональной среде, процессе отбора рукописей и много еще о чем. Я решила узнать, сопровождает ли Лоран свою начальницу, и отправилась в преподавательскую гостиную. Там было полно народу. Я вытянула шею и едва не хлопнулась в обморок, когда увидела, что он сидит рядом с ней за столом. Он был невозможно хорош. Я говорила себе: ты должна уйти. И ушла. Меня колотило как в лихорадке, ноги были ватные, я пошла в туалет и закрылась в кабинке, чтобы отдышаться. Я думала: раз уж Лоран здесь, будет верхом идиотства, если он меня не увидит. Я знала, что должна туда вернуться, но не представляла, как себя с ним повести. Я терзалась сомнениями и тут услышала, как скрипнула дверь. Я узнала голоса Бибиан Леме и Мартины Хури, запахло сигаретным дымом. Бибиан Леме сказала Мартине Хури, что все это пустая болтовня: по ее мнению, Софи Бланше дала понять аудитории, что публикации заслуживают только те произведения, которые точно отражают мрачную действительность (Леме – снобка, она написала работу об "ином" в творчестве Саррот; кажется, она даже трахалась со своей научной руководительницей – теперь эта истеричка мадам Дюбуа стала завкафедрой). Мартина Хури ответила: мол, все это фигня и мою книгу напечатали только потому, что я спала с Бернаром, а это наглое вранье. Хури завидует мне, потому что тоже писала работу по литмастерству. В ее сборнике двенадцать рассказов о мастурбации, клубах сексуального обмена, пирсинге гениталий и других подобных вещах, но Бернар не предложил их Дюфруа (так-

то вот!). Треп этих девок меня слегка расстроил, но я отвлеклась от мыслей о Лоране. Они ушли, и я покинула свое укрытие. Оказалось, что я в туалете не одна: у раковины сидела красивейшая блондинка и сворачивала косячок. Ванесса Паради без щели между передними зубами, представила себе? Я с ней никогда не встречалась и решила, что она первокурсница. Она попросила у меня зажигалку, и я дала ей прикурить. Мы начали болтать, я сказала, что меня зовут Анни Бриер и что все, что говорили эти стервы обо мне и Бернаре, неправда, что Бернар влюблен в Марион Гулд, что он написал о ней целый роман, что он уж точно не интересуется двадцатипятилетней девицей, что он никогда ничего *такого* себе не позволял, и так далее, и тому подобное. Я просто рта не могла закрыть — наверняка из-за травки, я ведь не курила с прошлого Рождества, когда мы с тобой и Гийомом ехали в его "гольфе" к Ахунтсику. Она была новенькая, и я предупредила, что опасаться надо не Бернара Самсона, а Юбера Лакасса, этого урода-миллионера, который трахает все, что движется. Прокол! Знаешь, что выяснилось? Девушка оказалась его сводной сестрой, она приехала этой осенью из Нью-Йорка после того, как падение со сноуборда положило конец ее карьере танцовщицы. Только тут я заметила прислоненную к стене палку. К счастью, мое замечание насчет Юбера не слишком ее задело: она только сказала, что вообще-то у брата доброе сердце, просто нужно получше его узнать (сильно в этом сомневаюсь, но это неважно). Ким (так ее зовут) задала мне кучу вопросов о литмастерстве — она подумывает записаться на этот курс после своей пропедевтики. Ким заочно сдала на бакалавра по английской литературе, когда еще танцевала, а пока лечилась, начала пописывать стихи на французском. Тогда она просто хотела убить время, но теперь думает подготовить сборник. Из преподавательской донеслись аплодисменты, я испугалась, что Лоран уйдет, не увидев меня, сказала Ким, что самый лучший путь для нее — это встретиться с Бернаром Самсоном, и дала ей номер телефона. Я прополоскала рот холодной водой и позвала Ким составить мне компанию, но у нее был сеанс у физиотерапевта. По правде говоря, я даже обрадовалась: эта девушка так хороша, что я рядом с ней выглядела бы ничтожной букашкой. Я вернулась в гостиную, где человек пятнадцать студентов (в том числе Леме и Хури) вились вокруг Лорана, надеясь задружиться с ним и заиметь своего человека в "Дюфруа". Ох, Леони! Когда Лоран меня увидел, все произошло как в кино: он отодвинул прилипал и устремился ко мне. Он шел, и его силуэт напоминал фотоснимок с устраненным фоном. У меня язык во рту не ворочался, я едва могла слово вымолвить и только слушала. Чтобы пересказать тебе все замечательные слова, которые он произнес, понадобилось бы 500 килобайт, а письмо и так уже слишком длинное! Он почти не спал эти две недели, все время думал обо мне (и едва не вылетел с работы, потому что пропустил опечатку в рекламе). Лоран сказал, что согласился сопровождать Софи Бланше по одной-единственной причине — надеялся, что я тоже приду, представляешь?! Он спросил, чем я занималась все то время, пока мы не виделись, я ответила уклончиво и сказала, что жутко проголодалась. Студенты успели сожрать все чипсы, мы отправились на нижний этаж "Кур Мон-Руаяль", и я заказала два куска пиццы all dressed[1] и картошку. Вид у меня был голодный, и я думала, что для первого ужина тет-а-тет в ресторане мы могли бы выбрать место получше, впрочем, это и есть любовь, так ведь? Одуванчики кажутся розами, жирная пицца — суши, понимаешь, о чем я? Это было очень романтично. Потом мы поднялись на первый этаж, зашли в магазинчик, и я купила ему сотовый. Он заплатил за мой ужин, должна же я была отдариться, так? Издательский мир живет на дотации, не ду-

1. Речь идет о фильме "Английский пациент" Энтони Мингеллы.

маю, что Лоран много получает в "Дюфруа", не говоря уж о выплатах по студенческому кредиту. Два года назад, летом, им с женой пришлось продать обручальные кольца, чтобы поменять бытовую технику (это доказывает, как они дорожат друг другом!). Интересно знать, откуда у его жены взялись деньги на кубинское путешествие. Плевать, меня это не касается. Важно, что мы с Лораном снова вместе. И теперь я могу в любой момент услышать его голос по телефону.

Твоя обезумевшая от счастья сестра!

От: leonie_ briere@montagemondial.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Четверг 4 ноября, 16.24
Тема: FWD: Предупреждение об опасности насчет вируса "Want to fuck?"

Анни,

ты что, совсем рехнулась? У меня произошло бы отслоение сетчатки, дочитай я твое послание до конца! В субботу мы завтракаем в "Бьютиз", вот и расскажешь все "вживую"! Но, судя по всему, ситуация с твоим Лораном "устаканилась"...

В ожидании встречи посылаю тебе это предупреждение.

Целую,
Лео

Просим передать это послание всем вашим адресатам.

Вчера "IBM" сообщила, что в сеть запущен вирус, и рекомендовала всем пользователям стирать любые послания, озаглавленные "Want to fuck"? Каждое такое послание, если его открыть, заражает жесткий диск и стирает из памяти все данные.

Будьте бдительны.

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: leonie_ briere@montagemondial.ca
Дата: Понедельник 15 ноября, 09.33
Тема: Жослен Монетт?

Леони,

известен ли тебе режиссер Жослен Монетт из компании "Кенгуруфилмз?" Он звонил летом и снова связался со мной на этой неделе. Сказал, что желает делать кино по "Вечеринке в саду". Мы должны встретиться до конца месяца.

Анни

От: viaulau@edduffroy. qc. ca
Кому: annie_briere @mcgill.university.ca
Дата: Понедельник 15 ноября, 15.00
Тема: Задержка

Маленькая неувязка. Нет времени на звонок. Только что звонили из детского сада. Я должен сорваться с работы и бежать. Сегодня вечером точно задержусь. Потом все объясню. Л.

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: lesbeauxmots@coucoumail. com
Дата: Вторник 16 ноября, 22.18
Тема: Когда я была маленькой

Здравствуй, мама,
как дела?
Болела ли я в детстве ветрянкой?

Спрашиваю потому, что сегодня ребенок моих друзей покрылся сыпью и у него подскочила температура. Его отец вне опасности, он переболел в детстве, но мог заразить меня. Инкубационный период у всех разный. Вдруг я уже заболела? Ответь побыстрее, прошу тебя. Такое впечатление, что у меня повсюду чешется, и сейчас я сдираю кожу чесалкой.

Спасибо,
Анни

От: lesbeauxmots@coucoumail. com
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Среда 17 ноября, 10.28
Тема: Ответ на: Когда я была маленькой

Здравствуй, детка,
вы с сестрой болели ветрянкой то ли в три, то ли в четыре года, так что не волнуйся.

Ты, кстати, никогда не рассказывала мне про этого своего друга с ребенком. Может, он захочет записать сына на мои занятия дикцией (когда тот оправится после ветрянки)? В этом году у меня меньше учеников из-за старой ведьмы Сен-Сир, которая открыла школу на бульваре Гуэн, в двух шагах от нас, так что я могла бы сделать исключение и взять малыша со второго полугодия.

Рассчитываю на тебя.

Сюзанна Бриер, директор школы дикции "Говорим красиво".

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: viaulau@edduffroy. qc. ca
Дата: Среда 24 ноября, 11.13
Тема: Есть кто живой?

Лоран, я четыре раза пыталась дозвониться до тебя по сотовому, что происходит, почему не отвечаешь? Даже голосовая почта не открывается! А я ведь оплатила эту опцию. Сообщаю о непредвиденных обстоятельствах: меня может не оказаться дома вечером. Моя сестра беременна. Мы все собираемся у нее. Позвони и подтверди, что получил это письмо, пожалуйста. Я дома весь день, нужно налечь на курсовую.

Анни

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: viaulau@edduffroy. qc. ca
Дата: Среда 24 ноября, 14.28
Тема: Есть кто живой, дубль 2?

Так, с курсовой покончено. Ты сегодня точно не читаешь почту и не отвечаешь на звонки! Досадно, черт возьми... Воспользуюсь этим, чтобы написать письмо, которое откладываю уже неделю. Надеюсь, ты свяжешься со мной до того, как я уйду из дома в 18.30.

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: jocelyn.monnette@kangouroufilms.com
Точная копия (секретно)
leonie_briere@montagemondial.ca
Дата: Среда 24 ноября, 15.12
Тема: Вечеринка в саду

Господин Монетт,

как Вы могли заметить, я не отреагировала на Ваш последний звонок, которым Вы подтвердили желание встретиться со мной и обсудить идею экранизации ВЕЧЕРИНКИ В САДУ. Я решила не сотрудничать с Вами. Меня просветили на Ваш счет: Вам должно быть стыдно за Ваши методы работы, мсье. Они отвратительны и бесчеловечны. Вы третируете людей, с которыми работаете, и наверняка даже не знаете, что некоторым из них разрушили жизнь? И все это ради жалких киношек о тоскующих девушках, которые, да будет вам известно, не удостаивают вниманием даже пункты кинопроката! Ради процветания южноамериканских, африканских, индонезийских и других тружеников я покупаю "честный" кофе[1], так что не надейтесь, что я буду иметь дело с палачами, свирепствующими в Америке.

Благодарю за проявленный к моей книге интерес.

Анни Бриер

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: leonie_ briere@montagemondial.ca
Дата: Среда 24 ноября, 15.17
Тема: Монетт

Привет, Лео,

ну как, текст достаточно хлесткий, на твой вкус? Чувствуешь себя отомщенной? Расскажешь вечером. Но не слишком нервируй себя дурными воспоминаниями. Это может навредить малышу. Кстати, я никогда не покупала "честный" кофе, но теперь, возможно, начну.

Анни

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: viaulau@edduffroy.qc.ca
Дата: Среда 24 ноября, 18.19
Тема: Есть кто живой, дубль 3?

Черт. Сейчас 6.20, льет как из ведра, за мной вот-вот заедет шурин! Ты будешь маяться перед дверью и простудишься.

От: viaulau@edduffroy.qc.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Четверг 25 ноября, 08.57
Тема: Вчерашнее фиаско

Дорогая Анни,

не знаю, почему тебя вчера не было дома, когда я пришел, но думаю, ты пыталась связаться со мной, чтобы предупредить. Какая непруха вчера случи-

1. Популярный во франкоязычной Канаде горный курорт.

лась! Во-первых, разрядился телефон. Накануне ночью я не смог поставить его на подзарядку. Обычно я прячу устройство под кроватью у Жюля, но он загрипповал, и жена включила в розетку увлажнитель воздуха. Телефон, стало быть, сдох. С письмами повезло не больше. Несмотря на предупреждение о вирусе мадам Венн получила и открыла письмо с фразой "Want to fuck?". Какая кретинка! Она наверняка думала, что это послание от старика Дюфруа. Естественно, все компьютеры зависли. Притащился наш веб-мастер с приятелями. Дюфруа заказал для них фалафель и шиш-таук, и они всю ночь устраняли последствия. Сегодня утром в конторе воняло марихуаной и маринованной репой, но мы хоть восстановили большую часть данных... Единственной, кто извлек выгоду из несчастья, оказалась Софи Бланше: она заявила Дюфруа, что последняя версия романа Марселя Жоликёра безвозвратно утрачена. Уверен, она врет, но это дает ей выигрыш во времени.

Телефон я зарядил, свяжись со мной, как только получишь письмо (я не решаюсь звонить так рано, боюсь тебя разбудить).

Лоран

От: bernard_samson@mcgill.university.ca
Кому: annie_briere@mcgill.university.ca
Дата: Вторник 30 ноября, 10.36
Тема: Твоя работа

Привет, Анни,

этой осенью Марион убила во мне динозавра и приобщила к волшебному миру электронной почты.

Как у тебя дела?

Как продвигается работа? Нам нужно встретиться, поговорить и заполнить твой розовый бланк. Навестишь меня в январе?

Бернар Самсон,
профессор кафедры французского языка и литературы
Университета Макгилл

От: guigui@studiotech.com
Кому: Записная книжка
Дата: Пятница 3 декабря, 13.46
Тема: Супербоул!

Слушайте! Слушайте!

Не забудьте традицию "Приходи смотреть футбол к Гийому"! Встреча назначена на 30 января, вход с 16.00, улица Сен-Юбер.

Вечеринка ПСВС (Приноси Свою Выпивку Сам), начос за счет заведения!

Принимаются ставки.

Ждем всех.

Гийом

От: annie_briere@mcgill.university.ca
Кому: leonie_ briere@montagemondial.ca
Дата: Понедельник 6 декабря, 09.14
Тема: Неопределенность

Дорогая Леони,

Лоран только что ушел. Он забежал ко мне перед работой — рассказать, какой кошмар случился прошлой ночью у него дома: жена нашла подаренный

мной сотовый. И — что еще хуже — Лоран, судя по всему, считает, что я действовала злонамеренно, а это не так, клянусь тебе. Так вот: у меня цейтнот с работой и времени полировать стиль и синтаксис писем нет, так что прошлой ночью я оставила послание на звуковой почте Лорана. Я просила позвонить мне как можно раньше, чтобы договориться насчет "особого расписания". Он, кстати, мне не говорил, что телефон бибикает — "бип! бип!", — как только приходит письмо. Лоран каждую ночь заряжает телефон у сына под кроватью, сигнал разбудил малыша, и тот заорал, как павлин, решив, что в комнату проник инопланетянин. Вообрази последствия: вопли Жюля разбудили мать, она прибежала, обнаружила источник "бип-бипов" под кроватью сына, потребовала объяснений от Лорана, ну и т. д. и т. п. Лоран заявил, что мсье Дюфруа решил оснастить своих служащих мобильниками, но жена, естественно, не поверила: зачем редактору, который сидит в кабинете, переоборудованном из чулана, сотовый телефон? Мог бы придумать отмазку поумнее! Она закатила скандал с истерикой, и спас Лорана только звонок будильника: мадам нужно было на работу очень рано, потому что ее хозяин получил заказ на поминки от богатого итальянского семейства. Выяснение отношений отложено до вечера... О, Леони! Мне так неловко надоедать тебе своими любовными проблемами. Теперь, когда ты ждешь ребенка, все это должно казаться тебе ничтожным. Кстати, у тебя прошла тошнота? Думаю, Лорану придется сказать жене правду. Как она отреагирует? Ох ты боже мой! Через несколько часов у меня либо появится сожитель, либо я лишусь возлюбленного. Когда он уходил, я сказала, что люблю его. Впервые. Он ответил: "Я тоже, но все не так просто". Мне нужно закончить работу, а я ничего не могу делать, в голове ни одной мысли. В былые времена ты бы не разобрала мой почерк — ужасно дрожат пальцы. Я, наверное, буду играть в "Тетрис", пока не решится моя судьба. Буду держать тебя в курсе. Возможно, мы с Лораном вместе придем к маме и папе на рождественский ужин! И вы все наконец с ним познакомитесь!

Анни

Окончание в следующем номере

Антон Нестеров

Канада: малый поэтический атлас

Так вышло, что англоязычная поэзия Канады в XX веке отчасти оказалась в тени поэзии американской и английской. Элиот, Паунд, битники, "школа языка" — то, что они делали, раз за разом столь радикально перекраивало сами представления о поэзии, что это вызывало шок: контуженный взрывом не слышит шум ветра или шорох листвы...

Канадских поэтов в России мало переводили и еще меньше издавали. Из тех, кто здесь "на слуху", можно назвать лишь Роберта Уильяма Сервиса (1874–1958): баллады его пришлись по вкусу тем, кто с детства любил Редьярда Киплинга и Джека Лондона...

Та канадская поэзия, которая представлена в этом номере, — иная. Мы попытались показать ее современный пейзаж — дать не моментальный срез на сегодняшний день, а представить имена, которые задают сам ландшафт, имена, с которыми так или иначе канадские поэты вынуждены сегодня считаться, независимо от того, продолжают они ту или иную поэтическую линию или яростно с ней спорят. Патрик Лейн и Майкл Ондатже тяготеют к традиционному верлибру, который позволяет спрессовать опыт и двумя-тремя штрихами передать моментальное впечатление или переживание; Эрл Берни известен своими социальными стихами; поэт и певец Леонард Коэн впитал опыт сюрреализма, чтобы от него потом отказаться: странный поток образов слит у него с чеканностью формулировок, с четко артикулированным "сообщением"; Джо Розенблатт — поэт-экспериментор, осознанно выбирающий необычные ракурсы восприятия: одна из его лучших книг "Сад сладострастия" (1978) предлагает читателю увидеть мир кошачьими глазами — это своеобразный и довольно радикальный ответ Т. С. Элиоту; bpNichol — наверно, самый яркий экспериментатор в канадской поэзии второй половины XX века, занимавшийся конкретной поэзией, коллажами, либретто для опер, писавший "романы" длиною в несколько страничек и поэмы длиною в несколько томов; Кристиан Бёк предлагает читателям канадский вариант "поэзии языка", ассоциирующейся с именами американцев Майкла Палмера и Чарльза Бернстайна.

Эрл Берни (1904–1995) — поэт, сама жизнь которого многое говорит о канадском характере, отнюдь не тихом и спокойном.

Он родился в пятницу, тринадцатого — 13 мая 1904 года, в Калгари. В ту пору эти места еще были канадским "диким Западом": отец будущего поэта в свое время сел на коня и отправился искать удачу, а под отчий

© Антон Нестеров, 2006

кров вернулся через несколько лет с молодой женой, Мартой Робертсон, дочерью шетландского рыбака. Детство Эрл Берни провел на ферме в Поноке, в провинции Альберта, помогая с хозяйством, а на досуге жадно читая, что было доступно — доступны же были Библия, "Путь паломника" Джона Беньяна и стихи Роберта Бернса. Потом был год жизни в рыбацком поселке на Шетланде, у деда по материнской линии, возвращение в Канаду, где целое лето семья жила в палатке, покуда отец строил дом... Юный Эрл полюбил ходить по горам — настолько, что домашние пророчили ему "карьеру" проводника для туристов — по выходным, ибо предполагалось, что по рабочим дням он будет работать на местной фабрике кем-нибудь вроде упаковщика или грузчика. Вместо этого после окончания школы он нашел себе место клерка в Ванкувере и стал готовиться в университет. Поступал он на специализацию "инженер химического производства" — а окончил университет по специальности "английская литература". Проблема была в том, что эта специальность не давала работы. Деньги на жизнь ему пришлось зарабатывать в качестве маляра, торговца-разносчика, лесоруба... В 1926 году он поступает в аспирантуру Торонтского университета, где увлекается марксизмом (на пороге стояли "ревущие тридцатые"), и, получив степень магистра, в 1927 году уезжает в Беркли писать докторскую, которую, однако, бросает, находит место преподавателя в Университете Юты. Женится на левой активистке Сильвии Джонстон, большой поклоннице Троцкого... Молодой, темпераментной жене тихая, населенная мормонами Юта приходится не по вкусу, и вскоре брак распадается. Берни получает стипендию от Британской академии и отправляется в Англию, нанявшись матросом на сухогруз. В Лондоне он днем просиживает в Британской библиотеке, а вечером помогает друзьям-социалистам в агитационной работе. Едет в Норвегию встречаться с Троцким... Потом — в Германию, где его на сутки арестовывает гестапо за оскорбления в адрес нацистской демонстрации. В 1936 году возвращается в Канаду с материалами для диссертации и троцкисткой Эстер Булл, которая становится его женой.

Во время Второй мировой войны Берни записывается в армию, после начала операций союзников его отправляют в Европу, где в чине майора он служит офицером по работе с личным составом — в Англии, Бельгии и Голландии. Позже этот опыт "работы с новобранцами" выплеснулся в полном черного юмора и горечи романе Берни "Тюрви: военный плутовской роман" (1949).

Первая книга стихов "Давид" выходит у Берни в 1942 году. (Всего Берни издал 21 сборник стихотворений, последний из них, "Приводя дела в порядок", был напечатан в 1991 году, когда автору было 87 лет!) Стихотворение "Давид", давшее название первой книге (и ставшее хрестоматийным — без него не обходится ни один курс канадской поэзии в университете) — рассказывает о двух альпинистах, один из которых, пытаясь удержать сорвавшегося со скалы друга, падает в пропасть сам. Стихотворение вполне неоромантическое: суровые картины природы, вторящие мыслям героев, перемежаются ницшеанскими формулами. Что-то похожее есть у замечательного американского поэта Робинсона Джефферса...

В 50-х у Берни начинается полоса политизированных стихов — политизированных примерно в том же смысле, в каком насквозь пропитано политикой *"1 сентября 1939 года" У. Х. Одена: речь не о партиях,*

классах и т. д., а о том, *как* человек делает свой выбор и *как* относится к ближним. Стихи Берни становятся все жестче и все минималистичней — и постепенно он приходит к "конкретной поэзии", когда все большую роль играет графический образ стихотворения, как в его "Проходя Аляску", где очертания стиха на странице повторяют форму полуострова. Максимальный сплав текста и графики у Берни — в поздних сборниках конца 70-х — начала 80-х. Так, стихотворение "Настоящие канадцы", являясь ироничной эпитафией "всему благовоспитанному", своим графическим рисунком напоминает... надгробную стеллу.

Леонарда Нормана Коэна (р. 1934) чаще всего сравнивают с Бобом Диланом или Сержем Гинзбуром. Сегодня престижные университеты устраивают конференции по творчеству Леонарда Коэна, а когда несколько лет назад в Канаде вводили новые денежные купюры, одним из предложенных вариантов предусматривалось, что на пятидолларовой банкноте... будет его портрет. Коэн — это дух 60-х, человек-эпоха. Один из вполне академичных докладов о нем начинался фразой: "Когда в 1988 году, после многолетнего перерыва, Коэн выпустил пластинку "I'm your man", возникло чувство, что 60-е вернулись: его голос вновь звучал из открытых окон, на улице". (Характерно, что звукоряд в фильме *немца* Фасбиндера "Предостережение святой блудницы" (1971), ставшего одним из самых пронзительных реквиемов иллюзиям 60-х, построен на песнях Коэна.) Но прежде чем начать петь, Коэн издал не один сборник стихов: "Сравним мифологии?" (1956), "Солонка земли" (1961), "Цветы для Гитлера" (1964), "Паразиты небес" (1966), два романа "Излюбленная игра" (1963) и "Прекрасные неудачники" (1966). В 1968 году книга избранных стихов Коэна была удостоена высшей литературной награды Канады — Премии генерал-губернатора, которую поэт, однако, отказался принять... Песни появились позже (первый диск вышел в 1967 году)... Но случилось так, что за пределами Канады Коэн-певец заслонил Коэна-поэта... Песня "Future", звучащая в фильме "Прирожденные убийцы", для многих и многих стала главной — и часто единственной ассоциацией с Леонардом Коэном. (Переводя на здешний опыт — это примерно так же, как если бы Окуджава ассоциировался только с "Мы за ценой не постоим" — даже не с "Ваше благородие, госпожа Удача...")

На самом деле за негромкими, исполненными иронии и грусти песнями Коэна стоял нонконформизм — сродни кортасаровскому[1]. В одном из интервью 1990 года Коэн обронил: "Когда я пишу текст, я чувствую: это что-то вроде речи главы правительства в изгнании..." Речи человека, пытающегося говорить о любви в мире, давно живущем вне ее. Мир, каков он сейчас, — мир, где подлинные сущности заменены видимостью. Это мир "как бы вещей": "как бы отстроенного в его подлинном виде Акрополя", поднявшегося над реальными историческими развалинами к Олимпиаде в Греции, и "как бы мирного иранского атома", "как бы управляемой демократии", моделируемой к выборам 2008 года, и "как бы нонконформистского искусства", существующего на государственные гранты...

1. Они на самом деле похожи — вплоть до того, что долгое время жили вне родины: Кортасар, уехав в 50-х из пероновской Аргентины, так туда и не вернулся; Коэн же в 60-х семь лет провел на греческом острове Гидра.

На альбоме Коэна 1988 года "I'm your man" ("Я — твой мужчина") есть песенка "Всем известно":

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows that the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That's how it goes
Everybody knows...

Everybody knows that the boat is leaking
Everybody knows that the captain lied...

And everybody knows that the plague is coming
Everybody knows that it's moving fast...

[Всем известно: кости в стакане, / Все тайком крестятся, прежде, чем метнуть... / Всем известно — война окончена, / Всем известно — пали лучшие, / Всем известно — исход был оговорен заранее: / Бедняки остались ни с чем, богатые приумножили капиталы. / Всем известно, / Как оно происходит... / Всем известно — судно давно дало течь, / Всем известно — капитан врет в глаза... / Всем известно — чума на подходе, / Всем известно — она не заставит себя долго ждать...]

В этом мире, где все — вовсе не то, за что оно себя выдает, но при этом общество держится на молчаливой конвенции, что реальность — такова, как ее описывают СМИ, где, по словам одного из главных идеологов парижского Мая 1968 года Ги Дебора, "Финансист выходит петь, адвокат становится осведомителем полиции, булочник демонстрирует свои литературные предпочтения, актер правит, повар философствует о тонкостях стряпни как о вехах всемирной истории. Каждый из них может появиться в спектакле, чтобы публично, а иногда и тайно, предаться деятельности, совершенно иной, чем специальность, в которой он прежде смог заявить о себе. Там, где обладание 'информационным статусом' — статусом популярности в средствах массовой информации — приобрело неизмеримо большую значимость, чем стоимость того, что кто-либо из них был способен создать реально, считается нормальным, что этот статус оказывается легко передаваемым и предоставляет право также блистать в любом другом месте"[1], Леонард Коэн — с его песнями о Че Геваре ("The Partisan") или стихами, где память о Второй мировой войне перемешана с днем сегодняшним, с эротикой и иронией, — своего рода анахронизм. Он понимает, что обречен говорить в условиях утраты памяти, когда СМИ уничтожили само чувство истории: "Естественной сферой деятельности истории было памятное, то есть нечто объемлющее все события, последствия которых долго бы оставались явными. И поэтому история была как раз таким

1. Ги Дебор. Общество спектакля / Перев. С. Офертаса и М. Якубовича. — М., 2000. С. 125.

знанием, которое должно было бы постоянно испытываться и поддерживаться пониманием... Поэтому история и была мерой той самой неподдельной новизны. Но в интересах всякого, кто торговал новизной, было уничтожить все средства для ее измерения. Сейчас социальную значимость приписывают лишь преходящему, а также тому, что станет преходящим сразу после того, как переймет эстафету, то есть заменит собой предыдущее преходящее. Именно на основе такой сиюминутности, когда одна безликая пустышка сменяет другую, СМИ и воссоздают своего рода вечность, заполненную шумной и кичливой ничтожностью"[1]. И теперь все, что остается — опираться на личную историю человека, на его "я". Недаром одна из ранних пластинок Коэна, с уже упоминавшейся песней о Че или песенкой "Устаревшая революция", называлась "Songs from the Room" ("Песни из комнаты", 1969). "Песни из личного пространства". Постель как эпицентр политического сопротивления — в свое время эту мысль предельно овеществил Джон Леннон, устроив с Йоко Оно знаменитую "постельную забастовку". Нонконформизм Коэна — очень точный сплав политики и эротики, в этом он опять же сближается с Кортасаром[2]. Не политический призыв к восстанию, а призыв к неповиновению миру сему, как он есть. Отказ от конвенций, от любых метафизических гарантий. При этом и для Кортасара, и для Коэна все, что делается по-настоящему, — политика. В программном тексте "Как произносить стихи", написанном во время войны во Вьетнаме, на волне всеобщей политизации, Коэн говорит:

Эпоха требует выражения? Ни в каком *выражении* эпоха не нуждается. Мы видели фотографии азиатских матерей, у которых убили детей, — что до мук, которые ты испытываешь в связи с органом, который ты так привык мять в руках, — они никому не интересны. Выражение на твоем лице — оно никогда не передаст ужас того мгновения. И не пытайся: ты лишь заслужишь презрение тех, кто чувствует куда глубже тебя. Мы видели хроникальные съемки — видели, каковы люди, когда им выпадает невыносимая боль. А про тебя все знают — ты хорошо питаешься, за то, что ты тут стоишь, тебе платят. Ты играешь людям, пережившим катастрофу. Это заставляет вести себя потише. Произнеси слова, сообщи информацию, отойди в сторону. <...>

Бомбы, напалм и прочее дерьмо уничтожили не только деревья и хижины. Они уничтожили сцену. По-твоему, твоя профессия не уничтожена, как все прочее? Сцены больше нет. Нет рампы. Ты — среди людей, в самой гуще. Будь поскромнее. Выговори слова, передай информацию, отойди в сторону. Будь сам по себе. Нé фига влезать на котурны.

Это — внутренний пейзаж. То, что внутри. То, что только твое. Уважай эту самость материала. Эти отрывки — они написаны молча. Смелость — в том, чтобы проговорить их... Стихотворение — не рекламный призыв. Оно ничем тебе не поможет. Оно не заставит других считать тебя тонко чувствующим человеком.

Стихотворение — всего лишь информация. Конституция страны, которая у тебя внутри. И если ты декламируешь ее направо и налево — из самых благих

1. Ги Дебор. Комментарии к "Обществу спектакля" 1988 г. Гл. VI / Перев. А. Китайцева. Цитируется по сетевой публикации: http://boleslav.gserty.R4/txt.html
2. О кортасаровской политике: А. Нестеров. Жертвоприношения 68-го года // Литературное обозрение, 1995, № 3. С. 110–112 или: http://www.ferghana.ru/dom/detail.php?id=103

побуждений, – ты не лучше политиков, которых ты презираешь. Ты – всего лишь зазывала, размахивающий флагом и выкрикивающий дешевые лозунги, чтобы разбудить в окружающих патриотизм эмоций. Думай о словах как о науке, а не искусстве. О стихотворении – как об отчете. Тебя позвали выступить перед Клубом первооткрывателей при Национальном географическом обществе. О риске восхождения на горные вершины эти люди знают все. Тебе оказали честь, молча принимая риск восхождения как факт. Не надо, пользуясь их гостеприимством, красоваться тем, что ты рисковал. Расскажи им о высоте вершины, снаряжении, специфике восхождения и о том, сколько времени оно у тебя заняло...

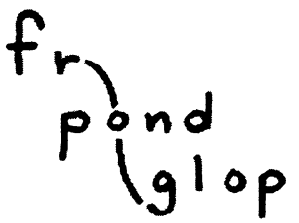
Патрик Лейн (р. 1939) перепробовал множество профессий – был лесорубом, водил грузовик, работал на стройке, служил фельдшером, бухгалтером на небольшом заводике, торговал вразнос: ему было только 18 лет, когда он женился – а жену и троих детей надо было кормить. С 1960 года он начинает писать – по ночам, после тяжелого рабочего дня. Постепенно он обрастает связями в литературном мире – и в 1965 году из маленького городка на отшибе, где он жил с семьей, приезжает в Ванкувер. Там в 1966 году выходит его первый сборник стихов "Письма дикаря". В том же году с друзьями-поэтами, среди которых были верлибрист Сеймор Мейн и поэт *бли биссет*, известный своими стихами-заклинаниями, лишенными вербального смысла, но ярко передающими эмоцию – по сути, *биссет* пытался привить литературе опыт художников-абстракционистов, Лейн основывает небольшое издательство – "Very Stone House". Издательство объединяет вокруг себя многих поэтов послевоенного поколения, что становится одним из самых успешных культурных проектов тех лет. Однако Лейн вскоре начинает скучать по переменам – и в 1968 году уезжает в Южную Америку на долгих два года. Там он впервые понимает, что такое настоящая нищета: ему вдосталь пришлось повидать ее в трущобных районах крупных городов. Эти впечатления во многом легли в его книгу "Нерожденные" – едва ли не лучший среди его ранних сборников. Вернувшись в Канаду, он предпочитает жить в небольших городках – где работает плотником, строительным подрядчиком. В 1978 году Издательство Оксфордского университета издает том его избранных стихов, который получает Премию генерал-губернатора Канады. На волне этого успеха Университет Манитобы в Виннипеге предлагает Лейну вести курс писательского мастерства, что становится началом академической карьеры поэта: после Виннипега он будет работать еще во многих университетах, читая современную литературу. Стихи Лейна чаще всего – небольшие зарисовки, построенные на каком-то реальном случае. Поэзия его вполне "сюжетна": Лейн – поэт-рассказчик, но его рассказ спрессован до притчи. Жадное внимание к миру, тем кто рядом – едва ли не главное в стихах Лейна. Кроме стихов, он опубликовал несколько книг рассказов, эссе, несколько пьес – одна из них, написанная в соавторстве с Лорной Гроциер, получила Национальную премию радио в США.

О **Джо Розенблатте** (р. 1933) один из критиков заметил: "В его стихах – кураж улицы, мудрость воды, тяжесть небес. Розенблатт – целая поэтическая школа, состоящая из одного человека. Он заставляет вас чувствовать то, что неуловимо: мохнатость шмеля, мельтешение головастиков в пруду, сердце ближнего". Как выглядит мир глазами кошки? То

есть как он выглядит с высоты кошачьего роста? А фасеточным зрением стрекозы? Розенблатт предлагает читателю самые неожиданные ракурсы восприятия — "А что, если эта земля — большая кошка?" Когда канадские критики его называют "поэтом, пишущем о природе", Розенблатт усмехается: "Итальянцы предпочитают включать мои стихи в антологии сюрреализма. А может, я просто — анимист. Как какой-нибудь дикарь".

Для поэта-анимиста у Розенблатта весьма своеобразный опыт, вынесенный из детства, мальчишкой ему приходилось помогать своему дядюшке в рыбной лавке: потрошить рыбу, вечером убирать лавку, смывая чешую, кровь и прочее. Потом он работал на клеевой фабрике, где на заднем дворе забивали лошадей — копыта, кости использовались в качестве сырья... Об этой части своей жизни он написал в романе "Побег с клеевой фабрики", который при всем своем подчеркнутом натурализме был своего рода парафразом джойсовского "Портрета художника в юности". Свои книги Розенблатт часто иллюстрирует сам — причудливой ироничной графикой. Особый успех выпал на долю его так называемых кошачьих картонов. Понятие "кошачести" очень важно для Розенблатта, для него оно связано не только с принадлежностью к роду felis felis, а с особым отношением к миру. Так, в одном из эссе Розенблатт говорит: "Я пишу, чтобы убежать от гнета реальности. Реальность — это геноцид людей, слонов, рыб. Плюс смерть озонового слоя, плюс деградация всей планеты из-за всех наших фабрик и прочего. Для меня муа — наркотик, позволяющий забыться, соскользнуть в сон, мечту и создавать то, что иные называют эскапистской литературой. Пусть поклонники прозы, эти собаколюбы, наслаждаются оскалом реальности, а поэзию пусть оставят для тех, кто любит кошек с их независимостью..." "Кошачьи картоны" — серии графических листов со странными подписями — иногда это двустишия, иногда просто несколько слов, встроенных в рисунок, на котором — кошки, травинки, какие-то насекомые. Работы эти выставлялись на многих выставках, а часть из них вошла в книгу "Сад сладострастия". Часто Розенблатт иллюстрирует детские книжки и стихи друзей-поэтов.

Барри Филип Николь (1944–1988), предпочитавший подписывать свои работы **bpNichol**, — наверно, самая интересная фигура в канадской поэзии XX века. Человек фантастически одаренный, от коллег по цеху он получил прозвище Капитан Поэзия. Майкл Ондатже как-то сказал о нем: "Ни один писатель в наши дни в этой стране не умел в каждой новой вещи настолько быть не похожим на все, что он делал до того, ни один не брался за столь многое — всегда точно зная, чего он хочет добиться и этого добиваясь". bpNichol занимался конкретной поэзией, писал детские книжки, создавал компьютерные тексты, делал фотомонтажи, писал либретто для опер и памфлеты, занимался экспериментами с телевидением, изобретал новые алфавиты, выступал с группой музыкантов-шумовиков, ставил спек-



Один из "визуальных текстов" bpNichol

такли. Его "звучащие стихи", рассчитанные на восприятие с голоса и теряющие на бумаге свои смыслы, а потому никогда не публиковавшиеся, отчасти сохранились благодаря фильму "Дети Капитана Поэзия", снятому о bpNichol Майклом Ондатже в 1970 году, и двум записанным поэтом пластинкам: "Странствия и возвращения" (1967) и "Мать-любовь" (1968).

Что такое "конкретная поэзия" по bpNichol, демонстрирует его небольшое стихотворение, выложенное на гравии в одном из парков Торонто. Идя по дорожке, ведущей к озеру, посетитель парка может прочесть у себя под ногами:

a
lake
a
lane
a
line
a
lone

Буквально: озеро / тропинка / строчка / одиночество. Собственно, эти строки всего лишь указывают на предмет, называя очевидноданное, причем это называние — избыточно: и так ведь понятно, что водяная гладь сбоку — это озеро, а под ногами у вас — тропинка. Но называя очевидное, стихотворение управляет вниманием прохожего, постепенно подчиняя себе его сознание, чтобы в конце заставить праздно фланирующего "читателя" задуматься — а не одинок ли он сейчас, и — хорошо это или плохо?

О репутации bpNichol в Канаде говорит один тот факт, что одна из улиц в Торонто названа его именем.

В нашей подборке представлены несколько фрагментов из большой поэмы bpNichol "Четьи-Минеи" (в 1970 году удостоенной Премии генерал-губернатора) и одно стихотворение из его позднего сборника ZYGAL. В "Четьях-Минеях" bpNichol девять книг и шесть томов. Структура поэмы отчасти напоминает "Cantos" Эзры Паунда. В поэме присутствует сквозной сюжет — это история одной любви и история одного путешествия, но каждый раз этот сюжет перебивается воспоминаниями, ассоциациями, рисунками.

Майкл Ондатже (р. 1943) известен прежде всего как прозаик. Славу ему принес роман "Английский пациент", получивший в 1992 году Букеровскую премию (первая канадская книга, удостоившаяся этой награды), вскоре, весьма удачно экранизированный, фильм получил девять Оскаров. Но Ондатже не только прозаик — он еще пишет стихи, снимает фильмы, занимается фотографией.

Ондатже родился в Коломбо на Шри-Ланке, вырос в Англии, а в Канаду приехал только когда ему было девятнадцать лет. Один из критиков, размышляя о специфике творчества Ондатже, писал, что многослойность прозы и стихов Ондатже объясняется не в последнюю очередь тем, что "Канада дала ему географию, в которую можно вписать себя, но не могла предложить ему что-то, что он бы чувствовал как

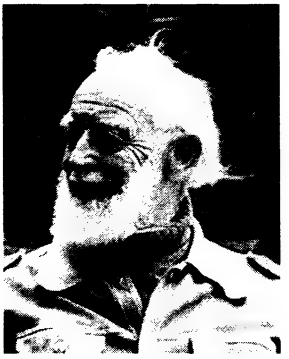
культурное наследие; Шри-Ланка наделила его семейной историей, но он не чувствовал связи с ее традициями — и не мог их продолжать; английский язык предложил ему культурное наследие и историю, но не время и место, где можно чувствовать себя своим".

В Канаде Ондатже закончил университет и получил место преподавателя в Университете Западного Онтарио. Однако университетское начальство настаивало, чтобы он получил магистерскую степень — в противном случае грозя увольнением. К тому времени за плечами у Ондатже было три сборника стихов, книжка о Леонарде Коэне и фильм "Дети Капитана Поэзия", поэтому он не считал нужным как-то формально доказывать свое право вести семинары по литературе. В конце концов, начальство уволило его — а через два дня после увольнения сборник стихов Ондатже "Собрание сочинений Билли Кида" получил главную литературную награду Канады — Премию генерал-губернатора (1971). И тут же был принят на работу в Университет Йорка. В 1979 году Ондатже второй раз получает Премию генерал-губернатора за сборник стихов "Трюк с ножом, которому я учусь". Сегодня Ондатже — один из самых почтенных канадских авторов.

Кристиан Бёк (р. 1966) в своих стихах исследует сами возможности языка, ведет передачи на радио, представляющие собой короткие звуковые коллажи, вроде специально обработанного чтения фрагментов из "Манифеста коммунистической партии", от которого становится не по себе: страшно. Два текста в нашей подборке взяты из книги стихов "Eunoia". "Эвноя" — довольно редкий психиатрический термин, означающий нормальное состояние сознания. В "Божественной комедии" Данте Эвноей названа река, текущая в Земном Раю и воскрешающая в человеке воспоминание о его добрых делах (Чистилище. 33. 130—133). Бёк пишет, что это редкое слово привлекло его тем, что в нем есть все гласные английского языка. Книга состоит из нескольких частей. Первая часть поделена на главы: "Глава A", "Глава I", "Глава O", "Глава U" — и каждое стихотворение-главка написано словами, в которых, кроме этой, почти нет других гласных. Так "Глава A" начинается: "Awkward grammar appeals a craftsman" (Буквально: "Неуклюжая грамматика взывает к мастеру"), а "Глава I": "Writing is inhabiting. Sighing, I sit, scribbling in ink this pidgin script" (Буквально: "Письмо есть обживание места. Вздыхая, я сижу, царапая чернильной ручкой эту тарабарскую рукопись"). Это совершенно непереводимо на русский. А вот "комбинаторное" стихотворение "Гласные", из той же книги, все слова которого образуются из букв, содержащихся в заглавии, а в тексте присутствует отсылка к знаменитому "Сонету гласных" Артюра Рембо, переводчице Марине Бородицкой по-русски сделать удалось. Как удалось ей сделать и другой текст из "Эвнои" — про чесальщиков, кровельщиков, лудильщиков, — в котором идет нагнетание согласных; Бёк соединяет принципы "звучащей" и "комбинаторной" поэзии в одном тексте. (В похожей технике сделано и стихотворение Джо Розенблатта "Плеритмяритм" — "звучащая поэзия" уже не одно десятилетие популярна в Канаде.)

И еще — замечание напоследок: подборка выстроена не по году рождения поэтов, а по принципу их активного присутствия в литературе.

Эрл Берни



Настоящие канадцы

В любую погоду — на свежем воздухе,
жалобы от них не услышишь,
неразговорчивые, зато прямодушные.
Несмотря на тесноту, места хватает на всех.
Им здесь привольно, среди цветов, деревьев;
жуки жужжат, резвятся кузнечики.
Законопослушные, добродетельные,
нет среди них воров, разбойников, насильников,
пьяниц, курильщиков;
Они встают в хвост очереди
и не сходят с места.
они предоставят вам полную информацию о себе:
имя, возраст, годы военной службы, любящих сестер, братьев,
слова, утешения ради
начертанные,
о бессмертии,
теперь, когда все они
лежат в земле.

Перевод Григория Стариковского

© Earle Birney, 1978
© Григорий Стариковский. Перевод, 2006
© Антон Нестеров. Перевод, 2006
© Ирина Машинская. Перевод, 2006
© Марина Бородицкая. Перевод, 2006

Леонард Коэн

Письмо

Как ты убил всех близких
что мне до того
покуда губы твои скользят по моему телу

Твои мечты — я их знаю:
опустошенные города, лошади в мыле
солнце — всего в двух шагах
ночи нет и не будет конца

но что мне до того
когда твое тело рядом

я знаю — снаружи война
и ты отдаешь приказы
вырезать всех младенцев, казнить всех генералов

но что мне до крови
если заводит тебя не это

в поцелуе твоем вкус крови
но что мне до того
когда волосы твои — вот

А что будет потом — я знаю
потом,
когда войско вырежут
и их шлюхам — им вспорят брюхо

я пишу это — чтоб ты не кичился

© Leonard Cohen, 1956

когда утром меня повесят
с генералами, прочей швалью
на воротах дворца

я предвидела это
так что знай мне все равно

О *доблестях и добродетелях*

Будь у меня сияющий нимб,
чтоб водилы, забыв про дорогу,
таращились на меня;
если б я мог как струна
скользить в прозрачной воде,
там, где рыбы и водяные змеи;
если б знал, каково оно — падать,
слишком близко поднявшись к солнцу;
разве торчал бы я в комнате,
читая тебе стишки,
и мечтая о... (промолчу), —
в такт движению твоих губ?

Стихотворение

Слышал я, жил один человек,
что умел говорить так красиво —
стоило ему назвать имя женщины:
она падала в его объятья

Если лежа с тобой молчу
и тишина прорастает как опухоль между нами
просто я слышал мужские шаги
на лестнице и покашливание под дверью

Перевод Антона Нестерова

Патрик Лейн

Городская тюрьма в Калгари

Сегодня его увели.
От нечего делать я разглядывал имена
избороздившие стену
обрывки
темных слов.

Увели думал я
ну и прах с ним.

Вчера он отлавливал
тараканов
костлявую сводило руку
а после ужина
взял железную кружку
и раздавил их скопом.

Он смеялся когда я вырезал свое имя над койкой.
На кой тебе это надо сказал он
замажут ведь.

Пир солнца

Сосна пьет небесную муть
в деревне старик
глаза износились
вытянулся на циновке
смерть близка.

Камни румянцем пышут когда им дышать легко
в роще знахарка
скоблит кору
чертовой палицы
этой весной
она изведет смерть.

© Patrick Lane, 1978

День на излете.
Птицы теряют голос.
Я молчу, на далекий гляжу город.
Расскажи
все с начала.

Из предсмертья
ответишь ли
начало в чем оно
смотри
небо в слезах
идет женщина.

Отчего истончается солнце
когда горы вогнаны в землю
и мир — плоский как блин
над ним одинокий парит орел
рассекая небо на ленты
прочерком крыльев.

Она

Когда они рядом, ночь
съедает его лицо
до самых костей, одни
глаза наполняя той,
с которой не сводит глаз.
Тому не любовь виной,
и даже не то, что весь
он знал наизусть её,
какой для него была.
Он может её волос
касаться теперь, но к ней
чем ближе, тем от себя
все дальше, кромешней он.

Когда

Когда ночь замирает, когда
в лунных бликах
пузырится снег,
я сном забываюсь
лечу без помех,
далеко-далеко,
от безумья дневного
исцеляясь легко.

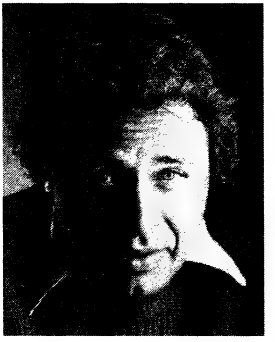
В диком поле меня продувало
пустотою — насквозь,
падал тихой ресницею свет

тускло, вяло,
и плескалась луна, темноте придавая
очертанья, и мрак становился предметен,
но, придав, пропадала,
меня одного не отметив.

Кто я, абрис неявный холма
или пойманный зверь?
По норе убивайся
и ошейник на прочность проверь,
ослепленный, как свет,
слепнет, траченный тенью,
на снегу оставляя
никакой силуэт.

Перевод Григория Стариковского

Джо Розенблатт



Муза в начале февраля

в сознанье — только золотые рыбки
природа — кат
зима стирает глубину, сжирает
все "быть" — хвостатых головастиков, мелькавших
в веселой луже бытия (теперь под снегом)

рыбки скользят там где-то подо льдом
сознанье безразлично, как и снег
пространства — вытоптано немощною мыслью: следы галош
мелкий песок, грязно-зеленая вода
солнце ползет над самым горизонтом
чтобы застыть у тапочек владыки:
он богатей, владелец золотых полей Дремоты
это его зубища горят на дне голубоватой бездны утра

Перевод Антона Нестерова

© Joe Rosenblatt, 1975, 1996

плем ритм
мя ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
пчел ритм
ног ритм
же ритм лёз ритм
рук ритм
рож ритм день ритм я ритм
я ритм зык ритм
пол ритм
тел ритм
рта ритм
му ритм зык ритм
душ ритм
труд ритм
се ритм рдца ритм
нерв ритм
кровь ритм
ритм ду
ши ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
дым
да
дум
дум
дум
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм
ритм

тум да
тум да
тум да
тум да
тум да
ритм
ритм
ритм
ритм
просто ритм

ног ритм
глаз ритм
рук ритм
ритм же
лез ритм
племяритмритмритм

Тогда земля задвижется, мурлыча

Сады порой — коты, и спят себе
до вечера. Когда ж он настает —
из своего изнеженного сна
мурлыка выползает,
потягиваясь на пуховике,
встает на все четыре,
словно призрак
изголодавшийся,
и пляшущих вдыхает рой стрекоз.
Душа моя, древесный мотылек,
пульсируя в ночи, прикрытой только
самой собою траурною — ты
порхаешь посреди зрачков агата.
Задвижется земля, мурлыча, лапу
выпрастывает — и голова моя
клонится к ней, смежает веки
на каждом крылышке

Споем!

Филе-миньон душе моей —
когда коты поют по-фелинийски[1]
хоть это и зависит
от погоды:
иные песни
прекраснее в погожий день
Когда коты поют по-фелинийски —

1. Видовое название кошек по-латыни felis felis. (*Прим. перев.*)

они в обеденном бывают обалденье
Ну сколько раз уже ты наблюдал
как лыбится вдохнувший грызуна
не прерывая песни
кот
И нам, и нам бы петь по-фелинийски
и обнаружив мышку
ликовать
она танцует посредине песни
Да, братья-сестры! будем петь и мы
по-фелинийски

В *запущенном саду моего мозга*

В запущенном саду моего мозга
паучиха в паутине слез
сидит, зырит
в ультра-фиолет
сотнею голодных глаз,
пока я качаюсь да делю лазурь
с остальными асами разлуки,
бубню их нехорошие песни.
Пасмурно — а мы свои печали
вывесили на просушку.

Перевод Ирины Машинской

bpNichol

Из книги "Поминальник"

***

морковка лук сельдерей картофель
тертый сыр
кусочки мяса
соль перец чеснок

© Coach House Books, 1998

ветреный день
дверь нараспашку
прохлада на кухне

потушить капусту
на капустные листья
выложить рис и овощи

сесть за стол
болтать о пустяках
чувство покоя

выйти в поля где ветер
только синее небо вверху
молиться: пусть так все и будет

***

женщина которая была для меня всеми женщинами
женщина которая подарила мне всех женщин
ритуал перехода
выбор
имена не имеют значения
или все равно: нарицаю имя

минус место — все места одинаковы
минус время — время вечно одно и то же
где только смазанные подробности навязчивые повторы
мы живем в петле времени — или в застывшем кадре
течение времени, в обе стороны
всегда ныне и присно год 1 день 1 час 1 бога
славьте его пишите имя его на песке
вода или ветер да сотрут имя

един океан в котором все океаны святы
вспомни слова отца моего
отбороздившего их от тихого до атлантики
“боже мой как же мы далеки от дома”
вернись к водам соль на жабрах мы полны морем

вскинув руки сплетенные к солнцу

вдох выдох

alokanorée

aloka norée

вдох aloka

выдох norée

неделями наблюдать смену контуров на песке
припадая пластаясь
наблюдать как вскипает песок в кромке прибоя
я — добыча волны
что вбивает меня лицом в берег
отпечаток лица каждый раз будто память по мне

Из *книги* ZYGAL

творение начала октября

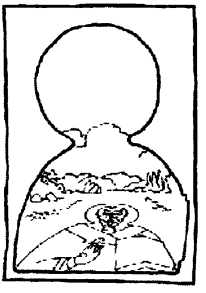
есть в этом мире колодец: на поверхность его выплывают
наши лица, когда мы склонимся над ним:
будто это сон, из которого можно вернуться
будто зеркало, через которое приходишь к себе

есть тропа к нему, через лес — я не раз шел по ней,
когда я искал одиночеств
есть леди, которая вся — плоть и ласка,
леди по мне

есть окно, в котором загорается свет
дверь, в которую я стучу
песня, чтоб петь
    и тот, кто моложе — но это я,
    я, которого так боюсь узнавать поближе

иногда ночами я отправляюсь к колодцу
вглядываюсь в мое лицо, когда оно выплывает
возвращаюсь в объятия леди
ведь не будет же зла от того,
что я смотрю в окно — на себя, играющего
бормоча под нос — это ли ты?
это — и все?

Перевод Антона Нестерова



Майкл Ондатже

Женщины из Боралесгамувы

На середине реки
собирают лотос
кожа в ожогах пыльцы, которой вода проперчена
славят о славят они омовенье
рук и запястий

видел бы муж, как смеется его жена

креветка увивается возле ног

на животе у них складки
вот какие бывают красотки

пополудню свежи
на лодыжках браслеты

Экзамен по вождению

Две миловались пичуги
алый порыв перьев
летящие клочья хлопка
из-под машины;
все-таки я — неплохой водитель, продолжаю движение.

Перевод Григория Стариковского

© Michael Ondaatje, 1992, 1998

Кристиан Бёк

Из книги "Eunoia"

Гласные

ангел гас

глас ныл
гнал сны

лес наг
снег ал

не англ
не галл

гены снега
нега сна

Трудоворот

Чешские чесальщики честно чешут овечью шерсть. Краковские кровельщики чешут языки, когда кроют крыши. Лондонские лудильщики кроют правительство, починяя кастрюльные крышки. Челтнемские точильщики лудят глотки, крича: "Точить ножи, ножницы!" Карлсбадские краснодеревщики точат лясы, вырезая фигуры для шахмат. Трезвые шахматисты чешут разношерстные затылки на чемпионате в Чешире.

Перевод Марины Бородицкой

© Christian Bök, 2001

Мириам Тоуз

Непростая доброта

Фрагменты романа

Перевод с английского и вступление Ольги Дементиевской

Мириам Тоуз родилась в маленьком меннонитском городке Штайнбах в Манитобе. Она участвовала в выпуске документальных передач на канадских радиостанциях, сотрудничала с журналами, написала три романа; фрагменты из последнего, под названием "Непростая доброта", и публикуются в журнале.

Действие романа происходит в небольшом городке среди блеклых сельских пейзажей канадской провинции Манитоба. Повествование ведется от лица главной героини, Номи, девушки шестнадцати лет, воспитанной в меннонитской общине строгих нравов. Взрослея, Номи начинает задыхаться в атмосфере множества условностей, определяющих жизнь членов общины. Ей становится все труднее и труднее вписываться в общепринятые рамки. Но не только ей одной — сначала сестра, а затем и мать уходят из дома, из общины, покидают городок. Номи остается с отцом, школьным учителем, тихим, глубоко верующим человеком, который тяжело переживает уход жены и старшей дочери. Нравы в поселении царят суровые. Казалось бы, жители городка, придерживающиеся христианских ценностей, должны нести в окружающий мир добро, однако все не так просто.

Роман вышел в 2004 году, и его тут же назвали "гранатой черного юмора, чей взрыв отозвался разрушительной силы хохотом и вместе с тем щемящей сердце тоской". "Непростая доброта" получила признание критиков и надолго заняла прочные позиции в списке канадских бестселлеров. Обозреватель газеты "Глоб энд мейл" Билл Ричардсон пишет: "В романе автору многое удалось: выдержан темп повествования, отлично выписаны яркие, такие неожиданные характеры, мастерски передано время и место действия, присутствует острый, подмечающий каждую деталь авторский взгляд, изящна манера письма. Однако главная удача — образ Номи Никель, не оставляющий читателя равнодушным, заставляю-

© 2004 Miriam Toews
© Ольга Дементиевская. Перевод и вступление, 2006

щий полюбить героиню". "Блестяще" — такую краткую, но емкую оценку дал роману еженедельник "Нью-Йорк таймс бук ревью".

В 2004 году роман был номинирован на премию имени Дорис Джиллер — ежегодную денежную премию, присуждаемую автору лучшего канадского романа или короткого рассказа, опубликованного на английском языке. В том же самом году роман получает Премию генерал-губернатора в номинации "проза". В 2006 году Ассоциация канадских книготорговцев признала роман Мириам Тоуз самой читаемой книгой года в Канаде.

Посвящается Мардж

Я живу с отцом, Рэем Никелем, в том самом низеньком кирпичном бунгало, что у автострады номер двенадцать. Голубые ставни, коричневая дверь, одно окно разбито. Ничего особенного. Вот только мебель потихоньку исчезает. А так — сплошная скука.

Половина нашей семьи, ее симпатичная половина, отсутствует. Утром мы с отцом просыпаемся, днем занимаемся какими-то делами — и так до вечера, когда снова пора ложиться. Каждый вечер часов в десять папа говорит, что отправляется на боковую. По пути к себе он останавливается в прихожей и кладет поверх ботинок записки с делами на следующий день. Мы с отцом любим вместе глядеть на северное сияние. Я слово в слово пересказываю ему то, что мистер Квиринг рассказывал нам на занятиях. О том, откуда берется это северное сияние. Папа считает, что в объяснениях мистера Квиринга есть интересные моменты. Папе всегда интересно, что говорит мистер Квиринг, — может быть, потому, что тот тоже учитель.

Мне надо доделать домашнее задание. Вот именно, доделать. Вечно у меня не получается довести дело до конца. Мистер Квиринг говорит, что обычно эссе и рассказы заканчиваются тогда, когда заканчиваются, и совсем не обязательно по воле автора. Он говорит, что мы сами поймем, когда к этому подойдет. К концу то есть. Ну, не знаю. Мне кажется, всегда остается выбор. Я уже предчувствую неудачу. Вот уж чему-чему, а этому я научилась. Вообще же на черта мне все это сдалось, ведь я буду рубить тонкие шейки и швырять тушки в перьях на конвейерную ленту в тускло освещенной бойне из шлакобетона, стоящей на окраине городка, который не от мира сего. Окрестная молодежь в большинстве своем там и оказывается — на птицеферме "Счастливое семейство", куда местные куры попадают, дабы встретиться со своим создателем. Сейчас мне шестнадцать и пока еще рано прощаться со школой, но остается всего несколько месяцев до того времени, когда я займу свое место у конвейера смерти.

Я часто вспоминаю мать, Труди Никель, и одно из воспоминаний связано с умерщвлением птицы. Однажды мы с мамой стояли во дворе фермы и смотрели, как Карсон со своим отцом отрубают курам головы. Вы бы этого Карсона сразу узнали. Карсон Эннс. Тот самый, с задней парты, который умеет пердеть рукой, засунув ее под мышку. Президент Клуба извращенцев. Говорит, что у него ребенок в Пэнси, городишке к югу отсюда. Да, трудный парень... Хотя чему тут удивляться — одно время он был убийцей в снегоходном костюме. Итак, мне было восемь, маме — что-то около тридцати пяти. Она надела красную шерстяную кофту и похожие на унты сапоги. Волосы у нее на концах заледенели — утром она никак не могла найти

фен. "Глянь", – сказала мама. Взяла прядь волос и согнула как соломинку. Она дала мне свой шарф с узором из "огурцов" – замотать уши. Уж не знаю, почему мы оказались у Карсонов посреди этой бойни – уверена, что пришли мы вовсе не за тем, – но, похоже, бойня начинается незаметно, когда ее совсем не ждешь. Карсон был моим ровесником; всякий раз, замахиваясь топором, он орал на курицу. Он хотел, чтобы она убежала. "Беги, глупая клуша, беги!" – "Карсон!" – тут же окликал его отец. Всего лишь окликал и слегка качал головой – как будто задницей вилял. Он изо всех сил старался взрастить в сыне убийцу. Времени было половина пятого, начали опускаться сумерки зимнего вечера, все окрашивалось в синеву. Мела поземка, и мы все стояли во дворе, в желтых лучах мощных фонарей. А коекто из нас умирал. Карсон делал свою работу ужас как неряшливо: он хватил курицу по шее, но удар не получился; шепотом Карсон все учил ее, как сбежать. "Да лети же, глупая! Не заставляй меня это делать!" Бедный парень... К тому времени Карсон уже наполовину расстегнул молнию на комбинезоне, и верхняя часть хлопала его по бокам как юбка, замедляя движения. Увидев все это, отец подошел к сыну и, выхватив из его маленькой руки в рукавице изувеченную клушу, бросил ее на деревянную доску, этот алтарь, на котором забивал птицу, и опустил топор с невероятной скоростью и точностью – тут же на снегу родилась картина из брызг. Я поразилась тому, что кровь моментально, без единого звука окрасила снег, а мама вскрикнула: "Смотри, Номи, прямо Джексон Поллок[1]! Надо же, до чего красиво! Небесное полотно!" Она частенько говорила что-нибудь в этом роде. А мы с Карсоном стояли и смотрели на кровь на снегу. Мама сказала: "Р-раз... и готово! До чего просто! Кто бы мог подумать".

Я так и не поняла, что мама имела в виду: просто создать произведение искусства или просто убить курицу? Или просто умереть? Лично мне и то, и другое, и третье кажется делом очень даже непростым. Я представила себе, будто мама сейчас рядом со мной и я спрашиваю у нее, что она имела в виду. А она недоумевает: "О чем это ты?" Я в ответ: "Так, ни о чем". На том бы все и закончилось.

Именно потому, что мама ушла от нас, все эти банальности из прошлого продолжают отзываться эхом. В тот вечер, после бойни у Карсонов, мама спросила за ужином: что мы почувствуем, если вдруг по какой-то причине впадем в кому и проспим все лето, а проснемся где-нибудь в середине ноября? Разозлимся ли на то, что пропустили чудесное, теплое лето, или обрадуемся, что вообще остались живы? Отец, который терпеть не мог выбирать, спросил, а нельзя ли и то и другое, на что мама ответила – нет, нельзя.

Мама с нами больше не живет. Она ушла вскоре после Тэш, моей старшей сестры. Мы с отцом даже не знаем, где они. Знаем только, что Тэш ушла с Ианом, племянником мистера Квиринга. Иан ужасно гибкий – прямо как резина, а еще у него красная машина-фургон "форд эконолайн". Труди, похоже, ушла одна.

А мой отец... знаете, что он говорит? Вечером, когда ложиться еще рано и он сидит дома? Он говорит: "Слушай, Номи, давай крутанем тарелоч-

1. Джексон Поллок (1912–1956) – американский живописец, основатель так называемой "живописи действия", которая представляет собой метод спонтанного нанесения изображения на полотно и не имеет ничего общего с традиционными художественными формами. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ку". Да-да, так прямо и говорит — дурацкие слова, аж челюсти сводит. Это он имеет в виду, что неплохо бы снова поставить "Snowbird" Энн Мюррей. Или моего старого, на пластинке сорок пять оборотов в минуту, Терри Джекса с его "Seasons in the Sun". Я частенько ставила Энн Мюррей в темноте, когда мне было девять — именно в этом возрасте я начала сознавать себя. Гуляем! Устроим бал! Недавно отец завел моду то и дело образовывать глагол от слова "живот". А еще от "скорости". "Мы скоростнем" и "Мы сживотим". Когда я упрекнула его, он стал оправдываться. Мол, нам неплохо живется, и вообще мы ладим друг с другом. Так что с чего бы ему извиняться? Отец считает, что жизнь полна обещаний, но я думаю, он имеет в виду обещания конца, потому что до сих пор ничего другого я не замечала. Если бы мы только уехали из этого городка, все бы изменилось к лучшему, но мы не можем — вдруг мама и Тэш вернутся. Вот уже три года так. Через день после того, как уехала мама, у меня начались месячные, значит, с тех пор они у меня были тридцать шесть раз.

Нравы в нашем городке суровые. А еще у нас очень тихо. И эта тишина меня с ума сводит. Интересно, можно умереть от тишины? Какая-то невидимая сила постоянно давит на наши слова, как рука на открытую, кровоточащую рану. В регистрационной конторе стоит огромный шкаф с папками, набитыми свидетельствами о смерти, в которых записано: поперхнулся собственным гневом, задохнулась от невыразимой тоски... Silentium[1]. Только и слышно, как ночами по шоссе грохочут полуприцепы, увозя накачанных снотворным животных, которым предстоит пасть от ножа. Не надо смотреть этим коровам в глаза. Кажется, будто жители нашего городка ждут не дождутся собственной смерти. Это главное событие. Нас не приканчивают сразу после рождения по одной-единственной причине — чтобы не сокращать мучения, которые будут тянуться целую жизнь. Школьный психолог посоветовала мне изменить отношение к месту, где я живу, полюбить его. "Но я люблю", — возразила я. "Вот и чудесно, — ответила она, — вот и чудесно".

Мы — меннониты. Насколько я знаю, это самая неудобная из всех сект, в особенности для подростка. Пятьсот лет назад в Европе некий Меннон Симонс вознамерился основать свою собственную религию, однако последователей нового учения, обнаружившихся в Голландии, Польше и России, силой заставляли от него отрекаться, не обошлось даже без побоев и резни. В конце концов кое-кто из оставшихся очутился здесь — в том самом месте, где сейчас сижу я. Забавно, но они назвали местечко Ист-Виллидж; потом я узнала, что есть такой район в Нью-Йорке — городе, где я хотела бы жить больше всего на свете. Другие меннониты сбежали в Парагвай, поселившись в огромной пыльной котловине Чако — самом жарком месте на Земле. Моя подруга Лидия переехала к нам из Парагвая; она рассказывала мне о случаях помешательства, вызванного жарой. Ее дядя вечно сидел на перевернутом кормораздаточном ковше посреди деревни и вопил: "Верните мне мои мозги!" С ним гораздо легче было говорить вечером. Мы, меннониты, должны с радостным нетерпением стремиться к смерти, а в ожидании этого благословенного дня жить так, будто уже умерли или на худой конец умираем.

1. Тишина (*лат.*).

Меннонитский опрос по телефону мог бы начинаться таким образом: "Предпочтете ли вы жить или умереть ужасной смертью?" Если вы ответите: "Жить", меннонит на том конце провода попросту бросит трубку. Представьте, что какой-нибудь ребенок из самой неблагополучной семьи вдруг соберет в вашей школе ораву отщепенцев под лозунгами, запрещающими радио, телевидение, танцы, курение, умеренный климат, фильмы, спиртное, рок-н-ролл, секс ради удовольствия, плавание, косметику, украшения, бильярд, путешествия или вечерние посиделки допоздна... И все это из-за Меннона. Спасибо тебе, Меннон, удружил!

К тому же противно, что тот, кто верит в абсолютное смирение, называет группу последователей своим именем. Даже не фамилией, а именем. Номи... номиниты... Хм, может, привыкнув к бойне, я тоже заимею собственных последователей. Иногда я ловлю себя на том, что представляю Меннона сидящим в психушке где-нибудь в тихом и красивом зеленом местечке. Как он шаркающей походкой направляется на занятия в группу, сбивая своих собратьев в стадо. Мне не дает покоя мысль, будто я — часть той страшноватой картинки, что засела в мозгу у этого типа. Хотелось бы знать, что именно произошло с Меннoном, почему он отвернулся от нормальной жизни. Интересно, вот если реконструировать обычный день маленького Меннона, на что он будет похож? Я слышала о Толкиене, об Урсуле Ле Гуин и том парне, что написал "Корабельный холм"[1], замечательную аллегорию о кроликах. Но вообще-то я не фанатка фэнтези. Нас тут и так каждый день пичкают всякими россказнями. Число зверя, улицы, мощенные золотом, семерка белых коней... Да идите вы!.. Я мечтаю сбежать в мир реальный. Если меня заставят читать очередную книжку о Нарнии, я лучше удавлюсь. Я бы почитала дневник ровесницы, городской девчонки. Или учебник по градостроительству. Или телефонный справочник Нью-Йорка. Ради справочника я пошла бы на все.

Мама всегда утверждала, что у нее карие глаза, хотя на самом деле они такие же серовато-зеленые, как у папы. Мама и папа приходятся друг другу двоюродными сестрой и братом. А значит, мы с Тэш не только сестры, но и троюродные сестры. В нашем городишке генофонд не отличается богатством. Вообще-то шутка избитая, но только не для нас. "Нет, — возражала мама, — у меня карие глаза. Я так и скажу паспортистке. Вот, посмотрите". Мы с Тэш вглядывались, но не видели в маминых глазах ничего карего — ни точки, ни пятнышка, ни черточки, — однако соглашались: "Конечно-конечно, карие". Сестра спрашивала маму: "А зачем тебе паспорт?" Мама отвечала: "Для осознания собственной личности". Может, паспорт давал ей надежду на приключение — она думала, что однажды и в самом деле сядет на самолет и улетит в волшебные края с умеренным климатом, где все танцуют.

Меннониты не поощряют поездки в город за сорок миль, однако приветствуют путешествия в отдаленные уголки стран третьего мира с "кубышками", набитыми под завязку библиями Гидеона[2] и сеточками для волос. Может, мама сейчас именно там — в красивом, с цветочным

1. Роман Адамса Ричарда про кроликов, которые ищут новое место жительства; написан в жанре, который можно определить как "звериное" фэнтези.
2. Библии, которые издаются и бесплатно распространяются американской организацией "Гидеонс интернэшнл"; являются обязательной принадлежностью номера в отелях и мотелях.

узором длинном платье, резиновых шлепанцах и соломенной шляпе, бродит по Конго и насаждает веру. Но это вряд ли. Так Вещатель поступал с одинокими женщинами веселого нрава, которых у нас называли старыми девами, — высылал их в жаркие страны, снабжая мотыгой, ежемесячным содержанием и фотоаппаратом, чтобы те, вернувшись через пару лет, показывали маленьким меннонитам в церковном подвале слайды. В заключительных слайдах всегда фигурировал самый угрюмый житель деревушки: как на него снисходит озарение, он начинает прикрывать свою наготу и, несмотря на угрозы и неодобрение собственного племени, помогает веселым белым женщинам в их богоугодном деле. Иногда миссионеров убивают. Но тут уж ничего не попишешь. Обычно в этих слайдах ощущается какая-то странная, исподволь назревающая интрига, в результате которой местный знахарь либо изгоняется из деревни, либо его заставляют улыбаться в объектив с Новым Заветом в руках, означающим, что знахарь, слава тебе, Господи, спасен. После показа нас угощают сыром и булочками, иногда мы, завязав глаза, играем в холле в жмурки.

Как бы там ни было, а я просто не представляю маму в роли миссионера. Зато представляю, как она занимается чем-нибудь другим — например, подводным плаванием или водит группы туристов по европейским достопримечательностям. Ее имя, Труди, было сокращением от Гертруды; мама кое-как смирилась со своим нелюбимым именем, когда прочитала о Гертруде Стайн и толстых парижских котах. Мама мечтала увидеть Париж. Она напевала старые песни Жака Бреля, неудачно имитируя французское произношение. Пела старательно, и выходило комично, но Тэш говорила мне, что все это только façade[1]. Что вообще-то от бесконечной стирки-готовки у мамы "крыша поехала". Вот она взбрыкнула и решила сбросить узду патриархальных устоев.

Мама любила читать, но большей частью про всякие тайны (хотя на сегодняшний день в нашей общине принято считать, что "Никаких тайн нет!") или о Холокосте. Ей нравилось произносить слово "нереальный". "Нет, ну это вообще нереально!" — отзывалась она о чем-то удивительном или неприятном, а такого, судя по всему, ей встречалось немало. Еще ей нравилось со смаком тянуть "м-м-м-ы...", делая упор на "ы", — в ответ на что-нибудь, привлекавшее ее внимание, пусть бы и сущий пустяк. "Мы, семья, в маленькой лодчонке посреди бурных волн". "Мы, семья, катимся вниз с холма на нейтральной передаче". "Мы, семья, рубим ель на Рождество". "Мы, семья". Когда мама читала и ей неохота было отвечать на наши вопросы, она рассеянно тянула: "Что-о-о?" Получалось невероятно долго и со всевозможными вариациями — от самой низкой позиции гласная забиралась на высокую, где еще некоторое время оставалась. Сама же мама не поднимала от книги глаз. "Мам, слышишь? Вот сейчас пойду и оболью себя бензином. А потом поднесу спичку!" — "Что-о-о?" Глаза так и не отрывались от страницы. Я это просто обожала.

Мама мечтала побывать на Святой Земле. Ей всегда были любопытны евреи. В нашем городке евреев не было. Как, впрочем, и негров с азиатами. Все мы похожи друг на друга — прямо отдельная вселенная из научно-популярной фантастики. Утром мы с сестрой шли в школу; мама всегда выходила на порог и, стоя в ночной рубашке, повторяла: "Ну, да-

1. Зд.: видимость (*франц.*).

вайте, дорогие мои... удачного вам дня... чтобы все было хорошо...", пока мы не отходили так далеко, что уже ее не слышали, — прямо иностранные моряки, покидающие порт назначения после невероятной ночной пирушки. В четыре часа мы возвращались из школы, а мама все еще была в ночной рубашке, только уже лежала на диване. Она закрывала книгу, заложив пальцем страницу, и говорила: "Привет-привет... как прошел день? Что, уже четыре? Не может быть!" — "Может, — отвечали мы. — Что будем есть?" Тут мама, лежавшая на диване, вдруг резко садилась, говоря: "Ох, что-то я резко села". И мы ждали, пока у нее перестанет кружиться голова. У мамы были ярко-красные пушистые тапочки, почти круглые. За час мама одевалась, успевала сходить в бакалею "Неповседа" (разве называют магазины в честь издержек переходного возраста?) и, накупив всего, вернуться, а потом приготовить ужин и с улыбкой, спокойная и довольная, накрыть на стол.

Мама заправски обходилась с "Кликом" — мясными консервами, похожими на отбитую человеческую плоть, упакованными в банку с приделанным к крышке ключом, который надо повернуть, чтобы открыть банку. Мне бы хотелось, чтобы в моих воспоминаниях о маме было что-нибудь более определенное, составлявшее законченную картину, с высоким цветовым разрешением, но мама не поддавалась точным определениям.

Внутри нее что-то бурлило, неистовое и непредсказуемое, — прямо дисковая пила врезается в праздничный торт. Мама изображала из себя всегда и всем довольную точно так же, как Джек Николсон изображал психа в фильме "Пролетая над гнездом кукушки"; но папа, облачившись в костюм с галстуком, и в самом деле с удовольствием сидел во главе стола и перешучивался со своими вполне нормальными дочерьми и любящей повеселиться женой, у которой карие глаза, которая носит соблазнительные ночнушки и чей паспорт с черно-белой фотографией очаровательной владелицы засунут подальше в ящик туалетного столика.

Местом, куда мама совершала путешествия чаще всего, был подвал церкви. Женщинам приходилось проводить там немало времени. Если, конечно, они не хотели попасть в ад. (Кому ты будешь служить — миссионерам в Ботсване или сатане? Вот именно. Вопросы есть? Вряд ли.) Женщины должны были шить одежду, которую затем упаковывали и рассылали миссионерам по всему свету. Мама эту работу терпеть не могла. Раз она сунула в контейнер, отправлявшийся в Никарагуа, пару женских романов, из-за чего ей потом попало. Она должна была выполнять все то, что положено делать в церкви, готовить на свадьбах и поминках, стегать одеяла, давать уроки в воскресной школе, ну и вообще вкалывать не возникая. Ей постоянно звонили и спрашивали, не выкроит ли она немного времени — надо помочь. Вообще-то даже не спрашивали, а ставили перед фактом. Иногда она прибегала уже под конец и извинялась, говоря, что ей прямо сейчас нужно срочно уйти.

То, что она приходилась Ober-Schultz[1] сестрой, ее нисколько не спасало. Все равно что сестра Муамара Каддафи или там Иосифа Сталина. Ты либо попадаешь в струю, либо пропадаешь. Папе нравилось, когда мама уходила в церковь помочь, но ему нравилось, и когда она оставалась дома. Похоже, он никак не мог решить, кто ему больше по душе: смиренно склонившаяся над работой супруга в огромных теплых сапо-

1. У меннонитов — главный староста колонии.

гах или вызывающего вида цыпочка в сексуальном белье. Мне кажется, обе эти крайности были для мамы всего лишь позами, а настоящая Труди находилась где-то посередине. Но в нашем городке не может быть никаких "посередине". Либо ты такая, либо сякая. Либо хорошая, либо плохая. Даже так: либо очень хорошая, либо очень плохая. Или же: очень плохая, но очень хорошо скрывающая это и ни разу не пойманная с поличным.

С Трэвисом мы встретились пять месяцев назад, в канун Нового года на вечеринке, затеянной на Холме Самоубийц. Вообще-то хорошим меннонитам не полагается праздновать очередной год заключения в этом мире. Для них это ночь разочарований. Однако мы не были хорошими.

Кто-то развел большой костер; искры красиво разлетались в воздухе, все смеялись и кашляли. Кое-кто обнимался в кустах. Другие с фонарем играли в салки на старом русском кладбище по соседству. Кто-то блевал на снег; из чьих-то колонок, установленных в машине, едва слышно доносился голос Кристин Макви, исполнявшей песню "Oh, Daddy". Я стояла в компании девчонок из нашей школы — мы обсуждали решения школьного комитета, — когда Трэвис и еще один парень, Риган, подошли к нам и поинтересовались, нельзя ли разжиться у нас косячком.

Мы все неопределенно помотали головой; нам было до смерти скучно. "Угу", — выдавила из себя Жанин, самая разговорчивая. Мы с Трэвисом затянулись одним косяком и разговорились; остальные пошли к костру.

— Так, значит, ты — сестра Тэш? — спросил Трэвис.

— Ага, — ответила я.

— Хреново, — буркнул Трэвис. Видимо, он имел в виду то, что Тэш больше не живет в нашем городке.

Я пожала плечами.

— От тебя пахнет пачулями, — сказал Трэвис.

Я улыбнулась. Мы снова затянулись. Потом задрали головы к звездам. Мы дрожали от холода.

— Слушай, забыл... как тебя зовут? — спросил Трэвис.

— Номи, — ответила я.

На Трэвисе была армейская куртка со множеством карманов и ботинки "Греб Кодиакс". Пальцы на перчатках обрезаны.

— Слушай, ты регги любишь? — спросил он.

— Ну, вроде как, — ответила я.

Трэвис сказал, что он тоже. И у нас зашел разговор о музыке — это было своего рода проверкой. Любая девчонка, даже среди отгородившихся от остального мира меннонитов, знает, что не стоит целоваться с парнем, который крутит "Air Supply". Целоваться можно с тем, кто слушает "Emerson, Lake and Palmer", но с такими всерьез и тем более открыто не встречаются. Трэвис вдруг назвал Лу Рида, причем запросто, не задаваясь, и я сразу же поняла, что хочу быть его подружкой. Я перестала болтать и, сложив губки, попыталась изобразить застенчивость.

Побольше таинственности, приказала я себе. И некоторое время удерживала это выражение — смех снаружи, плач внутри. Тут все зависело от губ и глаз. И еще от умения держать паузы. Выходит трагично и романтично. Опыта у меня было маловато, но все равно мне нравилось ду-

рацкое ощущение напускной храбрости, сама попытка что-то скрыть и в то же время продемонстрировать.

— Так ты — Номи, да? — уточнил Трэвис.

— Ну да, — подтвердила я, — а ты, ты...

— Трэвис, — подсказал он.

— Точно! Значит, Трэвис... Трэвис... — я сделала вид, что пытаюсь запомнить его имя. Хотя на самом деле прекрасно знала, как его зовут.

Потом мы не спеша зашли за кусты, на небольшой полянке сели на поваленное дерево, и Трэвис меня обнял.

— Расскажи мне что-нибудь, Номи, — попросил он.

Ну я и понесла всякую чепуху, заговорила о первом, что в голову пришло.

— Вот я тут услышала кое-что такое, что мне понравилось, и теперь об этом только и думаю, — сказала я.

— Правда? — отозвался Трэвис. — И что же ты услышала?

— Ну, про тех двоих... парня и девушку... они стояли на темной улице какого-то городка... девушке в самом деле парень нравился, и она думала о нем, что у них может получиться и все такое... а вот насчет парня я не знаю... возможно, девушка ему и понравилась... он был немного старше ее, да и не очень-то откровенничал... просто так случилось, что они встретились на улице около десяти вечера... оба возвращались откуда-то по домам... и парень сказал девушке: "Эй, привет! Ну, как дела, как жизнь?..", а девушка ответила: "Так, ничего...", и тогда парень попросил: "Расскажи мне что-нибудь"... девушка помолчала, улыбнулась и ответила: "Но ты же здесь"... Ну так вот, — сказала я Трэвису, будто закончив читать лекцию по производству атомной бомбы или чего-нибудь в этом роде, — понимаешь, о чем я?

Трэвис ответил:

— Ага, да, понял.

И спросил, почему это мне понравилось; а я ответила, что не знаю — показалось символичным.

Трэвис возразил:

— Но я-то ведь здесь, а ты со мной говорила.

Я согласилась:

— Что правда, то правда.

Потом он спросил: может, я предпочитаю, чтобы тех, кого я люблю, не было поблизости, когда я с ними говорю? Я промолчала, потому что запуталась, а он, наверно, расценил мое молчание как отчаянный флирт. И когда я наконец выдавила из себя "нет", он сказал: "Ясно, вот и хорошо", после чего мы сидели, пиная снег, глядели на тающие в воздухе облачка дыхания и думали — по крайней мере, я — о том, что будет дальше.

Дальше была куча ребят и девчонок, они примчались к нам и закричали: "Последние секунды, последние секунды! Минута до полуночи! Бежим!" Мы с Трэвисом поднялись и присоединились к другим ребятам и девчонкам — они делали вид, будто сейчас бросят Курта, парня, которого часто называли Маленьким Металлистом, в костер в качестве жертвоприношения дьяволу. Другие девчонки, разукрашенные перьями, — как всегда шумные и пьяные — отсчитывали последние секунды, причем все говорили с шотландским акцентом. Жанин передала мне трубку с анашой, и только я затянулась, как нога Курта, которого качали, заеха-

ла мне в лицо. Конец трубки врезался в нёбо, разодрал кожу, и из глаз у меня брызнули слезы. В это время Трэвис обнял меня одной рукой за плечи и сказал: "С Новым годом!"; я, сглатывая собственную кровь, прошептала: "И тебя тоже". Трэвис наклонился, чтобы поцеловать меня, но я медленно покачала головой — правда, слишком медленно, потому что он не заметил, — и, потеряв сознание, упала в снег.

Потом Трэвис рассказывал, что я упала без единого звука. Прямо как взрыв куриной крови на той картине, которую мама приписала Джексону Поллоку. Да, вот для чего хорош снег. Наверно, поэтому Меннон Симонс, "любитель ночной жизни", в ожидании вознесения выбрал это местечко, где мы могли тихо падать и никого при этом не беспокоить. Через несколько часов я очнулась в фургоне принадлежавшего отцу Трэвиса грузовика, накрытая покрывалом; Трэвис, скрестив ноги, сидел у меня в изголовье. У него были синие губы, и он едва говорил, но все же выдавил из себя: "Господи, чтоб тебя! Жива!" Мне подумалось, что это самое оригинальное из всего услышанного когда-либо в свой адрес, и я почувствовала, что уже люблю Трэвиса.

Мама раньше дежурила в детской при церкви; у нас сохранились фотографии, на которых она и мы с сестрой резвимся, а еще есть фотография, где Трэвис наступает мне на лицо. Трэвис был двухлетний бутуз с толстой попой, упакованной в памперсы, а я — совсем еще кроха — лежала на полу и, наверно, у него на дороге.

Обычно мама вынимала из громкоговорителя в детской провод, чтобы не слышать его, своего брата и моего дядю Ханса, который Вещатель. Когда Тэш стала постарше, она приносила транзистор, и мы слушали американские радиостанции, одновременно помогая маме присматривать за детьми.

Похоже, никто не мог взять в толк, что́ с Лидией. То одно, то другое в ней постоянно выходило из строя. Вчера, когда я заскочила ее проведать, она рассказала, что все больше и больше чувствует себя все меньше и меньше, а потом хохотала, пока ей не стало больно. Лидия не выносит, если носки слишком плотно обхватывают ее лодыжки, и не может терпеть, когда в голове что-то гудит, как огонь. Внутри у нее будто горит свеча — как в тыкве во время празднования Хэллоуина. Щеки пылают, глаза блестят — яркие, цвета электрик; раньше она была блондинкой, а теперь волосы желтые, как пенициллин. Я ложусь с ней рядом на больничную койку и читаю вслух старую книжку про Черного Скакуна[1]. Мы с Лидией одного возраста, но она любит такие книжки. И ей все равно, что об этом подумают другие.

Лидия поинтересовалась, жарко ли на улице, и я ответила: "Ага, просто жуть. Аж воздух плавится". Она кивнула.

— Как на работе? — спросила Лидия.

Я подрабатывала мойщицей в автосалоне "Дик Додж", но давно уже там не появлялась — края резиновых сапог сильно натирали мне ноги, а я этого не выносила. Я показала Лидии стертые до крови икры; она нахмурилась. Вообще-то, можно было приходить на мойку когда захочешь и получать деньги прямо от парня в демонстрационном зале — ему нра-

1. Серия детских книг Уолтера Фарли про коня по кличке Черный Скакун.

вились девчонки в коротких шортах, орудующие шлангами. Было в этом уговоре что-то неприличное, вряд ли подготавливающее меня к жесткому режиму убийств на птицеферме.

— Вы с Трэвисом уже делали это? — полюбопытствовала Лидс.

— Что ты! Господи, конечно, нет! — Я замахала руками — прямо рефери, показывающий, что попадания в сетку не было. Лидс снова кивнула.

— А вот я, — вздохнула она, — вряд ли когда-нибудь познаю удовольствие, — снова вздох, — быть с мужчиной. — Закрыв глаза, Лидия улыбнулась.

Лидия была человеком прямым, но что подкупало в ней и восхищало, так это отсутствие привычки осуждать других. У нас не было ничего общего, но мне нравилась ее странная хрупкость, а еще просто невероятная способность делать что-нибудь жутко нудное и тупое, даже о том не подозревая, а если и подозревая, то нисколечко этим не тяготясь.

Однажды в Хэллоуин мы с ней пришли на вечеринку, устроенную в карьерах; все девчонки изображали проституток, и только одна Лидия вырядилась пакетом из оберточной бумаги, завязанным у горла шнурком, — из "Звуков музыки". Летом она носила гольфы до колен, ортопедические ботинки и ярко-зеленую ветровку. Иногда звуки были слишком громкими для ее ушей, а шрифт слишком мелким для глаз, и тогда она говорила, что не может мне отвечать, но просила не останавливаться — если я буду говорить тихо, она будет *думать* о том, что я говорю. Так оно на самом деле и было: Лидия действительно думала о том, что я говорила. Иной раз я наболтаю чего-нибудь, а при следующей встрече она об этом вспомнит, спросит, по-прежнему ли я чувствую то же самое или все переменилось. Никто из наших ровесников не был на такое способен. Мы говорили о том, что с нами происходит, что мы делаем, — обо всем, только не о своих чувствах. Впрочем, одни только чувства и мысли Лидии и оставались. Вся жизнь протекала у нее в голове, потому-то голова и светилась изнутри.

Лидс была доброй, милой, скромной. Наверно, поэтому ей и пришлось лечь в больницу. Я рассказывала ей всякую всячину, скучную ерунду из своей повседневной жизни, и ей было интересно. Она смеялась. Мне нравилось, что она думает, будто мы с ней можем быть подругами. И это несмотря на то, что она была доброй христианкой, а я — унылой, циничной и вообще дурой.

— Хочешь, я тебя причешу? — предлагала я ей.

— Нет, — отвечала она, — слишком больно.

— Нанести увлажняющий крем? — спрашивала я.

— Нет, не надо, — говорила Лидс, — это тоже больно.

Ее лицо было покрыто тонким слоем белого крема "Нокзема".

— Может, вытереть? Мягкой влажной салфеткой? — спрашивала я.

— Нет, — отвечала Лидс, — мне и так нормально.

— Ты не устала?

Она улыбалась.

— Может, мне пора?

Она качала головой.

— Принести тебе еще одно одеяло?

Лидия любила укрываться не одним, а несколькими одеялами, потому что все время чувствовала сквозняки. Иногда она просила меня по-

щупать стены, чтобы выяснить, откуда так дует. Если у меня хватало терпения, я ощупывала все стены и делала вид, что нашла ту щель, из которой дует, а потом переставляла кровать подальше. Но иногда я бросала, что никаких сквозняков нет. Лидс предпочитала, чтобы в комнате было жарко, как в инкубаторе. Даже летом она могла обмотать горло шерстяным шарфом.

Я снова спросила Лидс — принести ей одеяло?

Она так и не открыла глаза. Только покачала головой.

Вошла медсестра и поинтересовалась: "Ну, как наша принцесса на горошине?" Но как-то недобро спросила. Я сердито уставилась на нее. Ясно, почему она так сказала: Лидия лежала на двух матрасах, на одном ей было слишком жестко. "Погода просто замечательная, — продолжала медсестра, — и не дело такой молодой, здоровой девушке сидеть взаперти. Верно я говорю?" — спросила она у Лидии. Лидия посмотрела на нее, улыбнулась, кивнула и снова закрыла глаза. Медсестра вздохнула. Мне же захотелось пристукнуть ее, вот только выйду из палаты. Я всегда порывалась защитить Лидс — так я понимала нашу дружбу. Или посочувствовать ей. А может, мы улавливали друг в дружке знакомое тление угольков умирающих душ. Когда я собралась уходить, Лидс, протянув руку, указала на прикроватный столик. Она написала для меня стихотворение — о двух девочках, играющих в стенах замка. Слева на полях Лидс экспериментировала со словом "реквием" — писала его всевозможными способами. Моя мама нарисовала бы лошадиные зады.

Когда мы с сестрой были маленькими, мы часто сидели в сумеречной гостиной бабушкиного дома на ферме и слушали похоронные объявления, их передавали после ужина по местному радио. Нам это разрешалось — взрослые считали, что пусть лучше маленькие дети слушают имена умерших людей, произносимые жутко монотонным голосом, чем песни "Битлз", поющих о том, что нам не нужно ничего, кроме любви. Бабушка после объявлений всегда говорила: "Ну вот, наконец они попали домой. Слава Богу". А потом мы играли в игру, которая называлась "щелчки"; играли до тех пор, пока не уставали средние пальцы. Игра была одной из немногих разрешенных. Гольф тоже не запрещался, потому что в нем нужно было бить клюшкой по предмету очень маленькому, гораздо меньше тебя самого; многие мужчины в нашем городке играли в гольф.

Когда я была маленькой, я любила стоять в поле, притворяясь пугалом. Конечно, это грех — делать вид, что ты не ты, а кто-то другой, — но мне очень нравилось стоять в поле, не шевелясь. К тому же меннониты частенько смотрят на грех сквозь пальцы, если через этот грех выходит польза сельскому хозяйству. Которое для нас очень важно. Да и я о важном. Когда я была маленькой, в воскресной школе мы играли в одну игру, которую почему-то называли стручком. Наша учительница в шутку изображала разных людей. Сначала она была профессором Кнуфом, и ей никак не удавалось сесть в поезд, идущий в рай. Потом она была рокершей Рондой, которую тоже не сажали в вагон. Следующее воскресенье учительница была бейсболистом Сэмом — и его не пускали в поезд. Наконец, она изображала фермера Фреда, и вот тогда-то ей разрешали войти, потому что в сердце у Фреда был Иисус. Мы веселились вовсю. Хлопали фермеру Фреду, а потом рисовали остальных троих, плачущих

перед вратами рая, в то время как Фред пролетал мимо них, оставляя за собой лучи света. Мне нравилось рисовать шорты рокерши Ронды очень короткими и пририсовывать ей сигарету с пятнами губной помады, прилипшую к нижней губе. Рядом с рокершей я рисовала бейсболиста Сэма, который вот-вот ударит ее битой по голове; изо рта у него выплывал пузырь со словом "Распутница!". Я не очень-то понимала, почему потерпел неудачу профессор Кнуф — может, оттого, что он был профессором естествознания и верил только фактам. Я хотела было пририсовать Фреду пузырь с фразой "Жарься, Кнуф, жарься!", но потом подумала, что тогда это получится вроде как злорадство. А если ты в поезде, идущем в рай, злорадствовать нельзя, фермер ты или не фермер.

Однажды я стояла неподвижно посреди засаженного сахарной свеклой бабушкиного поля и вдруг заметила два черных платья, вроде тех уродливых, фирмы "Фортрел", которые почти все пожилые женщины носят у нас каждый день и которые, как огромные обезумевшие птицы, кружили высоко в воздухе около водонапорной башни. Я не сразу сообразила, что это платья. Стояла и смотрела, как они мчались до самого бабушкиного двора. Меня поразило, что платья летят вот так, рядышком, я подумала: до чего же здорово, что платья носятся по всему двору, отплясывая в красивом и свободном сумасшедшем ритме; наконец одно из платьев приземлилось на крышу бабушкиного сарая, а другое спланировало и совершило эффектную посадку прямо у моих ног. Платья, вытанцовывающие на ветру, — ничего более красивого я не видела.

Я не стала трогать то платье, что легло у моих ног, — оно показалось мне чем-то священным, — только набросала сверху немного земли и придавила камнем. А потом попрощалась с ним, как совсем маленькая девочка, которая еще не видит разницы между платьем и человеком. На платье, упавшее на крышу сарая, я не обратила никакого внимания. Наверно, оно все еще там. Надо бы на днях проверить.

Папа не пропускал ни одной воскресной службы. Его не раз награждали за такое примерное посещение. Но говорить об этом он не любит. Поначалу мне за него было очень неловко. Потом я поняла, что если и дальше буду принимать все так близко к сердцу, то долго не протяну, и начала внушать себе, что папа действует как настоящий капитан, чье судно тонет. Или преданный кавалер, страстно ждущий свидания, которое никогда не состоится.

Оправдывая его пунктуальность, я воображала что угодно, только не истинную причину: так папа удовлетворял свою потребность в том, чтобы ему снова и снова напоминали о его бессилии.

Американцы, приезжающие в наш городок, либо удивляются, либо разочаровываются, либо и то и другое вместе. Они видят, что мы сидим себе на обочине и курим сигареты, что мы носим топики; им это не нравится. Они платят немалые деньги и хотят увидеть чепцы, и фартуки, и фургоны, запряженные лошадьми...

Однажды туристка подошла ко мне и сфотографировала, сказав своему мужу: "Вот оно, бесценное соприкосновение старого и нового". Они немного поспорили насчет того, дать мне денег или не дать, и решили все же не давать. "Вообще-то я говорю по-английски", — заметила я.

Музейная деревня и ферма, где потрошат кур, находятся в нескольких милях от нашего городка; они — источник наших доходов. Жаркими ночами со стороны фермы иногда дует ветер: запах крови и перьев с головой накрывает нас, будто одеялом, наброшенным недобрым родителем. Ни войти, ни выйти.

Хотя мне кажется, что уйти можно, если хорошо знаешь местность. Когда пришла пора отколоться, мама и сестра влегкую навострили лыжи. (Мистер Квиринг посоветовал мне "прекратить баловаться этими жаргонными словечками". Что поделать, бывает. Иногда вырывается. Я — Сивилла. Я и раньше так забавлялась, чтобы развеселить маму с сестрой: называла их "детками", болтала чего-то про наркодилера и все такое... в общем, имитировала фанк[1]. Я была маленькой девчонкой и всего-навсего подражала песням с пластинок Тэш. Вот и теперь, когда заговариваю о них, становлюсь прямо как Кёртис Мейфилд[2]. Даже не знаю, почему так получается. Впредь постараюсь сдерживаться.)

Моя мама, Труди Дора Никель, урожденная Розенфельдт, ушла. Факт неопровержимый, хотя вопрос о том, где она, целиком и полностью моя проблема, верно? И даже если я ну... совершенно не в курсе, кого это волнует? В нашем городке такое редко случается. Правда, каждый день с фермы "Счастливое семейство" по нескольку птиц все же сбегают. Некоторые потом заканчивают свою жизнь в придорожных канавах.

Стало быть, как я уже сказала, я не знаю, где мама, но мне приходят на ум разные варианты. Чаще всего я представляю маму с паспортом, разъезжающую по миру. И ужасно расстроилась, когда наткнулась на паспорт в верхнем ящичке ее туалетного столика. Открытие и спровоцировало ненавистный вопрос: где же мама еще может быть, если не в каких-нибудь далеких краях?

С подобными мыслями я борюсь при помощи травки и собственного воображения.

Мама ушла через два месяца после того, как моя сестра, Наташа Дон Никель, уехала с Ианом, племянником мистера Квиринга. Какие только предположения не возникают на этот счет у других, но они, как правило, молчат. Я верю, что и мама, и сестра живы и что придет день, когда мы все снова будем вместе, ну разве что только без Иана. Очень даже возможно, что Тэш и Иан как раз сейчас где-нибудь на севере Калифорнии растят свое "дитя любви". И я могла бы стать тетей ребенку по имени Терпимость. Мама вполне могла бы оказаться на круизном лайнере в качестве организатора активного досуга. Ей нравится вода и активный досуг. Она — Рак. Захватила ли мама с собой теплые вещи? Нет, не захватила. Взяла ли вообще какую-нибудь одежду? Нет, не взяла. Это, а также паспорт, оставленный в ящичке туалетного столика, наводят на тревожные мысли.

Я говорю обо всем этом потому, что оно меня тяготит. Но это не значит, что подобные вещи определяют мою жизнь. Или эту историю. Кому какое дело до фактов, правда? Мы говорим о чудесах. Иисус умер на кресте, чтобы искупить наши грехи, а через три дня после смерти вос-

1. Направление современной популярной музыки. Сформировалось в 60-х годах в США в результате слияния различных афроамериканских стилей: ритм-н-блюза, соул и элементов джаза.
2. Негритянский певец, исполнитель песен в стиле соул, фанк, ритм-н-блюз.

стал из могилы, отодвинув огромный валун, закрывавший вход в пещеру. Очень даже неплохо.

Я была еще пухлым младенцем, когда четырехлетняя Тэш спрыгнула с дерева и заработала двойной перелом руки. Она тогда подумала, что это Бог допустил такое. Мама сказала — наоборот, Бог спас ей жизнь. Она ведь запросто могла свернуть себе шею. Тогда Тэш захотела сбросить с дерева меня — чтобы испытать любовь Бога, но мама сказала, что нет, не надо, бывают и несчастные случаи.

Подобные незамысловатые суждения мама выдавала не задумываясь, она бросала их как конфетти, тут же забывая о том, что сказала. Однако суждения эти впивались в меня как какой-нибудь клещ, который заползает в ухо, проникает в мозг и откладывает там яйца. Что она имела в виду, говоря "несчастные случаи"? А как же Бог, знающий, сколько песчинок на каждом пляже? Как же Бог, который в курсе того, что мы сделаем, еще до того, как мы это сделаем? Выходит, если бы сестра сбросила меня с дерева, наступил бы конец, предопределенный Богом. Он бы знал, что она собирается сделать и что из этого выйдет. И если Тэш хотела сбросить меня с дерева, не получается ли, что это Бог внушил Тэш такое желание? И не выходит ли, что ее сопротивление своему желанию греховно? Уж не сатана ли вещал устами мамы, когда она отговаривала Тэш от задуманного, тем самым противясь воле Бога? По логике вещей меня все-таки следовало сбросить тогда с дерева.

Мне исполнилось тринадцать за три дня до того, как Тэш уехала с Ианом. Так что главные роли выпали ей и маме. А мы с папой остались в стороне, статистами на подхвате; мы не особо понимали, что происходит, но с нетерпением ждали развязки. Судя по всему, Тэш и мама часто переходили на шифрованный язык.

Я не сомневалась в том, что моя сестра распространяла наркотики. В церкви нам показывали фильм про девушку вроде Тэш, которая свернула на кривую дорожку, ведущую к оживленной магистрали греха.

Однажды — на тот момент я уже знала про наркотики — мы с папой вышли прогуляться, и я попросила его взять меня за руку. В ответ он выразил надежду, что при благоприятных условиях я смогу произрастать и безо всякого ухода, как узамбарская фиалка.

— Что ж, — сказала я, — смогу.

Тогда папа заметил, что одних его надежд будет маловато, чтобы я расцвела как цветок. Однако взял меня за руку; я подумала, что все еще может получиться, хотя пока не поняла, почему он сомневается.

Однажды Иан подвез Тэш домой посреди ночи. Я услышала его низкий голос и мягкий смех Тэш, а потом как открывается и закрывается, тихо-тихо, дверь. Из спальни выглянула мама и прошла по коридору на кухню. После я уже ничего больше не слышала и снова заснула.

Через несколько часов я проснулась и пошла на кухню; на столе лежала записка: мама ушла в библиотеку расставлять книги, и это глубокой ночью, а папа решил покататься — на его языке "водить машину" означало "ту-ту". Раз Тэш чуть было не описалась от смеха — в ее компании "ту-ту" означало "раскурить косяк". Сама Тэш тем временем спала на диване.

Я подумала, что на этот раз она здорово влипла, и все гадала, что́ же с ней теперь будет. До сих пор с нами ничего плохого не происходило, так

что о возможных последствиях я даже не подозревала. Зайдя в комнату сестры, я достала ее альбом со школьными фотографиями и стала разглядывать черно-белые снимки одноклассников. Забравшись к ней в кровать, я представляла себе, как Иан лежит на мне, как он отводит волосы с моих глаз и обхватывает мое лицо своими сильными ладонями. А потом говорит, что мы не должны так поступать, но что он ничего не может с собой поделать, и Тэш ни в коем случае не должна об этом узнать. Никогда.

Я перешла в гостиную и поставила пластинку с "Irish Rovers"; от громкой музыки Тэш в конце концов проснулась и заорала: "О господи! Ну что еще, черт побери?!" Я сидела в большом зеленом кресле, стараясь принять вид суровый, но отстраненный. Медленно опустив газету, которую якобы читала, я посмотрела на сестру. "Проснулась, значит, — сказала я ей. — Может, хотя бы теперь ты мне кое-что объяснишь?" — "О-о господи!" — застонала сестра и, шатаясь, побрела из комнаты, бормоча проклятия. Мне подумалось, что небольшая комедия ее развлечет. "Ты будешь гореть в аду! — крикнула я ей. — Вечно!" Мне показалось, что я услышала из спальни сестры смех, но не была уверена. Убежав к себе в комнату, я повалилась на кровать и зарыдала.

Утром мама вернулась и застала обеих дочерей в слезах — каждая плакала в своей комнате, только причины были совершенно разными. Я не сомневалась в том, что Тэш за свои грехи будет скворчать как масло на сковородке, а Тэш... той хоть бы хны.

Я понятия не имела, почему она плачет, пока не услышала мамин голос: "Доченька, что такое? Что случилось?" А Тэш ответила: "Мне кажется, я схожу с ума. Я этого больше не вынесу. Все это гнусная ложь. И она убивает меня. Убивает! Мама, правда, убивает!" После чего произошло нечто такое, чего я ну никак не ожидала. Мама сказала: "Знаю, доченька, знаю". И тоже заплакала, не так горько, но так убедительно, что сразу стало ясно: она знает, что делает. Помню, я подумала: "Неужели они обе так несчастны? Почему мама не сердится? Что́ убивает Тэш? Наркотики? Грехи? Книги вроде "Пророка"[1], "Сиддхартхи"[2] и "Тропика Рака"[3]? Мама сказала: "Знаю, доченька, знаю"... Что она имела в виду? Она знает, что́ убивает Тэш? Или знает про ложь?" Я не сомневаюсь, что именно тогда по ночам у меня начало болеть лицо. Как будто голова вдруг наполнялась мыслями и предположениями, которых оказывалось слишком много. А может, я просто задыхалась. Я во всем была неправа. Мне казалось, когда Тэш говорила, что "так нельзя" и что "она убивает ее", она имела в виду жизнь наркоманки, которую, как мне представлялось, вела. Торговля наркотиками в го́роде, связь с плохим парнем, симпатии коммунистическим идеям, ругань с отцом, которого она "посылала"... Для меня это было очевидно. Через некоторое время я успокоилась, поняв, что Тэш хочет вернуться на путь истинный, что она осознала — ей необходима помощь, а Бог, мама, папа, Вещатель и все, кому она небезразлична, простят ее. Что мы снова станем нормальной семьей, пусть даже иногда в нашем смехе и будет звучать отчаяние.

1. Сборник эссе; автор — Халил Джибран (1883–1931) — писатель, христианин-маронит, родившийся в Ливане и живший в США.
2. Роман Ге́рмана Ге́ссе (1877–1962).
3. Роман Ге́нри Миллера (1891–1980).

Я услышала, как пришел папа и постучал в дверь Тэш, а мама ответила: "Все в порядке, дорогой, мы здесь, сделай себе сэндвич, в холодильнике свежая ветчина".

До меня доносились голоса мамы и сестры, но я не могла разобрать ни слова. Потом мама вышла из комнаты и отправилась на кухню поговорить с отцом. Я встала с кровати, вышла в коридор и постучала к Тэш. Она разрешила мне войти. От такого гостеприимства мне стало не по себе. Она сидела на кровати босиком, скрестив ноги, в оранжевой мужской рубашке, на голове белая повязка с голубой бусиной. Смотрелось очень красиво. Тэш набросила поверх лампы красную футболку, и комната осветилась розовым. "Хочешь, зажжем ароматические палочки? – спросила сестра. – Или поставим пластинку?" Я сидела рядом и улыбалась. Она посмотрела на меня: "Что-то не так?" Меня разобрал смех – раньше со мной всегда так случалось, когда было грустно или хотелось повалять дурака. Окружающих такой смех тревожил. "Номи, не надо", – попросила сестра. И обняла меня, говоря, что все образуется. "Все образуется, старуха, обещаю". Я не отпускала ее. "Номи, – продолжала сестра, – ты что, плачешь? Не плачь, пожалуйста". Я прошептала, что не хочу, чтобы она горела в аду, а Тэш засмеялась и ответила: ад – это метафора. Я, конечно, не поняла, что́ она имела в виду; да даже если бы и поняла, это ничего бы не изменило. Я как человек верующий была убеждена, что моя сестра катится по наклонной плоскости. "Бог – это любовь, Номи, – сказала Тэш. – Вот и все, что тебе нужно знать, старуха. Бог – это любовь". Она обречена, моя сестра, точно обречена.

Когда Иан заехал за ней, я пошла в гостиную читать газету. И снова включила "Irish Rovers", очень громко. Тэш зашла в гостиную со словами: "Номи! О господи!" Но на этот раз она улыбалась. Самой настоящей ласковой улыбкой, которая меня просто убила. В улыбке не было ни сарказма, ни притворства. У меня появилось предчувствие чего-то ужасного. Получалось, что Тэш теперь свободна. И я это поняла. Тэш сказала, что ее пластинки я могу забрать себе.

Мама засунула в мешок для мусора пледы и подушки и отнесла к машине Иана. Вернувшись в дом, сложила недавно купленные хлеб, фрукты и ветчину в коробку – Иан вынес ее.

Я вспомнила, как мама рассказывала нам о русских меннонитах – те бежали посреди ночи, отчаянно пробираясь кто куда, лишь бы их никто не трогал. Мама говорила, что меннониты не требовали от окружающих ничего, кроме терпимости к их обособленному существованию. "Номи, найди мой кошелек", – попросила мама. Она никогда не клала его в одно и то же место. Кошелек я обнаружила на полу в гостиной; мама достала две бумажки по пятьдесят долларов и протянула Тэш.

Им пора было уезжать. Иан пожал мне руку. И сказал: "Ну, держись молодцом!" Маме он тоже пожал руку, но мама возмутилась: "Еще чего!" – и обняла Иана. Иан сказал: "Ну, в общем... спасибо вам за все!" Потом пошел к машине и сел за руль, а мы с мамой стояли на крыльце и по очереди обнимали Тэш.

"Ты что, Номи, опять за свое? – спросила Тэш. – О господи!" Мы все засмеялись. Папа остался в спальне. Он долго сидел там, не зажигая свет. И не вышел даже к своей любимой телепередаче "Песнопения".

Приехав домой, мы увидели посередине широкого окна отверстие от пули. "Кто бы это мог стрелять в наш дом?" – спросила я у папы. Он стоял в траве и глядел на отверстие, качая головой.

Приехал коп и сказал, что такое случается: дети, пневматическое оружие... вечеринка у соседей в конце концов. "Может, у вас есть враги?" — поинтересовался он у отца. Отец снова покачал головой, но потом вспомнил: "Одного ученика я оставил на второй год". Коп кивнул: "Ну вот, видите? Значит, могут быть".

Папа поблагодарил его; мы вошли в дом и сели на диван.

— Кого это ты оставил на второй год? — спросила я.

— Сына этого копа, — ответил папа. Пока он глядел на дыру в окне, я читала газету. Потом встала и разогрела полуфабрикат на ужин; папа произнес: "Ммм... мои поздравления шеф-повару", да так весело, что мне захотелось свернуться калачиком у него на коленях и в то же время дать ему подзатыльник.

Когда в жизни моего отца случается что-нибудь плохое вроде пальбы по дому, он пытается подбодрить себя. И еще больше запутывается. Мозаичные кусочки жизни складываются, как континенты до гигантского раскола, в некое целое. То, что его дом обстреляли, для него совершенно логично, а когда ему удается прожить минуту-другую осмысленно и ничто в мире этому не мешает, он почти счастлив. Когда же папа счастлив, он совершает решительные поступки; вот и на этот раз он подошел к доске на стене в кухне и снял расписание рейсов городского автобуса, которое висело с тех пор, как уехала Тэш — тогда автобусный парк еще не закрыли. Папа взял и сунул его в мусорное ведро под раковиной. Уф, вот и ладно! Прощай, прошлое!

Но затем я представляю себе папу в какой-нибудь из дней, когда никаких пакостей не произошло и он пребывает в своем обычном непостижимом состоянии. Вот он подходит к мусорному баку, замечает клочок бумажки с расписанием и опускается перед ним на колени. Стоит нарушить это его состояние на минуту-другую — и, возможно, он подберет клочок, стряхнет с него птичий помет, расправит ребром ладони и, принеся домой, повесит обратно на доску в кухне, да так, чтобы было понятно — клочок занимает центральное место в его жизни.

Однако сейчас он не ходил, а летал — потому что в наш дом стреляли, потому что все именно так, как и должно быть, как он и предполагал, и можно расслабиться, освободившись от того, что его подавляет. Папа продолжал сыпать банальностями, не замечая валяющихся на ковре гостиной осколков стекла, а я с глупым видом на него пялилась. Не знаю почему. Так получается. Так мы ведем себя, когда происходит нечто странное и непонятно, как на это реагировать. Как будто мы сговорились играть роли папочки-идиота и подростка-бунтаря, пусть даже нас и заносит — мы больше похожи на двух психов, которые с грехом пополам протянули еще один день. Как будто папа с помощью динамита пытается пробиться через гору так называемого подросткового презрения — говорит всякие глупости сознательно, в надежде, что я сжалюсь над ним и позволю обнаружить его собственные недостатки до того, как укажу на них сама. Опять мы возвращаемся к тому же старому сериалу. Не имея понятия, как играть.

— Пока, — говорю я.

— Приятно тебе провести время, — откликается он. — Будь умницей.

— А ты давай, определяйся, — говорю я в ответ, потому что знаю — он ждет этого от меня.

Мама ушла. Мы с папой остались одни. Мы, как могли, пытались жить... ну, сами понимаете: ели, спали, папа работал, я училась... Стала заниматься стиркой. Все белье я раскладывала по цветам, стирая каждую партию отдельно; выстиранное сушила, складывала и убирала. Я решила приспособить мамин ящичек под хранение папиных носков, платков, нижнего белья. И первым делом вытащила из ящичка ее вещи, в том числе паспорт с фотографией — той самой, на которой, как она считает, у нее карие глаза, — а также письма от мистера Квиринга.

Когда я проснулась, папа сидел на самом краю моей кровати — буквально одной ягодицей. Он сидел нога на ногу, скрестив руки на груди, и глядел в пол.

— А, ты проснулась, — заметил он.

— Что ты здесь делаешь? — спросила я.

— Да вот, хотел кое о чем поговорить, — ответил папа.

— Ну, тогда говори, — сказала я.

И он рассказал мне, какая ужасная ночью была буря, все летело в тартарары. Я слушала и кивала; папа сказал: "Только когда встанешь, не удивляйся, если увидишь, что кое-что изменилось". И ушел. Я подождала с минуту, потом встала и, пройдя в гостиную, обнаружила, что ни дивана, ни двухместного кресла, ни журнального столика там нет. В прихожей я увидела папины ботинки, которые он надевал по четвергам, — на них лежали карточки с напоминанием о том, что нужно сделать на следующий день. Я взяла одну: "Разработать новую стратегию жизни". Судя по всему, на пятницу отец планировал грандиозные свершения. Зазвонил телефон; я взяла трубку. Это был папа, он сказал, что я должна сделать над собой усилие и все-таки пойти в школу. Сказал, что прекрасно понимает — для меня школа ничего не значит, и ни в чем меня не винит, но это последний, выпускной год, и в будущем аттестат может мне пригодиться.

Что за смешное слово "будущее", подумала я.

Я ответила, что да, хорошо. И спросила у папы, почему он избавился от мебели; папа объяснил, что ему нравится, когда много свободного пространства — можно пофантазировать, чем его заполнить.

Мы долго молчали в трубку, очень долго. Наконец я сказала папе, что не собираюсь никуда уезжать. Что никогда его не оставлю. А он сказал: "Ну, что ж..." — и больше ничего.

— Значит, все в тартарары, да? — повторила я. Папа сказал, видно, что-то на него нашло. И прибавил, что после школьных занятий у него совещание в библиотеке; я ответила, что приготовлю вкусный-превкусный ужин, мы вместе посмотрим телевизор, а потом сходим в кафе за мороженым. Мы попрощались и повесили трубки.

Глянув на стол, я увидела папину записку. В ней он вроде как ответил на мой вопрос: "Она не взяла тебя с собой, потому что когда уходила, ты спала".

Наконец-то. Хм. Видимо, папа так написал, поскольку я перестала верить в ад и ночные кошмары больше меня не мучили. Что ж, возможно. Наверняка трудно сказать. Кажется, я знала другую часть ответа — мама понимала, что я нужна папе больше, чем ей. Уверена, что она ушла ради него. Он бы не выдержал, если бы пришлось выбирать между ней и верой. Единственным решением, которое он принял без маминой

помощи, было решение носить костюм с галстуком каждый день. Разве мог бы папа встать и прилюдно отречься от женщины, которую любил больше всего на свете? И разве мог он отвернуться от церкви, которая однажды простила бы его жену и обеспечила бы их вечное пребывание в раю? Папа застрял посреди истории, у которой не было счастливого конца. У нас с ним была одна болячка на двоих.

Подошло время готовить праздничный ужин в честь дня рождения папы. Не бог весть какой, но весьма изысканный в своей простоте. Тонкие, как бумага, блинчики, политые тщательно размешанной, густой, как сироп, подливой, и дыня. Я притушила свет, задернула шторы, зажгла две ароматические свечи и поставила пластинку Тэш — запись концерта Кейта Джарретта, выступавшего где-то в Швеции.

Я подарила папе зеленую керамическую лягушку, которая надевается на кран садового разбрызгивателя, смешные носки для игры в гольф, упаковку пакетов для мусора и рубашку из магазина фирменной одежды "Шлицкинг", у которой в нагрудном кармане имелось специальное отделение для авторучки. Потом внесла торт собственного приготовления, который назвала "Один-Два-Три-Четыре", со свечами и зажигалкой посередине. "Извини, пап, — сказала я, — сорок три не получилось". Зато я ему спела. Все это время на лице у него была самая милая улыбка, и он все закатывал рукава — выше и выше, — а когда я закончила петь, задул свечи. Я сказала: "Никаких подружек", и он ответил: "Конечно"; я отнесла торт обратно на разделочный столик и отрезала нам обоим по огромному куску.

Это был тот самый торт, который мама испекла мне, когда я в четырехлетнем возрасте впервые пережила настоящее душевное потрясение. Дедушка, мамин папа, умер, и я очень скучала по нему — так, что однажды решила написать ему в рай письмо, что-то вроде: "Миленький дедушка! Надеюсь, тебе там хорошо. Мне здесь хорошо. Я скучаю по тебе. Я тебя очень люблю. Пожалуйста, как только получишь мое письмо, напиши ответ". В один из очень ветреных дней я вышла на крыльцо и подбросила письмо, чтобы его унесло в небо, к дедуле. Потом еще постояла, глядя, как бумагу кружит в воздухе, — я не сомневалась, что ветер отнесет ее прямиком к Богу. А потом каждый день садилась на это дурацкое крыльцо и часами ждала, когда мне упадет письмо от дедушки. Однажды я вышла и увидела его — прямо посреди двора; счастливая, я схватила конверт и помчалась в дом, где показала письмо маме, а уж она мне его прочитала. Дедушка писал, что у него все хорошо и что он тоже скучает по мне. Что у него уже припасено для меня местечко, когда я к нему поднимусь, но что это будет еще очень нескоро, так что я пока могу веселиться с другими ребятами, бегать, играть и ни о чем не беспокоиться. В общем, что-то в этом роде.

Примерно через неделю, когда мы с мамой выходили из машины, я вдруг заметила у забора возле нашего дома бумажку. Подбежав, я подобрала ее, разгладила и узнала свое письмо дедушке. "Откуда оно здесь? — спросила я у мамы. — Ведь оно должно быть на небе. Разве дедушка его не получил?" Я расплакалась; мама взяла меня за руку, мы вошли в дом, а потом сели за стол в кухне, и мама рассказала, что сама написала письмо от дедушки, потому что не могла больше видеть, как я грущу и в то же время надеюсь. Мама сказала, что невозможно отправить письмо в рай, потому что ветер туда не долетает. В раю всегда спокойно, там нет ветра. Она говорила и что-то еще, но я, по правде сказать, ее уже не пони-

мала. Поняла только, что в раю ветра нет. Может, поэтому мне нравится, когда в нашем городке стоит ветреная погода. Я представляю себе, что нахожусь в обычном мире. После того разговора мы с мамой вместе испекли торт "Один-Два-Три-Четыре". Пока мы занимались тортом, я перестала плакать и грустить и даже немного развеселилась, когда папа и сестра, вернувшиеся из школы, удивились торту.

Папа сказал: "Надо же, Номи, такой сюрприз! Спасибо тебе, большое спасибо!" А я ответила: "Большое пожалуйста! С днем рождения, папочка!" Папа снял с себя рубашку и переоделся в новую, подаренною мной, и я дала ему ручку, которую он вставил в специальное отделение кармана. А потом спросил: "Ну, как?"

Мы ели торт и улыбались друг другу, а Кейт Джарретт на пластинке все играл и стонал; я спросила папу, не подложить ли ему еще кусочек, но он сказал: "Нет, спасибо, не то я объемся". После мы вынесли телевизор на улицу, включили в розетку около гаража и сели в садовые кресла — транслировали бейсбол из Детройта, — а солнце тем временем незаметно село. У нас с папой, как обычно, завязался разговор на тему природных явлений.

— Слушай, пап, уже темно — солнце село. Ты заметил?

— Нет. А ты?

— Тоже нет.

— Странно.

— Очень.

Папа сказал, что день рождения удался на славу, просто выше всяких похвал. Он сказал, что я его балую.

После бейсбола папа пошел спать, а я позвонила Трэвису, и он заехал за мной на машине. Я помогла ему покрасить загон для коз в красный цвет.

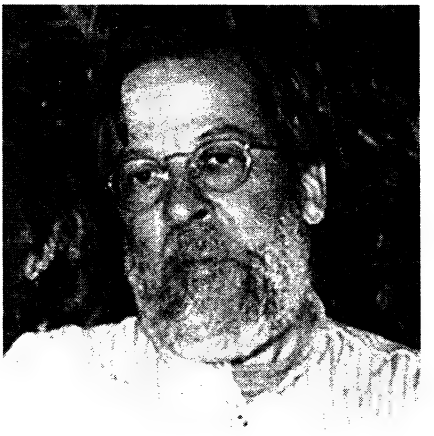
Мы до того перемазались краской, что решили снять все, что на нас было. Я позволила Трэвису разрисовать себя причудливыми знаками — он сделал это большой кисточкой с густым ворсом, — а сама нацелилась на его задницу. Затем мы положили пластиковую канистру на переднее сиденье машины, поехали к Золотому Гребешку, где облили друг друга подкрашенным бензином. Какое-то время Трэвис гонялся за мной с зажигалкой, чиркая ею и пытаясь меня поджечь. Мы доехали до карьеров и смыли бензин водой — вода сразу стала красивой, — а сами долго-долго плавали на спине в разукрашенной разводами радуге, болтая о всякой ерунде и поджигая то, что могло гореть, зажигалкой Трэвиса: получалось, будто мы в аду. Радужные озера огня в карьере, запах паленой щетины, горячий ветер, подыхающие куры, ночь, мое детство.

Как запомнить городок, чье существование в этом мире и не предполагается?

Я пришла домой. Настроение упало. Мне сделалось грустно. На кухонном столе лежала записка: "Номи, чем думаешь заняться после окончания школы?" Так мы в основном и обсуждали значительные, масштабные вопросы. На бумаге, которая может сгореть меньше чем за секунду. Я уставилась на слова и все смотрела и смотрела на них.

Потом написала ответ: "Дорогой папочка! Я собираюсь стать образцом храбрости и достоинства".

Эмиль Мартель



Соло для поэта с оркестром

Поэтическая проза

Перевод с французского Марии Аннинской

I

Вот небольшая зала, в каждой стене — по окну. Ну и, конечно, дверь. Когда раздвинуты шторы, в окна заглядывают четыре разных пейзажа. Они ведут беседы с той музыкой, что мы здесь играем.

Сложное дело — акустика залы; ее можно менять. Какие, например, сделать шторы — из тяжелого темного бархата или из тонкого белого газа? Будет ли легких занавесок достаточно, чтобы смягчить звук? Покончив со шторами, займемся потолком. Для него можно придумать какое-нибудь покрытие. Или лучше, чтобы широкие планки из светлого дерева сходились вверху под острым углом? А то еще можно пустить поперек старинные, грубо обтесанные балки — а какими инструментами их стругали и как эти инструменты называются, теперь не вспомнит никто.

Теперь об инструментах музыкальных. Над их названиями всерьез придется ломать голову переводчикам. Я уж не говорю о том, что трех измерений мало, чтобы добиться желаемого звучания.

Возьмем, к примеру, "дождевые палки"[1] более метра длиной; их у нас будет четырнадцать. Выстроим их по порядку, прислонив к горизонталь-

© Écrit des Forges inc., Ottawa, Canada, 1995, 1996
© Мария Аннинская. Перевод, 2006

1. Народный музыкальный инструмент в виде толстой полой палки с сыпучим наполнителем, имитирующий шум дождя. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ной штанге, — в соответствии с плотностью наполнения. В палки обычно засыпают крупу или семена, а иногда металлические шарики. Это будет в той части залы, где палками можно размахивать в разные стороны или, в особых случаях, даже крутить над головой. Палки поменьше напоминают по звуку маримбу. Мы положим их на бархатный стол, рядом с деревянными дощечками, довольно небрежно обструганными. По этим самым дощечкам барабанят другими палками, тоже грубой фактуры, производя приятные звуки, под которые обычно люди принимаются танцевать, а некоторые закрывают глаза и грезят о далеком острове или оставленной подруге.

А вот ударные инструменты. Они сделаны из разных металлов, а многие — из кожи или шкур животных, порой даже не успевших родиться. Все это для того, чтобы звук получался чище. Волоски на кожах нужны, чтобы приглушать звук. А еще есть инструменты-панцири, из них каждый — готовый барабан. Эти ударные бесконечно разнообразны, они могут быть плоскими и висеть на веревках или же круглыми и с жидкостью внутри (только я говорю не о тех пустых тарелках, в которые наливают что-то в количестве, определяемом композитором). Есть и другие ударные, у них очень странная форма — прямо-таки воплощение неведомой геометрии; по ним стучат молоточками или, быть может, палками, не говоря уж о кольцах и щетках, а то и просто пальцами, ладонями и кулаками. При особых обстоятельствах можно ударить лбом, но для этого на голове должна быть специальная повязка. Я без колебаний причислил бы эту повязку к музыкальным инструментам — если бы всякий раз мне не приходилось объяснять что к чему.

К сожалению, не хватает места для тарелок, по которым бьют сверху, снизу или сбоку.

Равно как и для струнных — из которых извлекают звук ударом по корпусу, а не по струнам.

Нет места и для гонгов — на них надо смотреть издалека, чтобы оценить их торжественность.

Некуда деть и большие органы: в них клавиши и трубы отделены друг от друга, а мехи, тяжело вздыхая, незаметно сдвигают предметы, не прикрепленные к полу.

Если взять все смычки и представить, сколько на них пошло конского волоса, и еще предположить, что в порыве любви к порядку кто-нибудь соберет их в пучок да и разлучит с инструментами, для которых они предназначены, — то от такой перспективы можно вконец лишиться сна.

Всё, что скользит и что ударяет; всё, что поддерживают и что сжимают; всё, что вибрирует или приглушает звук; то, на чем играют двумя руками — или пальцами одной руки; то, на что дуют, и то, во что дуют; то, по чему барабанят металлическим молоточком, а затем, как бы извиняясь, придерживают подушечками трех пальцев, — все есть мелодия и гармо-

ния. Струны разных цветов; палисандровое дерево всевозможных оттенков и ель; воск и покрывной лак; струны из кошачьих кишок и капроновые лески, которые назавтра мы обнаружим в удочках, на рыбалке. Металлические струны, от которых немеют пальцы, и мундштуки, от которых немеют губы.

И все-таки эта зала достаточно велика, чтобы в закатный час мы могли, собравшись вместе, немного помузицировать и, придя в восторг от собственной затеи, нахохотаться вдоволь.

Когда огромные золотые трубы, покрытые тонким слоем серебра, или деревянные охотничьи рожки, по всей длине разрисованные красными полосами и зелеными листьями, повернуты к горе, то эхо возвращается к нам с опозданием и застает врасплох.

В той стороне, где плещется море, шорох шагов по песку, кажется, все время повторяет за полупьяным соседом его последнее глиссандо — он исполнил его смеха ради на крошечных панцирных контрабасах, водя по ним листочками, которыми шумовики на радио создают иллюзию осени.

Через окно, что смотрит на главную улицу деревни, доносятся звуки скрипок и труб: это в ожидании паломников и заупокойных месс репетируют военные, филармонические и духовые оркестры.

Передо мной огромное окно, выходящее во внутренний двор: взору предстает череда арок и фонтаны с водоемами, в которых плавают душистые лилии. Видны также сады с ноготками и пруды, заросшие вербейником. Здесь слышится музыка воды, и если очень постараться, то можно, закрыв глаза, вообразить, что мы покачиваемся в лодке где-то посреди Темзы и до наших ушей долетает гулкое эхо.

В иные вечера — но чаще глубокой ночью — стоит только коснуться ногтем трех медных чаш или влажным пальцем провести по краю бокала, до половины наполненного вином, как сразу чудится запах ладана и между ламп мерещатся завитки дыма.

Кажется, будто все мерцает алыми всполохами, и мирно дремавшие бонзы принимаются чертить на своих ковриках, где они предаются медитации, какие-то витиевато-округлые буквы — беглый перечень прошений и монотонных молитв, вбираемых неторопливо и жадно охристым маслом светильников, на дне которых рдеет оранжево-золотая точка.

Краешком глаза замечаю, как виртуоз легким движением тронул бубенцы и тем заставил тень заиграть на окари́не[1], брошенной в безмолвном одиночестве; все это произошло за два такта до коды.

1. Итальянский народный инструмент, звуком напоминающий флейту.

II

Что это за музыка доносится отовсюду?

Ее слышат не только уши; мои щеки превращаются в резонаторы; рукам передается волнообразное движение, и мне трудно удержать их на клавиатуре. Мой лоб по диагонали перерезала черта. А на спине я чувствую рубцы, пока еще не причиняющие боли, но я уже предвижу, какие после них останутся шрамы.

И все это ради того, чтобы звучала удивительная музыка, названия которой я не знаю. Я не знаю, кто ее сочинил и для каких инструментов. Просто всё вокруг поет: поют десятки, сотни людей — и дети, и взрослые. Поют сопрано, поют кастраты (этих как минимум двое; может, они приходят парами?), поют контральто и басы, и с ними лирические тенора.

Дирижер — или, может быть, капельмейстер? — взмахами рук пытается удержать музыку в пределах этого дома, в пределах террасы на берегу океана.

Он не хочет, чтобы музыка взлетела выше облаков и нарушила покой горных вершин, чтобы она сдвинула с места острова или изменила курс самолетов. Он старается, чтобы она не опрокинула тенты, под которыми прячутся от солнца или посторонних глаз обнаженные длинноногие красотки, царственно раскинувшиеся на полосатых матрасах.

Какие неслыханные вибрации! Вот бы их накопить по углам просторных хранилищ с чуть приоткрытыми дверями, чтобы собрать потом, когда настанет тишина.

Что за музыка! Какое неуёмное желание поведать о любви или чудесной прогулке среди живописных пейзажей; сердце в ней — нотная бумага с каким-нибудь ключом в начале нотного стана и словами по-итальянски для описания цвета одежд, а кроме того, поз и движений.

У меня на запястье волоски встали дыбом; кажется, я могу пересчитать все кларнеты и смычки контрабасов, пюпитры и черные платья музыкантш, приглашенных специально для того, чтобы придать глубину этой мелодии, от которой всё приходит в движение. Даже стакан на столе надо отставлять подальше: как бы он вдруг не лопнул.

Начинает звучать эта музыка, и кошки лапой прикрывают глаза. Какие-то совсем не знакомые люди отбрасывают на стены свои тени; вот мелькнул кусочек кружева, качнул головкой цветок, накренился кувшин на буфете.

Музыка разливается. Скажите, сколько их участвует в импровизации и зачем это нужно, чтобы кто-то дирижировал? Зачем нужна партитура, и стулья, и костюмы, и микрофоны, и даже просто люди, купившие билеты? Зачем напечатана программа, зачем авторские права, и ноты, записанные на бумаге, и пюпитры с регулируемой высотой?

Музыка объяла всё. Мои ладони раскрыты и прижаты к ушам. Я не знаю, спасают они меня или усиливают воздействие.

В глазах темно; не знаю, куда их спрятать. Эта музыка такова, что, если разомкну веки, в меня сразу что-то вольется и останется внутри, когда наступит тишина. Как я тогда объясню эти звезды средь бела дня? Всё смешалось в моей голове, я будто предчувствую тишину; надвигается пустота, головокружение стихает; чехлы с инструментами и партитуры закрываются; вот-вот смолкнут аплодисменты.

Огромная зала пуста; отсутствие десяти тысяч человек повисло в воздухе под огромной люстрой; бархат еще не лег привычными складками; в баре кто-то оставил обрывки чаконы.

III

На берегу озера — или это втиснутый в берега океан? — на просторной террасе несколько музыкантов наигрывают мелодии; публика слушает их, прогуливаясь и созерцая закат солнца. Чаще всего молча.

Я, поэт, далеко не столь безмятежен, как все эти люди, ибо убежден, что и свет, и музыка сегодняшнего дня нам даны незаслуженно и что с минуты на минуту невесть откуда надвинутся тьма и безмолвие — да такие, что ни наши отчаянные крики, ни все ароматы островов, поросших душистыми травами, не смогут сквозь них пробиться.

Кем же будем мы во мраке и безмолвии? Вместо музыки стану слушать плеск волн; я назвал уже трех птиц, способных отогнать волков; но вот никак не найду запаха, чтобы напоить им воздух.

Повернувшись к морю спиной, я в горах ищу знаки надежды, на которую мог бы уповать, какие-нибудь обломки орфеона[1], но двери спасительных обителей прячутся за деревьями, а тропинки гармоний еще не протоптаны. Мне и тут не найти покоя.

Я один на воде и на суше, совсем один среди морей и континентов. Полоска песка — не пляж и не остров — кажется крутым трамплином, и я на нем точно в изгнании. Ногами врос в песок, а глаза — как две полусферы, стремятся ввысь за кончиками пальцев, и каждый палец — как перископ. Ладони мои — чистые листы бумаги, на которых дрожат тонко вычерченные нотные станы.

Я управляю лишь тенью того, что было целым народом, у которого слова языка притязали на родство с музыкой и диковинными ароматами; тончайшие нюансы и самые изысканные гармонии рождались в обыденной жизни, а чтобы пересечь моря, наметить очертания островов и дать названия горам, достаточно было воли самого смиренного из всех.

1. Старинный европейский смычковый инструмент с четырьмя жильными струнами.

Если вслед за звуками и светом меня покинет и эта география, что же останется у меня завтра, когда я выберусь из тоннеля, ведя за собой несколько человек — все они уцелели от моей утомленной армии?

IV

Я воображаю, что музыканты уже давно заняли свои места; на рассвете они пришли сюда по мостам, тихо переговариваясь между собой и приветствуя встречных, идущих в обратную сторону, к центру города.

Даже контрабасисты и те, кто играет на тубе, приходят ко мне сюда со своими инструментами; эти инструменты кажутся им невесомыми: до чего же легко они поднимают их, продолжая разговор. Совсем как скрипачи — эти во время беседы размахивают скрипкой в чехле, чтобы выделить фразу или указать на что-то.

Мои музыканты живут в загородных особняках, то есть в небольших домах, стоящих отдельно и похожих один на другой: вокруг дома — сад, на крыше — непременно терраса, а на фасаде — большое окно с мелким переплетом. Свой дом они получили в наследство от родителей-музыкантов или же купили сами несколько лет назад. Кое-кому из них дом предоставил нотабль.

Кажется, эти люди счастливы, и счастье дает им музыка: она их кормит, и утешает, и защищает, поскольку гарантирует им социальный и профессиональный статус, что очень высоко ценится в обществе, о котором идет речь.

Я — поэт, мои инструменты — слова, увы, придуманные другими. Мои гости — музыканты, и их рабочие инструменты принадлежат им безраздельно; из них они извлекают порой ни на что не похожие звуки, и это их превращает в истинных творцов, ведь то, что они создают, наполняет пространство над головами людей, проникает в их сознание. Вот оно, истинное творчество! Вот чем стоит гордиться!

Спустившись с мостов, вместо того, чтобы войти в одни из врат Леванта, они сворачивают вправо и направляются в квартал Эрудитов, где я как раз живу и где еще дремлю, прислушиваясь и предвкушая вскоре их услышать. Прежде чем добраться до меня, они проходят у Стены Деклараций. Этот отрезок утренней прогулки наверняка их очень забавляет: они останавливаются на минуту, чтобы посмотреть на вывешенную благодарность или прочесть последнюю глупость, произнесенную каким-нибудь политиком, а может, умилиться, пробежав глазами юношеское любовное стихотворение, или внимательно изучить ассортимент скобяных изделий. Но главное удовольствие — это прочесть ноты, которые звездный луч, скользнув по диагонали, пока они ночью спали, оставил для них на Стене.

Напевая эти ноты, вокруг которых выстроятся их дневные вариации, они будят меня несколько минут спустя.

Они рассаживаются не торопясь, и сквозь напеваемые фрагменты мелодий и пиликанье инструментов я слышу звяканье ложечек о кофейные чашки и стук приборов по тарелкам.

Это тоже своего рода музыка, и к ней нельзя не прислушиваться, тем более что смех возвещает о том, что новый день начался хорошо. Этот знак для меня очень важен.

В пространстве, окружающем дом, идут приготовления к музыке, и это первый вздох, с которого начинается день. Мне это почему-то напоминает запах камбалы, предлагаемой торговцем рыбой, или похрустывание корочки хлеба, который мы будем есть в полдень.

Ибо не следует думать, будто эта музыка — дань, которую слуги платят своему хозяину. Я слишком хорошо знаю, как несчастны были отец и сын Моцарты, находясь в рабстве у венского архиепископа Колоредо, и не могу относиться к творцам как к чему-то, что мне принадлежит и чем я могу распоряжаться.

И если музыканты приходят играть ко мне и вместе со мной, то лишь потому, что хотят этого сами.

Почему я не хожу к ним? Потому что, когда двадцать пять, а то и тридцать человек на рассвете переходят мосты, неся с собой инструменты, это уже приглашение к творчеству, это предвестие гармонии, куда более убедительное, чем вид старого меломана, еще до конца не проснувшегося, бредущего на заре по мостам в противоположную сторону.

Я очень и очень давно не посещаю церковь — разве что зайду посмотреть на какое-нибудь произведение искусства или официально попрощаться с умершим видным деятелем. Может быть, именно то, что я редко бываю в местах, требующих сосредоточенности, и объясняет мой вкус или потребность в некоторых ритуалах — например, в музыке по утрам. Занялся день, говорю я себе, начинается музыка.

Музыканты, приходящие по утрам, дарят мне чувство братства, и я плачу им тем же. Чуть было не сказал, что я с ними братство делю: но нет, это разные вещи. То, что я от них получаю, неизмеримо больше того, что я даю. А они звуками, окутывающими наши утра, раскрывают передо мной целые энциклопедии, которые я изучаю, чтобы потом использовать для написания текстов. Мои тексты обращены в будущее, и неважно, хороши они или плохи, понятны мне самому или нет. А музыканты, кто б они ни были, извлекают из своих инструментов звуки, им уже знакомые, импровизируя лишь их сочетания, и эти звуки, как воды каскада, стекают в огромное озеро музыки, и все, что они могут, это лишь слегка смутить его поверхность.

Удовольствие, которое они получают от нашего ежедневного музицирования, я разделяю во всей полноте, и поскольку они довольны, что занимаются любимым делом, постольку и я уверен, что получу то, что хочу.

Я не знаю, что они делают в оставшуюся часть дня, но думаю, что они не ложатся спать одновременно с птицами. От меня они уходят после полуденного завтрака, но это расставание не наполняет нас грустью, потому что впереди всегда есть завтра.

V

Я дирижирую этим оркестром одною только правой кистью: творю музыку, перемешивая ноты в ладони, и посылаю ее далеко перед собой, не раскрывая глаз.

Вслед за кистью оживает правая рука, а затем и голова: я откидываю ее назад, отмечая особенно проникновенные моменты, или резко перебрасываю слева направо и обратно, в такт перепадам ритма.

Левая моя рука ведет себя сдержанней, но она тоже временами нужна — чтобы смягчать нежнейшие пассажи и готовить переход к тишине. Есть один момент, когда без левой руки не обойтись: указательный палец готовит слияние губ с инструментом — и в этот самый миг я открываю глаза, и брови взлетают вверх над гневно сверкающим взглядом, но его тут же смягчает рождающаяся улыбка.

Музыка в симфоническом оркестре организуется мановением кисти или изгибом запястья; таким же точно движением виртуозам другого жанра удается играть плащом или пунцовой мулетой перед тем, как в решающий миг нанести смертельный удар быку.

Пальцы, как правило, собраны вместе, но иногда вдруг расходятся в стороны, и этому движению отвечает дружный зачин духовых или волна контрабасов. Указующий перст пробуждает и многоголосый хор, и одинокий голос солиста.

Малопривычному к серьезной музыке наблюдателю кажется, что рука и кисть дирижера разгребают воздух перед грудью; иногда им может почудиться знак, напоминающий крестное знамение, или сдержанные ласки, или жест, закрывающий скобки.

Самое главное — не путать то, о чем я пишу, то есть творение музыки, с управлением ею, для чего достаточно тоненькой белой палочки и минимального таланта. По собственному опыту я знаю, что музыканты, особенно солисты, дирижеру-репетитору предпочитают дирижера-композитора — не потому ль, что таким образом они могут играть не открывая глаз и не напрягая память; и кроме того, не обращая внимания на мух, перебирающих лапками и пытающихся выбраться из прутьев нотного стана. Да и страницы тоже не нужно переворачивать.

Дирижеры-композиторы, о которых я говорю, родились в двадцатом веке. Они все как один близоруки, и линия жизни у них глубоко врезана в ладонь — борозда, пересекающая мягкую землю поля; она неровна по

краям, словно океанская волна. Все эти композиторы — авторы неслыханных доселе созвучий, и музыканты жадно вбирают их, когда случается играть эту музыку.

А теперь посмотрим состав исполнителей. В него входят восемнадцать первых скрипок, столько же скрипок вторых, двенадцать альтов, двенадцать виолончелей, шесть контрабасов, шестнадцать медных труб, девять духовых деревянных, три классических ударника, одна арфистка, один пианист, играющий и на других клавишных; в запасе имеются один октавист, один мастер по "дождевым палкам", один гитарист с островов, еще один — из Камаса и третий — с Аппалачей; кроме того, одно контральто, два сопрано, два тенора, два баритона, один бас, одно колоратурное сопрано и два тенора-альтино, хор мальчиков и хор девочек, музыкант, играющий на орфеоне, штатный органист из церкви Сент-Эсташ, группа андийских музыкантов, швейцарские звонари, тибетские бонзы, грегорианские монашки, чтецы с низким голосом, две профессиональные плакальщицы и просто желающие, терпеливо ожидающие в тенечке.

Большинство из них расположились в самых затененных частях лужайки: им не нужно ничего видеть, не нужно объединяться в группы в зависимости от инструмента, потому что они пришли каждый сам по себе. Они настраивают инструменты, продолжая беседовать с друзьями и беря для пробы несколько нот. Эти импровизируемые наброски слышит только сам исполнитель, да еще тот, кому они адресованы, — или же кто сам желает их услышать.

Получается чудовищная какофония — или совершенная тишина, заполняющая передо мной пространство; как будто, сидя на своей террасе, я манипулирую тысячью микрофонов, расставленных по всем репетиционным залам всех на свете консерваторий и во всех концертных залах, какие только есть в мире.

Я прислушиваюсь к смеху и вскрикам, различаю печаль и ярость, тихий шепот и декламации; я пытаюсь определить тон всего, что слышу, понять, что они все хотят сказать, угадать их заветные желания, и мелодию, которая во всем звучит. Это длится довольно долго, и наконец я начинаю понимать, что же такое Музыка. Это не концерт и не песня, это не танец. Это — Музыка. Вообще.

И вот я собираюсь с мыслями. Пытаюсь сосредоточиться. Внутренним взором прослеживаю все моменты тишины. Моя правая ладонь все еще распластана и прижата к груди, там, где бьется сердце. Голова наклонена вперед, но спина остается прямой. Ступни чуть-чуть раздвинуты — на несколько сантиметров. Теплый ветер перебирает пряди у меня на шее. Мое дыхание становится соразмерным ударам сердца.

В момент, кажущийся мне подходящим, когда воцаряется совершенная гармония — а может, абсолютная дисгармония между рукой и сердцем, — я отпускаю швартовы и тихо скольжу вдоль берега; теперь моя рука тянется вперед к горизонту, затем медленно поднимается ко лбу и еще, еще выше. Ладонь собирается в горсть, пальцы почти до боли при-

жаты один к другому. В географии Вселенной возникает точка, в которой моя рука касается зенита, — и я бросаю вызов в пространство, чтобы звучала музыка времени. Тогда каждый музыкант чувствует, что его пальцы или голосовые связки, дыхание или руки готовы оттолкнуть берег; и уже придумано название острову, и определены тончайшие оттенки счастья, и, слившись в едином порыве, они все и я вместе с ними, — я ведь знаю, что являюсь частью их воли, как они являются жителями моих континентов, — мы все закрываем глаза.

И вот моя правая рука — самые кончики пальцев касаются вершины Вселенной, а указательный палец левой, прижатый к моим губам, сложенным в слепую улыбку, отдаляется от губ — и дальше следует взрыв: всего лишь конец света. Но это и есть начало, и тьма уже полна жизни и молодости за нашими сомкнутыми веками.

Я знаю, почему эта чарующая музыка так долго ждала двадцатого века, конца тысячелетия, прежде чем развернуться во всей полноте и, возвысившись над другими искусствами, захватить все сферы творчества: настало время, когда безысходность и отчаяние, ядовитая смесь страха смерти и стыда оттого, что ты еще жив, до такой степени обострила гений иных людей, что все доселе известные способы коммуникации оказались для них невозможны и ничего другого им не оставалось, кроме как выть в пустоту, строить в другом измерении, рвать оболочку чувств и прислушиваться к тем своим желаниям, которые могли их вознести к небесному порогу — чтобы скинуть с себя бремя жизни, вырваться из кругов ее ада, освободиться от пут силы тяжести, преодолеть без остановки пространство между “до” и “после” жизни, заявить о своем безразличии и, наконец, — наконец! — научиться управлять упоением.

Элис Манро

Жребий

Перевод с английского М. Карп

В середине июня 1965 года семестр в Торранс-хаус заканчивается. Постоянного места Джулиет не предложили — учительница, которую она заменяла, поправилась, — так что теперь можно ехать домой. Но она решает сделать небольшой крюк, как она это называет. Небольшой крюк, чтобы навестить знакомого, живущего чуть выше по побережью.

Около месяца назад она ходила с другой учительницей, Хуанитой, единственной среди учителей сколько-нибудь близкого к Джулиет возраста и ее единственной подругой, на показ старого фильма "Хиросима, любовь моя". Хуанита потом призналась, что она тоже, как героиня фильма, влюблена в женатого человека — отца ученицы. Тогда Джулиет сказала, что и у нее была в общем похожая ситуация, только она решила никак ее не форсировать из-за трагедии с его женой. Жена была прикована к постели и практически без сознания. На это Хуанита сказала, что хорошо бы жена ее возлюбленного была без сознания, а она очень даже в сознании — энергичная и влиятельная, она запросто может добиться, чтоб Хуаниту уволили.

И вскоре, словно вызванное этой дурацкой ложью или полуложью, пришло письмо. Конверт был помятый, как будто его долго проносили в кармане, и на нем было написано только "Джулиет (учительнице), Торранс-хаус, 1482, Марк-стрит, Ванкувер, Британская Колумбия". Ди-

© 2004 by Alice Munro
© М. Карп. Перевод, 2006

ректриса отдала его Джулиет, сказав: "Думаю, это вам. Странно, что нет фамилии, но адрес правильный. Наверно, посмотрели в справочнике".

Дорогая Джулиет!

Я забыл, в какой школе ты работаешь, но вдруг на днях совершенно неожиданно вспомнил и решил, что это знак, что надо тебе написать. Надеюсь, ты по-прежнему там — вряд ли твоя работа оказалась такой ужасной, что ты ее бросила посреди семестра, — к тому же, по-моему, ты не из тех, кто бросает посередине.

Как тебе нравится погода у нас на западном побережье? Если тебе кажется, что в Ванкувере сильные дожди, то умножь их на два и получишь то, что творится у нас тут.

Я часто вспоминаю, как мы с тобой сидели ночью и смотрели на соцветия. Видишь, я написал "соцветия", потому что уже очень поздно и давно пора спать.

Энн все в том же состоянии. Когда я тогда вернулся из поездки, мне показалось, что стало гораздо хуже, но это было, главным образом, потому, что я внезапно увидел, как она сдала за последние два-три года. Когда я ее видел каждый день, я этого угасания не замечал.

Я, по-моему, не сказал тебе, что останавливался по дороге в Реджайне, чтобы повидать сына, которому уже одиннадцать лет. Он там живет с матерью. Он тоже очень изменился.

Я рад, что в конце концов вспомнил название твоей школы, но ужасно боюсь, что фамилию твою мне все-таки не вспомнить. Я письмо заклею и буду надеяться, что она как-нибудь всплывет в памяти.

Я часто думаю о тебе.

Я часто думаю о тебе.

Я часто думаю о тебе.

Автобус везет Джулиет из центра Ванкувера к заливу, который называется Подкова, и подвозит прямо к парому. Потом переезд через материковый полуостров, потом снова паром и снова на материк — в городок, где живет человек, написавший это письмо. В Китовый Залив. А как быстро — даже еще до Подковы — попадаешь из города в дикую природу! Целый семестр она прожила среди лужаек и садов Керрисдейла, где, когда немножко прояснялось, становились видны горы северного побережья, похожие на театральный задник. Территория школы была ухоженная, со всех сторон обнесенная каменной стеной, и круглый год там что-нибудь цвело. И другие участки поблизости были на нее похожи. Такое опрятное изобилие — рододендроны, остролист, лавр и глициния. Но не успеваешь доехать даже до Подковы, как тебя со всех сторон обступает настоящий лес — лес, а не парк. А уж дальше — вода, скалы, темные деревья, лишайник. Иногда дым, идущий из трубы какого-нибудь сырого покосившегося домика, где двор завален дровами, домашним хламом, покрышками, целыми и разобранными на части машинами, сломанными или еще годными велосипедами, игрушками — всякими такими вещами, которые приходится держать на улице, когда у людей нет гаража или подвала.

Городки, где автобус останавливается, совсем не похожи на хоть сколько-нибудь организованные поселения. Кое-где, прижимаясь друг к

другу, стоят несколько однотипных домов — принадлежащих какой-нибудь фирме, но, в основном, домики такие, как в лесу, — каждый в своем собственном широком, заставленном вещами дворе, как будто они оказались рядом по чистой случайности. Нет мостовых, если не считать проходящего сквозь поселок шоссе, нет тротуаров. Нет больших солидных зданий почты или муниципальных учреждений, нет нарядных магазинов, построенных так, чтоб обращать на себя внимание. Нет памятников погибшим на войне, нет питьевых фонтанчиков или маленьких усаженных цветами скверов. Иногда — попадается гостиница, но выглядящая словно питейное заведение. Иногда — современное здание школы или больницы, пристойное, но низенькое и некрасивое, как сарай.

А временами — в особенности на втором пароме — у нее холодеет в животе от сомнений в правильности всей затеи.

Я часто думаю о тебе часто
Я думаю о тебе часто.

Такого рода вещи люди говорят в утешение или из смутного желания удержать другого на привязи.

Но гостиница в этом Китовом Заливе должна быть, или, по крайней мере, какая-нибудь турбаза. Туда она и направится. Большой чемодан она оставила в школе, заберет потом. Сейчас она едет только с сумкой через плечо, так что никто на нее особого внимания не обратит. Остановится на ночь. Может быть, позвонит ему.

И что скажет?

Что она здесь очутилась потому, что навещала подругу. Подругу Хуаниту, из школы, у которой летний домик... где? У Хуаниты домик в лесу, она из таких смелых, живущих на природе женщин (не имеющих ничего общего с настоящей Хуанитой, которую редко увидишь не на каблуках). И оказалось, что этот домик совсем недалеко от Китового Залива, чуть к югу. И вот, погостив в этом домике, у Хуаниты, Джулиет и подумала... она подумала... раз уж она практически здесь... она подумала, почему бы и не...

Скалы, деревья, вода, снег. Все это, постоянно меняясь местами, проносилось утром за окном поезда полгода назад, в промежутке между Рождеством и Новым годом. Скалы были большие, иногда они выдавались вперед, а иногда были гладкие, как валуны, темно-серые или совсем черные. Деревья шли, в основном, вечнозеленые — сосны, елки, кедры. У елок — черной ели — на самом верху торчали еще как будто дополнительные маленькие елочки — то же дерево в миниатюре. Другие деревья, не вечнозеленые, были тщедушными и голыми — тополь, лиственница, ольха. Иногда попадались пятнистые стволы. Снег лежал густыми шапками на вершинах скал и прилипал к подветренной стороне деревьев. Мягким ровным слоем он покрывал поверхность больших и маленьких замерзших озер. Вода, не скованная льдом, бежала только в редких стремительных темных и узких ручьях.

Джулиет держала на коленях открытую книгу, но не читала. Она не могла отвести глаз от того, что проносилось мимо. Она сидела в одном из сдвоенных кресел, рядом с ней и напротив кресла были пусты. Ночью из них составлялась ее постель. Проводник как раз сейчас возился в этом спальном вагоне, разбирая постельные устройства. Кое-где темно-зеленые, застегнутые на молнии саваны еще свисали до полу. Пахло

этой тканью, похожей на брезент, и, может быть, слегка постельным бельем и уборными. Когда кто-нибудь открывал двери в одном или другом конце вагона, внутрь врывался свежий зимний воздух. Последние пассажиры уходили завтракать, многие уже возвращались.

На снегу были следы, следы маленьких животных. Они вились, как бусы, и исчезали.

Джулиет исполнился двадцать один год, а у нее уже была и бакалаврская, и магистерская степень по классической филологии. Она взялась и за диссертацию, но сделала перерыв, чтобы попреподавать латынь в частной женской школе в Ванкувере. Педагогического образования у нее не было, но неожиданная вакансия, открывшаяся в каникулы, заставила школу взять ее на работу. Может быть, больше никто на их объявление и не откликнулся. Учитель со специальным образованием вряд ли согласился бы на такую зарплату. Но Джулиет после многих лет на скудных стипендиях рада была зарабатывать хоть что-то.

Она была высокая, белокожая и тонкокостная девушка, с русыми волосами, которые даже специальные средства не делали пышней. Она напоминала внимательную школьницу. Высоко вскинутая голова, аккуратный круглый подбородок, большой рот, тонкие губы, вздернутый нос, живые глаза и лоб, который часто краснел от усилий или от удовольствия. Университетские профессора ее обожали — они были благодарны, что в наше время кто-то захотел изучать древние языки, да еще кто-то столь одаренный, — но и тревожились за нее. Проблема заключалась в том, что она была женщиной. Если бы она вышла замуж, что вполне могло случиться, поскольку для девушки, которая постоянно выигрывает стипендии, она была очень недурна, совсем даже недурна, — тогда пропали бы все ее — и их — труды, а если бы не вышла, то скорей всего стала бы мрачной и замкнутой и отставала бы от мужчин в продвижении по карьерной лестнице (им-то оно было нужней, ведь им приходилось содержать семью). И она не сумела бы отстоять свой странный выбор классической филологии, принять то, что люди находят это занятие бессмысленным или скучным, или просто отмахнуться от них, как сделал бы мужчина. Просто мужчинам легче выбирать неординарные пути, потому что большинство из них все равно найдет женщин, готовых выйти за них замуж. Но не наоборот.

Когда подвернулась эта работа в школе, ей все советовали не отказываться. Очень удачно. Выйдешь в большой мир. Увидишь реальную жизнь.

Джулиет привыкла к таким советам, хотя ее и раздражало, что они исходят от мужчин, чей вид и речи отнюдь не говорили о том, что они сами так уж охотно сталкивались с реальным миром. В городке, где она выросла, ее способности относили к той же категории, что хромоту или лишний палец, и люди тотчас указывали ей на предсказуемые сопутствующие недостатки — то, что она была не в ладах со швейной машинкой, или не могла аккуратно завязать сверток, или не замечала, что у нее торчит комбинация. Что с ней станет — вот что было непонятно.

Эта мысль приходила в голову даже ее родителям, которые ею гордились. Матери хотелось, чтобы дочка имела успех, и ради этого она заставляла ее учиться играть на пианино и кататься на коньках. Джулиет занималась и тем и другим, но без большой охоты и без особого блеска. Отец просто хотел, чтоб она нашла свое место. Надо найти свое место,

повторял он, иначе люди превратят твою жизнь в ад. (Это слегка противоречило тому, что ни он, ни в особенности мать Джулиет, в общем, не нашли своего места, а при этом не были так уж несчастны. Но возможно, отец опасался, что Джулиет повезет меньше.)

Я нашла, сказала Джулиет, когда поступила в колледж. Мое место на отделении классической филологии. У меня все очень хорошо.

Но тут преподаватели стали говорить ей то же самое, хотя как будто ценили ее и радовались ее успехам. За их бодростью ощущалась озабоченность. Выйди в мир, говорили они. Словно там, где она была до сих пор, было неизвестно что.

Тем не менее в поезде она была счастлива.

Тайга, думала она. Она не знала, правильно ли так называть то, что она видела за окном. Может быть, в глубине души она казалась себе молодой героиней русского романа, которая мчится в незнакомый, страшный и восхитительный край, где по ночам воют волки и где она встретит свою судьбу. Ее мало беспокоило, что эта судьба — в русском романе — скорей всего, окажется тоскливой или трагической, или и той и другой разом.

Да и в любом случае дело было не в личной судьбе. Что ее притягивало — точнее, зачаровывало, — было как раз безразличие, однообразие, небрежность и презрение к гармонии, которым встречала ее иссеченная поверхность Докембрийского щита.

Краем глаза она заметила тень. Затем ногу в брючине, приближающуюся.

— Это место занято?

Конечно, оно не было занято. Что она могла сказать?

Кожаные мокасины с кисточками, желтые брюки, желто-коричневая клетчатая куртка с тоненькими бордовыми полосками, синяя рубашка, бордовый галстук с голубыми и золотыми крапинками. Все новенькое, с иголочки, и все — кроме мокасин — слишком большое, как будто тело внутри сжалось после покупки.

Ему было, пожалуй, за пятьдесят. Пряди золотисто-русых волос словно прилипли к черепу — неужели крашеные, нет, не может быть: кто станет красить волосы, которых так мало? Брови казались темнее, рыжее, пушистее и стояли горкой. Кожа лица была какая-то бугристая и морщилась, как поверхность скисшего молока.

Был ли он уродлив? Конечно. Он был уродлив, но на ее тогдашний взгляд очень многие мужчины в этом возрасте были уродливы. Позже она бы уже не сказала, что он был как-то особенно уродлив.

Его брови поползли вверх, светлые водянистые глаза расширились, словно приглашая к совместному веселью. Он устроился напротив нее. И сказал:

— Ничего особенно интересного не видать.

— Да, — она опустила глаза в книгу.

— Ага, — сказал он, как будто все складывалось очень удачно. — И далеко вы едете?

— В Ванкувер.

— Я тоже. Через всю страну. Хоть посмотреть ее, пока едешь, правда?

— Ммм...

Но он не унимался.

— Вы тоже сели в Торонто?

— Да.

— Я оттуда родом. Из Торонто. Прожил там всю жизнь. Вы тоже из Торонто?

— Нет, — сказала Джулиет, снова уставясь в книгу и стараясь продлить паузу. Но что-то — воспитание ли, смущение ли, бог знает что, может быть, жалость — оказалось сильнее ее, и она сказала, как называется ее городок, и разместила его в пространстве, сообщив, на каком расстоянии он находится от городов побольше и как расположен относительно озера Гурон и залива Джорджия.

— У меня кузина в Коллингвуде. Там у вас очень хорошо. Несколько раз гостил у нее и ее семейства. А вы одна едете? Как я?

Он непрестанно похлопывал одной рукой по другой.

— Да.

"Ну все, — думает она, — хватит".

— Я впервые так далеко еду. Такое путешествие, да еще одному.

Джулиет промолчала.

— Я просто увидел, как вы сидите одна и читаете, и подумал: может, она тоже одна и ехать далеко, так что, может, мы как-то закорешимся?

При слове "закорешимся" в Джулиет поднялась ледяная буря. Она поняла, что он к ней не клеится. У нее иногда бывало — и сильно ее расстраивало, — что довольно неловкие, одинокие и непривлекательные мужчины смело подходили к ней, уверенные, что у нее дела обстоят так же, как у них. Но это было не то. Ему нужен был друг, а не подруга. Ему нужен был "кореш".

Джулиет понимала, что со стороны она многим кажется странной и одинокой, — и отчасти это было правдой. Но вместе с тем на протяжении почти всей своей жизни она не раз испытывала чувство, что люди хотят оттянуть на себя ее внимание, ее время и ее душу. И обычно она им это позволяла.

Будь всегда рядом, будь приветлива (особенно если ты не из тех, кто "нравится") — этому научаешься, живя в маленьком городке и особенно в девичьем общежитии. Будь расположена к любому, кто выжмет из тебя все соки, даже если понятия не имеет, что́ ты из себя представляешь.

Она посмотрела на мужчину напротив и не улыбнулась. Он заметил ее решимость, и в лице его дернулась тревога.

— Книжка у вас хорошая? О чем она?

Она не собиралась объяснять ему, что книжка о Древней Греции и о пристрастии, которое древние греки питали к иррациональному. Ей не надо было преподавать древнегреческий, но предстоял курс под названием "История древнегреческой мысли", и она решила перечитать Додда, чтобы понять, что оттуда можно взять. Она сказала:

— Да, мне хочется почитать. Я, пожалуй, пойду в смотровой вагон.

И она поднялась и пошла, думая по дороге, что не надо было говорить, куда она идет, потому что он, чего доброго, встанет и пойдет за ней, извиняясь и готовя очередную просьбу. Кроме того, она подумала, что в застекленном смотровом вагоне будет холодно и она будет жалеть, что не взяла свитер. Но не идти же сейчас назад.

Панорамный вид из смотрового вагона в хвосте поезда понравился ей меньше, чем тот, что был у нее в спальном. Их же поезд все впереди заслонял.

А может быть, дело было в том, что ей стало холодно, как она и опасалась. И неприятно. Хотя она и не раскаивалась. Еще минута — и он протянул бы свою липкую руку (она подумала, что рука, скорей всего, оказалась бы либо липкая, либо сухая и в цыпках), они бы назвали себя, и деваться ей было бы уже некуда. Эта была первая победа такого рода, одержанная ею, но над тщедушнейшим, несчастнейшим противником. Она представила себе, как он выдавил слово "закорешимся". Просьба простить и наглость. Просьба простить — по привычке, а наглость — от надежды или решимости, преодолевающей его одиночество и отчаяние.

Она все сделала правильно, но это было непросто, ох как непросто. Можно даже считать это еще большей победой — справиться с кем-то таким. Большей победой, чем если бы он был щеголеват и самоуверен. Но некоторое время она была удручена.

В смотровом вагоне, кроме нее, было всего два человека. Две пожилые женщины, сидящие поодиночке. Когда Джулиет увидела огромного волка, пересекающего заснеженную нетронутую поверхность маленького озера, она поняла, что они тоже его заметили. Но ни та ни другая не нарушили молчания, что Джулиет было приятно. Волк не обращал внимания на поезд — он не колебался и не ускорял шаг. Шерсть у него была длинная, серебристая, с белыми подпалинами. Может быть, ему казалось, что она делает его невидимым?

Пока она смотрела на волка, вошел еще один пассажир — мужчина, который сел наискосок от нее, через проход. Он тоже был с книгой. Затем вошла пожилая пара: она — маленькая и подтянутая, он — большой и неуклюжий, с тяжелой недовольной одышкой.

— Холодно здесь, — произнес он, когда они уселись

— Принести тебе куртку?

— Да не беспокойся.

— Мне не трудно.

— Ничего, не замерзну.

Через минуту женщина сказала:

— Здесь, конечно, вид чудесный. — Он не ответил, и она сделала еще одну попытку: — Во все стороны видно.

— На что смотреть-то?

— Скоро мы будем проезжать через горы. Это нечто. Тебе завтрак понравился?

— Яйца были жидкие.

— Я знаю, — посочувствовала женщина. — Я уж думала, надо было пойти на кухню и самой сварить.

— На камбуз. Это называется камбуз.

— Я думала, камбуз на корабле.

Джулиет и мужчина наискосок от нее одновременно оторвали глаза от книг, взгляды их встретились, спокойно удерживаясь от какого бы то ни было выражения. А через секунду-другую поезд замедлил ход, остановился, и они стали смотреть по сторонам.

Поезд остановился посреди небольшого поселка в лесу. С одной стороны был станционный домик, выкрашенный темно-красной краской, с другой — несколько строений такого же цвета, дома или бараки железнодорожных рабочих. По радио объявили, что стоянка продлится десять минут.

Платформа была расчищена от снега, и Джулиет, высунув голову, увидела, как несколько человек выходят из поезда поразмяться. Ей и самой хотелось бы это сделать, но не без пальто.

Человек, сидевший наискосок, поднялся и спустился вниз по ступенькам, не оглянувшись. Где-то внизу открылись двери, впустив украдкой поток холодного воздуха. Пожилой муж спросил, зачем они остановились и как вообще называется это место. Жена прошла вперед по вагону, чтобы прочитать название станции, но это ей не удалось.

Джулиет читала про менад. Они совершали обряды по ночам, посреди зимы, писал Додд. Женщины взбирались на вершину горы Парнас, и однажды, когда они были там, поднялась вьюга и за ними послали спасательный отряд. Будущих менад в заледеневших, твердых, как доски, одеждах привели вниз — при всем своем безумии они все-таки воспользовались услугами спасателей. Джулиет это поведение показалось вполне современным, оно как-то позволяло взглянуть на торжества и их участниц сегодняшними глазами. Увидят ли это так ее ученицы? Вряд ли. Они, наверно, будут в штыки принимать всякое развлечение, всякое сравнение с собой, как это бывает у школьников. А те, кто настроен по-другому, не захотят этого показать.

Раздался свисток к отправлению, поток свежего воздуха прекратился, поезд с усилием переполз на другой путь. Джулиет подняла глаза, чтобы снова смотреть вокруг, и увидела, как паровоз исчезает за поворотом.

И вдруг все накренилось, содрогнулось, будто дрожь пробежала от головы до хвоста поезда. Казалось, их вагон закачался. Поезд резко остановился.

Все сидели и ждали, когда же он тронется опять, и никто ничего не говорил. Даже недовольный муж молчал. Прошло несколько минут. Стали открываться и закрываться двери. Послышались мужские голоса, распространявшие чувство ужаса и возбуждения. В вагоне-баре, который был прямо под ними, раздался чей-то властный голос — наверно, проводника. Но разобрать, что он говорит, было невозможно.

Джулиет поднялась и прошла к началу вагона, глядя на крыши других вагонов впереди. Она видела, как по снегу бегут фигурки.

Одна из сидевших поодиночке женщин подошла и встала рядом с ней.

— Я так и знала, что что-то случится, — сказала она. — Я чувствовала, когда еще мы там остановились. Мне прямо не хотелось, чтоб мы с места трогались. У меня было чувство, что что-то произойдет.

Другая женщина тоже подошла и стала за ними.

— Может быть, и ничего, — сказала она. — Может, просто ветка упала поперек путей.

— У них есть такая штука, которая идет впереди поезда, — возразила ей первая женщина. — Специально, чтобы на пути не попадались ветки.

— Может, она только что упала.

У обеих женщин был одинаковый североанглийский выговор, и в их обращении друг к другу не было учтивости незнакомых или едва знакомых людей. Теперь, когда Джулиет к ним пригляделась, она увидела, что они, возможно, сестры, хотя у одной лицо намного моложе и шире. Наверно, они ехали вместе, но сидели отдельно. Или, может быть, поссорились.

Проводник поднимался по лестнице в смотровой вагон. Не дойдя до конца, он повернулся к ним, чтобы сделать объявление:

— Просьба к пассажирам не волноваться. Ничего страшного не произошло — похоже, мы наткнулись на какое-то препятствие. Приносим извинения за задержку. Двинемся, как только сможем, но пока придется постоять здесь. Старший проводник сообщил мне, что через несколько минут принесут бесплатный кофе.

Джулиет спустилась за ним по ступенькам. Когда она встала, то сразу же почувствовала, что у нее возникла собственная проблема и ей нужно немедленно вернуться на свое место и взять сумку, невзирая на то, сидит там человек, которого она отшила, или нет. Пробираясь по вагонам, она увидела, что многие встали со своих мест. Люди прижимались к окнам с одной стороны поезда или стояли на площадках, как будто ожидая, что двери раскроются. У Джулиет не было времени задавать вопросы, но, проскальзывая мимо, она слышала краем уха, что, возможно, это был медведь, или олень, или корова. Люди недоумевали, откуда в лесу могла взяться корова и неужели не все медведи сейчас спят, или думали, что, может быть, какой-нибудь пьяница заснул на рельсах.

В вагоне-ресторане пассажиры сидели за столами, с которых сняли белые скатерти. Они пили бесплатный кофе.

Место Джулиет было свободно, и то, что напротив, — тоже. Она схватила сумку и поспешила в уборную. Ежемесячные кровотечения были проклятием ее жизни. Один раз они даже помешали ей написать важный трехчасовой экзамен, потому что нельзя было выйти из комнаты за подкреплением.

Раскрасневшаяся, ощущая легкую судорогу, головокружение и тошноту, она опустилась на стульчак, вытащила промокшую прокладку, завернула ее в туалетную бумагу и бросила в положенное вместилище. Встав, прикрепила свежую прокладку из сумки. Вода и моча в унитазе стали алыми от ее крови. Она протянула руку, чтобы спустить воду, и тут прямо перед носом заметила объявление, что во время стоянок спускать воду запрещается. Это, конечно, означало — на станциях, где людям было бы неприятно увидеть то, что летит вниз. Здесь можно было рискнуть.

Но когда она снова коснулась кнопки, она услышала голоса совсем рядом — не в поезде, а за рифленым окошком уборной. Наверно, это были железнодорожники, проходившие мимо.

Можно было подождать, пока поезд тронется, но сколько времени это займет? А что, если кому-то позарез нужно в уборную? Она решила, что единственное, что она может сделать, — это закрыть крышку и выйти.

Она вернулась на свое место. Наискосок от нее ребенок лет четырех-пяти размашисто водил цветным карандашом по странице раскраски. Его мать заговорила с Джулиет о бесплатном кофе.

— Он хоть и бесплатный, но, похоже, брать его надо самим, — сказала она. — Вы не присмотрите за малышом, пока я схожу?

— Я не хочу с ней оставаться, — сказал ребенок, не поднимая головы.

— Давайте я схожу, — предложила Джулиет. Но в этот момент в вагон вошел официант с кофейной тележкой.

— Ну вот. Я слишком рано стала жаловаться, — сказала мать. — Вы слышали, что это был человек?

Джулиет покачала головой.

— На нем даже пальто не было. Кто-то видел, как он вышел из поезда и зашагал вперед, но, конечно, никто не понял, что он собирается сделать. Он, видимо, просто зашел за поворот, и машинист его не увидел, а увидел только, когда было уже поздно.

Впереди, по ту сторону от прохода, где сидела мать, мужчина сказал: "Вот они возвращаются", и несколько человек со стороны Джулиет поднялись и пригнулись к окнам. Ребенок тоже встал и прижался к стеклу. Мать велела ему сесть.

— Ты занимайся своей раскраской! Посмотри, как неаккуратно — ты всюду залезаешь за линию. Я не могу, — сказала она Джулиет. — Не могу на такое смотреть.

Джулиет поднялась и взглянула. Она увидела небольшую группу мужчин, бредущих обратно к станции. Некоторые сняли пальто и набросили на носилки, которые несли двое из них.

— Ничего не видно, — сказал мужчина за спиной Джулиет женщине, оставшейся сидеть. — Они его закрыли.

Не все мужчины, которые проходили мимо, опустив головы, были железнодорожниками. В одном из них Джулиет узнала того, кто сидел наискосок от нее в смотровом вагоне.

Еще через десять-пятнадцать минут поезд тронулся. За поворотом крови видно не было ни с той ни с другой стороны поезда. Но была истоптанная площадка, насыпанный холмик снега. Мужчина, сидевший сзади, снова встал. Он сказал: "Вот здесь, наверно, это произошло" — и вгляделся, не увидит ли еще чего-нибудь, а затем повернулся и сел. Поезд, вместо того чтобы спешить, наверстывая упущенное, шел медленней, чем прежде. Из почтения, может быть, или опасаясь, что еще что-то ждет его за следующим поворотом. Метрдотель прошел по вагонам, приглашая первую смену на обед, и мать с ребенком сразу же встали и пошли за ним. За ними потянулась процессия пассажиров, и Джулиет услышала, как поравнявшаяся с ней женщина говорит:

— Правда?

Ее собеседница тихо ответила:

— Так она сказала. Полный крови. Наверно, как-то туда попала, когда поезд переехал...

— Ох, не говори.

Чуть позже, когда процессия прошла и первая смена уже обедала, в проходе появился тот человек — из смотрового вагона, — которого она видела около поезда, в снегу.

Джулиет встала и побежала за ним. В темном холодном пространстве между вагонами, как раз когда он толкал тяжелую дверь перед собой, она сказала:

— Простите, пожалуйста. Мне нужно у вас что-то спросить.

Пространство внезапно наполнилось шумом, лязганьем колес по рельсам.

— Что?

— Вы врач? Вы видели этого человека, который...

— Я не врач. В поезде врача не оказалось. Но у меня есть некоторый медицинский опыт.

— Сколько ему было лет?

Человек посмотрел на нее очень терпеливо, но все-таки с неудовольствием.

— Трудно сказать. Немолодой.

— Он был в синей рубашке? И с такими светло-русыми волосами?

Он покачал головой — не в ответ на ее вопрос, но отказываясь отвечать.

— Вы что, его знали? — спросил он. — Об этом надо сказать проводнику.

— Я его не знала.

— Тогда извините меня. — Он толкнул дверь и ушел.

Конечно. Он подумал, что ее снедает отвратительное любопытство, как многих других.

Полный крови. Вот что на самом деле отвратительно.

Она никогда не сможет никому сказать об ошибке, о жуткой иронии случившегося. Решат, что она исключительно груба и бездушна, если только она рот раскроет. Ведь то, из-за чего возникло недоразумение — раздавленное тело самоубийцы, — покажется в пересказе не более зловещим и страшным, чем ее собственная менструальная кровь.

Никому никогда об этом не рассказывать. (На самом деле спустя несколько лет она рассказала об этом женщине по имени Криста, женщине, с которой она тогда еще не была знакома.)

Но ей очень хотелось рассказать кому-нибудь хоть что-нибудь. Она достала блокнот и, раскрыв разлинованную страницу, принялась писать письмо родителям.

Мы еще не доехали до границы с Манитобой, и многие пассажиры жаловались, что пейзаж за окном довольно-таки однообразен, но теперь им придется признать, что поездка не обошлась без драматических происшествий. Сегодня утром мы остановились в северном лесу у какого-то богом забытого полустанка, где все было покрашено в уныло-железнодорожный красный цвет. Я сидела в хвосте поезда в смотровом вагоне и мерзла как цуцик, поскольку в этих вагонах явно экономят на отоплении (очевидно, считается, что красоты природы отвлекают от житейских неудобств), а мне лень было тащиться обратно за свитером. Простояли там минут десять-пятнадцать, потом поезд снова тронулся, и я увидела наш паровоз на повороте впереди — и вдруг — Страшный Толчок...

Они с родителями всегда старались приносить домой забавные истории. Для этого требовалась некоторая обработка не только фактов, но и своего собственного положения в мире. Так, во всяком случае, считала Джулиет, когда ее миром была школа. Следовало превращать себя в неуязвимого наблюдателя, который на все смотрит несколько свысока. И теперь, когда она все время была не дома, эта позиция стала привычной, почти что обязательной.

Но как только она написала слова *Страшный Толчок*, она обнаружила, что не может продолжать. Не может дальше писать их обычным языком.

Она попыталась смотреть в окно, но пейзаж — хотя, казалось бы, все осталось прежним — преобразился. Они не проехали и сотни миль, а климат как будто стал иным, более теплым. Лед только окаймлял озера, а не покрывал их полностью. Черная вода, черные скалы под грозо-

выми тучами полнили воздух темнотой. Ей надоело смотреть, и она взяла Додда, раскрыв его наугад, потому что, в конце концов, она его уже читала раньше. Через каждые несколько страниц у нее тогда явно случался приступ подчеркивания. Эти абзацы притягивали ее, но, перечитывая их сейчас, она обнаруживала, что места, на которые она когда-то бросалась с таким восторгом, теперь кажутся невнятными и тревожными.

...что ограниченному зрению живых представляется дьявольским ухищрением, более широкий взгляд мертвых воспринимает как проявление космической справедливости...

Книга выскользнула у нее из рук, глаза закрылись, и она пошла с какими-то детьми (учениками?) по поверхности озера. Там, где они ступали, лед трескался, образуя пятиугольные фигуры, аккуратные и ровные, так что озеро становилось похоже на кафельный пол. Дети спрашивали ее, как называется этот ледяной кафель, и она отвечала с уверенностью: *пятистопный ямб.* Но они смеялись, и от этого смеха трещины расширялись. Тогда она поняла свою ошибку и сообразила, что спасти положение можно, только найдя правильное слово, но ей было никак его не ухватить.

Она проснулась и увидела, что тот же человек — за которым она побежала и к которому на площадке приставала с вопросами — сидит напротив нее.

— Вы спали. — Он чуть улыбнулся, говоря это. — Несомненно.

Она спала, опустив голову на грудь, как старуха, из уголка рта у нее текла слюна. Кроме того, она почувствовала, что ей нужно немедленно попасть в уборную, она только надеялась, что на юбке ничего нет. Она сказала: "Извините меня" (то же самое, чем он закончил тот разговор), подхватила сумку и ушла, стараясь, насколько могла, чтоб ее смущенная поспешность была не слишком заметна.

Когда она вернулась, умывшись, причесавшись и воспользовавшись подкреплением, он по-прежнему сидел там.

Он сразу заговорил. Сказал, что хочет извиниться.

— Мне пришло в голову, что я был груб с вами. Когда вы меня спросили...

— Да, — сказала она.

— Вы правильно сказали, — проговорил он. — Вы описали его правильно.

Не то что он преподнес ей эти слова как подарок — для него это было простое и необходимое дело. Если бы она не захотела ему отвечать, он бы встал и удалился не особенно расстроенный, поскольку сделал то, за чем пришел.

Джулиет стало так стыдно, что глаза ее наполнились слезами. Это произошло настолько неожиданно, что она не успела отвернуться.

— Ничего, — сказал он. — Это ничего.

Она быстро закивала, втянула носом воздух с несчастным видом и высморкалась в бумажный платочек, который наконец-то отыскала в сумке.

— Все нормально, — выговорила она и рассказала ему все по порядку. Как тот человек склонился над ней и спросил, занято ли место, как

сел, как она смотрела в окно, но потом уже больше не могла смотреть и попыталась читать или притвориться, что читает, как он спросил, где она села, и выяснил, где она живет, и порывался продолжать беседу, пока она просто не поднялась и не бросила его.

Единственное, чего она не рассказала, — это про выражение "закорешиться". Она знала, что если она это произнесет, то снова разрыдается.

— Женщин часто прерывают, — сказал он. — Чаще, чем мужчин.

— Да, правда.

— Считается, что женщины должны быть любезнее.

— Ему просто хотелось с кем-нибудь поговорить, — сказала она, заняв несколько иную позицию. — Ему нужен был кто-то больше, чем мне *не* нужен. Я теперь это поняла. И я не выгляжу стервой, не выгляжу жестокой. Но такой оказалась.

Пока она опять совладала с хлюпающим носом и мокрыми глазами, прошло некоторое время.

Он спросил:

— Но разве вам никогда прежде не хотелось так поступить?

— *Хотелось.* Но я же не поступала! Я никогда так далеко не заходила. А в этот раз — что у него был на редкость жалкий вид. Во всем новом — наверно, специально купил в дорогу. Наверно, у него была депрессия, и он решил куда-нибудь поехать, потому что это хороший способ познакомиться и подружиться с новыми людьми. Может быть, если бы он хотя бы ехал куда-нибудь недалеко... — добавила она. — Но он сказал: в Ванкувер, то есть повис бы на мне на несколько дней.

— Да.

— Правда, могло бы так быть.

— Да.

— Ну вот.

— Проклятое невезение, — сказал он, лишь чуточку улыбаясь. — Впервые вы набираетесь мужества, чтоб кого-то осадить, так он бросается под поезд.

— Может быть, это была последняя капля, — сказала она, теперь как будто защищаясь. — Могло так быть.

— Ну что ж, вам теперь надо вести себя поосторожней — на будущее, я имею в виду.

Джулиет задрала подбородок и пристально на него посмотрела.

— Вам кажется, я преувеличиваю серьезность этого?

Тут произошло нечто столь же неожиданное и столь же непрошеное, как слезы. Рот у нее стал дергаться. Ее распирал непристойный хохот.

— Ну, может быть, я немножко хватила через край.

Он сказал:

— Немножко.

— Вы думаете, я делаю из мухи слона?

— Это естественно.

— Но вы думаете, что это ошибка? — Ей удалось сдержать смех. — Что чувство вины — это потакание своим же слабостям?

— Что я думаю... — сказал он. — Я думаю, что это мелочь. В вашей жизни будут события... в вашей жизни, скорей всего, будут события... рядом с которыми это покажется мелочью. Будет еще из-за чего чувствовать себя виноватой.

— Но разве люди не всегда так говорят? Тем, кто моложе? Говорят: пройдет время, и ты так думать не будешь. Вот увидишь. Как будто ты не имеешь права на серьезные чувства. Как будто ты на них не способен.

— Чувства, — сказал он. — Я говорил об опыте.

— Но вы же, кажется, говорите, что от чувства вины никакого проку. Люди так часто говорят. Это правда?

— А вы как думаете?

Они разговаривали об этом еще довольно долго, тихими голосами, но с таким напором, что пассажиры, проходившие мимо, слегка удивлялись или даже обижались, как бывает, когда люди ненароком слышат спор, который представляется им чересчур абстрактным. Спустя какое-то время Джулиет обнаружила, что хотя она отстаивает — и совсем, казалось ей, неплохо — необходимость чувства вины как в общественной, так и в частной жизни, сама она в данный момент такового не испытывает. Можно было даже сказать, что она испытывает удовольствие.

Он предложил пройти вперед в вагон-люкс, где можно выпить кофе. Придя туда, Джулиет осознала, что хочет есть, притом что время обеда давно прошло. Ничего, кроме орешков и сухих крендельков, раздобыть ей не удалось, и она стала заглатывать их с такой жадностью, что вернуться к серьезной, с элементом легкого соперничества беседе, которую они вели прежде, оказалось уже невозможно. Вместо этого они стали разговаривать о себе. Его звали Эрик Портеос, а жил он в поселке под названием Китовый Залив, где-то к северу от Ванкувера, на западном побережье. Но ехал не прямо туда, а с остановкой в Реджайне, чтобы повидать кого-то, кого давно не видел. Он был рыбак, ловил креветок. Она спросила о медицинском опыте, который он упомянул, и он сказал: "Ну, он не очень обширный. Я немножко занимался медициной. Ведь в лесу или в море всякое может случиться. С людьми, с которыми работаешь. Или с тобой самим".

Он был женат, жену звали Энн.

Восемь лет назад, сказал он, Энн попала в аварию. Несколько недель пролежала в коме. Потом вышла, но осталась навсегда парализованной, ходить не может, не может даже сама есть. Его она как будто узнаёт, его и женщину, которая за ней ухаживает, — благодаря этой женщине ему удается держать Энн дома, — но все ее попытки говорить или понимать, что происходит вокруг, быстро сошли на нет.

Они были на вечеринке. Она даже не особенно хотела туда идти, это он хотел. А потом она решила одна пойти домой, потому что ей на этой вечеринке не очень понравилось.

И какая-то компания подвыпивших молодых людей, возвращавшихся с другой вечеринки, съехала с шоссе на обочину и ее сбила. Подростки.

К счастью, у них с Энн не было детей. Да, к счастью.

— Рассказываешь людям об этом, и им кажется, что они должны сказать: как ужасно. Какая трагедия. И так далее.

— Их трудно винить, — сказала Джулиет, которая сама собиралась произнести что-то в этом роде.

— Конечно, — сказал он. Но просто все гораздо сложнее. Была ли это трагедия для Энн? Наверно, нет. А для него? Это было что-то, к чему надо было привыкнуть, другая жизнь. Вот и все.

Все приятные отношения Джулиет с мужчинами имели место только в ее воображении. Пара киноактеров, чудесный тенор — а вовсе не мужественный жестокосердный герой — на старой записи "Дон Жуана". Генрих Пятый, каким его написал Шекспир и сыграл в кино Лоренс Оливье.

Это было смешно, жалко, но кому какое дело? В реальной жизни были одни унижения и разочарования, которые она старалась побыстрей вытолкнуть из памяти.

Был опыт стояния в стайке других непопулярных девочек на танцах в школе, где ее голова возвышалась над остальными; была тоска и отчаянные попытки казаться оживленной на свиданиях в колледже с мальчиками, которые ей не нравились и которым не нравилась она. В прошлом году она встречалась с заезжим племянником своего научного руководителя и была взломана — сказать "изнасилована" нельзя, поскольку она сама была полна решимости, — поздно ночью на земле в Уиллис-парке.

По дороге домой он объяснил ей, что она не его тип. И она испытала такое унижение, что не сумела ответить (и даже осознать в тот момент), что он — не ее.

Она никогда не воображала себя возлюбленной какого-нибудь конкретного живого человека, меньше всего учителя. В реальности в мужчинах постарше для нее было что-то отталкивающее.

Сколько этому человеку было лет? Женат он был по крайней мере лет восемь — ну может, года на два или на три подольше. Из чего выходило, скорей всего, тридцать пять, тридцать шесть. Волосы у него были темные, курчавые, с сединой на висках, лоб широкий, в морщинах, плечи — сильные и чуть сутулые. Ростом он был не выше ее. Глаза широко расставленные, темные, живые, но в то же время настороженные. Подбородок круглый, с ямочкой, задиристый.

Она рассказала ему о своей работе, сказала, как называется школа — Торранс-хаус. ("Хотите пари, что ее называют "Дурранс-хаус"?") Рассказала, что она не настоящая учительница, но ее с удовольствием взяли, потому что она специалист по латыни и древнегреческому. Сейчас это большая редкость.

— А вы почему этим занялись?

— Наверное, захотелось быть оригинальной.

И тут она сказала ему то, что давно решила ни при каких обстоятельствах не говорить мальчикам или мужчинам, чтобы сразу их не отпугнуть.

— И потому, что мне это очень нравится. Я эту древность обожаю. Правда.

Ужинали они вместе — оба выпили по бокалу вина, — а потом пошли в смотровой вагон, где сидели в темноте, одни. На сей раз Джулиет не забыла захватить свитер.

— Люди, наверно, думают, что ночью отсюда ничего не видно, — сказал он. — Но посмотрите, сколько звезд в ясную ночь.

И действительно, ночь была ясная. Луны не было — во всяком случае пока, — и звезды собирались в густые рощицы, блеклые и яркие. Как всякий, кто жил и работал в море, он знал карту звездного неба. Она сумела найти только Большую Медведицу.

— С этого и начнем, — сказал он. — Видишь две звезды сбоку от Медведицы? Напротив ручки? Нашла? Это указатели. Иди по ним, иди и придешь к Полярной звезде. — И так далее.

Он нашел ей Орион — самое, как он сказал, большое созвездие в северном полушарии зимой. И Сириус, Собачью звезду, самую яркую в это время года звезду на всем северном небе.

Джулиет нравилось, что он ее учит, но было приятно и когда пришел ее черед его учить. Он знал названия звезд, но не знал истории этих названий.

Она рассказала ему, как Ойнопион ослепил Ориона и как Орион потом прозрел, подставив глаза солнцу.

— Он его ослепил, потому что Орион был прекрасен, и тут Гефест пришел ему на выручку. В конце концов он все равно погиб от стрел Артемиды, но превратился в созвездие. Так часто бывало. Если кто-то и вправду сто́ящий попадал в беду, его превращали в созвездие. Где Кассиопея?

Он показал ей не очень хорошо различимую букву W.

— Считается, что похоже на сидящую женщину.

— Она тоже из-за красоты, — сказала Джулиет.

— Красота была так опасна?

— Еще как! Кассиопея была женой короля Эфиопии и матерью Андромеды. Она похвалялась своей красотой, и за это ее в наказание сослали на небо. Андромеда ведь тоже где-то должна быть, да?

— Это галактика. По идее ее сегодня тоже можно разглядеть. Это самое далекое, что можно увидеть невооруженным глазом.

Даже когда он ее направлял, объясняя, куда смотреть на небе, он ни разу до нее не дотронулся. Конечно, нет. Он был женат.

— А кто такая Андромеда? — спросил он.

— Она была прикована к скале, но Персей ее спас.

Китовый Залив.

Длинный причал, несколько больших судов, бензоколонка и магазин, в окне которого объявление, сообщающее, что тут же и автобусная остановка, и почта. В окне машины, стоящей сбоку от магазина, рукописная надпись — "такси". Она стоит там, где вышла из автобуса, и не двигается с места. Автобус отъезжает. Такси гудит. Водитель вылезает и подходит к ней.

— Одна-одинешенька, — говорит он. — И куда же это вы направляетесь?

Она спрашивает, есть ли здесь место, где останавливаются туристы. Ясно, что никакой гостиницы тут нет.

— Не знаю, сдает ли кто-нибудь комнаты в этом году. Могу зайти спросить. А вы что, никого тут не знаете?

Ничего не остается, кроме как назвать имя Эрика.

— Отлично, — говорит он с облегчением. — Садитесь, домчим за две минуты. Жалко только, что опоздали — вчера погребли.

Погребли, думает она. *Гребля*. Какие-нибудь рыбацкие соревнования...

— Печально, конечно, — говорит водитель, усаживаясь за руль. — Но, правду сказать, поправиться она не могла.

Погребли. Его жену. Энн.

— Ну ничего, — говорит он. — Может, на проводы успеете. Там, я думаю, кто-то еще остался. На похоронах народу было — тьма. Что, не смогли сразу выехать?

— Не смогла, — отвечает Джулиет.

— Я, наверно, неправильно говорю — "проводы". Провожают до похорон, правда? А как называется то, что потом делают, не знаю. Не празднуют же. Хотите заедем, вы поглядите — цветы там, венки...

В стороне от моря, если свернуть с шоссе и проехать около четверти мили по разбитой грязной дороге, — общее для всех вероисповеданий кладбище Китового Залива. И неподалеку от забора — холмик земли, усыпанный цветами. Увядшие живые цветы, яркие искусственные и маленький деревянный крест с именем и датами. Пестрые витые ленты, которые разлетелись по всему кладбищу и валяются на траве. Водитель показывает ей, как разворотили дорогу колеса — столько машин приезжало сюда вчера.

— Половина ее в глаза не видели. Приехали из-за него. Эрика все знают.

Они разворачиваются, едут обратно, но не до самого шоссе. Ее тянет сказать, что она передумала, что ей не хочется ни к кому ехать, а хочется подождать у магазина, пока автобус не поедет обратно. Можно сказать, что она просто ошиблась, перепутала день и теперь ей так неловко, что она пропустила похороны, что вообще там объявляться неохота.

Но ей никак не собраться с духом. И он всем про нее расскажет в любом случае.

Они едут по узким петляющим дорогам, минуя редкие дома. И всякий раз, когда они не сворачивают к дому, наступает временное облегчение.

— Вот это сюрприз, — говорит водитель, и теперь они таки сворачивают. — Куда они все подевались? Я час назад здесь проезжал — полдюжины машин еще стояло. А сейчас даже его грузовик исчез. Пир окончен. Извините, это я так, сболтнул.

— Ну, если никого здесь нет, — говорит Джулиет с готовностью, — я тогда просто поеду обратно.

— Да нет, не беспокойтесь. Айло здесь. Вон ее велосипед. Вы знакомы с Айло? Она ему тут помогает. — Он уже вылез из машины и открывает ей дверь.

Не успевает Джулиет выйти, как к ней с громким лаем несется большая желтая собака, а вслед ей с крыльца кричит женщина.

— Отстань, Пет, — говорит водитель и, пряча деньги в карман, быстро забирается обратно в машину.

— Уймись! Уймись, Пет! Успокойся! Она вас не тронет, — кричит женщина. — Она еще щенок.

Такой щенок, как Пет, думает Джулиет, запросто может сбить человека с ног. Тут выскакивает еще одна рыжеватая собака, и гам усиливается. Женщина сбегает по ступенькам, крича:

— Пет! Корки! Сидеть! Если они увидят, что вы их боитесь, они еще хуже на вас набросятся.

Еще звучит у нее немножечко как *исчо*.

— Я не боюсь, — говорит Джулиет и отпрыгивает, потому что желтая собака носом грубо тычется ей в руку.

— Ну, заходите тогда. Заткнитесь вы обе, или я вам головы пообрываю! Вы что, перепутали, когда похороны?

Джулиет качает головой, как будто извиняясь. Она называет свое имя.

— Ну, очень жаль. А меня зовут Айло. — Они пожимают друг другу руки.

Айло — высокая, широкоплечая женщина с крепким, но не толстым телом и желтовато-белесыми волосами, которые свободно свисают на плечи. Голос у нее сильный, напористый, звуки непринужденно перекатываются в горле. Что же это за акцент — немецкий, голландский, скандинавский?

— Садитесь здесь, на кухне. Кругом страшный беспорядок. Я сварю вам кофе.

Кухня светлая, с окошком в высоком, скошенном потолке. Всюду груды тарелок, стаканов и кастрюль. Пет и Корки, кротко проследовавшие за Айло в кухню, принимаются вылизывать жаровню, которую она поставила перед ними на пол.

Из кухни две широкие ступеньки ведут в затемненную, похожую на пещеру гостиную, где по полу раскиданы большие подушки.

Айло отодвигает стул от стола.

— Да садитесь же! Сядьте, выпейте кофе, поешьте.

— Я сыта, — говорит Джулиет.

— Ну что вы. Вот кофе свежий, только что сварила. Я сама буду пить, пока убираю. И столько еды осталось.

Она ставит перед Джулиет кофе и кусок пирога — ярко-зеленого, с какой-то съежившейся меренгой.

— Лаймовое желе, — говорит она, не выказывая одобрения. — Может, и ничего. Или это ревень?

Джулиет говорит:

— Замечательно.

— Такая грязь. Я после панихиды все убрала, все расставила. Потом похороны. И после похорон надо снова убирать.

В ее голосе мужественная досада. Джулиет чувствует себя обязанной сказать:

— Сейчас я допью и могу вам помочь.

— Да нет, не нужно, — говорит Айло. — Я же тут все знаю. — Она двигается по дому не быстро, но целенаправленно и с толком. (Таким женщинам не нужно, чтоб ты им помогала. Они сразу видят, что ты из себя представляешь.) Она вытирает стаканы, тарелки и приборы, раскладывая то, что вытерла, в буфеты и ящики. Затем чистит кастрюльки и сковородки, — включая и жаровню, которая отобрана у собак, — погружая их в свежую мыльную воду, протирает поверхности обеденного и кухонных столов и выкручивает тряпки так, будто сворачивает курам головы. И с перерывами беседует с Джулиет.

— Вы подруга Энн? Еще с прежних времен ее знали?

— Нет.

— Я так и подумала. Слишком вы молоды для этого. Так почему вы собирались на похороны?

— Я не собиралась, — говорит Джулиет. — Я ничего про похороны не знала. Просто заехала в гости. — Она старается, чтоб это прозвучало как причуда, которая взбрела ей в голову, будто у нее полно друзей и она разъезжает туда-сюда, нанося им визиты.

С особой внушительной энергией и вызовом Айло отдраивает кастрюльку, не удостаивая ее ответом. Она заставляет Джулиет прождать, пока она вымоет еще несколько кастрюлек, прежде чем снова решает заговорить.

— Вы приехали к Эрику. Это действительно его дом. Эрик здесь живет.

— А вы не здесь живете? — спрашивает Джулиет, как будто это поможет сменить тему.

— Нет, я не здесь живу. Я живу ниже по холму, с *мужжем*. — Слова "с мужжем" звучат весомо, в них слышится гордость и упрек.

Не спрашивая, Айло доливает кофе в чашку Джулиет, затем в свою. Приносит себе кусок пирога — у него розовая полоска внизу и розовый крем наверху.

— Заварной крем с ревенем. Надо доесть, *инатче* он испортится. Мне необязательно, но я все равно ем. А вы хотите *кусотчек*?

— Нет, спасибо.

— Значит так. Эрик уехал. Он сегодня не вернется. Скорей всего не вернется. Он уехал к Кристе. Вы знаете Кристу?

Джулиет скованно качает головой.

— Мы здесь так живем, что все про всех знаем. Хорошо знаем. Не знаю, как с этим там, где вы живете. В Ванкувере? (Джулиет кивает.) В городе, значит. Это не то же самое. Эрик очень о жене заботился, но без помощи он бы не справился, понимаете? Я ему помогаю.

Довольно опрометчиво Джулиет спрашивает:

— Но разве вам за это не платят?

— Платят, конечно. Но это больше чем работа. И другая помощь, женская, ему тоже нужна. Понимаете, о чем я? Не от женщины с мужжем. Я этого не люблю, это и некрасиво, и только к ссорам ведет. Сперва Эрик был с Сандрой, потом она уехала, и теперь он с Кристой. Было время, недолго, когда разом были и Криста, и Сандра, но они подруги, так что ничего. Только у Сандры были дети, и она хотела уехать куда-нибудь, где школы побольше. А Криста — художница. Она делает всякие фигурки из дерева, которое валяется на берегу. Как оно называется?

— Плавник, — выдавливает из себя Джулиет. Разочарование, стыд парализуют ее.

— Он самый. Она развозит эти фигурки повсюду, они продаются. Животные там, птицы, но не реальные. *Не реальные*?

— Не реалистические?

— Да, да. Детей у нее никогда не было. Вряд ли она захочет куда-нибудь уехать. Эрик вам этого не рассказывал? Хотите еще кофе? Там еще осталось.

— Нет. Нет, спасибо. Нет, не рассказывал.

— Ну вот. Значит, я вам рассказала. Если вы кончили, я вымою чашку.

Она отклоняется от маршрута, чтобы пнуть ногой желтую собаку, разлегшуюся по другую сторону холодильника.

— Вставать пора. Лентяйка. Сейчас домой пойдем.

— Есть автобус, назад в Ванкувер, в десять минут девятого, — говорит она, возясь у раковины, спиною к комнате. — Можете пойти со мной, ко мне домой, а к автобусу муж вас подвезет. Поужинаете у нас. Я на велосипеде, но еду медленно, так что вы не отстанете. Здесь недалеко.

Ближайшее будущее распланировано так четко, что Джулиет, не думая, встает, оглядывается в поисках сумки. Затем снова садится, но на другой стул. Новый ракурс кухни как будто придает ей решимости.

— Я, наверно, останусь здесь, — говорит она.

— Здесь?

— У меня нет ничего тяжелого. Я дойду до автобуса.

— Откуда вы узнаете, куда идти? Здесь миля.

— Это недалеко. — Джулиет задумывается о том, откуда она узнает, но решает, что в конце концов главное — просто двигаться вниз.

— Он не приедет, понимаете, — говорит Айло. — Сегодня вечером не приедет.

— Это неважно.

Айло резко, возможно презрительно, пожимает плечами.

— Вставай, Пет, вставай. — Не поворачиваясь, она произносит: — Корки остается здесь. Оставить ее внутри или снаружи?

— Наверно, снаружи.

— Тогда я ее привяжу, чтоб за мной не пошла. Она может не захотеть оставаться с чужим человеком.

Джулиет молчит.

— Когда выходишь, дверь захлопывается. Видите? Так что, если захотите выйти, а потом вернуться, надо нажать сюда. Но если вы уже совсем уходите, не нажимайте, тогда останется заперто. Понятно?

— Да.

— Мы раньше вообще не запирали, но теперь тут столько чужих...

После того как они смотрели на звезды, поезд ненадолго остановился в Виннипеге. Они вышли погулять. Ветер был такой холодный, что трудно было дышать, не то что разговаривать. Вернувшись в поезд, они пошли в бар, и он заказал коньяк.

— Согреемся, и ты будешь лучше спать.

Сам он спать не собирался. Не имело смысла ложиться, потому что ему надо было выходить в Реджайне под утро.

Когда они шли к ее вагону, постели почти повсюду были уже расстелены, и проходы сделались уже от свисающих темно-зеленых занавесок. У всех вагонов были названия. Ее назывался Мирамичи.

— В этот, — прошептала она на площадке между вагонами, когда он уже готов был открыть перед ней дверь.

— Попрощаемся тогда здесь, — сказал он. Он отвел руку от двери, и им пришлось удерживать равновесие, когда поезд встряхивало, покуда он ее целовал. Покончив с этим, он не отпустил ее, а прижал к себе, поглаживая по спине, и снова стал целовать ее лицо.

Но она вырвалась и поспешно сказала:

— Я — девственница.

— Да, да, — он засмеялся и поцеловал ее в шею, затем отпустил и распахнул перед нею дверь. Они шли по проходу, пока она не отыскала свою полку. Она прислонилась к занавеске и, поворачиваясь, ожидала, что он опять ее поцелует или прикоснется к ней, но он проскользнул мимо, как будто они встретились совершенно случайно.

Какая глупость, какой ужас. Боялась, конечно, что его ласкающая рука спустится ниже и нащупает узел, который она завязала, чтобы прикре-

пить прокладку к поясу. Если бы она была из тех девушек, которые могут обходиться тампонами, этого бы никогда не случилось.

И почему *девственница*? Когда столько неприятных усилий было предпринято в Уиллис-парке специально затем, чтобы это не могло послужить препятствием? Скорей всего, она думала, что́ ему сказать — она никогда бы не смогла признаться, что у нее месячные, — в том случае, если бы он захотел развивать события дальше. Но как у него вообще могли быть такие планы? Как? Где? На ее полке, где так тесно и где пассажиры со всех сторон, по всей вероятности, еще бодрствовали? Стоя, раскачиваясь туда-сюда, прижимаясь к двери, которую в любой момент могли раскрыть, в этом зыбком пространстве между вагонами?

Так что теперь он сможет рассказывать, что весь вечер слушал идиотку, которая хвасталась, сколько она знает из греческой мифологии, и в конце концов, когда он поцеловал ее на прощание, чтоб от нее отделаться, завопила, что невинна.

Он, правда, не казался человеком, который так поступает или так говорит, но она все равно это себе представляла.

Она долго не спала и заснула, только когда поезд остановился в Реджайне.

Оставшись одна, Джулиет может обследовать дом. Но она этого не делает. Минут двадцать, по меньшей мере, уходит на то, чтобы избавиться от присутствия Айло. Не то что она боится, что Айло вернется проверить, что она тут делает, или забрать какую-нибудь забытую вещь. Айло не из тех, кто что-нибудь забывает, даже в конце напряженного дня. А если бы она опасалась, что Джулиет — воровка, она бы попросту ее вышвырнула.

Зато она из тех, кто оставляет след в пространстве, особенно в кухонном. Все, на что ни взглянет Джулиет, говорит о том, что этим занималась Айло — от травок в горшках (пряности?) на подоконнике до кухонной доски, до блестящего линолеума.

А когда ей удается наконец отодвинуть Айло — может быть, не выпихнуть за дверь, но по крайней мере затолкать за старомодный холодильник, — Джулиет наталкивается на Кристу. У Эрика есть женщина. Разумеется, есть. Криста. Джулиет представляет себе более молодую, более соблазнительную Айло. Широкие бедра, сильные руки, длинные волосы — светлые, без проседи, — грудь, откровенно болтающаяся под свободной рубашкой. То же агрессивное — и в случае Кристы привлекательное — нежелание следовать моде. Та же аппетитная манера жевать и выплевывать слово.

Еще две женщины приходят ей на ум: Брисеида и Хрисеида. Подружки Ахиллеса и Агамемнона. Про них обеих говорится "прекраснощекие". Когда профессор прочитал по-гречески это слово (которое она сейчас не может вспомнить), лоб его густо порозовел, и он как будто изо всех сил сдерживался, чтобы не захихикать. В эту минуту Джулиет его презирала.

Так что же, если Криста окажется более грубым, более северным вариантом Брисеиды/Хрисеиды, она и Эрика станет презирать?

Но откуда она это узнает, если сейчас спустится к шоссе и сядет в автобус?

Оказывается, она с самого начала совершенно не собиралась идти на автобус. Похоже, что так. Теперь, когда Айло нет, проще разобрать-

ся в собственных намерениях. Она наконец встает, варит себе еще кофе и наливает его в кружку, а не в одну из чашек, выставленных Айло.

Она слишком напряжена, чтобы испытывать голод, но изучает бутылки, очевидно, принесенные гостями на поминки. Шерри-бренди, грушевый шнапс, ликер "Тиа Мария", сладкий вермут. Бутылки открыты, но, видимо, их содержимое оказалось непопулярным. По-настоящему пили из тех опустевших бутылок, которые Айло по ранжиру расставила за дверью. Джин и виски, пиво и вино.

Она наливает "Тиа Мария" себе в кофе и подымается по ступенькам в большую гостиную, взяв с собой бутылку.

Это один из самых длинных дней в году. Но здешние деревья — большие пушистые вечнозеленые и земляничные с красными стволами — не впускают в комнату свет заходящего солнца. В кухне светло из-за верхнего света, а в гостиной окна — просто длинные прорези в стене, и здесь уже начала сгущаться темнота. Пол не отполирован, старые потертые ковры лежат на фанерных квадратах, и комната обставлена странно, вразнобой. Главный предмет обстановки — подушки, разбросанные по полу, среди них — маленькие подушечки, обтянутые потрескавшейся кожей. Огромное кожаное кресло, из тех, что можно откинуть назад и выдвинуть скамеечку для ног. Тахта, покрытая настоящим, но изорванным лоскутным одеялом, допотопный телевизор, книжные полки — просто набитые на стену доски, на которых нету книг, только кипы журналов "Нэшнл джиографик" и еще пара журналов о парусниках да выпусков "Популярной механики".

Айло, вероятно, не добралась до уборки этой комнаты. На коврах — кучки пепла, очевидно там, где опрокинули пепельницы. И всюду крошки. Джулиет приходит в голову поискать пылесос, если он тут есть, но потом она думает, что, даже если ей удастся заставить его работать, наверняка что-нибудь случится — машина, например, сомнет и засосет эти тонкие ковры. Так что она просто садится в кожаное кресло и, по мере убывания кофе, подливает себе в кружку "Тиа Мария".

Ничего ей особенно не нравится на этом побережье. Деревья слишком большие и растут скученно, и у них нет никакой индивидуальности — просто лес, и все. Горы — слишком грандиозные и невероятные, а острова, попадающиеся в проливе Джорджия, слишком настырно живописные. И этот дом с его большими комнатами, скошенными потолками и необработанным деревом — весь застылый и смущенный.

Время от времени лает собака, но без всякой срочной надобности. Может, ей просто хочется войти в дом, побыть в обществе. Но у Джулиет никогда не было собаки — собака в комнате будет свидетелем, а не товарищем, будет ее только смущать.

А может, собака лает на забредшего оленя, или медведя, или пуму. В ванкуверских газетах что-то писали о пуме, которая — кажется, как раз на этом побережье — растерзала ребенка.

Как кому-то может прийти в голову мысль жить здесь, если едва выйдешь из дому, сразу оказываешься среди хищных и опасных животных?

Каллипареос. Прекраснощекие. Поймала. Гомерово слово сверкает у нее на крючке. И вслед за ним она вдруг вспоминает весь свой древнегреческий словарь, все, что последние полгода пролежало, как будто запертое в чулан. Она же не преподавала древнегреческий, поэтому она это отложила.

Вот что происходит. Откладываешь ненадолго и время от времени заглядываешь в этот чулан в поисках чего-нибудь другого, вспоминаешь и думаешь: *вот-вот.* А потом оно превращается просто в то, что лежит в чулане, и уже куча другого навалена перед этим и сверху, и в конечном счете просто об этом забываешь.

О том, что было твоим ярчайшим сокровищем. Просто забываешь, и все. Когда-то о такой утрате и помыслить было нельзя, а потом о ней и не вспоминаешь.

Вот что происходит.

А даже если не откладываешь, даже если зарабатываешь этим изо дня в день? Джулиет думает о пожилых учителях в школе, как мало их волнует то, что они преподают. Взять хоть Хуаниту, которая стала изучать испанский из-за того, что у нее испанское имя (а сама она ирландка), и которая хочет бегло говорить по-испански, чтоб это помогало ей в поездках. Нельзя сказать, что испанский — ее сокровище.

Мало людей, очень мало, обладают каким-то сокровищем, и если уж оно у тебя есть, надо за него держаться. Нельзя ни в коем случае допустить, чтоб тебя кто-нибудь подстерег и его отобрал.

"Тия Мария" в сочетании с кофе срабатывает определенным образом. Под воздействием ликера она чувствует себя беспечной, но сильной. Она даже говорит себе, что Эрик в конце концов не так и важен. С ним можно просто развлечься. "Развлечься" — правильное слово. Как Афродита с Анхисом. А потом как-нибудь на рассвете она выскользнет и убежит.

Она подымается, находит ванную, потом возвращается и ложится на тахту, накрывшись лоскутным одеялом, — ей так хочется спать, что она не замечает ни шерсти Корки на нем, ни ее запаха.

Когда она просыпается, утро в полном разгаре, хотя на кухонных часах всего двадцать минут седьмого.

У нее болит голова. В ванной стоит пузырек с аспирином — она глотает две таблетки, умывается, причесывается, достает из сумки зубную щетку и чистит зубы. Затем варит свежий кофе и съедает кусок домашнего хлеба, поленившись его разогревать или намазывать маслом. Она сидит за кухонным столом. Солнце, пробираясь сквозь деревья, покрывает рыжими пятнами гладкие стволы земляничных деревьев. Корки начинает лаять и лает довольно долго, прежде чем во двор сворачивает грузовик и заставляет ее замолчать.

Джулиет слышит, как хлопает дверь грузовика, она слышит голос, разговаривающий с собакой, и ее охватывает страх. Ей хочется куда-нибудь спрятаться (потом она будет рассказывать: *Я чуть под стол не залезла,* но, конечно, она и не думает совершать какую-нибудь такую нелепость). Похоже на тот момент в школе, когда должны объявить, кто победил в конкурсе. Только хуже, потому что надеяться ей не на что. И потому что другого такого случая в ее жизни не будет.

Когда дверь открывается, она не может поднять глаз. Пальцы рук на коленях переплетены, стиснуты.

— Ты здесь, — говорит он. Он смеется с восторгом и восхищением, как будто пораженный столь неслыханным бесстыдством и дерзостью. Когда он распахивает руки, ей кажется, что в комнату врывается ветер и заставляет ее поднять глаза.

Полгода назад она не знала о существовании этого человека. Полгода назад тот, кто погиб под колесами поезда, был еще жив и, может быть, подбирал одежду для поездки.

— Ты здесь.

Она слышит в его голосе, что он предъявляет на нее права. Она встает, одеревенев, и видит, что он старше, грузнее, порывистее, чем сохранилось в ее памяти. Он подступает к ней, и она ощущает досмотр с головы до ног, прилив облегчения, штурм счастья. Как это удивительно. Как похоже на ужас.

Выясняется, что Эрик не был настолько удивлен, как он это изобразил. Айло позвонила ему накануне вечером, чтобы предупредить о странной девушке, Джулиет, и предложила сходить проверить, ушла ли она на автобус. Он решил, что будет, пожалуй, правильно посмотреть, ушла ли она, — может быть, чтобы испытать судьбу, — но когда Айло позвонила сообщить, что девушка не ушла, он сильно удивился радости, которую испытал. И все-таки он не поехал прямо домой и не сказал Кристе, хотя понял, что придется сказать, и очень скоро.

Все это Джулиет постепенно впитывает в себя в последующие недели и месяцы. Какая-то информация всплывает случайно, а какая-то — в результате ее неосторожных расспросов.

Ее собственное признание (в утрате невинности) сочтено мелочью.

Криста ничуть не похожа на Айло. У нее нет ни широких бедер, ни светлых волос. Она тоненькая брюнетка, остроумная и иногда мрачноватая, которая станет близкой подругой и опорой Джулиет на много лет вперед, хотя никогда полностью не избавится от привычки лукавого подтрунивания — иронических проблесков подавленного соперничества.

Мейвис Галлант

Поздневозвращенец

Перевод с английского Анны Асланян

ВЕСНОЙ 1950-го, вернувшись в Берлин из плена, я обнаружил, что у меня есть отчим. Моя мать ни разу о нем не упоминала. Я писал из Бретани Грете Бестерман, но оказалось, что имя "Тёплер", выгравированное на медной табличке рядом со шнуром звонка в ее новом доме, носит теперь и она. Она вставила ключ в замочную скважину и тихо сказала: "Послушай, Томас. Я теперь фрау Тёплер. Я вышла замуж за хорошего человека, у него есть пенсия. Это его ключ, его имя, его квартира. Он тебе будет рад". Видимо, она думала, как бы поосторожнее об этом сообщить, с момента, когда встретила меня в тот день на вокзале.

Я накрыл имя рукой; остался четкий отпечаток ладони. Я сказал: "Лезвий для бритья и гражданских рубашек в Берлине, похоже, нет. Зато какой-то осел уже гравирует имена на табличках".

Мартин Тёплер был немолодой человек, в прошлом — трамвайный кондуктор. Одна рука у него действовала плохо — результат несчастного случая на работе, — и то плечо торчало выше другого. Глаза были какие-то молочные, стариковские, по краям радужки светлее, чем в центре. К тому же он обладал привычкой вздыхать, как старуха: "Ох-хо-хо", словно констатируя в этой своей манере: "Ничего не поделаешь". Было ему, наверное, лет сорок девять, не больше, но мне он казался именно таким — старым, более того — бесполезным, конченым. У него постоянно отвисала челюсть, рот не закрывался, как будто ему трудно было дышать через нос, но на самом деле это объяснялось его хронической го-

© 2002 by Mavis Gallant
© Анна Асланян, Перевод, 2006

ворливостью, всегдашней готовностью попробовать какое-нибудь словцо на зуб. Родом он был из Франконии — неподалеку оттуда, у чешской границы, жили когда-то мои дед и бабка.

— Мы с Гретой выговор друг дружки понимаем, — сказал он; однако у нас в семье на диалекте не говорили. Нас с братом приучили правильно произносить "хлеб", "друг", "дерево". Я перевел взгляд на мать, но она отвернулась.

Единственной мечтой Мартина было вернуться во Франконию; об этом он сообщил мне чуть ли не первым делом. Ему достались в наследство две меблированные квартиры в городке неподалеку от американской военной базы. Одна из них уже много лет пустовала. Ее обитатели выехали, куда — никто не знал; возможно, в Швецию. После их отъезда, состоявшегося в пять часов, зимним утром 1943-го, входную дверь опечатали государственным штампом, изображавшим свастику с орлом. Исчезнувшие жильцы, должно быть, умерли — возможно, в Швеции, — и теперь никто из местных не хотел жить в этом доме из страха перед целым семейством привидений: те открывали и закрывали ящики, стучали по трубам, передвигали стулья и лесенки. По мнению Мартина, привидения искали припрятанное золото, оставленное при переезде. Вторую квартиру снимала семья, пропавшая во время запутанных миграций в конце войны; теперь их тоже, вероятно, не было в живых — по крайней мере официально, остальное же не имело значения. Мартин намеревался переоборудовать обе квартиры, довести их до современных американских стандартов — под этим он понимал жалюзи на окнах и газовые колонки в ванных — и сдать какому-нибудь американскому офицеру чином повыше, достаточно нездешнему, чтобы не обращать внимания на слухи, ходившие в городишке, достаточно образованному, чтобы не бояться привидений. Но Мартину следовало поторопиться с переездом, пока его наследство, весь его послевоенный капитал, единственную возможность начать все заново, не отобрали в пользу ленивых, неграмотных беженцев из советской зоны или до сих пор теснящихся в бараках семейств, чьи дома разбомбили, или поздневозвращенцев. Эти последние представляли собой новую категорию людей, умещавшуюся в одно слово. Оно выскочило у Мартина прежде, чем он вспомнил, что я — тоже один из них. Он замолчал, потом вздохнул: "Ох-хо-хо".

Сидеть спокойно подолгу он не мог — вытащил бумажник и показал мне свою фотографию верхом на лошади. Может быть, ему хотелось, чтобы эта сельская картина вытеснила у меня из головы его образ на подножке трамвая. Вытянув руку со снимком, он взглянул на него, прищурившись. "Вот каким Мартин Тёплер когда-то был, — сказал он. — И таким Мартин Тёплер еще станет". И его молодость, и новое правое плечо с рукой, и жаркие, зеленые летние дни, какие, по словам всех его ровесников, бывали до войны, — все это ожидало его во Франконии. Слушая Мартина, можно было подумать, что он — человек, от рождения преуспевающий во всем, а не увечный трамвайный кондуктор, обиженный судьбой. Он убрал фотографию в потрескавшийся целлулоидный кармашек, положил бумажник в карман и обратился к моей матери: "Мальчику надо помыться".

Матери, которая уже начала наливать воду в ванну, всю жизнь отдавали приказы. Девочкой она, как подневольная, работала в деревенском трактире у своей матери, а после смерти моего отца опять стала

служанкой, теперь уже в Берлине, у моего влиятельного дядюшки Герхарда и его толстухи жены. Зимой мы с братом жили с ней, спали порой втроем в одной кровати, в холодной чердачной комнатке, делились хлебом и яблоками, которые таскали у дядюшки Герхарда из кладовки. Летом нас отправляли помогать бабке. Мы протирали стулья и столы, мыли заблеванные туалеты и носили в кухню вонючие пивные кружки. Приходилось вставать на стул, чтобы дотянуться до кранов, — такие мы были маленькие.

— Повезло тебе, что у тебя двое сыновей, — сказал как-то матери дядюшка Герхард. — Без крепких рук в семье никогда не останетесь.

"Моих детей никто не будет эксплуатировать", — так, будто бы, ответила она, хотя одному Богу известно, как она собиралась этому воспрепятствовать: у нас ведь не было ни собственной крыши над головой, ни денег, а ели мы то, что давали. Помогла нам форма. После нашего вступления в гитлерюгенд даже дядюшка Герхард ни разу не посмел спросить: "Куда ты собрался?" или "Где ты был?" Мой брат оказался сообразительнее меня. К двенадцати годам он уже знал, что угодил в ловушку; я же ничего не понимал до шестнадцати, пока не попал в плен. Но, с точки зрения матери, мы были свободны, спасены; мы не должны были повторить ее жизнь. Вот и все, что ей было нужно.

В плену я стремился к ней, в потерянный рай нашей бедности, где она целиком принадлежала нам с братом, где мы оба спали вместе с ней, каждый со своего боку. Я писал ей письма, полные сожаления о том, что был недостаточно к ней внимателен, обещал в будущем стать хорошим: я буду много работать, буду всегда заботиться о ней. Эти письма, адресованные белокурой, молодой Грете Бестерман с нежным голосом, читала Грета Тёплер, худая и озабоченная, та, что закалывала седые волосы в пучок наподобие сдувшегося воздушного шарика и боялась грядущего так же сильно, как и прошлого. На вокзале я ее не узнал, а когда она робко произнесла: "Простите... Томас?" — принял за ее мать. Тогда, да и в последующие несколько минут, я не знал ни о смерти бабки, ни о том, что мой богатый дядюшка Герхард, ныне официально реабилитированный решением суда — он обвинялся в сотрудничестве с нацистами, — ютится в двух комнатах, выкроенных из развалюхи, зарабатывает на жизнь разведением кроликов и надеется никому не попасться на глаза. В последний раз мать видела меня пятнадцатилетним. Сегодня мы с раннего утра двигались навстречу друг другу, но я был изможден и неразговорчив, мы оба — скованы, так что не бросились друг к другу из страха обнять незнакомого человека. У меня сохранилось одно жуткое воспоминание о ней, хотя, возможно, все это мне просто привиделось. Я был маленький, но уже говорил и ходил. Я вошел в комнату, где она кормила грудью младенца. С ней были еще две женщины. Увидев меня, они начали смеяться, а одна сказала ей: "Дай и Томасу немножко". Мать наклонилась и вложила сосок мне в рот. Вкус был отвратительно сладким, присутствие этих двух женщин — унизительным; я выплюнул, отпрянул, заплакал. Она что-то сказала женщинам, и они засмеялись пуще прежнего. Должно быть, мне все приснилось: откуда мог взяться этот младенец? Брат был старше меня на одиннадцать месяцев.

Теперь мать держалась со мной опасливо, будто животное, отчасти из-за моей реакции на табличку с именем. Наверное, боялась, как бы за этим не последовало еще что-нибудь. В детстве ее учили уважать муж-

чин, никогда не встревать в их разговор, следить, чтобы их тарелки наполнялись прежде, чем ее собственная; девчонкой ей даже полагалось стоять, когда они садились. Мне был двадцать один год, уже три дня как исполнился двадцать один год, я перешел в лагерь обидчиков и чужаков. Все время, пока Мартин разглагольствовал, хвастался, демонстрировал мне свое фото верхом на лошади, она то и дело прокрадывалась в гостиную и снова выходила, носила по коридору дрова и брикеты угля, что хранились у голландской печки, разжигала для меня огонь в ванной. Иногда она искоса взглядывала на меня и улыбалась, прикрывая рукой рот — ее новая привычка, — но молчала, пока не пришло время сказать, что ванна готова.

Мать постелила мне на пол полотенце и показала стул, куда, по ее словам, всегда садился вытирать ноги Мартин. В ванной была полка, на ней — зеркало и гребешок, но раковины не было. Я решил, что бреется он в кухне, и зубы они чистят там же. Мать сказала, что мыло некачественное и плохо мылится, но попросила меня, опять из-за руки-ширмы, в воде его не оставлять, чтобы не таяло, не пропадало зря. Камень и тот скорее растаял бы в воде. "Вот крючок, одежду повесить", — сказала она, хотя я и так его видел. Она по-прежнему мешкала, но, когда я начал расстегивать рубашку, выскользнула за дверь.

Ванна, куда могло бы поместиться целое семейство, была шершавая, как обломок вулканической породы, вода — настоящий кипяток. Я сидел, подтянув колени, словно в жестяном тазу, которым мне иногда разрешали пользоваться во Франции. На одном колене багровел похожий на морскую звезду шрам от ранения гранатой, эта нога была кривоватая, словно ее гнули не в ту сторону, когда кости еще не окрепли. На веревке висело длинное исподнее, принадлежавшее, по всей вероятности, отчиму. Я сидел, глядя на белье и на жесткое тонкое полотенце рядом с ним, и на воду, оседавшую на бетонных стенах, пока кожа у меня на руках и ногах не стала морщинистой и мягкой, как бархат.

Есть термин для людей, застрявших на переходе после переключения светофора: "остаточный пешеходопоток". Я был в лагере для военнопленных в Ренне, когда поступил приказ репатриировать всех, кому не исполнилось восемнадцати. По какой-то причине мою фамилию так и не выкликнули. Спустя пять лет, в Сен-Мало, где я был приставлен к аптекарю с женой в качестве "вольнонаемного" — волю не дали, просто отпустили из лагеря, — меня вызвали в полицию и спросили, что я делаю во Франции с огромными буквами PG, то есть prisonnier de guerre[1], на спине. Не дезертировал ли я из Иностранного легиона? Не шпион ли? Почти всех остальных пленных во Франции освободили по меньшей мере десять месяцев назад, но мое дело в Ренне то ли потеряли, то ли положили не туда, и, пока его не нашли, уехать я не мог — меня не существовало. К тому времени французам я надоел до смерти: им до смерти надоела война с любыми напоминаниями о ней, а план бросить захваченных американцами военнопленных на восстановление дорог и мостов Франции не удался. Эта идея так ни во что и не воплотилась, и в результате кто-то из пленных стал работником на ферме, кто-то — до-

1. Военнопленный (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

машней прислугой, кто-то вступил в Иностранный легион, поскольку там лучше кормили, кто-то сидел и ничего не делал три или четыре года, поскольку никакой работы для него не отыскалось. В полиции мне намекнули, что никто не возражал бы против моего побега. Так разрешилось бы затруднение с потерявшимся делом. Но я боялся нарушить правила — в этом случае у них мог появиться повод задержать меня навсегда. К тому же далеко ли убежишь с огромными PG, выведенными на куртке и штанах? Да и здесь, где ходить с ярлыком было необязательно — ведь у меня на лбу было написано: "поздневозвращенец", — я по-прежнему ощущал, что всем своим видом вызываю неловкость. Тот факт, что я выжил, мои кровоточащие десны и качающиеся зубы, мои хронические дизентерия и малокровие, моя тяга к сладкому, моя сдержанность с незнакомыми, обноски, в которые я был одет по приезде, — все это означало "война", когда всем хотелось мира, "плен", когда у всех на устах было "свобода", "черствый хлеб", когда все думали "варенье и масло". Я сообразил, что за пять лет мира люди в большинстве своем уже пробились на нужную ступеньку нужной лестницы, и теперь места для остаточного пешеходопотока осталось немного.

Мать вошла, чтобы вымыть ванну, когда я был наполовину одет. Она принесла золы из печки и тряпку, всю в дырках, так что ее приходилось скатывать в комочек. "Я тебя звала, а ты не слышал. Думала, ты задремал и утонул".

Слышал я плохо; виной тому были дежурства во время воздушных налетов в Берлине, на которые меня посылали еще старшеклассником. После того как мальчиков отправили на фронт, наше место заняли девочки. Они-то и защищали взрослых мужчин в форме, сидевших по бункерам, — эти девочки, еще подростки. Неужели они тоже оглохли, думал я, неужели мы — поколение, которому так и не суждено расслышать ничего тише крика. Мать стояла на коленях у ванны, а я, подобно Мартину, сидел на Мартиновом стуле, натягивая чистые носки, которые она мне принесла. Тихим голосом — его я слышал превосходно — она сказала, что я знал Мартина в детстве. Нет, сказал я. Она сказала, что его знал мой отец. Я встал и, подождав, пока она поднимется с колен, посмотрел сверху вниз на ее лицо. Прикасаться к ней я боялся — вдруг мы оба заплачем. Она пробормотала, что ее родня наверняка должна была его знать, ведь у Тёплеров был фамильный участок недалеко от кладбища, где похоронили мою бабку, а в какой-нибудь полусотне километров оттуда отец моего отца когда-то держал пекарню. Она пыталась найти хоть какую-нибудь связь.

— Я хотела, чтобы вам с Крисом было где жить, когда вернетесь, — сказала мать, однако я полагал, что она не рассчитывала увидеть нас живыми и боялась остаться без дома, в одиночестве. Мой брат пропал без вести в Чехословакии вместе с армией Шёрнера. На всю эту армию махнули рукой как на погибшую. Дядюшка Герхард, единственный близкий родственник матери, помочь ей не мог, даже приди ему такое в голову: у него четыре года ушло на то, чтобы его официально и законно реабилитировали, и теперь он, "белый, как белая сирень", по словам матери, не имел никаких собственных мнений и жил только ради своих кроликов.

— В моем возрасте хочется, чтобы кто-то был рядом, сказала мать. С кем поговорить можно. Разговоры — что еще нужно старым людям? Ма-

тери тогда было, наверное, года сорок два. Я слышал, как старики в лагере обсуждали своих жен; в котел любая курица сгодится, хоть бы и жилистая, — так они говорили.

— Ты за него вышла до того, как он эту квартиру получил, или после?

— После.

Но с ответом она замешкалась, словно пытаясь угадать, что́ я хочу услышать.

Квартира была на третьем этаже большого темного здания — оно единственное осталось от жилого района, построенного в двадцатых для рабочих. Раньше Мартин жил где-то между окошком ванной и улицей. Выглянув наружу, я без труда восстановил и задние стены исчезнувших домов, и балкончики, украшенные швабрами с тряпками, и грязный сырой двор. Должно быть, здесь в любую погоду главенствовали зимние сумерки, пока воздушный налет не расчистил место временам года. Теперь шлак и гравий разровняли граблями поверх раздробленной кладки; широкая площадка между уцелевшим домом — нашим — и дорогой позади него, окаймленной развалинами, была солидной и гладкой на вид.

Да нет, сказала мать, все это так шатко, неустойчиво. Кто-то должен распорядиться, чтобы зацементировали проход: у женщин постоянно ноги подворачиваются, а когда дождь, приходится тащиться по черной грязи, и гарью пахнет. Она не потеряла веры в невидимого, но исполненного благих намерений "кого-то". Потом она сказала, понизив голос, почти шепотом, что там, под обломками и шлаком, — первая жена Мартина, Эльке. Вытащить все тела было невозможно, и однажды их навечно засыпал бульдозер. Те две квартиры в городке во Франконии достались Мартину в наследство от Эльке. Тёплеры, скорее всего, были ничуть не богаче Бестерманов, но Мартин удачно женился.

— У нее еще и собака была, — сказала мать. — Когда Мартин на ней женился, у нее был белый шпиц. Она его каждое воскресенье в ванне купала.

Я представил себе, как Мартин Тёплер пересекает этот новый, широкий, таящий в себе угрозу двор и говорит: "Могила Эльке. Ох-хо-хо". Я произнес это вслух; внезапно мать громко засмеялась, уронила руку, и я увидел, что у нее не хватает нескольких передних зубов.

— Этот дом на старый зуб похож, если с улицы посмотреть, — сказала она, словно намеренно привлекая внимание к тому самому злополучному обстоятельству, которое хотела скрыть. Она ничего не знала о людях, живших в этой квартире прежде, — только то, что они уехали в спешке, забыв захватить с собой изрядные запасы еды с черного рынка, несколько хорошеньких безделушек из серванта и пять бутылок вина.

— Уехали, не заплатив за квартиру, — сказала она; на нее это было непохоже.

Оказалось, это была шутка Мартина Тёплера. Он повторил ее, когда я вернулся в комнату, в чистой рубашке — по-видимому, его, — с темными, мокрыми, гладко причесанными волосами. Мартин ткнул пальцем в светлый прямоугольник на коричневых обоях.

— Вот отсюда они сняли портрет Адольфа, — сказал он. — Когда уезжали второпях, не заплатив за квартиру.

Моего отца закололи насмерть — поймали как-то вечером, когда он срывал предвыборный плакат со стены школы. Мать осталась без денег, с двумя детьми, которым не было и пяти лет, с репутацией политически

неблагонадежной. С тех пор она плыла по течению. Я до сегодняшнего дня почти все время ходил в форме — то одной, то другой. Помню, однажды я надел гражданское, в четырнадцать, на конфирмацию. Чувствовалось, что это маскировка, и некуда было девать руки: с семи лет я привык засовывать большие пальцы под кожаный ремень. Об отце у меня остались впечатления, не воспоминания. Фотографии были застывшими; они мне ничего не говорили. Но я знал, что с мокрыми волосами немного похож на него. Порой, ухватив краткую вспышку, словно секретное донесение, пришедшее из зеркала, я думал: вот он какой был. Я сидел с Мартином за столом, на котором мать расстелила шитую кружевом скатерть (принадлежавшую исчезнувшим жильцам); поверху апрельское солнце, пробившись сквозь кружевные занавески, наложило еще один узор. Расправив ладони под кружевными тенями, я подумал: может быть, руки у меня тоже похожи на отцовские.

Мать выставила на стол все, что нашлось из еды и питья: несколько сладких печений, сыр, нарезанный не толще бумаги, темный хлеб, маленькие помидоры целиком, редиску, ломтики копченой колбасы, разложенные на тарелке цветочным узором, чтобы казалось побольше. Мы открыли бутылку шипучки, которую Мартин называл шампанским. У нее был коричневый оттенок, как у разведенного в воде йода, и вкус патоки. Сквозь эту муть карабкались вверх пузырьки. Мы подняли стаканы и выпили — безо всяких слов, просто за мое возвращение. Мартин, наверное, пил за то, что уготовано ему судьбой во Франконии, за две квартиры. У меня было кое-что на уме, но я решил никому об этом не говорить. По взаимному соглашению общее прошлое не существовало. Потом заговорила, прикрывая рот рукой, мать и предложила выпить за пропавшего без вести старшего сына. Говоря, она смотрела на Мартина — а вдруг и Крис, оставшись в живых, тем самым обременит его.

Под вечер пришел сосед с бутылкой коньяка. Это был тучный мужчина с тремя прилизанными седыми завитками, начесанными на лысину. В будущем всем толстякам из анекдотов и книг предстояло слиться в моих глазах в образ Вилли Велера. Но в 1950 году в Берлине он вряд ли был таким уж пухлым; возможно, в его подбородке и угадывалась дряблость, волосы же еще наверняка были темными и не успели окончательно поредеть. Мне вспоминается, как он начинал лысеть: два далеко выдававшихся мыса блестящей кожи сбегали по краям лба вниз, к ушам. Вилли Велер был тоже из Франконии. Они с Мартином почти сразу начали говорить по-своему. Правда, тут между ними существовала разница: Вилли коверкал слова как будто в шутку. Он ухмылялся и смотрел на меня, точно желая показать, что знает, как правильно, и знает, что и я это знаю. Мартин с Вилли ненавидели Берлин. Создавалось впечатление, что в Берлин их пригнали вопреки собственной воле, как перемещенных лиц. В их представлении главной ошибкой известных политиканов было то, что последние своими ложными обещаниями — работы, жилья, пенсий, жизни — заманили миролюбивых людей в нынешнее зыбкое состояние; теперь, болтаясь на поверхности, словно лодчонки на якоре, эти невинные люди поняли, что их одурачили, и решили вернуться туда, откуда начинали. Вот до чего просто у них все выходило — как будто страховая компания перестала выполнять свои обязательства, только и всего. Вилли даже рассказывал, какая жизнь ожидает его в тихом городке, где в доме, выходящем окнами на мощенную булыжни-

ком площадь с фонтаном и конной статуей, он планировал открыть парфюмерно-косметический магазин — ведь людям сейчас хочется красоты. Он будет жить над магазином — что в этом зазорного? — и каждое утро глядеть вниз, на голубые маркизы своего заведения, поверх оконных ящиков, набитых кудрявой петуньей. Отчим слушал его со слезами на глазах; впрочем, он, вероятно, думал про свои две квартиры и про Эльке со шпицем. Будущее Вилли выглядело таким реальным, таким близким — стоит лишь руку протянуть; казалось, он просто заскочил попрощаться. Он сидел, держа на коленях дочь, которой еще не исполнилось трех лет. С того дня эта девочка по имени Гизела стала частью моей жизни, как и толстяк Вилли, хотя ни один из нас тогда об этом не знал. Тайна, за которую я молча выпил, касалась девушки во Франции, которая сегодня, будь она жива, была бы женщиной средних лет, недоступной моему воображению. Она погибла в Париже, выпрыгнув или случайно выпав из окна шестого этажа. Родители заперли ее в комнате, узнав, что она переписывается со мной.

А пока в Берлине стоял апрельский день, первый в моей свободной жизни. Накануне был день рождения старины Адольфа, но об этом никто не упоминал, даже на франконском наречии, даже в берлинских шутках. По-моему, Вилли с Мартином не избегали темы — попросту забыли о ней. Они и потом всегда поражались тому, что у других людей, оказывается, сохранились более подробные воспоминания о времени и событиях.

Впоследствии, думая о том дне, я всегда говорил себе: "Как же я мог не знать" или даже: "Я знал" — знал, что женюсь на малышке, уже тогда на редкость своенравной и шустрой; "С ней никуда пойти нельзя", — жаловался ее отец. Он сидел, держа обе ее ручки в своих — иначе она хваталась за все стаканы, до которых могла дотянуться. Своими бровями вразлет она напоминала ту девушку, которую мне хотелось увидеть снова. Глаза у Гизелы были янтарные, светящиеся, а белки до того чистые, что отливали голубизной. У девушки во Франции глаза походили на темные лепестки, непроницаемые и бархатные, чуть раскосые. От бабушки-корсиканки ей достались черные волосы и длинные тонкие ресницы. У Гизелы ресницы были коротенькие и густые. Я поймал себя на том, что уставился на маленькие уши ребенка, на мелкие безупречные зубы, а при этом все думаю о той, другой девушке, с улыбкой, испорченной недоеданием и плохой стоматологией времен оккупации. Мне бы понять в тот день, когда я глядел на Вилли с его дочерью: есть люди, которые никогда не остаются без молока, яиц и яблок, что бы ни происходило вокруг, а наше скудное пиршество скорее отражает давнюю привычку моей матери к бедности — беспомощность перед обстоятельствами, вызванную постоянной нехваткой денег, — нежели настоящую нехватку продуктов. На Вилли была белая нейлоновая рубашка, считавшаяся тогда роскошью. Позже Мартин говорил мне: "Ох уж этот Вилли! Из черной формы — прямиком на черный рынок, мы и "демократия" сказать не успели", — но я так и не понял, что это: расхожая берлинская шутка, выдумка Мартина или правда.

Гизела, которая то ли плохо говорила для своих лет, то ли просто ленилась, взглянула на меня и сказала: "Человек", — больше ей нечего было заявить. Волосы у нее были такие шелковистые и тонкие, что в них можно было разглядеть лиловый отсвет дня. Вся она была — свет и блеск, первая — можно даже сказать, первое, — в чем я не увидел ни изъяна, ни тени. В ней, цельной и чистой, как капля воды, не было никакой вины.

Руки ее, высвободившись, пока отец пил шампанское из своего стакана, пошарили по скатерти, схватили редиску, попытались запихнуть ему в рот.

Мать сидела, как полагается, слегка отодвинув стул от стола. "Так ты, Томас, детей любишь", – сказала она. Она не знала обо мне ничего – только то, что я не ребенок.

Французской девушке было шестнадцать, когда она со своими отцом и матерью приехала в Бретань на каникулы. Следующей зимой она прислала мне книги, чтобы я не слишком отстал в своем образовании, а на второе лето пришла ко мне в комнату. Комната выходила на лестницу, на полпути между аптекой внизу и квартирой, где жили мои хозяева. Когда я не работал, меня положено было держать взаперти, но тем летом они об этом забыли или махнули рукой, да и в любом случае я уже сделал себе ключ из проволоки. Это была моя первая собственная комната. Я побелил стены и сложил в ящик картошку, хранившуюся у них в углу на полу. С крючков на потолке свисали пучки полевых растений и трав, которые аптекарь добавлял в лекарства. Одну стену целиком занимали полки с сохнущими листьями и кореньями: листья грецкого ореха, помогающие при малокровии, ромашка от приступов головокружения, тимьян и розмарин от мышечных судорог, крапива и мята, шалфей и одуванчики. Аромата в комнате и вида из окна на гавань было почти достаточно, чтобы сделать меня счастливым на всю жизнь, но я был слишком юн, чтобы видеть в этом счастье.

Как ей удалось в первый раз удрать от родителей, я так и не узнал, но она была девушка смелая, бесшабашная, часто убегала от них и прежде. Они должны были понимать, что́ может произойти, если запереть этот свободный дух в помещении, единственный выход откуда – окно. Возможно, они пытались выяснить, насколько далеко могут зайти, не нарушая границ безопасности. Она оставила им записку: "Будете знать". Видимо, думала, что окажется здесь и в то же время не здесь, потеряна для них и все-таки способна увидеть результат. Для меня никакой записки не было – лишь весть о том, как страшно остаться одному; но я и так это знал. Должно быть, она встала коленями на подоконник. Должно быть, осенний ветер подхватил ее ресницы и волосы. На подоконнике она была уже нездешней, неузнаваемой.

К ее приходу я убрал свою комнату так аккуратно, словно ожидал армейское начальство с проверкой. Понимает ли она, насколько серьезными будут последствия для нас обоих, если попадемся, размышлял я. Она окинула взглядом вид за окном, но только чтобы проверить, не увидят ли нас, засмеялась, начала было снимать свитер, скрестив руки, потом остановилась и сказала: "Что такое – ты что, ледяной?" Откуда ей было знать, что я отстал в своем развитии? Я не знал ничего, кроме воображения и одиночества, да приставаний старых солдат; для первого я был слишком взрослым, второе находил отвратительным. Я думал, что она собирается принести в жертву свою личность – свою физическую сущность и свою бессмертную душу. Мне приходилось слышать, как старики говорят о женщинах, дескать, женщины – грязь, но нужны для "этого". Один сказал, что за "это" готов отрезать себе ухо. Другой – что переплыл бы Атлантику. Я ожидал, что она придумает какую-нибудь ложь для моего успокоения, а сама не испытает никаких чувств, лишь некую грусть, отчего ее жертва превратится в чистейший дар. Но все было яс-

но без слов — она не дарила себя, она этого хотела. Решение принадлежало ей: не дар, а приключение. Она же не бухтой любоваться сюда пришла, сказала она, увидев мое замешательство. Может быть, я даже сказал нет; тогда-то она, наверное, и улыбнулась мне поверх скрещенных рук, стягивая свитер, и спросила: "Ты что, ледяной?" При всей своей беспечности она считала, что решается ее судьба, хоть и продолжала называть это словом "приключение". По-моему, она не знала, как по-другому сказать "любовь". Но тогда мы вели дело лишь к одному — ее смерти, моя же судьба решилась в Берлине, когда пришел Вилли Велер, с бутылкой коньяка и с Гизелой, не желавшей говорить ничего, кроме слова "человек". До сих пор вижу кружевные занавески, пятно на обоях, фарфоровые безделушки, оставленные людьми, уехавшими в такой спешке: трубочист со своей метлой-спичкой, девочка с короткими оранжевыми вихрами, сидящая на полумесяце, собака с брыжами на шее. Вспоминая это, я говорю себе: "Как же мне было не знать".

Мы прикончили две бутылки Мартинова шампанского, и мать вскочила — убрать стаканы и принести другие, чтобы можно было попробовать принесенный Вилли коньяк.

— Этот грязный бельгиец тут все ошивается, — сказал Вилли Мартину, легонько покачивая девочку, теперь засунувшую большой палец в рот.

— Что ему надо? — спросил отчим.

И повторил вопрос — он был медлителен и считал, что другие, если не откликаются тотчас и с живым интересом, его не слышат.

— Он в ваффен СС служил — так говорит. Жалуется, что девушки с ним не гуляют, а ведь каких-нибудь пять-шесть лет назад как мухи липли.

— Они его боятся, — послышался робкий голос матери. — Встанет во дворе и как уставится...

— Не нравятся мне мужчины, которые на чистых молоденьких девушек пялятся, — сказал Вилли Велер. — Он говорит: "Вы мне должны помочь — вы передо мной в долгу". Сражался, говорит, за нас, а ему никто даже спасибо не сказал.

— Сражался? Чего ж теперь удивляться, что мы проиграли, — сказал Мартин.

Я и раньше замечал, что пережившие войну подразделяются на две категории: одни говорят, что всегда знали, чем это обернется, другие — что им было все равно. Есть еще те, кто любит войны, и те, кто нет. Мартина никогда не посылали ни на смерть, ни на подвиг, вообще ни на что — этим и объяснялись его шутки. Он получил две квартиры и реквизированное жилье в Берлине. Потерял жену, но позже сам часто говорил мне, что на том свете людям лучше.

— В Бельгии он в тюрьме сидел, — сказал Вилли. — Сражался, говорит, за нас, а потом в тюрьме сидел, а теперь мы ему помогать не хотим, девушки не разговаривают.

— Что он здесь делает? — внезапно воскликнул отчим. — Кто его сюда пустил? Это его личное дело — мы-то тут при чем!

Он покачался на стуле, как-то странно, видимо, подражая плавным движениям Вилли, пытавшегося укачать Гизелу.

— Никто ему ничего не должен! — крича, отчим так стукнул по столу, что девочка вздрогнула.

Мать коснулась его руки, издав какой-то певучий звук, который я принял за их условный знак, потому что он тут же перевел разговор на

другую тему. Подобное мне с тех пор предстояло слышать на протяжении многих лет. Про это говорили старики, когда не хвастались своими успехами у женщин и собственным прошлым. Мотив был один: что именно следовало сделать армии Шёрнера в Чехословакии, чтобы русским не удалось их захватить, и почему отказался помочь генерал Эйзенхауэр (главный отрицательный герой в этой истории)?

Эйзенхауэр был левой рукой отчима, генерал Шёрнер — правой, а русские — тарелкой редиски. Я чуть-чуть повернулся, чтобы посмотреть на мать. На лице ее застыло печальное выражение — такое бывает у женщин, когда их глаза ни на чем не сосредоточены. Ладонь по-прежнему спокойно лежала на рукаве Мартина Тёплера. Тогда я подумал, что он и вправду ее муж, что они спят в одной постели. По дороге в ванную я заметил в коридоре пару закрытых дверей. Первый мой лагерь, где всем было либо меньше восемнадцати, либо больше сорока, запомнился мне запахом стариков — они переставали следить за собой, когда не было женщин и никто не заставлял их мыться; еще запомнилось, как они наперебой хвастались. И все-таки тогда, в тот апрельский день, когда солнечный свет в первые часы моей свободы скользил по столу и вверх по коричневой стене, я тоже решил похвастаться. Я рассказал о человеке, взятом мной в плен. Казалось, именно об этом следует поведать двум мужчинам, которых я видел впервые в жизни.

— Он приземлился на поле прямо за бабкиной деревней, — рассказывал я им. — Мне было четырнадцать лет. Мы втроем увидели его — трое мальчишек. У нас были французские винтовки, захваченные в войну 1870 года. Он уже успел сложить свой парашют и сидел на нем. Я знал по-английски только одно: "Руки вверх".

Рот у отчима был открыт, как раньше, когда я только вошел в квартиру. Матери видно не было — она стояла в сторонке.

— Мы наступали, наставив на него свои винтовки образца 1870 года, — продолжал я, занудно, прямо как те старые военнопленные. — Потом мы все говорим: "Руки вверх!", а пленный просто... — я изобразил жест, который сделал американец, словно отгоняя муху, и понял, что я пьян. — Он не поднялся. Все, что у него было, положил на землю: револьвер, пачку немецких денег, носовой платок с картой Германии и какие-то мелочи, которые мы сразу не распознали. На нем были гражданские ботинки на толстой подошве. Он расстегнул часы, медленно-медленно, и протянул нам, но у нас не было никаких инструкций на этот счет, так что мы сказали нет. Он положил часы на землю, рядом с револьвером и картой. Потом неторопливо встал и пошел в деревню, будто прогуляться, засунув руки в карманы. Он жевал резинку. Я заметил, что сигареты он оставил при себе, но и на этот счет меня не проинструктировали. Мы всё держали его под прицелом. Из бабкиного трактира выбежал директор школы — все бежали поглазеть. Директор был возбужден и без конца повторял по-английски: "Здравствуйте! Здравствуйте!", но тут подоспел кто-то из офицеров с криком: "Не вмешиваться! Разрешается спросить только одно: англичанин он или американец". Учитель рад был блеснуть своим английским и спросил: "Вы англичанин или американец?", а американец, прежде чем ответить, долго возил языком во рту. Это был наш первый в жизни иностранец, а они его от нас увели. Больше мы никогда его не видели.

Казалось, вот и все, больше рассказывать нечего, но Мартин так и сидел с открытым ртом. Я попытался вспомнить что-нибудь еще.

— Потом ужас что было, мы ведь пистолет и остальные вещи оставили лежать на земле. Пока они добрались до поля, парашют кто-то украл — наверное, себе на тряпки. Нам за это досталось, а похвалить за то, что взяли пленного, так и не похвалили. Попозже я вернулся в поле один. Почему-то хотелось плакать — ведь все кончилось. Для меня он был как из приключенческой книжки. Вся война, когда я в четырнадцать лет бегал на каникулах с ружьем, была как приключения у Карла Мая[1]. В поле я нашел разные мелочи, которых не заметили, — таблетки, чтоб не заснуть, таблетки в прозрачных упаковках. Я таких никогда прежде не видел. Одна упаковка называлась "от укачивания". Оставить у себя хоть что-нибудь было преступлением, но я все равно ее себе оставил. Когда американцы взяли меня в плен, она тоже была при мне; они ее отобрали. Я хранил упаковку, потому что она была из другого мира. Смотрел на нее и удивлялся. Сохранил, потому что был же "Последний из могикан", потому что, потому что.

Это была самая длинная из историй, рассказанных мной за всю жизнь.

— Теперь бабка уже умерла, — добавил я.

Отчим наконец закрыл рот. Он посмотрел на мать, словно желая сказать, что она привела ему соперника в единственном важном деле — говорить, пока у всех уши не отсохнут. Мать пододвинулась к Вилли Велеру и принялась уговаривать его поесть хлеба с сыром. Она так и не избавилась от привычки прикидывать, что́ человек подумает, важная ли он шишка, можно ли ему доверять. Но Вилли не услышал ничего — разве что одно-два предложения. Это было ясно по тому, как медленно менялось выражение его лица. Он широко открыл глаза, словно пытаясь прогнать сон, и — очевидно, вообразив, что я рассказывал о своей жизни во Франции, — спросил: "А сколько тебе как пленному платили?"

Я часто думал, какой вопрос будет первым, когда я вернусь домой. Вот и дождался.

— Ха! — отчим произнес это так, что создалось впечатление, будто меня, по его расчетам, сейчас должны поймать на какой-нибудь чудовищной лжи.

— Франк сорок сантимов в месяц за работу на ферме — то да се, — сказал я. — А когда перешел в вольнонаемные к аптекарю, официальная зарплата была три франка в месяц, столько он мне и платил, — я помолчал. — Ну еще, конечно, еда и жилье, и на стирку тратиться не надо.

— А постельное белье у тебя было? — спросила мать.

— В семье аптекаря — да, всегда. У меня была одна простыня, вдвое сложенная. Как раз впору для небольшой койки.

— Такая же, как у всей семьи? — сказала мать в этой своей робкой манере, ставшей теперь частью ее "я".

— Они специально для меня простыней не покупали, — ответил я. — Аптекарь со мной обращался по справедливости, не то что начальство.

— Ага! — воскликнули двое стариков почти одновременно.

— Администрация отказалась покупать мне билет домой, — сказал я, упершись взглядом в стакан, — мне случалось видеть, как люди в лагерях, перебирая обиды, точно так же сидят, уставившись в одну точку. — Военнопленный имеет право на репатриацию за казенный счет. Администра-

1. Карл Май (1842–1912) — немецкий писатель, автор популярных романов об индейцах.

ция отказалась покупать мне билет, потому что я слишком много времени провел во Франции, — но они сами были виноваты. Я купил билет до Парижа на сэкономленные деньги. Аптекарь продал мне кое-что из своего: старые башмаки, брюки и куртку. Мои собственные вещи превратились в лохмотья. В Париже я отправился в общежитие YMCA[1]. По идее там должны были заниматься правами военнопленных. Их сотрудник меня и слушать не стал. Сказал: если остался, значит, не пленный, а турист. Он был обязан мне помочь. А вместо этого сообщил в полицию.

В моем голосе впервые появился оттенок обиды. Я понимал, что из-за этих жалоб по такому пустячному поводу, как стоимость билета, все мои приключения могут показаться мелочью, но сам уже уподобился старому солдату. Я вспомнил начальника полиции, с его тонкими губами и грязными ногтями, который сказал:

— Вас давно следовало репатриировать, в шестнадцать лет.

— Произошло недоразумение, — объяснил я ему.

— У вас в бумагах полно странных недоразумений, — продолжал он, склонившись над документами. — Вот, например, грубая ошибка. Пропуск, и пропуск серьезный. Какая у вашей матери девичья фамилия?

— Виклер, — ответил я.

Я смотрел, как он пишет "В-и-к-л-ь-е-р", медленно, высунув кончик языка.

— Вы здесь находитесь уже около пяти лет — с неполным досье. А это что такое? Кто это вычеркнул?

— Я. Мой отец не был кондитером, — сказал я. — У него был туберкулез. Ему не разрешалось соприкасаться с пищевыми продуктами.

Вилли Велер не сказал, что он думает о моей истории. Возможно, не иметь никакого мнения по поводу несправедливости, даже малейшей, вошло у него в привычку, подобно тому, как говорить, не отнимая руки от губ, стало манерой матери. Он находился на нужной ступеньке той лестницы, о которой я говорил. Даже имя, выбранное для дочери, свидетельствовало, что он хорошо разбирается в обстановке. Никому больше не хотелось слышать языческие, старинные германские имена: Зигрун, Брунгильда, Зиглинда. Вилли почуял перемену. Он любую из дочерей готов был назвать каким-нибудь нейтральным, приятным именем — Гизела, Марианна, Элизабет — в любой момент после Сталинградской битвы. Вилли достаточно было лишь воздух понюхать.

Он отодвинул свой стул (пройдут годы, и он будет отодвигать стол животом) и поднялся. Ему пришлось задрать голову, чтобы посмотреть мне в глаза. Он сказал, что хочет дать мне, как поздневозвращенцу, полезный совет. Совет его был — забыть.

— Забыть все, — сказал он. — Забыть, забыть. Я своему доброму соседу герру Зильберу так и сказал, когда покупал топазовую брошь и серьги его жены: потом он в Палестину эмигрировал. "Дорогой герр Зильбер, говорю, смотрите вперед, а назад — ни в коем случае, и забудьте, забудьте, забудьте".

Ребенок на руках у Вилли спал глубочайшим сном. Мартин Тёплер проводил своего друга до двери, они пошептались; потом дверь за обоими мужчинами закрылась.

1. "Ассоциация молодых христиан", владеющая сетью дешевых общежитий.

— Они пошли к герру Велеру выпить по стаканчику, — сказала мать, и тут я заметил, что она тихо плачет.

Она утерла глаза передником и начала убирать со стола остатки пиршества в честь моего возвращения домой.

— Вилли Велер всегда хорошо к нам относился, — сказала она. — Не говори про это.

— Про то, что надо забыть?

— Нет, про топазовую брошь. Покупать у евреев хоть что-нибудь считалось преступлением.

— Теперь-то какая разница.

Она опустила поднос, который держала, и задумчиво поглядела в окно, на разрушенные дома по ту сторону улицы.

— Если б только люди заранее знали, что разрешено, — сказала она.

— Отец теперь, наверное, герой, — сказал я.

— Ох, Томас, не забегай вперед. Мы еще не знаем, какие дальше будут перемены. Да, герой. Но для меня уже слишком поздно. Слишком много я пережила.

— А Мартин думает, он от чего умер?

— Несчастный случай на работе. Это он может понять.

— Могла бы сказать, чахотка. Он ведь правда болел.

Она покачала головой. Вероятно, ей не хотелось, чтобы Мартин вообразил, будто на его плечи когда-нибудь взвалят двух больных пасынков.

— Где вы с Мартином спите?

— В комнате рядом с ванной. Ты туда разве не заходил? Тебе здесь будет удобно, в гостиной. Диван раздвигается. Живи, сколько захочешь. Это твой дом. Твой и Криса.

Последнее она произнесла с таким нажимом, что я понял: у них с Мартином наверняка имеются разногласия на этот счет.

Я и хотел, чтобы эта комната стала моим домом. Какие тут могли быть сомнения. Я так и не кончил среднюю школу — меня забрали в отряд противовоздушной обороны, потом отправили на фронт. Подросткам в форме отвели особую роль: не допустить сдачи в плен гражданского населения. От нас ожидалось, что мы все вместе погибнем под развалинами. Когда женщины вывешивали наволочки на флагштоках, мы забирались наверх и стягивали их. Мы готовы были держать линию обороны с нашими винтовками образца 1870 года, пока не увидели американские танки. У нас в приключенческих рассказах Карла Мая танков не было, да и американцы эти, в конце концов, вышли не из "Последнего из могикан". Я сказал матери, что собираюсь снова пойти в школу, а потом хочу подать на стипендию и получить диплом по французскому. Стану учителем. Французский — это все, что дал мне плен; почему бы этим не воспользоваться. Буду зарабатывать переводами.

Это ее порадовало. Не придется слишком часто просить бывшего трамвайного кондуктора об одолжении. "Переводы", "стипендия" — для матери это были возвышенные слова. У меня, учителя, будет самая уважаемая работа в семействе — теперь, когда дядюшка Герхард занимается разведением кроликов.

— Только бы ему на это особо тратиться не пришлось, — сказала она, словно вынуждена была так сказать и все же надеялась, что я не услышу.

То, что кроме умения говорить по-французски плен ничего мне не дал, было не вполне верно. Еще я научился готовить, гладить, стелить

постели, подавать на стол, мыть полы, натирать мебель, сажать овощи в огороде, красить ставни. Я хотел помочь матери на кухне, но это ее смутило. "Отдохни", — сказала она, но я не знал, что значит отдыхать. "Я ни разу не видела, чтобы мужчина стаканы вытирал", — объяснила она, будто извиняясь. Мне хотелось рассказать ей, что, пока дороги и мосты во Франции еще стояли и ждали, когда их восстановят, жена аптекаря учила меня готовить салат из помидоров; однако я не мог представить себе, с чем в ее воображении связано слово "Франция". Я принялся бродить по квартире. Заглянул в кладовку, в уборную, пахнущую карболкой; опять в ванную, потом в комнату, где стояли высокая кровать, коричневый шкаф и покрытый газетами стол, а на нем — полдюжины унылых зеленых растений, колючих, без цветов; за такими мать всегда преданно ухаживала. Я закрыл дверь, словно отгораживаясь от мрачного прошлого, и сказал себе: я свободен. Это — начало жизни. Еще это — начало хорошей половины дурного столетия. Все уродливое, продажное, злобное у нас позади. Такие или почти такие слова пришли мне в голову. Я сказал себе: в этой квартире стоит затхлый дух, застарелый, нечистый запах, оседающий в складках одежды. Пройдет время, и от меня, вероятно, тоже будет пахнуть как здесь, в темной гостиной. Запах, должно быть, и в подушках, в кровати, в кружевных занавесках. Пробирается в ночную рубашку. Одеяла наверняка пропитались насквозь. Я подумал: к этому запаху я привыкну, как и к запаху гари, идущему от камней снаружи. Вид развалин станет для меня обычной картиной. Каждый день, возвращаясь домой из школы, я буду проходить по Эльке. Я привыкну к деревянной лестнице, к шнуру звонка, к начищенной табличке на двери, к белым эмалированным пробкам в коридоре (мать сказала: "Когда захочешь включить свет в гостиной, поверни на пол-оборота среднюю пробку в нижнем ряду"). Я посмотрел на рисунок в рамке: взлохмаченные человечки, сильный ветер вывернул наизнанку их зонтик. Они станут частью вида, как и развалины. Я оглядел допотопный газовый рожок в кухне и каменную раковину. Мать, мывшая стаканы без мыла, улыбнулась мне, забыв прикрыть зубы. Я заново рассмотрел голландскую печку в гостиной, дрова и черные брикеты, которые ночью будут у самой моей головы, и застекленный сервант, полный фарфоровых безделушек — избранных Богом, переживших берлинские бомбежки. Их уберут, чтобы освободить место для моих книг. И пусть Мартин Тёплер не воображает, будто я слишком гордый, или что я скорее буду голодать, чем пользоваться его благотворительностью, или что чувство собственного превосходства не позволит мне спать на его пыльном диване. Я буду расходовать его мыло, одалживать его рубашки, мазать свой хлеб его маслом. Я вцеплюсь в Мартина, словно спрут. Теперь у него есть иждивенец — оголодавший, эгоистичный поздневозвращенец, школьник, подросток двадцати одного года от роду. Мне ведь причитается долг от стариков — стариков в лагере, готовых продать мать с отцом за лишнюю ложку супа, уже продавших за это своих детей; стариков, испоганивших мое представление о женщинах; стариков в бункерах, бросивших девочек в Берлине, чтобы те их защищали; стариков, посмевших выжить.

Раскладной диван наверняка будет весь в буграх. Мне приходилось спать и не на таких. А Крису там тоже хватит места?

Люди, привыкшие задавать себе беззвучные ненужные вопросы, ищут ответа в зеркале. Высохнув, мои волосы опять стали светлыми. Те-

перь я меньше походил на собственное представление об отце. Я попытался увидеть отражение человека, вышедшего среди ночи из дому и так и не вернувшегося. В деревне, где никто не думает так, как ты, срывать предвыборные плакаты в одиночку не ходят — разве что ты *хочешь*, чтобы тебя ударили ножом в спину. Так говорили родственники.

Хорошо, что тебе не пришлось во все это ввязываться, сказал я тени, плававшей на стеклянной дверце серванта с фарфором, хотя в отцовскую ей было не обратиться, разве что я застал бы ее врасплох.

Здесь тише, чем во Франции, сказал я себе. Радио громко не включают.

В плену я никогда не страдал от боли, если не считать спазмов голода в первые годы; на смену им пришла скребущая, нездоровая озабоченность, да еще эта тоска по дому, что бьет под дых и хватает за горло. Теперь я впервые начал испытывать настоящую боль; эти приступы, наверное, будут бегать за мной, как собачонки, всю жизнь. Первый сжал мне колено, второй перекрутил нервы на шее, сзади. Я обнаружил, что у меня чувствительные глаза, что мне больно моргать.

В Бретани в этот час я обычно начинал чистить картошку к ужину. Мне доводилось видеть еду, про которую мать никогда не слыхивала: устрицы, артишоки. Мать никогда не видела ни гавани, ни моря.

Мой пленный американец разложил на чужой поляне свою жизнь, всю как есть — свой парашют, свой револьвер, свои немецкие деньги, — и пошел сдаваться в плен, словно на прогулку, сунув руки в карманы.

— Я знаю, о чем ты думаешь, — сказала мать, стоявшая позади. — Я знаю, что ты меня осуждаешь. Ты даже представить себе не можешь, что за жизнь у меня была — с самого начала, не только последние несколько лет, — иначе не судил бы меня так строго.

Медленно, слишком медленно повернувшись, я встретился с ней взглядом. Я думал о другом. В этом смысле я про нее забыл.

— Нет-нет, ничего подобного, — сказал я.

Я так и не прикоснулся к ней. Мои мысли двигались в другом направлении: зачем я здесь? По чьему приказанию? Что это — некая форма справедливости или несправедливости? Надолго ли это?

— Теперь мы сможем вместе ждать Криса, — сказала мать и внезапно сделалась юной и счастливой. — Смотри, Томас. Молодой месяц. Поклонись ему три раза. Погоди — надо, чтобы в руке было что-нибудь серебряное.

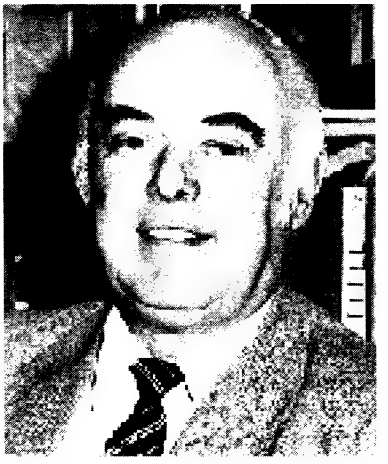
Я видел, что она торопится покончить с этими глупостями, пока не вернулся Мартин. Порывшись в серванте с фарфором, она вытащила серебряное кольцо для салфетки — вероятно, брошенное исчезнувшими жильцами. На нем значилось "Мета"; знакомых с таким именем у нас не было.

— Поклонись месяцу, держи вот это и загадай желание, — сказала она. — Скорее.

— Сначала ты.

Она наверняка загадала, чтобы вернулся мой брат. Что до меня, я пожелал стать на несколько лет моложе, очутиться в коридоре переполненного поезда, стоять, вцепившись в раму открытого окна, с колотящимся сердцем пытаясь отыскать одно-единственное любимое лицо.

Элистер Маклеод



А солнце рождают птицы

Перевод с английского Анны Парра

ДАВНО-ДАВНО одна шотландская семья, из горцев, жила на берегу моря. У хозяина была любимая собака — вроде борзой из иных времен, большая, серая, будто седая. Собака очень любила лизать его в лицо: подпрыгивала, упиралась лапами в плечи, он даже пятился, пытаясь устоять под ее тяжестью. А сам был не маленький: ростом футов шесть или повыше и фунтов под сто восемьдесят весом.

Нашли ее крохой у ворот дома в самодельной коробке. Откуда она взялась, не знали, а что настолько вырастет, и подавно. Как-то раз, еще щенком, она угодила под железное колесо повозки, на которой с берега везли водоросли на удобрение. Шел октябрь, дождь лил уже несколько недель, земля размокла. Колесо проехалось по собачонке, вдавив ее в липкую грязь и раскрошив ей ребра; рассказывают, собачонка визжала, скулила, а когда хозяин поднял ее к груди, на земле остались очертания смятого тельца. Хозяин старался облегчить ей страдания, гладил ее, не замечая на рубахе пятен мочи и крови, а она, выкатив глаза, царапаясь и мельтеша передними лапами, отчаянно тянулась к ранам языком.

Члены семьи попрактичнее, и прежде видавшие задавленных собак, советовали ему сильными руками сломать ей шею или, схватив за задние лапы, с размаху ударить головой о камень — чтобы не мучилась. Но он не захотел.

Вопреки советам, он соорудил для нее ящичек, утеплил его остатками овечьей шерсти с настрига и старой, ношеной рубахой. Уложив туда собаку, примостил ящик за печку; согрел в блюдечке молока, подсластил

© 1990 by Michael Ondaatje
© Анна Парра. Перевод, 2006

сахаром и, разжав левой рукой крохотные трясущиеся челюсти, правой стал вливать с ложечки сладкое молоко, не обращая внимания на острые, как иголки, зубы. Так собака пролежала оставшуюся осень до начала зимы, наблюдая за происходящим вокруг огромными черными глазами.

В семье жаловались, что она мешает, дурно пахнет, отнимает время, но мало-помалу свыклись с ней; скоро стало ясно, что так или иначе ребра ее заживают и она выздоравливает со свойственной молодым живучестью. Еще стало ясно, что она вырастет в огромную псину — сначала собачонка выросла из одной коробки, потом из другой, ее внушительные передние лапы густо заросли серой шерстью. Почти всю весну она провела на улице, повсюду следуя за хозяином, а когда вновь вошла в дом, оказалось, она так вымахала, что на привычном месте за печкой не умещается; пришлось ей лечь рядом. Жила она без имени, ее называли cù mòr glas — по-гэльски значит "большая серая собака".

К первой течке она превратилась в громадину. Ее следы и запах привлекли толпы поклонников, взволнованных и страждущих, но забраться на нее никто не смог — не вышли ростом. От разочарования псы бесились, а она тосковала от неосуществленных желаний. Вынести этого хозяин не смог. По преданию, он отправился туда, где жил большой кобель — поменьше собаки, но достаточно крупный, — и привел его к себе. А когда настало время, отвел cù mòr glas и кобеля к морю, к скале, где в отлив проявлялась расщелина. Хозяин захватил из дома дерюгу псу для опоры, поставил cù mòr glas в расщелину, опустился на колени рядом, поддерживая ее левой рукой под горло, помог кобелю устроиться сверху и направил куда надо его взбухший член. Он не в первый раз помогал при случке быкам, жеребцам, баранам; руки у него были большие, добрые, от них часто разило семенем животных.

Зима настала холодная, море схватилось льдом, частые шквалы и снежные бури стерли из виду прибрежные островки; люди надолго засели у домашних очагов, в ожидании перемены погоды чинили одежду, сети, упряжь. Cù mòr glas отяжелела и еще выросла; места у печи для нее совсем не осталось, и под столом тоже. Однажды утром, когда весна была уже на подходе, она исчезла.

Хозяин и даже его домашние, втайне привязавшиеся к собаке, ждали ее, но она не вернулась. Вскоре весеннее буйство поутихло, они занялись подготовкой земли к посадкам, проверкой рыболовных снастей и прочими делами, требовавшими неотложного внимания. Потом пришло лето, осень, зима и новая весна. В семье родился двенадцатый ребенок. Снова наступило лето.

Тем летом отец и двое его подросших сыновей тянули сети в паре миль от дома. Вдруг задул ветер, море взволновалось. Рыбаки побоялись, что не доберутся до дома, и решили с подветренной стороны причалить к острову, укрыться там и переждать бурю. Едва лодка коснулась носом каменистого берега, как сверху до рыбаков донесся шум. Подняв голову, они увидели на выступе холма — самой высокой точке островка — очертания cù mòr glas.

— M'eudal cù mòr glas, — радостно вскричал человек (m'eudal значит что-то вроде "дорогая" или "любимая"), спрыгнул за борт, уйдя в воду по пояс, и, неуклюже ступая по скользкой гальке, изо всех сил рванулся к берегу, к собаке. Cù mòr glas скатилась ему навстречу, только камни летели из-под лап. Он еще не успел выйти из воды, а она уже встречала

его: как прежде, высунув от счастья язык, вытянулась во весь рост и уперлась гигантскими лапами в его плечи.

Как ни старался хозяин устоять на покатом берегу и уползающих с водой камнях, под тяжестью и напором собаки он отшатнулся, потерял равновесие и упал. Как гласит предание, в то же мгновение на вершине холма появились шесть огромных седых псов и помчались вниз к каменистому пляжу. Они никогда не видели человека. Увидев его распростертым под их матерью, они, подобно многим воякам, превратно поняли намерение своего вожака.

Ошалев то ли от жажды крови, то ли от чувства долга или голода, псы яростно бросились на человека, раскромсали ему лицо, вырвали челюсть и в клочья разодрали глотку. Озверевшая cù mòr glas кинулась на них, ожесточенно кусаясь и рыча. Будто обезумев от их ошибки, она погнала своих детей, окровавленных и скулящих, прочь, за выступ холма. Псы сгинули, только долетал издалека визг. Заняло это не больше минуты.

Все произошло на глазах у сыновей погибшего. Выпрыгнув из лодки, они, захлебываясь от слез, побежали в соленой воде к телу отца, истерзанному, изуродованному. Сделать ничего было нельзя, разве что взять его за руки, теплые, в крови. Глаза его "жили" еще какое-то мгновение, но часть лица и горло были вырваны — говорить он не мог. Так что им оставалось только крепко сжимать его руки, да и то недолго — глаза отца остекленели, руки ослабли. Шторм усилился, домой было не добраться, так что ночь они провели, свернувшись калачиком рядом с отцом. Нести тяжелое тело к качавшейся лодке побоялись — страшно было выронить то немногое, что осталось от отца. И они лежали, съежившись на гальке, в страхе, что вернутся псы. Но псы ушли, звуки прекратились; слышались только вой ветра да шум воды.

Утром они обсудили, забрать ли тело самим или, оставив на месте, привезти старших. Но оставлять труп без присмотра не рискнули; решили: чем тратить время на чужом берегу, прикрывая для защиты тело камнями, лучше попытаться добраться домой. Еще поспорили, стоит ли одному остаться на острове, а другому идти в лодке, но в одиночку ни плыть, ни оставаться не хотелось ни тому, ни другому. В конце концов к болтавшейся на волнах лодке тело оттащили на руках, волоком, чуть не вплавь. Положив отца лицом вниз, прикрыли какой у них была одеждой и вышли в беспокойное море. Люди на берегу, не увидев в лодке крупной мужской фигуры, ринулись — кто в море, кто в ялики: подгрести поближе, услышать печальные новости, разнесшиеся над бушующими волнами.

Cù mòr glas с шестью молодыми псами с тех пор не видели, точнее, видели, но совсем иначе. Через пару недель группа мужчин долго нерешительно кружила в лодках возле острова, но собак не было и в помине. Еще много раз они туда отправлялись, но так ничего и не обнаружили. Год спустя, набравшись храбрости, высадились на остров и тщательно его обследовали, осматривая каждую расщелину, каждую яму у поваленных ветром деревьев, — надеялись если и не найти псов, то по крайней мере наткнуться на их побелевшие кости. Но — тщетно.

Рассказывают, будто потом в течение многих лет cù mòr glas видали то там то сям: в одной местности она мелькнула на холме, в другой — на гребне горы, а то пробегала в долине или горном ущелье ранним утром или туманным вечером. Но всякий раз — неявственно. Собака превратилась в местное подобие лохнесского чудовища или снежного человека:

показывалась, а свидетельств не осталось; показывалась, а фотоаппарата под рукой не было; показывалась, а поймать — не поймали.

Исчезновение собаки было не менее загадочным, чем ее появление, и это еще больше все запутывало. О самодельной коробке, в которой ее нашли, вспоминали все чаще, равно как и о том (или тех), кто ее подбросил. Искали коробку, но безуспешно. Создалось впечатление, что собака — часть buidseachd, заклятия, брошенного на хозяина неким таинственным врагом. Но дальше в своих предположениях никто не заходил. Все кому не лень в подробностях пересказывали друг другу, как хозяин любил собаку, и рассуждали о превратностях судьбы.

Наверняка знали одно: когда пришла пора ощениться, она ушла по зимнему льду, а вернуться не смогла. Никто не мог припомнить, видели ли ее в воде, но, в любом случае, не плыть же ей со щенятами.

Большой и добрый человек с тяжелым запахом животных, оставшимся на руках, был моим прапрапрадедом; можно поспорить, от чего он умер на самом деле: от того ли, что слишком успешно разводил домашнюю скотину, или от того, что чересчур о ней заботился. Он не дожил до весны, когда родился его собственный сын, мой прапрадед, но в памяти старших сыновей — видевших, как погубила отца cù mòr glas, — прожил, наверное, слишком долго. Младший измучился от неотвязных кошмаров, часто просыпался по ночам, крича, что видел cù mòr glas a' bhàis, большую седую собаку смерти; его крики заполняли дом, терзали слух и сознание домочадцев, вновь и вновь пробуждая воспоминания об утрате. Однажды cù mòr glas a' bhàis привиделась ему так отчетливо, что постель его насквозь пропиталась потом. На следующее утро он забрался на высокую скалу, обращенную к острову, ножом для рыбы перерезал себе горло и упал в море.

Второй брат дожил до сорока лет; опять же по рассказам, как-то вечером он бродил по Глазго, видимо, в поисках разгадки, и в какой-то пивной накачался, будто обезболивающим, виски. В полутьме он заметил крупного седого мужчину, в одиночестве сидевшего у стены, и что-то пробормотал, обращаясь к нему. Кто-то утверждает, что он увидел cù mòr glas a' bhàis или просто произнес эти слова. А мужчина их расслышал и, наверное, тоже будучи сильно пьян, решил, что его обозвали то ли собакой, то ли сукиным сыном, то ли кем-то в этом роде. Они поднялись с мест и, сцепившись, вывалились на задний двор пивной; там, по невероятному стечению обстоятельств, их поджидали еще шестеро крупных седых мужчин; они до полусмерти избили брата, размозжив ему голову о брусчатку двора, и исчезли, оставив умирать лицом к небу. Опять пришла cù mòr glas a' bhàis, говорили в семье, сплетая легенду.

Вот так в нашей жизни появилась cù mòr glas a' bhàis. Случилось это очень-очень давно. Но с каждым новым поколением призрак, казалось, приживался все больше, становился *нашим* — не то чтобы непрошеной семейной тайной из далекого прошлого, а, скорее, чем-то вроде генетической предрасположенности. В каждом поколении перед смертью кому-нибудь да являлась седая собака — женщинам, умиравшим в родах; солдатам, уходившим на войну и не вернувшимся; родственникам, сгинувшим в междоусобицах или запутавшимся в опасных любовных связях; тем, кто рискнул ответить на таинственные полуночные послания либо, пытаясь на шоссе увильнуть от реальной или воображаемой седой собаки, погиб под грудой смятого металла. И еще одному профессиональному спортсмену, который, в дополнение к ритуальным спортив-

ным суевериям, то ли верил во что-то мистическое, то ли его страшился. Из опасения, что в них глубоко заложены дурные задатки, многие из потомков моего прапрапрадеда передвигались осторожно, как больные гемофилией. А другие, хоть и смеялись, вели себя, как члены семей, где уже много поколений у людей старше среднего возраста обнаруживается рак или диабет. Жили с чувством, что немногим могут поделиться с окружающими, но себе могут шепнуть: "А со мной этого не случилось", добавляя предусмотрительное *пока*.

Сейчас на Торонто льет октябрьский дождь, милые медсестры в белом неслышно и уверенно снуют по отцовской палате, а меня посещают видения из прошлого. Отец лежит спокойно посреди белизны; плечи его и голова приподняты — так полусидят, полулежат на больничной койке. На подушке белые волосы, он дышит тихо, иногда неровно — разобрать трудно.

Нас шестеро братьев; мы сменяемся у отцовской постели, держимся за его тяжелые руки, чувствуя отклик, и смутно надеемся, что он заговорит с нами, хоть и знаем: это его утомит. Стоит ему открыть глаза, мы стараемся прочесть в них жизни, его и нашу. С нами он долго прожил, нам всем за сорок. У нас его не отняли в молодости, как у тех мальчиков в лодке. В отличие от их младшего брата, нашего прапрадеда, мы росли, ощущая тепло отцовских рук. Нам повезло, что этот большой добрый человек прожил с нами так долго.

О cù mòr glas a' bhàis в больнице никто и словом не обмолвился. Но права была мама, когда десять лет назад, перед смертью, тихой, как шаги повзрослевшего сына, на заре покидающего родительский дом или туда возвращающегося, сказала: "Трудно *не* знать то, что знаешь".

Даже таким отъявленным скептикам, как мой старший брат, нелегко скрывать живущую в них тревогу. "Я и в Монреале, и в Торонто избегал остановок 'Трейхаунда'[1], — улыбнулся он по прибытии из Монреаля, — на всякий случай".

Он прежде не понимал, как серьезно болен отец; поняв, стал реже улыбаться. Наблюдая, как брат крутит на пальце бриллиантовое кольцо, я знаю: он надеется не услышать слишком хорошо знакомую гэльскую фразу. Недаром однажды сказал, что не может позволить себе притвориться, подобно некоторым жителям Монреаля, что не знает "другого" языка. Нельзя *не* знать то, что знаешь.

По очереди держа за руки человека, подарившего нам жизнь, мы испытываем страх и за него, и за себя. Страшимся того, что́ он увидит, и того, что́ после услышим мы. Знаем: это можно спутать с тем, что врачи называют "волей к жизни", знаем, что для кого-то иная вера — "ерунда". А еще знаем: многие убеждены, что земля плоская, а солнце рождают птицы.

Крепко связанные особенностями ухода всех нас из жизни, мы не хотим замечать сами — или чтоб другие замечали — признаки угасания жизни. Не хотим, как довелось тем сыновьям, слышать голос отца, зовущего свою особую смерть.

Мы бы закрыли глаза, заткнули уши, да знаем, что нет в этом проку. Боимся, что наши седые волосы встанут дыбом, стоит нам услышать шорох шагов и царапание когтей у порога.

1. Борзая (*англ.*); "Трейхаунд корпорейшн" — корпорация, занимающаяся автобусными перевозками. (*Прим. перев.*)

Мадлен Тьен

Простые рецепты

Перевод с английского Е. Ривкиной

ЕСТЬ один простой рецепт приготовления риса. Ему научил меня отец, когда я была маленькой. Помню, обычно я сидела на кухонном столе и смотрела, как отец просеивает в ладонях рис, уверенно и быстро, выбирая сор или камушки, порченые зерна. Затем он заливал рис водой, быстро его перемешивал — вода становилась мутной. Когда он вымывал крахмал, казалось, насекомые стрекочут в поле. Снова и снова отец промывал рис, сливал воду, потом опять наполнял горшок.

Рецепт очень простой. Когда рис уже отмыт дочиста, надо отмерить воду — опустить в миску указательный палец вровень с его поверхностью. Вода должна доставать до сгиба первой фаланги. Отцу не нужны были мерные чашки. Он закрывал глаза и наливал воду на ощупь.

Время от времени я все еще представляю себе отца, его босые ступни на полу посреди кухни. На нем старая рубаха на пуговицах и линялые спортивные штаны, перехваченные тесемкой. На фоне глянцевых кухонных шкафчиков, остроугольной плиты, холодильника, сверкающей раковины он смотрится каким-то чужеродным. Картина такая яркая, что иногда меня потрясает, до чего подробно я могу ее воспроизвести.

Каждый вечер перед ужином отец совершал этот ритуал — промывал рис, сливал воду, потом ставил горшок в специальную печку. Когда я подросла, отец переложил эту обязанность на меня, но я никогда не выполняла ее так же тщательно. Расплескивала воду, резко опуская в миску палец. Бывало, рис разваривался и превращался в размазню. Я переживала, что не могу справиться с такой простой задачей. "Простите", — говорила я за

© 2001 by Madeleine Thien
© Е. Ривки́на. Перевод, 2006

столом, тихо и смущенно. В ответ отец продолжал есть, отправляя рис в рот так, будто ничего другого и не ждал, будто не замечал никакой разницы между тем, что́ он делал так хорошо, а я так плохо. Съедал все до последней крупинки, его палочки быстро двигались по тарелке. Потом он вставал, насвистывая, и убирал со стола посуду; четкость и уверенность его движений убеждали меня — все в этом мире прекрасно.

Отец стоит посреди кухни. В правой руке у него полиэтиленовый пакет, наполненный водой. Внутри живая рыба.

Рыба еле дышит, хотя рот у нее открывается и закрывается. Я тянусь к пакету, прикасаюсь к ней через полиэтилен, провожу пальцем по жабрам, по мягкому, упругому телу, нажимаю на выпуклость глазного яблока. Рыба смотрит прямо на меня, слабо хлопая хвостом.

Отец наливает в раковину воду. Резким движением переворачивает пакет, и рыба вываливается. Она изгибается и прыгает. Мы внимательно на нее смотрим, я — на цыпочках, подбородком упираясь в край раковины. Рыба длиной с мою руку, от запястья до локтя. Она плавает на месте, задевая стенки раковины.

Пока я наблюдаю за рыбой, отец начинает подготовку к ужину. Рыба напрягается, пытаясь повернуться или поплыть, вода выплескивается через край. Я болтаю пальцем в холодной воде, поднимая вокруг рыбы небольшие волны, но она не шевелится, лишь слегка покачивается.

Когда-то мы на много часов оставались вдвоем. Пока мать была на работе, а старший брат играл на улице, мы с отцом сидели на диване и переключали каналы. Он обожал кулинарные шоу. Однажды мы смотрели передачу "Готовим вместе с Ианом", отец все критиковал. Меня восхищало, как Иан делает из апельсиновой кожуры лебедей. Отец фыркнул. "Я тоже так могу, — сказал он. — Для этого не надо быть гением". Он опустил стрелку зеленого лука в воду и показал мне, как она распускается цветком. "Я знаю много таких фокусов, — сказал он. — Гораздо больше, чем Иан".

Тем не менее, когда Иан демонстрировал утку по-пекински, отец все подробно записывал. Он от души посмеялся над его каламбуром. "Возьмите утку за рога!" — сказал Иэн, направив лопаточку в камеру.

— Ха-ха! — хохотал отец, плечи у него тряслись. — Утку за рога!

По утрам отец провожал меня в школу, а в три часа забирал. По дороге домой я выкладывала ему все, о чем узнала в тот день.

— Брахиозавры, — сообщала я отцу, — питаются только мягкими овощами.

Отец кивал:

— Это как я. Дай, посмотрю на твой лоб.

Мы останавливались посреди дороги и смотрели друг на друга.

— У тебя высокий лоб, — говорил он и наклонялся, чтобы лучше разглядеть. — У всех умных людей такие лбы.

Я гордо шагала, стараясь идти с ним в ногу. И очень радовалась, когда мы ступали в одном ритме — правой, потом левой, снова правой, — двигались как единое целое. Мой отец был фокусником, он мог целый час просидеть, круглой ложкой выскабливая из дыни мякоть, превращая пустую дыню в дворец.

Отец родился в Малайзии; за несколько лет до моего рождения они с матерью иммигрировали в Канаду — сначала поселились в Монреале,

затем осели в Ванкувере. И если я родилась под бесконечным ванкуверским дождем, то отец — во влажной духоте муссонного края. Когда я была маленькой, родители пытались обучить меня своему языку, но он мне всегда давался с трудом. Отец легонько проводил пальцем по моим губам, будто стараясь понять, что́ отличает меня от них.

Брат родился в Малайзии, но когда уехал оттуда с родителями, язык покинул его. Или брат его забыл, или отказался от него, что, в общем, одно и то же, и это злило отца.

— Как ребенок может забыть язык? — спрашивал он мать. — Это потому, что ребенок ленив. Потому что предпочитает не помнить.

Когда брату исполнилось двенадцать, по вечерам он стал уходить из дома. Гонял во дворе футбольный мяч, возвращаясь только к ужину. Днем мать работала продавщицей в магазине "Вудворд", в центре, в здании с красной вращающейся буквой "В" на крыше.

У нас дома потолки были темные от жира. Даже воздух был пропитан его тяжестью. Помню, мне нравилась плотность воздуха, густой аромат блюд, постоянно готовившихся на крошечной кухне, все эти добрые запахи, теснившие друг друга.

Рыба в раковине медленно умирает. Она становится глянцевой, как если б кожа у нее была из блестящих минералов. Я хочу стиснуть ее обеими руками, ощутить, как ее тело напрягается под моими пальцами. Если я буду крепко держать, думаю я, то смогу ощутить трепет ее сердца. Но только закрываю глаза вместе с рыбой. "Ты очччень хочешь спать, — говорю я. — Ты очччень устала".

Рядом отец быстро режет зеленый лук. Он работает большим ножом, который, по его словам, старше меня на много лет. Лезвие ножа плавно двигается взад-вперед, зеленые колечки ложатся горкой возле отцова запястья. Когда все готово, отец закатывает правый рукав, засовывает руку в воду и вытаскивает затычку.

Рыба в раковине плавает, и мы молча смотрим на нее. Вода уже не достает живота, не достает жабр. Утекает, и вот в раковине совсем не остается воды. Рыба лежит на боку, рот открыт, она тяжело дышит, переваливается на другой бок и ударяется о раковину. Потом подскакивает. Изгибается, пытаясь схватить себя за хвост. Бьется в воздухе. Яростно дергается.

Отец берет рыбу голыми руками. Он поднимает ее за хвост и мягко опускает на стол. Удерживая рыбу одной рукой, плашмя ударяет по голове ножом. Рыба затихает, и отец начинает ее чистить.

У себя в квартире я отскабливаю стены дочиста. Я всегда открываю окна и включаю вентилятор, если что-нибудь готовлю. Как только я переехала в собственную квартиру, отец купил мне печку для варки риса, но я так редко ею пользуюсь, что она стоит у меня в глубине шкафа, с проводом, аккуратно обмотанным вокруг корпуса. Мне не интересна сама еда, но я скучаю по тому, как мы сидели и с голодной жадностью, подавшись вперед, следили, как отец с ловкостью волшебника открывает блюдо за блюдом. Мы смеялись и ели, белый пар затуманивал очки у матери, так что ей приходилось снимать их и класть на стол. Закрыв глаза, она ела, ловко цепляя палочками хрустящие овощи; особенно ярко выделялась зелень.

Брат заходит в кухню, он весь в грязи. От башмаков остаются следы. Под мышкой футбольный мяч, перепачканный землей. Когда он прошмыгивает мимо отца, лицо его напрягается.

Рядом со мной мать посыпает рыбу измельченным чесноком. Она позволяет мне просунуть руку под рыбью голову, поддержать, потом перевернуть, чтобы изнутри натереть рыбу имбирем. Я переворачиваю ее очень аккуратно. Она твердая и скользкая, покрыта крошечными острыми чешуйками.

У плиты отец поднимает старый чайник. В чайнике масло, отец наливает его на сковороду. Оно растекается тонкой пленкой. Затем, когда масло начинает постреливать, он берет рыбу и бросает ее на сковороду. Добавляет воду, клубами вздымается дым. Звук от жарящейся рыбы, как от колес по гравию, такой громкий, что заглушает все остальные звуки. Потом из дыма появляется отец.

— Накладываем рис, — говорит он, снимая меня со стола.

Входит брат, руки в грязи, колени цвета пыльного кирпича. Футбольные шорты болтаются вокруг ляжек. Он садится и строит злобную мину. Отец не обращает на него внимания.

В печке гладкий, как пирог, рис. Я втыкаю в него ложку, начинаю перемешивать, пар вырывается белым облачком и оседает капельками влаги на лице. Пока отец колдует над плитой, я накладываю рис: сначала отцу, потом матери, потом брату, потом себе. На плите дожаривается рыба. Отец варит в глиняном горшке цветную капусту, непрерывно ее помешивая.

Брат пинает ножку стола.

— В чем дело? — спрашивает отец.

Помолчав, брат отвечает:

— Почему мы должны есть рыбу?

— Тебе не нравится?

Брат скрещивает руки на груди. Я вижу потеки грязи на его руках, темные, засохшие. Представляю, как можно соскоблить их чайной ложечкой.

— Мне не нравятся глаза. От одного вида тошнит.

Мать неодобрительно фыркает. Карточка с именем все еще приколота к блузке.

— Хватит, — говорит она, вешая сумку на спинку стула. — Иди помой руки и приготовься к ужину.

Брат кидает на нее короткий злобный взгляд. Потом начинает сковыривать грязь с рук. Я ставлю тарелки с рисом на стол. Комочки грязи, отлетая, падают на скатерть.

— Прекрати, — возмущенно говорю я.

— *Прекрати*, — передразнивает меня брат.

— Эй! — Отец бросает ложку на стол. Она подскакивает со звоном. — Не ругаться в этом доме, — говорит отец брату.

Брат, уставившись в пол, что-то бормочет, потом выбирается из-за стола. Проходя мимо отца, он громко топает.

Мать качает головой, медленно снимает пиджак. Она говорит что-то отцу на языке, которого я не понимаю. Отец лишь пожимает плечами. Потом отвечает, и я думаю, что слова его такие знакомые, будто я должна их знать или действительно когда-то знала, но забыла. В языке, на котором они говорят, много мягких гласных, слова несутся единым

потоком, так что я не замечаю остановок, когда родители могли бы набрать в легкие воздуха.

Мать однажды рассказала мне о вине. Свою вину она несла в ладонях, как жертву. Но твоя вина другая, сказала она. Тебе не нужно за нее цепляться. Представь ее, сказала она, проводя пальцами по моему лбу, по волосам. Представь, сказала она. Вообрази ее — что ты видишь?

Синяк на коже, большой и темный.

Синяк, сказала она. Сосредоточься на нем. Прямо сейчас: вот синяк. Но если ты сосредоточишься, то сможешь уменьшить его, сжать до размера булавочной головки. И потом, если захочешь, если ты его видишь, сможешь сдуть с себя, как комочек грязи.

Она провела пальцами по моему лбу.

Я постаралась представить себе эту картину. Вообразила, будто сдуваю вину как сущий пустяк, мелочь, которая ничего не значит, — вот и справилась чудесным образом с такой сложной штукой. Мать заставила меня поверить в силу собственных мыслей. Оказывается, я могу создать то, чего никогда не было. Или исправить. Сокрушать столько раз, чтобы потерять из виду, чтобы потерять концы, и тогда это все, целиком, скроется в дыму.

Отец втыкает в рыбу ложку. Внутри белое мясо, по бокам стекает сок. Отец берет кусок и бережно кладет на мою тарелку.

И снова его ложка разрывает кожу. Он аккуратно берет еще один кусок, собирается положить его брату.

— Я не хочу, — говорит брат.

Отцова рука застывает в нерешительности:

— Попробуй, — говорит он, улыбаясь. — Возьми эту рыбу за рога.

— Нет.

Отец вздыхает и кладет кусок матери. Тишина. Мы с братом едим ложками, родители — палочками, приподнимают свои тарелки и отправляют кусочки в рот. Запах пищи наполняет комнату.

Отец ест медленно, смакуя каждый кусок, его не интересует ничего, кроме вкуса во рту. Мать снимает запотевшие очки и кладет на стол. Она ест, склонив голову, будто в молитве.

Поднеся цветную капусту к губам, брат тяжело вздыхает. Он жует и внезапно меняется в лице. Я вижу, что он тонет, волосы колышутся, как водоросли. Он кашляет, выплевывая еду в тарелку. Опять закашлялся. Подносит руки к горлу, задыхается.

Отец кидает палочки на стол. Резко хватает брата за плечо:

— Мне надоело, — говорит он. — Я не знаю, что ты за сын. Быть таким неблагодарным... — Другая его рука пролетает мимо меня и врезается в лицо брата.

Мать вздрагивает. Лицо у брата красное, рот открыт. На глазах слезы.

Все еще кашляя, он хватает вилку, зубья направлены на отца, и, не раздумывая, бросает в него. Вилка ударяет отца в грудь и падает.

— Ненавижу тебя! Ты просто придурок, сволочной придурошный китаеза! — Брат отшвыривает свою тарелку. Еда рассыпается по столу. Брат кашляет и сплевывает. — Не хочу такого отца! Лучше б ты сдох.

Отцова рука снова обрушивается. На сей раз куда-то ниже. Я закрываю глаза. Слышу только, как кто-то рыдает. Очень громко. Я неуклюже встаю, глаза закрыты руками.

— Иди в свою комнату, — говорит отец, голос его дрожит.

Я думаю, что он обращается ко мне, и отнимаю руки от лица.

Но он смотрит на брата. А брат смотрит на него, маленький его подбородок трясется.

Потом мать начинает убирать со стола, с пустым лицом очищает тарелки, одну за другой, выкидывая остатки еды в мусор.

Я выхожу из-за стола, по ковру, мимо матери, иду к лестнице, поднимаюсь наверх.

Возле спальни брата я прислоняюсь к стене. Сделав шаг вперед, вижу отца, который держит в руке бамбуковую палку. Палка гладкая. Длинные волокна, тонкие, как волосы, аккуратно сплетены и стянуты вместе. Брат лежит на полу, словно его, сбив с ног, притащили сюда. Отец поднимает палку.

Я хочу закричать. Хочу ворваться в комнату, встать между ними, но не могу.

Будто падает дерево, медленно прочерчивая в воздухе дугу.

Бамбук бесшумно опускается. Он рассекает кожу на спине брата. Я не слышу ни звука. На теле вспухает кровавая полоса.

Палка поднимается и снова падает. Я боюсь, что кости не уцелеют.

Отец снова замахивается.

На полу брат кричит, уткнувшись в ковер, колотя ногами по полу. Поджимает колени к груди, прячет голову. Спина выгибается, и я вижу его позвонки, маленькие бугорки под кожей.

Бамбук ударяет по костям, и картина у меня перед глазами взрывается миллионами белых осколков.

Мать поднимает меня с пола, перетаскивает по коридору в мою спальню, в кровать. Все вокруг мокрое — простыни, руки, лицо, мать; она успокаивает меня словами, которых я не понимаю, потому что слышу только рыдания. Она проводит прохладными руками по моему лбу. "Успокойся, — говорит она, — пожалуйста, успокойся", но я чувствую, что не могу остановиться, что схожу с ума, точно рушится знакомый мне мир.

Утром я просыпаюсь от звука шипящего на сковороде масла и запаха гренок. Я слышу, как мать убирает посуду в шкаф.

Никто ничего не говорит по поводу того, что брат не спустился к завтраку. Отец кладет на тарелку гренки, поливает сиропом, мать наливает стакан молока. Относит все брату в комнату.

Я, как всегда, хожу за отцом по кухне. Шагаю след в след за ним, прячусь в его тени. Он то и дело наклоняется и треплет мои волосы. Мы колдуем, думаю я. Это же колдовство — то, как мы двигаемся по кругу, то, как он все делает не задумываясь, потому что это не составляет для него никакого труда. Он улыбается мне, но это почему-то разрушает колдовские чары. Отец останавливается, руки повисли вдоль туловища, точно он на полпути забыл, что хотел сделать. Облупившаяся краска на стенах и пристающая к ногам грязь на не подметавшемся несколько дней полу.

Мое упорство, думаю я, моя неподдельная любовь смущают его. С каждым днем, он знает, мне будет все труднее не замечать то, чего я не понимаю, и я не смогу больше принимать его безраздельно, целиком.

Безусловность моей любви к нему не будет длиться вечно, как это уже случилось с братом. Отец стоит посреди кухни, растерянный. Наконец спускается мать, кладет ему руки на плечи, привлекает к себе и шепчет что-то — непонятные, лишенные для меня смысла слова. Она преподносит их ему, звук за звуком, на языке, привезенном издалека, пока отец не склоняет голову и не приходит в себя.

Потом я стою, прислонившись к дверному косяку, и слушаю, как металлическая вилка стучит по тарелке. Мать уже наверху, ее голос звучит то громче, то тише. Она скребет вилкой по тарелке, подбирает для брата кусочки гренок.

По колючему ковру я иду к кровати, пока не касаюсь руками ее деревянной спинки. Мать сидит там, я подхожу к ней, тянусь к пуговицам на ее манжетах и закатываю ей рукава, чтобы открыть руки свету.

— Ты ешь? — спрашиваю я брата.

Он начинает плакать. Я смотрю на него, его лицо наполовину спрятано в одеяле.

— Попробуй, поешь, — мягко говорит мать.

Он плачет еще сильнее, хотя не раздается ни звука. Солнечное пятно на одеяле вздрагивает вместе с его телом. Волосы слиплись от пота, голова трясется, как у старика.

В какой-то момент я понимаю, что отец стоит в дверях, но не могу повернуться и посмотреть на него. Хочу оставаться на месте, глядеть на стену. Я боюсь, что если развернусь и подойду к нему, то стану соучастницей и приму на себя часть вины, не важно сколь малую ее долю. Я не знаю, как ему помешать, как сделать так, чтобы подобное не повторилось, хотя теперь уже знаю, что в конце концов это разделит нас. Его жестокость обратит всю мою любовь в стыд и горечь. И вот я стою, не глядя ни на него, ни на брата. Даже отец, волшебник, который может сотворить нечто прекрасное из ничего, просто стоит и смотрит.

Лицо со временем меняется, становится чище. На лице отца я вижу все, что было. Гнев, который изменил его до неузнаваемости, так что теперь это лишь кожа да кости. А иногда на его лице бывало столько невыносимой боли, столько печали, что, казалось, оно вот-вот рассыплется. Как примирить все, что я знаю о нем, и тем не менее его любить? Я долго думала, что это невозможно. В детстве я не любила отца — потому что он сложный, потому что он, как всякий человек, слаб, потому что ему была нужна моя любовь. Ребенок просто не знает, что за все это можно любить.

Как это просто. Теплая вода, зерна риса у меня в ладонях, звук как от камней, перекатываемых по асфальту. Отец промывает рис снова и снова, просеивает его между пальцев, находя порченые зернышки, выкидывает их. Крупинка, едва заметная, задержалась на кончике пальца.

Если был бы какой-нибудь выход, я бы его не упустила. Горстка ряснок у меня в ладони, их надо перебрать, найти порченые, выкинуть одно за другим. И потом радоваться тому, что осталось!

Где-то среди моих воспоминаний рыба в раковине медленно умирает. Мы с отцом смотрим, как утекает вода.

Патрик Лейн

Как есть...

Перевод с английского А. Веденичевой

Посвящается Гвендолин Макьюэн

Суровая горечь жизни диктует безжалостность наказания.
Т. Э. Лоуренс *Семь столпов мудрости.*
Глава 1 *Обстоятельства и лишения*

ВСЕ началось с листка бумаги, найденного в антологии поэзии издательства "Селден Родман" – я редко открываю эту книгу, хотя в молодости читал ее так часто и внимательно, что большую часть стихов выучил наизусть. Листок лежал рядом со стихотворением Артюра Рембо, кажется, "Двенадцатилетний поэт". На нем моей рукой, твердой рукой двадцатилетнего юноши, выведено: Багдад, Кувейт, Сакака, Яффа.

И сразу вспомнилась Гвендолин Макьюэн, вечер в Торонто 1980 года, когда она сказала, что нужно обязательно записать эту историю. Мне ее рассказали очень давно, некоторые детали я успел позабыть, и их уже не восстановишь.

Человека, от которого я услышал названия четырех арабских городов, звали Герхард Вольфе.

Герхард Вольфе получил докторскую степень в 1907 году, в одном из берлинских университетов. Устный экзамен длился три дня – с раннего утра до позднего вечера испытуемый сидел на стуле в пустой аудитории, куда заходили профессора его будущей специальности и других дисциплин, задавая вопросы из любых научных областей, какие считали нужными. Этот экзамен, называвшийся Certamen Vigorosum[1], был очень суровым испытанием – проверкой эрудиции, выносливости и, следова-

© 2004 by Oberon Press
© А. Веденичева. Перевод, 2006
1. Состязание сильных (*лат.*). (*Прим. перев.*)

тельно, силы духа, но Герхард выдержал его и получил степень доктора естественных наук. Ему было двадцать два года.

Тогда же один богатый коммерсант, еврей, как сказал Герхард, оставил университету свое состояние — с условием, что на эти деньги будет отправлена экспедиция на Аравийский полуостров для изучения семитских народов. Пожилой профессор, которого назначили руководителем экспедиции, попросил Герхарда сопровождать его в качестве ассистента. Поездка должна была занять три года, но продлилась гораздо дольше. Ученые путешествовали на кораблях и на поездах, пешком и верхом на лошадях, но чаще всего на верблюдах, преодолевая огромные пустынные пространства Аравии, земли, омываемой с востока Персидским заливом, с юга Индийским океаном, с запада Красным и Средиземным морями, а с севера Тигром и Евфратом. К концу пятого года, в Багдаде, профессор умер от удара, и Герхарду, свободному теперь от обязательств перед стариком, хотелось только одного — отправиться домой со своими книгами, записями и собранной в пути коллекцией. Шел август 1913 года.

Герхард мог подождать месяц и сесть на корабль до Адена, потом переплыть Красное море и дальше ехать в Германию, но ему не терпелось вернуться домой. Он решил покинуть экспедицию в Кувейте, на побережье Персидского залива, пересечь полосу песков, затем обширную каменистую равнину к северу от оазисов и добраться до Яффы. Это был долгий и трудный путь, но Герхард не впервые проделывал его. Молодой ученый купил трех верблюдов, погрузил на них свое имущество и двинулся в дорогу, взяв в местном арабском племени проводника для проезда по их территории. После четырех дней пути проводник передал путешественника другому племени кочевников, а те, в свою очередь, следующему. Арабы считали Герхарда гостем — а безопасность гостя была для них делом чести, не важно, друг он или враг, — и обеспечивали ему защиту на своей земле.

Где-то в Центральной Аравии, близ Сакаки, на Герхарда с его верблюдами и проводником напали бедуины из другого племени и оставили их умирать в пустыне. Герхард помнил схватку, помнил, как его ранили из какого-то старинного ружья, и больше ничего — до того, как очнулся в шатре среди женщин в хиджабах. Женщины ухаживали за ним, перевязывали рану, поили и кормили, пока ему было трудно садиться и есть самостоятельно. Все это время в углу на красном коврике сидел какой-то человек. Он ни разу ничего не сказал раненому, а Герхард, привыкший общаться с арабами через переводчика, знал на их языке только самые простые слова и к тому же был слишком слаб, чтобы попробовать завязать разговор. Вид незнакомца явно не располагал к беседе. Днем и ночью, когда бы Герхард ни открыл глаза, этот человек сидел на своем коврике и смотрел прямо перед собой. Он знал, что Герхард в сознании, но не делал попыток обратиться к нему. Рассказывая о путешествии, Герхард упоминал его лишь как человека, который сидел с ним в шатре. Не более того. Как он был одет, какого роста, возраста, ни разу не уточнялось. Просто "тот, что сидел возле меня".

За пять лет скитаний по Аравийскому полуострову Герхард достаточно узнал о семитских народах, и поведение незнакомца не удивляло его, хотя и настораживало. На двенадцатый день в шатер вошли два араба, помогли ему встать и очень почтительно надели на него чистую

одежду. Когда туалет гостя был завершен, сидевший в шатре незнакомец поднялся с коврика, поклонился и жестом пригласил следовать за ним. У Герхарда кружилась голова, на ногах он держался нетвердо, арабы поддерживали его. Яркое солнце стояло высоко, и молодой ученый, привыкший к густой тени шатра, поначалу ничего не видел. Его подвели к низкому сиденью на ковре под шелковым или хлопковым балдахином цвета индиго.

Когда глаза привыкли к дневному свету, Герхард увидел, что перед ним стоят на коленях шестеро мужчин. Руки у них были связаны за спиной, загорелые лица резко контрастировали с бледной кожей обнаженных по пояс тел. В одном из узников Герхард узнал бедуина, который ранил его из старинного ружья. Сидевший с Герхардом в шатре незнакомец еще раз поклонился, сделал легкое движение рукой, и ему подали меч. Он повертел лезвие на солнце, словно проверяя, хорошо ли оно блестит, потом опять слегка поклонился, подошел к первому узнику — тому, кто ранил Герхарда, — и что-то сказал на своем языке, едва знакомом молодому ученому. Это был вопрос к Герхарду. Он молчал, и сидевший с ним в шатре незнакомец одним решительным ударом отрубил узнику голову. Голова упала в песок, из шеи двумя пульсирующими струями хлынула кровь, обезглавленное тело качнулось вперед, как в молитве.

Остальные узники не шевельнулись, не издали ни звука, только смотрели на Герхарда. Тот, что сидел с ним в шатре, снова поклонился и шагнул ко второму коленопреклоненному, потом к следующему. Каждый раз, слегка кланяясь гостю, он задавал один и тот же вопрос, и каждый раз Герхард оставлял его без ответа. Так незнакомец отрубил головы всем шестерым. Покончив с последним, он обошел тела, по очереди поднимая каждую голову, поворачивая ее лицом к Герхарду, а затем роняя обратно в песок. Потом Герхарда отвели в шатер; началось традиционное трехдневное празднество. Когда оно закончилось и Герхард набрался сил, он дал понять, что достаточно окреп для продолжения пути в Яффу. Ему вернули трех его верблюдов вместе с верблюдами напавших на него бедуинов и всей поклажей; араб, сидевший с ним в шатре, отправился его провожать.

Двое мужчин ехали бок о бок, но не сказали друг другу ни слова до самого межевого знака, небольшой пирамидки из камней, где их ждал представитель другого племени — теперь он должен был сопровождать молодого ученого. Напоследок тот, что сидел возле Герхарда в шатре, протянул ему кожаные ножны с мечом, которым обезглавил шестерых разбойников. Герхард принял подарок, не слезая с верблюда, и молча двинулся дальше в пустыню. Оглянулся он только раз, переезжая через высокую гряду сланца и застывшей лавы. Тот, что сидел с ним в шатре, все еще оставался у межевого знака верхом на верблюде. Герхард не помахал ему на прощание, только обернулся. Его верблюд начал спускаться по узкой тропе, ведущей на запад, и тут Герхард почувствовал, что остался один, хотя рядом был проводник. Через шесть недель молодой ученый уже ехал по узким улочкам Яффы.

Когда я познакомился с Герхардом, он работал охранником на руднике "Крэгмонт майнс", компании, которая добывала медную руду близ городка Мерритт в Британской Колумбии. Обязанностью охранника было проверять карманы и сумки рабочих, выходящих вечером с рудни-

ка, чтобы они не вынесли какие-нибудь детали, мотки проволоки, куски труб или еще что-нибудь пригодное для продажи сборщикам металлолома. Герхард тогда казался мне стариком, хотя был еще очень крепким мужчиной. Историю эту я, насколько позволила память, постарался изложить как можно ближе к его рассказу. Названия Багдад, Кувейт, Сакака, Яффа нашлись на листке бумаги в поэтической антологии. Помню, как я просил Герхарда произнести каждое название по слогам. Я не просто записывал их — выводил печатными буквами. Видимо, очень хотел, чтобы все было точно.

Я пробовал сделать из истории Герхарда рассказ, но безуспешно. Приукрашивал, выдумывал новые детали, добавлял романтики — и получалось совсем не то, что нужно. Тогда я забросил эту историю и вспомнил о ней только в 1980 году, разговаривая с Гвендолин Макьюэн. Мы сидели спиной к озеру в курительной комнате отеля, снятого для писательского фестиваля в Торонто, и пили водку. Говорили о "Семи столпах мудрости" Т. Э. Лоуренса, одной из самых важных книг моей молодости. Кажется, я немного рисовался, гордый своим — пусть и косвенным — знакомством с пустыней и кочевыми племенами. А Гвендолин как раз тогда работала над циклом стихотворений по мотивам книги Лоуренса, но не сказала мне об этом. Помню, она говорила, что слышала множество разных историй, когда жила на Ближнем Востоке. Гвендолин посоветовала мне обязательно записать рассказ Герхарда, потому что его уже нет в живых и теперь эта история принадлежит мне. Ты получил ее в подарок, сказала Гвендолин, а такие подарки — бремя, которое лучше сбросить на бумагу. Это было двадцать три года назад.

Мы с Герхардом были знакомы чуть больше года, когда он умер в ветхой больничке нашего Мерритта. Конец пятидесятых годов, ему было семьдесят пять. Помню, он казался мне очень старым. В юности я много времени проводил со стариками — видимо, нуждался в отцовском внимании. Герхард гораздо лучше меня разбирался в животном и растительном мире нашей долины. Помню, как я стыдился, что так мало знаю о своих родных местах. По выходным Герхард охотился с соколихой, пойманной на пустынных холмах у реки Николя. Иногда он брал меня с собой. Помню тяжесть птицы на руке — я был молод и крепок, но мог продержать ее не больше десяти минут, потом рука уставала. Соколиха чувствовала дрожь под лапами и всегда нервничала, когда Герхард сажал ее мне на запястье. Он звал ее Этви. Охотился с ней на рябчиков и куропаток; он сказал, что научился соколиной охоте у бедуинов.

Мое самое яркое воспоминание о Герхарде — не его рассказы об экспедиции и Востоке, о казни напавших на него разбойников, об арабе, сидевшем возле него в шатре, хотя всё это и по сей день остается для меня таинственным и прекрасным. И даже не тот вопрос, заданный под темно-синим балдахином, когда от Герхарда зависела судьба шестерых человек. Понял ли он слова араба с мечом и, если понял, почему промолчал? Ведь Герхард пять лет прожил среди бедуинов и не мог совсем уж не понимать их язык, а вопрос наверняка был очень простой. Но не это больше всего занимало мое воображение. Важнее было другое: двадцатидвухлетний Герхард, сидящий на массивном деревянном стуле в пустой аудитории берлинского университета, и слова Certamen Vigorosum — так он неизменно называл свое испытание.

Герхард всегда говорил об этом экзамене с большим волнением. Для него те три дня были самыми важными в жизни. И сейчас, стоит закрыть глаза, я слышу его голос, рассказывающий об аудитории, о тяжелом стуле с натертыми мастикой подлокотниками. Герхард проводил по ним ладонями, нюхал пальцы и вдыхал запахи воска, масла, дубовой древесины, пота других ладоней. Закрыв глаза, я вижу его фигуру на стуле, вижу, как свет трех настенных светильников взбирается по темным деревянным панелям, когда начинает вечереть.

Аравийские странствия Герхарда перед Первой мировой войной, выстрел из старинного ружья, бедуин, который сидел с ним в шатре и обезглавил шестерых разбойников, — все это стало для меня гораздо реальнее из-за такого подробного описания экзаменационной аудитории и дубового стула. Герхард рассказывал мне все это в шестидесятом году, когда после описанных событий прошло пятьдесят три года, а я пишу эти строки спустя еще сорок три. Испытание проводилось почти сто лет назад, но я кожей чувствую холод темноватой берлинской аудитории с каменным полом, вижу молодого Герхарда, сидящего в центре на дубовом стуле, вижу высокие окна, тяжелые темно-красные шторы, их легкое колыхание от шагов уходящего экзаменатора, пыль в углу у двери, пятна желтого света на стенах, вижу, как Герхард украдкой подносит пальцы к носу и нюхает их, глядя на дверь и гадая, кто сейчас войдет.

Я представляю его в этой аудитории под конец третьего дня, когда к нему входит профессор в черной мантии. Мне кажется, это ученый из Вены, хотя и сам не знаю, почему именно из Вены. Может быть, Герхард упоминал такого профессора. У экзаменатора остался всего один вопрос к претенденту. Как только тот на него ответит, испытание ума и духа — одно из значений выражения Certamen Vigorosum — завершится. Всё, что поведет Герхарда по жизни следующие пятьдесят лет двадцатого века, полного горя и бед, к уединенной равнине в горах Британской Колумбии с ее медным рудником, лесопилками, барами, нищетой индейцев, грубыми рабочими, их жалкими женами и детьми, — всё зависело от той минуты в аудитории. Ответ на последний вопрос неумолимо приведет тогдашнего молодого ученого к долине Николя на высоком плато, к кладбищу на склоне каменистого холма у городка Мерритт, где на похоронах Герхарда были только я, пьяный англиканский пастор, которому пришлось сунуть едва ли не последние пять долларов ради нескольких священных слов, довольно бессвязных, насколько я помню, да кто-то из местных с лопатой, терпеливо дожидавшийся у края могилы, когда мы закончим.

Конечно, была еще соколиха, которая ждала меня в клетке под пыльной желтой сосной за хижиной у реки Николя, но история Этви принадлежит уже не Герхарду, а мне, и я пока не готов сбросить это бремя на бумагу. По-моему, достаточно будет истории Герхарда, рассказанной как есть — насколько позволила память. Я мог рассказать ее раньше и тогда, наверное, больше бы вспомнил, но не сделал этого, и ушедшие годы скрылись во мгле. Осталось только то, что я знаю сейчас. По крайней мере, у меня сохранились точные названия: Багдад, Кувейт, Сакака, Яффа, а в памяти остался массивный дубовый стул с прямой спинкой и натертыми мастикой подлокотниками, на котором Герхард сидит в пустой аудитории одного из берлинских университетов.

И запах, тоже точь-в-точь такой, как он говорил.

Эту историю я рассказываю в память о Гвендолин Макьюэн. Именно Гвендолин сказала, что я должен ее записать. Именно Гвендолин сказала, что это подарок, то есть бремя, а я хорошо знаю, что такое бремя. Истории — кусочки нас самих, материал, из которого мы строим свою жизнь, и если их не рассказывать, жизни наши пропадут впустую. Гвен ощущала это каждой клеточкой своего хрупкого, беспокойного тела. Она знала, как пропадают истории; думаю, не один рассказ унесла с собой в могилу. И она, и я много лет провели на одиноких стульях в пустой комнате, ожидая, когда кто-то войдет и задаст вопрос, меняющий всю твою жизнь.

Тереза Гринвуд

Суд равных

Перевод с английского А. Веденичевой

— Говорят, вы вернули эмансипацию на пятьдесят лет назад, — в гулком зале заседаний, уже опустевшем после оглашения вердикта, голос молодого репортера "Торонто дейли стар" звучал резко и грубо даже для его собственных ушей.

— Мистер Хемингуэй, вы мне льстите! — воскликнула сидящая перед ним девица. — Неужто на свиристелку вроде меня стоит обращать внимание?!

Эрнест Хемингуэй еще раз оглядел свиристелку по имени Кейс Дойл. Он знал, что она примерно одного с ним возраста — двадцать четыре года, — и все же девушка выглядела моложе его. Он воевал, женился на зрелой женщине, совершал поступки, сделавшие его мужчиной. Безмятежная, пока еще недолгая жизнь Кейс протекала в тихой заводи Онтарио — месте таком консервативном, что здесь до сих пор гордились приличными скромными домами из серого камня. Однако что-то не вполне приличное, не такое уж скромное проглядывало в этой свиристелке с золотисто-карими глазами.

— Вся страна смотрит на вас, мисс Дойл, — сказал Хемингуэй уже не так резко. — Первая женщина в суде присяжных, да еще когда рассматривается такое тяжкое преступление — наш редактор считает это одной из самых громких новостей двадцать третьего года.

Только не для репортера моего уровня, добавил он про себя. Это сюжет для начинающих. Черт, с таким справилась бы любая редакторша дамской странички, но Хайндмарш сбил с него спесь. Когда в новост-

© 2003 Baskerville Books
© А. Веденичева. Перевод, 2006

ном отделе появилась эта новая метла, Хемингуэй был корреспондентом "Стар" в Париже. Писал о боях быков в Севилье, о поединках Карпантье[1], о бобслее под Шамби и думать не думал ни о какой газетной политике. Но Хэдли хотела родить в Северной Америке, и он оказался в Торонто, во власти Гарри Хайндмарша, заместителя главного редактора. Хайндмарш был женат на дочке владельца и считал, что репортер должен "выдавать по хлесткой фразе в каждом абзаце", а все новые стихи — просто выпендреж.

— Вот умора! — рассмеялась Кейс. — Харт Майерс был как раз из тех, кто считает, что о них должны скорбеть миллионы, — и вот пожалуйста, аж из Торонто присылают репортера узнать, повешу я подсудимую или нет.

Дорога — больной вопрос. Хемингуэй переплатил доллар за купленный в последнюю минуту билет на поезд до этого самодовольного городка к северу от озера Онтарио и к югу от края света. Приходилось себя ограничивать, ведь вскоре он станет отцом семейства, человеком с определенными обязанностями. Он рад был выбраться из Свинтауна, как метко прозвали тот свински грязный и уродливый городишко, где они теперь жили. Еще один совет тупого обывателя — сменить берет на фетровую шляпу, надеть галстук, почистить ботинки, — я просто врежу ему в ответ, подумал Хемингуэй. Но за грехи его Свинтаун стал ему домом. Если быстро отстреляться с интервью, можно успеть на пятичасовой экспресс обратно, к Хэдли.

— Как вы пришли к своему вердикту? — спросил Хемингуэй. Кейс он в последнюю очередь доверил бы выносить решение о виновности убийцы. Удобно устроившаяся на огороженной скамье, она напоминала котенка в корзинке. Стрижка каре, мягкие блестящие волосы, чуть приподнятые брови. Кейс не выщипывала их, не маскировала косметикой немодные веснушки. Норковая накидка — все-таки это слишком и для теплой осенней погоды, и для роли присяжной — небрежно свешивалась с толстой перегородки красного дерева, отделявшей двенадцать добрых людей от зала суда. Только упрямый подбородок, недавно с вызовом поднятый над затаившим дыхание залом, выдавал твердый характер.

— Я думаю, это все лимонад, — трещала она, — в "Доллар биллз" у нас подают потрясающий лимонад, что-то такое туда кладут, знаете, особенное. В тот вечер, когда арестовали Эгги Хардер, я как раз пила четвертый стакан, и вошел Дикки Каннингем — на нем просто лица не было. Вы видели Дикки, да? Это государственный обвинитель — прямо спектакль сегодня устроил, правда? Дикки сперва не хотел ничего выкладывать — ведь они с Хартом Майерсом вместе служили в ВВС, — но у нас только об этом и говорили, город так и бурлил, а город у нас, знаете, мистер Хемингуэй, вообще-то очень тихий, спокойный...

— Отличный город, — сказал он. От одной окраины до другой едва ли миля наберется, и все сплошь заставлено угрюмыми каменными коробками: мэрия, которую тут считали архитектурной гордостью страны, англиканский и католический соборы, масонская ложа, таможня,

1. Жорж Карпантье (1894–1975) — знаменитый французский боксер, чемпион Европы в разных весовых категориях, чемпион мира. Его поединок с Джеком Дэмпси в 1921 г. считался "матчем века". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

не говоря уже о крепких аккуратных лавках — мясной, бакалейной, табачной. С первого взгляда было ясно, что послевоенный упадок и сухой закон обошли городок стороной.

— У нас тут вообще скучновато, никаких развлечений, кроме званых ужинов да чаепитий, — вздохнула Кейс. — Но в Америке ввели этот дурацкий запрет на производство алкоголя, а наше правительство считает, что ликероводочному заводу грешно простаивать, даже если горожане не злоупотребляют спиртным. Вот и начинаются всякие глупости — приезжают на лето американцы, завод работает сверхурочно, женщины сидят в барах на реке, купаются в джине, а солидные мужчины надевают маски и давай играть в индейцев. Правда, все это так безобидно — убийство Харта было как гром среди ясного неба! Даже Дикки будто спятил, хотя мы в конце концов убедили его, что Эгги в ту ночь спустилась по дереву из окна своей комнаты. Скорее всего, бежала от тирана-отца к любовнику, лихому малому — наверно, хотели удрать за границу.

Хемингуэй вспомнил ночного сторожа с кожевенного завода, старика в грубых башмаках, моргающего, словно филин на солнце, — как он свидетельствовал, что обвиняемая вылезла ночью из окна своей спальни. Да, он не ошибся, это был именно тот дом — кто же в округе не знает дом Томаса Хардера, самый большой на Кинг-стрит, мимо которого сторож проходит каждый вечер в одно и то же время?

— Это так романтично, — вздохнула Кейс, — прямо как в движущихся картинках.

На процессе это никому не казалось романтичным, подумал Хемингуэй. Скорее пошлым. Сутулый папаша Хардер, сидевший среди прочих свидетелей, совсем съежился от стыда, когда сторож рассказывал, как обвиняемая спрыгнула с нижней ветки дерева, завернулась в плащ и бросилась со всех ног к женатому любовнику. Здесь, в Канаде — в Que Nada[1], как говорили они с Хэдли, — главное видимость, фасад, и юная обольстительница уже успела поставить жирное пятно на репутации банкира. В Париже никто и ухом бы не повел, услышав о сексуальных похождениях молоденькой девицы.

Другая молоденькая девица, сидящая сейчас напротив него, щебетала дальше:

— Дикки сказал, что суд равных, таких же горожан, как Эгги, все сплетни выведет на чистую воду, а я ему в ответ: "Не говори ерунды — где же эти равные, ведь в суде одни мужчины? Ради всего святого, почему женщины не могут быть присяжными, ведь у нас уже пять лет есть право голосовать?" А Дикки в ответ — мол, женщины слишком впечатлительны, им заморочить голову пара пустяков. Я думаю, он имел в виду Эгги, — так ему было обидно, что Харт ее соблазнил. Дикки всегда питал нежные чувства к Эгги, но он человек женатый, слишком солидный и уважаемый, чтобы дать им волю.

— Обвинитель питал нежные чувства к Эгги? — удивился Хемингуэй. — Он же набросился на нее, как тигр.

— Сущий зверь! — Кейс расправила тонкие плечики и заговорила низким голосом, вполне сносно подражая обвинителю: — "Скажите, мисс Хардер, когда вы споткнулись на дороге, спеша покинуть место

1. Словно пустое место (*исп.*).

гнусного убийства, и упали в грязь с криком "Мама!", вы случайно не подумали о другой матери, о бедной вдове, у которой остался на руках осиротевший ребенок?" Мистер Хемингуэй, у меня аж мурашки по спине побежали, когда она сидела там, как истинная леди, на коленях руки в белых перчатках, и так звонко, спокойно отвечала: "Дикки, дорогой, если бы я вообще хоть когда-нибудь о чем-нибудь думала, никогда бы в такое не вляпалась". Знаете, то же самое я могу сказать об этой своей затее с судом присяжных — в "Доллар биллз" у нас с Дикки началась жуткая перепалка, я совсем разошлась и заявила, что всегда могу по одному виду Эгги Хардер определить, врет она или нет. Мы с ней сто лет состоим в одном бридж-клубе — когда она блефует, то всегда теребит свою жемчужную нитку, наматывает ее на палец. "Только женщина может такое заметить", — сказала я и прямо не сходя с места поспорила с Дикки на норковое пальто, что Эгги осудят справедливо лишь в одном случае — если среди присяжных будет женщина.

Хемингуэй представил, как она заключает это пари — ее кокетливую запальчивость, нескрываемое удовольствие, золотистые искорки в глазах, когда она меряет оценивающим взглядом своего противника-мужчину. Забавная девица эта Кейс, подумал он, стоило бы познакомиться с ней поближе.

— На следующий день я об этом начисто позабыла, но Рой Ларкин, клерк из мэрии, такой черт нахальный, вечно принимает шутки всерьез. Место это он получил, потому что его отец — член городского совета, сам-то он, Рой то есть, карьеру делать не рвется. Вдобавок этот олух до сих пор дуется, что я отказалась составить ему пару на весеннем балу. Думает, это очень остроумно — прислать мне бумагу с требованием явиться в качестве присяжной и вообще преподать мне хороший урок в их мужском-размужском суде.

Серебряные браслеты весело звякнули на запястьях Кейс, когда она широким театральным жестом обвела эту территорию сильного пола, храм правосудия, — высокие деревянные панели на стенах, новые витражи в память о героях мировой войны.

— Рой думал, я буду хорошей девочкой, буду смотреть затаив дыхание, как мужчины вершат суд, а если и осмелюсь рот раскрыть, то здорово пожалею. Он думал, что Ларри Киркпатрик, адвокат, — правда, Ларри был просто великолепен в этой черной мантии? — и такой доброжелательный, дал Эгги рассказать, как она хотела поступить благородно, отправить Харта укладывать вещи, но нашла его в луже крови, и как это ужасно — она даже не помнит, что было потом, — и как ей казалось, что все это сон, пока полиция не постучала к отцу в дверь! — так вот, Рой думал, что Ларри мне слова не даст сказать, удалит со скамьи присяжных.

— Но Киркпатрик сделал ставку на чувствительную женскую натуру.

— И здорово рисковал! Женщины не очень-то сочувствуют девицам, которых можно соблазнить норковым пальто и комплиментами нью-йоркского хлыща... не обижайтесь, мистер Хемингуэй.

— Я из Иллинойса. — В Оук-парке, мог бы добавить он, хлыщи не водятся. Это край широких газонов и узких лбов, где любой уважающий себя канадец чувствовал бы себя как дома. Целая вечность прошла с тех пор, как он жил в Оук-парке, — интересно, если вернуться, нашлась бы там хоть одна такая забавная девица, как Кейс?

— Вся округа знала, что Эгги Хардер — как пороховая бочка, в любой момент может взорваться, — продолжала Кейс. — Только не поймите меня неправильно. Эгги была просто ангел во плоти, когда ухаживала за матерью во время ее ужасной болезни. Но со смертью миссис Хардер все хоть сколько-нибудь серьезное в Эгги тоже умерло. Отец с тех пор совсем озверел; устроил ей жуткую выволочку — она отказала молодому болвану из хорошей семьи, которого он прочил ей в мужья. Где-то с месяц мы ее не видели, пока она не наловчилась слезать вниз по дереву у окна. Запирать Эгги — все равно что запирать лунный луч. Она у нас самая бедовая, ей море по колено. Обожает коктейли, скабрезные анекдоты, танцы, не прочь пофлиртовать с женатыми мужчинами, поболтать о поездках во всякие злачные места, о путешествиях на автомобилях, на поездах, на океанских лайнерах, и все такое прочее.

Каких-то несколько месяцев назад они с Хэдли тоже рассказывали скабрезные анекдоты и пили café crème в саду стадиона "Анастази", где посетителей за столиками обслуживали боксеры, ждавшие выхода на ринг. Все их последнее путешествие на океанском лайнере Хэдли непрерывно тошнило из-за атлантической качки, а конечным пунктом оказалась квартирка под самой крышей дома на Бэтхерст-стрит, где единственным приличным развлечением считалась церковная служба.

— Эгги — большая модница, хотя этого и не скажешь по ее постному костюму на скамье подсудимых, помните, жуткая черная саржа с высоким воротником и жемчуг — такая скромная двойная нитка? Посмотрели бы вы на Эгги в тот вечер, когда они с Хартом познакомились в "Доллар биллз"! Она была в вечернем платье из светлого шифона, расшитого бисером и стразами — везде цветы, листья, всякие завитушки, а материнский жемчуг прыгал на груди самым неприличным образом. Она была похожа на лунный луч, сплошные искры и свет. Они с Дикки танцевали и смеялись над песней в патефоне. Играли "Да, у нас нет бананов!", они перебрасывались шуточками на этот счет, и он познакомил Эгги с Хартом, своим старым другом, который приехал в город продавать ящики на ликероводочный завод. Харт заявил, что песня просто блестящая, без претензий на интеллектуальность, но это такой же значительный вклад в культурную жизнь Америки, как проза Гертруды Стайн.

— Мисс Стайн это не понравилось бы, — сказал Хемингуэй, обидевшись за эту выдающуюся женщину, за ее заграничный салон с Сезанном, Матиссом, Пикассо и другими порочными новомодными штучками, с закусками, чаем, фруктовыми наливками в хрустальных рюмках. — Мы с ней большие друзья, и я точно знаю — она не выносит популярную музыку.

— Что вы говорите, — сказала Кейс. — Харт вообще не знал, кто такая мисс Стайн; это просто одно из его умных высказываний. Он ведь был очень умный. Мы все по нему сохли, даже когда Дикки рассказал нам о его жене, ребенке и фабрике, где делают ящики. У Харта глаза были похожи на ваши, тоже темные и завораживающие, такой прямой взгляд, будто насквозь просвечивает и все видит, даже что-то такое, чего, может, и нету. Когда Харт подарил Эгги это норковое пальто — первостатейная норка! — я просто позеленела от зависти. Она везде в нем ходила, даже в самые теплые вечера. Я бы на такое манто согласилась и глазом не моргнув, у меня ведь только эта дурацкая накидка, которая и вида-то почти не имеет.

Кейс досадливо ткнула пальцем в накидку, и та соскользнула на пол. Нагнувшись за ней, Хемингуэй попытался представить, как выглядела бы Кейс в давно не новом пальто Хэдли, но эту бойкую живую девушку ему никак не удавалось втиснуть в поношенный суконный панцирь.

— Норка несколько облегчает карманы поклонников, — сказал он.

— Оба считали, что игра стоит свеч, хотя если б папаша Эгги что-то почуял, им крепко досталось бы. Но Эгги так наловчилась, что стала вылезать из окна в своей норке, с жемчугом, на высоких каблуках и все такое прочее — даже прическу умудрялась не помять. Чувства вспыхнули, как стог сена, и когда Харту пришло время возвращаться на Итаку, а он остался, мы решили, что он бросил и жену и фабрику. Дикки попробовал их образумить. Летние амуры в известных пределах — еще туда-сюда, но развод ведь ужасный скандал. Для Эгги это был бы полный крах. Опозорили бы на всю округу, после такого она и носу не могла бы показать в порядочное общество. Не будешь же все время сидеть в барах, правда?

Хемингуэй не раз задумывался: а мог бы мужчина в этой стране, пропитанной ханжеской пресвитерианской моралью, померяться силами с быком, да и вообще испытать себя где-нибудь, кроме боксерского ринга? Сейчас, глядя на эту отчаянную девушку, он понял — и в этом чопорном городке есть возможность рискнуть.

— Что же вас убедило? — спросил он. — То, что она не трогала ожерелье?

— Конечно, я ждала этого, извините за выражение, предательского жеста! Особенно когда Дикки обрушился на нее что было мочи, но Эгги и пальцем не коснулась жемчуга, даже услышав тот страшный вопрос про матерей.

— Разве одна нитка жемчуга выдержит всю тяжесть подобного вердикта?

— Нет, но ведь есть еще норка, — сказала Кейс с таким видом, словно молодому репортеру должно быть отлично известно, что́ она подразумевает.

— Норка, — повторил Хемингуэй, надеясь не выдать своего недоумения.

— Эгги носила ее просто не снимая — с чего бы оставлять пальто дома, если она решила бежать? Она не надела пальто, потому что действительно собиралась дать Харту отставку, а норку возвращать не хотела, пусть даже это и было бы благородным жестом. Норки греют женщин гораздо лучше благородных жестов! И потом, еще чемодан.

— Какой? О чемодане не было ни слова.

— Вот именно! Такая щеголиха, как Эгги, не могла бежать из дома без полного комплекта приданого, к свадьбе или без свадьбы, но сторож видел ее с пустыми руками. Никаких вещей, ничего в дорогу!

Хемингуэй вспомнил о чемодане в углу их канадской квартиры, до сих пор набитом маленькими ценностями Хэдли. Там были только ее сокровища, его сокровища она потеряла: чикагская рукопись, парижские зарисовки, почти готовый роман — все осталось в видавшем виды саквояже, украденном на вокзале в Лионе, пока Хэдли покупала минеральную воду. Наконец он сказал:

— Ваш приятель, государственный обвинитель, проиграл процесс из-за пьяного пари.

— Совершенно трезвого, — покачала головой Кейс. — Он знал, что это липовое обвинение.

— Потому что подсудимая не теребила ожерелье или потому что не надела в ночь убийства дорогое пальто?

— Потому что это он убил Харта Майерса! Откуда еще он мог знать, что Эгги загремела в грязь, когда кинулась прочь от трупа? Или что она звала маму? Эгги тогда была в таком душевном смятении — сама не знала, что делала, наткнувшись на мертвого Харта. Да и кто, кроме убийцы, мог видеть, как она ковыляла по дороге? Бедный Дикки! Обвинять невинную женщину, да еще любимую! Из-за которой пошел на убийство, но не в силах признаться, потому что это бросит тень на доброе имя его законной жены и детишек. Конечно, он хотел заполучить меня в присяжные, еще бы!

— Он знал, что вы не дадите суду прийти к единому мнению.

— А что еще мне оставалось делать? Может, мы тут и отсталые, и недалекие, но соображаем что к чему. Наверно, вам трудно это понять: честный, порядочный малый мечтает о чем-то прекрасном — пускай недосягаемом, пускай это глупо — и не может спокойно смотреть, как равнодушный хлыщ губит его мечту навсегда. Но для вас это просто сюжет, мистер Хемингуэй, вам бы только записать его и вернуться к своим обычным делам.

Понять было нетрудно. Сюжет чертовски хорош, теперь он покажет Хайндмаршу, как добывают сенсации. Такой поворот дела стоил ночной поездки сюда, о чем он и сказал Кейс, добавив:

— Если я это напечатаю, вашего приятеля арестуют, и вы останетесь без норкового пальто, которое он вам проиграл.

— Что ж, должны быть и более простые способы заработать норковое пальто, — вздохнула Кейс. — Есть предложения, мистер Хемингуэй?

Нил Смит

Зеленый флуоресцирующий белок

Перевод с английского Е. Домбаян

У Рубиду на уме вечно одно — человеческий геном. Мы в Уэстмаунтском парке. Я отрабатываю удары, а он растянулся на скамейке, стоящей вдоль баскетбольной площадки.

В руках у Рубиду книга — а что еще? С виду он костлявый коротышка. По крайней мере по сравнению со мной.

— Вот бы совершить невероятное, — говорит он, почесывая под мышкой, — взять и составить карту всех генов человека. Проследить путь и происхождение каждого. Выявить скрытые особенности.

Вчера мама Рубиду сообщила мне, что ее сын — одаренный ребенок. По-моему, семнадцатилетний талант просто обязан оскорбиться за *ребенка.* Мне тоже семнадцать. Одно из моих главных достижений — умение крутить баскетбольный мяч на указательном пальце.

Я закидываю мяч в сетку с середины площадки — Рубиду имитирует восхищенный рев толпы, эдакое хрипучее ууууууухххх, которому я его научил. Я веду мяч к скамейке.

— Положим, мы обнаруживаем ген, позволяющий стать гениальным музыкантом, — говорит он, щурясь на июльское солнце. — Вариант, когда ты в музыке ни бум-бум, потому что ни разу не садился за пианино, не рассматривается. Одаренного музыканта на глаз не определишь, это тебе не карлик или рыжий. Гениальность можно обнаружить только при определенных условиях.

В поле за баскетбольной площадкой театральная труппа репетирует "Ромео и Джульетту". Время от времени рассуждения Рубиду заглушает какой-то придурок в колготках, который выкрикивает "Любил ли я хоть

© 2004 by Oberon Press
© Е. Домбаян. Перевод, 2006

раз до этих пор?" и тому подобную муть. Но Рубиду, похоже, этого не замечает: все бубнит и бубнит про особые гены, для прочтения которых требуется специальный допуск, как к сверхсекретным материалам. Я помню, моя мама говорила, что алкоголизм передается по наследству и вполне возможно, что мы с ней несем в себе этот ген, поэтому я сказал Рубиду, что мне неохота лезть в эти засекреченные досье.

— Наверняка ничего хорошего не узнаешь, — замечаю я.

Рубиду разглядывает меня с видом ученого, работающего над докладом о среднестатистическом современном подростке.

— Знаешь, Хиппи, — говорит он, — иногда ты бываешь настоящим нигилистом.

Что это, черт возьми, такое — нигилист?

— Отвали, — говорю я.

В действительности мое имя Макс. Рубиду зовет меня Хиппи. Это кличка с юмором: у меня стрижка под ноль, я ношу майки с логотипом, на котором изображен крокодильчик, и играю в баскетбольной команде. Я не называю Рене-Луи Робиду по имени, а фамилию произношу так, чтоб она напоминала Скубиду[1]. Познакомились мы с ним в начале лета, когда переехали с мамой в Уэстмаунт из Сент-Бруно.

Каждый день, пока я закидывал мячи в корзину, Рубиду сидел в парке и читал. Со стороны казалось, он настолько углублен в книгу, что меня это даже бесило. Однажды я нарочно запустил в него мячом так, чтобы выбить из рук книгу.

Я извинился, подошел, поднял книгу и стряхнул с нее пыль. На обложке была изображена волосатая обезьянья морда. Я протянул ему книгу и спросил:

— О чем книжка?

Он сказал, что в "Третьем шимпанзе" идет речь об эволюции и генетике, о развитии языка и искусства.

— И о сексуальности тоже, — добавил он.

— О сексуальности?

— Ну да. К примеру, отчего женщины не знают, когда у них наступает овуляция, — ответил он, не моргнув глазом, — и почему у мужчин, по сравнению с шимпанзе, такой длинный член и такие маленькие яички.

Я прижал мяч к бедру.

— Шутишь?

Его рот скривился в усмешке. И тут я впервые заметил, что один глаз у него карий, а другой синий. Такие глаза встречаются у эскимосских лаек на Аляске.

Наш переезд в Уэстмаунт был частью маминого Начала Новой Жизни. Ей захотелось всего нового. Новой работы: она стала совладелицей частной дерматологической клиники. Нового любовника: Брайан, анестезиолог, меня называет Спорт и сосет зубочистки на людях. Новой прически: "Перуанский огонь" (цвета чипсов со вкусом барбекю). Новой

1. Пес по кличке Скубиду — персонаж популярного мультфильма и анимационного сериала. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

группы "Анонимных алкоголиков": уэстмаунтское отделение, посещение трижды в неделю.

Наша новая квартира — на последнем этаже кирпичного дома, который стоит рядом с Христианским союзом молодежи. Коридор в квартире жутко длинный, как дорожка для боулинга со светлым деревянным покрытием. В квартире есть еще одна классная штука: окно в моей личной ванной, которая примыкает к моей спальне, украшено фантастическим витражом, так что мочеиспускание превращается в религиозное действо.

Возвращаюсь я однажды вечером домой из овощного магазина "Passions de Fruits"[1], где подрабатываю в свободное время, и застаю маму, прихорашивающуюся перед свиданием. Она смотрит на себя в зеркало, висящее в коридоре, и хмурится.

— Ох уж эти мои лошадиные зубы, выпирают, как ложи в театре, — жалуется мама.

Втыкая в уши какие-то идиотские серьги, она спрашивает, не напоминает ли мне Брайан отца.

— Такая же волосатая грудь и квадратный подбородок.

— Есть что-то, — отвечаю я. — Только Брайан, в отличие от папы, не мертвец, чья вдова путается с кем ни попадя.

Мамино лицо становится одного цвета с волосами.

— Паршивец вонючий, — шипит она. — Умеешь задеть побольнее.

— Мам, шучу, — вру я.

Она швыряет в меня сережкой. И промахивается на километр.

Два года и два месяца назад мой отец умер от кровоизлияния в мозг. Взял да и хлопнулся замертво на льду во время игры в керлинг. Мой папа классно играл. Однажды он шутки ради сказал, что хотел бы, чтобы его прах покоился внутри камня для керлинга.

И что вы думаете? Мама решила исполнить его волю.

— Да ты спятила, он же пошутил! — заорал я и вдруг разрыдался до соплей. Мама сгребла меня в охапку и так сильно прижала к себе, что я сразу перестал реветь.

— Послушай, Макс, — говорила мама, переходя с крика на шепот, как ненормальная, — нам всем очень не хватает крыльев. Понимаешь, о чем я?

Я не стал спорить. Не захотел огорчать ее сильнее, потому что в периоды стресса она могла броситься в объятья своих старых подружек, Маргариты и Кровавой Мэри. Через две недели после похорон я нашел ее на кухне, бледную и дрожащую. В руках она держала штопор с двумя ручками, напоминающий инструмент, которым делают аборты.

— Ты чего, мам? — спросил я слабым детским голосом. Я перепугался.

— Ничего, дорогой, — промямлила она.

Тут я увидел на столе бутылку белого вина. Я стоял в дверях и наблюдал, как она откупорила бутылку, налила полный стакан и с бульканьем вылила остатки в раковину. Потом поднесла стакан к лицу, опустила в него нос и... просто вдохнула!

Пошатываясь, она вышла из кухни и протянула стакан с вином мне. Я сделал глоток — на вкус это пойло напоминало жидкую головную боль — и вылил все в вазу с увядшим букетом траурных цветов.

1. Страсти фруктовые (*франц.*).

– Потрясающе, – говорит Рубиду, увидев камень для керлинга, покоящийся на мамином столе, будто гигантское пресс-папье.

– Можно подержать?

Я киваю, он нежно берет камень за кривую ручку и усаживается в кожаное кресло. Ладонью поглаживает сероватую с белыми прожилками гранитную поверхность камня.

До встречи с Рубиду я не говорил о камне никому из друзей: есть что-то идиотское в том, что твой папа замурован в граните, словно кремированный джинн в бутылке.

– Расскажи об отце, – просит Рубиду.

Я сажусь на мамину кровать и рассказываю о моем отце. О том, как он преподавал английскую литературу в училище. Как в присутствии моих друзей употреблял слова типа "дрочилы" и "мазилы" – просто чтобы довести меня до белого каления.

– Еще, Хиппи, – снова просит Рубиду.

Я погружаюсь в воспоминания, но избегаю щекотливых тем, умалчиваю, к примеру, о том, как страдал отец из-за маминого пристрастия к выпивке.

– Речь у него была протяяяяжная, – продолжаю я, – потому что вырос он в Алабаааааме. Он был страшный болтун – трепался без продыху. Будь моя воля, я бы отключал его, как национальное радио. Но после его смерти в доме наступила мертвая тишина, и, кажется, мне стало не хватать его вечно фонившего голоса.

Обычно я ни с кем не делюсь такими, очень личными вещами. Но Рубиду я рассказываю все, и, клянусь, у него слезы к горлу подступают. На пару секунд меня пронизывает жуткая боль, какую я испытывал, когда умер папа: будто в сердце тебе втыкают острые щепки. Но затем я перевожу взгляд на Рубиду и начинаю хохотать.

– В чем дело? – интересуется он. – Что тут смешного?

Он так ласково поглаживает камень для керлинга – можно подумать, ублажает киску. Я отбираю у него камень и кладу обратно на стол. После этого я поднимаю Рубиду – он легкий, как девчонка, – и кидаю его на мамину кровать.

– Эй! – удивляется он. – Ты чего?

В это время из гостиной слышится мамин крик:

– Мебель не ломайте!

Можно подумать, она забыла, что мы давно уже не первоклашки.

Рубиду живет в огромном темном доме, заставленном неудобной старинной мебелью с кривыми ножками. По стенам развешаны мрачные отретушированные фотографии усопших родственников.

Он пригласил меня на барбекю, которое устроили на заднем дворе его предки. Я рассчитывал на хот-доги и гамбургеры, однако мероприятие обслуживается официантами. Они разносят подносы с крошечными закусками, просачиваясь сквозь толпу гостей. Мужчины разряжены в льняные костюмы и бабочки. Приглашена скрипачка. Не считая двух шестилетних карапузов, кидающихся в нее чипсами, я тут самый юный.

Уединившись на застекленной веранде, мы с Рубиду едим полагающийся на десерт пирог. Он снова талдычит об этом шизоиде по имени

Николас Поп, американском художнике, который занимается межвидовой пересадкой генов.

– Малый выделил зеленый флуоресцирующий белок, который вызывает свечение тихоокеанской медузы, – говорит Рубиду, размахивая вилкой. – И прикинь, он ввел этот ген в зиготу морской свинки. Прямо в ДНК.

Его лицо сияет, а левое колено чуть подрагивает в такт словам. Наблюдая за ним, я прихожу к выводу, что мои старые друзья из Сент-Бруно сочли бы Рубиду чудиком.

– При обычном освещении морская свинка-альбинос ничем не отличается от представителей своего вида. Но стоит подключить немного ультрафиолета, и это существо начинает излучать ярко-зеленый свет.

– Почему этого шарлатана называют художником? – спрашиваю я. – Можно подумать, теперь светящийся в темноте грызун считается произведением искусства.

– Как посмотреть, – мычит Рубиду с набитым ртом. Он громко сглатывает. – А что, если искусство – поиск красоты в неожиданных местах?

У этого Попа есть своя страничка в Интернете: www.chimera.com. Рубиду говорит, что отправил ему мейл, типа письмо от фаната, и Поп ответил. Скоро Поп выступает с лекциями в Монреале, и он прислал Рубиду два бесплатных билета. Рубиду достает их из кармана и протягивает один мне.

– Это тебе, Хиппи, – говорит он, потрепав меня по колену. – Хочу отблагодарить тебя за то, что выслушиваешь мои бессвязные речи.

Билет ярко-зеленый, флуоресцирующий. На одной стороне дата лекции и адрес театра. На другой – лишь одно слово, которое я читаю вслух: "Светитесь".

Папе бы понравилось, что мы просаживаем его страховку в ресторанах, шутит мама. Поэтому каждый четверг мы отправляемся в какой-нибудь новый ресторан: индийский, эфиопский, тайский, мексиканский – не все ли равно какой – и заказываем что-нибудь эдакое, чего обычно не едим. Сегодня вечером я уминаю бобовую похлебку и перепела, фаршированного яблоками и тмином, а мама расправляется с улитками, фаршированными козьим сыром, и с тазиком устриц. Мы в по-домашнему уютном французском ресторанчике на дюжину столиков. Наш стол покрыт желтой скатертью, разукрашенной подсолнухами и еще чем-то вроде навозных жуков.

Пока я выбираю десерт, мама спрашивает, доволен ли я своей летней работой.

– Сегодня фасовал баклажаны, – отвечаю я. – Ты когда-нибудь замечала, сколько в них красоты? У них такие маленькие фиолетовые животики, как у Будды.

Я стараюсь разглядеть красоту в самых неожиданных местах, но маму, судя по выражению лица, это смешит.

– Что стряслось с моим сыночком, не знаешь, Простачок?

Такое прозвище дала мне Мэдисон О'Коннор, моя бывшая подружка. Она звала меня Простачком даже в мамином присутствии.

– Мэдисон не объявлялась? – спрашивает мама, и я отрицательно качаю головой.

Мэдисон пользовалась духами, пахнувшими как земляничный порошок, который добавляют в молоко. После ее переезда в Чикаго я купил баночку, чтобы запах напоминал о ней. К тому времени, когда баночка опустела, мы практически перестали переписываться.

— Иногда отношения просто сходят на нет, — замечает мама и вздыхает, будто актриса в трагедийной роли.

— Рассказывай, что происходит?

Какое-то время она загибает углы салфетки. Потом выпаливает:

— Брайан сделал мне предложение.

Перепел, которого я съел, начинает выклевывать мои кишки.

— Я собираюсь ему отказать, — говорит мама, заметив мою оторопь. — Мы ведь встречаемся всего четыре месяца. — Она запускает пальцы в свой начес. — Брайан очень мил, но... с ним так скучно. Вероятно, он единственный анестезиолог, способный усыпить пациента без лекарств.

Демонстрируя зубные пломбы, она разражается своим фирменным хохотом над собственной шуточкой.

Мне стыдно, что я так отреагировал на новость о Брайане.

— Это здорово, что ты с ним встречаешься, — говорю я.

От удивления у мамы брови лезут на лоб.

— Нет, я и вправду так думаю, — говорю я, пытаясь понять, не вранье ли это. После чего произношу то, в чем действительно уверен: — Папа бы не возражал.

Мне становится не по себе оттого, что я упомянул отца, но мама только улыбается, разглядывая пустые раковины — свои кастаньеты.

Тем же вечером я подслушиваю, как мама разговаривает в своей комнате за закрытой дверью. "Одна тысяча трезвых дней, — говорит она. Мне кажется, что она беседует по телефону с одной из своих безумных подружек, но только до тех пор, пока она не добавляет: — Ты можешь в это поверить, Карл?" Она разговаривает с камнем для керлинга.

В пятницу у меня выходной. Около полудня раздается звонок в дверь. Нажав кнопку домофона, я слышу надтреснутый голос Рубиду: "Максу можно выйти погулять?"

Он ведет меня на прогулку по своим любимым местам в Монреале. Около входа на станцию метро "Площадь королевы Виктории" показывает мне уличные фонари в виде двух извивающихся зеленых, как ящерицы, чудовищ с желтыми поросячьими глазками. Прямо-таки атакующие город инопланетные гады из какого-нибудь ужастика, снятого в пятидесятые. В соседнем здании мы катаемся на его любимом лифте: хитроумное изобретение, напоминающее клетку для птиц, с обсыпанным перхотью замшелым лифтером внутри. Пока мы едем наверх, старикашка объявляет этажи на невнятной смеси французского и английского: туазьемтгетий этаж, катгиемчетвегтый этаж...

Потом мы гуляем по змеящейся улице с выпирающими из асфальта булыжниками. Рубиду хочет мне показать крошечный деревянный домик, зажатый, как в сэндвиче, между двумя трехэтажными кирпичными зданиями. Он карамельного цвета, с большими ставнями и деревянной

кровлей. Такое впечатление, что, если позвонить в колокольчик, дверь откроют Герда и Кай.

Ниже по улице разбит небольшой сквер со статуей прикорнувшей кудрявой собаки. Рубиду гладит собаку по голове и спрашивает:

— Ну а тебе, Хиппи, что нравится?

Мне ничего не приходит в голову, поэтому я отвечаю:

— Прогуливаться с моим недоразвитым другом, — и Рубиду одаривает меня сияющей улыбкой, как будто я сделал ему величайшей комплимент.

Вечером мы бродим по центру города. По случаю джазового фестиваля на улицах перекрыто движение, всюду слоняются толпы народу. Напротив Музея изобразительных искусств установлена эстрада. Мы находим свободное место на лужайке перед музеем и растягиваемся на земле. Рядом сидят два панка: парень с фиолетовыми волосами и его подружка с голубыми, у обоих выбриты брови. Рубиду показывает мне ручную крысу, сидящую на плече у голубоволосой девушки.

— Ты думаешь, что ты особенный, Хиппи, — говорит он, — но если расшифровать твой геном, окажется, что он выстроен из таких же блоков, как у этой крысы.

Я собираюсь ответить, что вовсе не думаю, будто я особенный, но осекаюсь: сегодня один из тех чудных деньков, когда и вправду верится, что ты человек особенный.

Рубиду говорит, что мы с крысой сложены из одинаковых кирпичиков самого лучшего "Лего".

— С одной лишь разницей, — уточняет он. — Выбор кирпичиков и порядок их сборки иной.

На сцене к микрофону пробирается упакованная в облегающее платье певица. Лежа навзничь на траве, я слушаю ее низкий замогильный голос, поющий о любви и утрате, и высокий радостный голос Рубиду, рассуждающего о жизни и детских конструкторах.

Мы играем двое против одного: Рубиду и кормилица из "Ромео и Джульетты" против меня. Кормилицу зовут Шарлотта, она симпатичная двадцатилетняя девчонка, не получившая роль Джульетты из-за того, что чернокожая и толстая.

— Шевели своей костлявой задницей, — орет она на Рубиду, передавая ему мяч.

Он взирает на нее с изумлением. К тому времени, когда Шарлотту снова зовут на репетицию, майка Рубиду становится пятнистой от пота, как будто ее пометили лабораторными чернилами. Он валится на площадку.

— С меня хватит, — хрипит он. — Господь сжалился над моей белой костлявой задницей.

Мы отправляемся ко мне домой, чтобы поужинать и посмотреть его любимый фильм "Космическая Одиссея-2001". Мама на кухне, стоит у плиты, помешивая деревянной ложкой в кастрюле.

— Салют, Макс. Салют, Рубиду. Je vous fais du chili ce soir, les gars[1].

1. Я делаю вам чили сегодня вечером, ребята *(франц.)*.

Я в шоке по двум причинам. Во-первых, только я называю Рене-Луи Рубиду. Во-вторых, не пойму, зачем моя мама вечно позорит меня своим корявым французским?

Мама зачерпывает немного чили и подносит ложку к губам Рубиду. "Delicieux"[1], – бормочет он. Капелька соуса размазалась по его подбородку, и мама, обняв Рубиду за плечи, вытирает пятно кухонным полотенцем. Затем треплет его по волосам. Моя мама обожает всякие телячьи нежности, которые могут смутить человека до смерти.

Рубиду застенчиво глядит на мою маму.

– Хотите посмотреть с нами кино, Пегги?

Пегги отвечает, что не сможет, потому что через пять минут уходит к АА, то есть "Анонимным алкоголикам".

Она произносит АА, как будто это АРП[2].

Похоже, Рубиду начинает нервничать.

– Понятно. Извините.

– Не стоит извиняться, – уверяет его мама. – Мое пьянство уже несколько лет под контролем. – И добавляет: – Наверно, тебя это удивляет – ведь я врач.

– Вовсе нет.

– Некоторые врачи выпивают даже на работе. Клятва, которую они дают, скорее гипотетическая, нежели Гиппократова, – говорит мама и заходится своим гоготом.

Пока я наливаю нам по стакану воды, Рубиду глубокомысленно сообщает: он читал, что алкоголизм – это заболевание.

А мне думается, это *больше похоже на самоистязание.* Однажды мама забирала меня из скаутского клуба в стельку пьяная. После этого случая руководитель клуба стал интересоваться, как мне живется дома, будто готов был в случае чего вызвать инспектора из "Помощи детям".

Мама продолжает трепаться, и я объявляю, что Рубиду нужно в душ. Как только он исчезает в моей комнате, мама поворачивается ко мне:

– Тебя все еще смущает мой алкоголизм? – Она тычет в меня деревянной ложкой. – Я научилась это принимать, и ты учись.

Смахивает на девиз восьмого этапа в ее двенадцатиступенчатой программе.

– Меня смущает совсем другое – то, что ты лапаешь Рубиду, – отвечаю я и, чтоб казаться еще гаже, добавляю: – Тебе не кажется, что ты для него старовата?

Она глядит мне прямо в глаза.

– Ревнуешь?

Можно подумать, я могу ревновать Рубиду.

После маминого ухода я стягиваю сырую от пота майку и с размаху толкаю дверь в свою комнату. Из ванной к моему шкафу тянутся мокрые следы. Рубиду, стоя перед зеркалом у шкафа, расчесывает волосы. Под ногами валяется его спортивная сумка с вываливающейся скомканной одеждой.

Я подхожу сзади. Его бедра обтянуты одним из моих пляжных полотенец, по спине текут струйки воды. Шея пониже затылка поросла тонкими белыми волосиками.

1. Восхитительно (*франц.*).
2. Ассоциация родителей и педагогов.

— Ну как, теперь костлявая задница чистенькая? — спрашиваю я и ради смеха стягиваю с него полотенце. "Действительно костлявая", — собираюсь сказать я, однако при виде обнаженного тела слова застревают в горле.

Рубиду, выпучив глаза, разглядывает мое отражение в зеркале. Мы смотрим друг на друга не мигая, будто играем в гляделки. Моргнув первым, я понимаю, что проиграл, и отвожу взгляд в сторону.

Он кладет расческу и медленно поворачивается ко мне. Вначале я вижу его голубой глаз, потом карий. Он поднимает руку и хватает меня за левый бицепс.

Крепко сжимает.

Я пытаюсь освободиться.

— Пора в душ, — бормочу я.

Убегаю в ванную и запираюсь там.

Я долго стою под холодными струями, но и после душа меня прошибает испарина.

В начале фильма человек-обезьяна размахивает какой-то дубинкой и разносит вдребезги череп дикого кабана.

Мы с Рубиду сидим в разных концах дивана и смотрим "Космическую Одиссею". Ломающимся, как в переходном возрасте, голосом Рубиду говорит:

— Это хорошо, что твоя мама посещает "Анонимных алкоголиков".

— Угу, — отзываюсь я, не отрывая глаз от экрана и засовывая в рот ложку с чили.

Теперь идет эпизод, в котором космический корабль летит на Луну. На стюардессе туфли со специальными подошвами, чтобы удержаться на полу.

Позднее, когда Рубиду наконец уходит, я слоняюсь по дому, как та стюардесса. Я рассчитываю каждый шаг и ступаю осторожно, чтобы не сорваться в невесомость.

Следующие несколько дней Рубиду проводит в Квебеке на свадьбе старшей сестры. Я фасую артишоки и китайскую капусту. Фасую мандарины и манго.

Я звоню Питу, старому приятелю из Сент-Бруно, и мы катаемся на роликах по велосипедным дорожкам на Плато. Пит долговязый, рыжий и обсыпан веснушками. На роликах он как жираф на колесах.

Мы покупаем хот-доги с квашеной капустой и жадно пожираем их, сидя на ступеньках у входа в закусочную. Пит толкает меня локтем и кивает в сторону двух девчонок неподалеку от нас.

— Телки хочучие, — шепчет он.

Так он называет девчонок, которые привлекают его как мужчину.

Я разглядываю девушек. Затем переключаюсь на улицу позади них, где по фасаду каждого двухэтажного дома от земли к балкону вьется железная винтовая лестница.

Во время нашей прогулки Рубиду сравнивал монреальские лестницы с закрученными спиралью молекулами ДНК.

Мне любопытно, чем он сейчас занят. О чем думает. Потом вдруг соображаю, что я не извращенец, нечего на нем зацикливаться, — надо с этими мыслями завязать.

Поэтому я иду вместе с Питом пообщаться с девушками. Я их смешу. Улыбаюсь — рот до ушей. И, чтобы произвести впечатление, делаю стойку на руках, не снимая роликов. Футболка задралась, к голове приливает кровь, в желудке кувыркается хот-дог — в общем, я почти прихожу в норму.

В прошлом году я побывал на вечеринке, которую устраивал Чарли Деллер, баскетболист из другой школы. Под каким-то предлогом Чарли ведет меня в кабинет отца. Наливает из бара по бокалу ментолового ликера со вкусом концентрированной жидкости для полоскания рта. Чарли немного пьян. С минуту он хвастается, что может отжаться от скамейки сто восемьдесят раз, а на второй минуте наклоняется и проводит языком по моей щеке, как будто это шарик с мороженым.

— У тебя приятная кожа, — успевает сказать он прежде, чем в комнату входит его подружка.

Неделю спустя наша баскетбольная команда играет против его команды. Увидев меня, Чарли Деллер спрашивает: "Как жизнь, старик?" Он говорит это непринужденно, словно в манере лизать человеку щеки нет ничего странного.

Чарли, видно, решил не вспоминать о том происшествии, и очень умно поступил, потому что теперь, когда мы с ним где-нибудь сталкиваемся, я практически уверен, что вся эта сцена в папашином кабинете мне приснилась.

В субботу днем я гоняю мяч в парке и начинаю мазать, когда вижу Рубиду верхом на его дурацком велике и с ранцем за спиной. Прижимая мяч к животу, иду к нему, чтобы поздороваться. Интересуюсь, как прошла свадьба.

— Скукотища. Вызывает желание пожить во грехе.

Рубиду улыбается, а мне становится неловко, как будто он намекает, что это *нам* нужно пожить во грехе. Я опускаю глаза вниз, на небольшой муравейник, торчащий из щели в бетоне. Разоряю муравейник ногой.

Рубиду развязывает шнурок на ранце и достает большую коробку, обернутую фольгой.

— Это тебе, — говорит Рубиду, протягивая мне коробку.

Я стою и смотрю на коробку, в горле сушь, как в пустыне.

— Ну же, открывай.

Он трет ладони о джинсы — можно подумать, они взмокли.

Я разворачиваю фольгу. Это обувная коробка. Внутри баскетбольные кроссовки фирмы "Рико". В ярко-красную полоску, с подошвой на воздушной подушке. Язычки нацелены прямо на меня.

— Сегодня не мой день рождения.

— И что с того? — говорит Рубиду. — Примерь. У тебя ведь сороковой?

Я сажусь на скамейку, сбрасываю старые кроссовки и зашнуровываю "Рико". Бегаю туда-сюда по площадке и рассуждаю: "Итак, он купил подарок. Но это ничего не означает".

— В самый раз, — говорю я.

— Загляденье, — широко улыбаясь, кричит Рубиду. — Золушка баскетбольной площадки.

Я вспыхиваю:

— Как ты меня обозвал?

— Ты чего? — недоумевает он.

Тем же ненавистным мне шепотом, переходящим в ор, каким поучает меня мама, я бросаю:

— Я тебе не Золушка, усвоил?

— Ладно, ладно, — отвечает Рубиду. И добавляет с хитрой улыбочкой: — Но согласись, мне роль принца очень подходит.

Ярость выплескивается из меня, как помои.

Я снимаю левую кроссовку и швыряю ее на землю. Правая, запущенная через площадку в голову Рубиду, шлепает его прямо по лицу.

Он вздрагивает и накрывает ладонью нос.

А я просто стою и не знаю, как быть. Десятилетний пацан, с которым случилась истерика на виду у всех.

Рубиду отводит ладонь. Я думаю, что увижу кровь, но крови нет. Зато нос вспух, а покрасневшие глаза полны слез.

Он направляется ко мне.

Я опускаю взгляд на свои ноги в носках, ожидая ответного удара; я надеюсь, что он меня ударит. А он чешет мимо и, задев меня плечом, тихо цедит сквозь зубы:

— Носи на здоровье.

Добравшись до дома, я засовываю "Рико" под кровать, к старым играм, конструкторам с динозаврами и спортивным трофеям.

Меня тошнит, кружится голова. Такое впечатление, будто сердце, желудок и мозги связаны мертвым узлом.

Я лежу на кровати.

Пытаюсь размышлять. Стараюсь сохранять спокойствие. Хочу рассуждать логически.

У меня есть доказательство, что я нормальный: однажды я спал с Мэдисон. Обошлось без романтики — ну и что с того? Сначала мы вместе принимали ванну. Мэдисон напустила в нее тонну пены. От этой пены на коже остался толстый скользкий налет. Однако у меня все сработало как надо. Пока это продолжалось, я не мог отделаться от мысли, что мы выполняем какие-то причудливые гимнастические упражнения.

И теперь я спрашиваю себя: есть у меня желание таким же манером поупражняться с Рубиду или нет?

Затем на меня находит отвращение ко всем на свете. К себе — за то, что обидел Рубиду. К нему — за то, что обозвал меня Золушкой.

Но в особенности к себе — за то, что хотел обнять Рубиду после того, как его ударил.

Позднее раздается стук в дверь.

— Уйди! — кричу я маме.

Она тем не менее входит, опрыскивая шею туалетной водой. На ней блузка из тряпочек, напоминающих вязаные салфетки. На прошлой неделе она отшила Брайана и теперь собирается в кафе, на свидание со знакомым по чату в Интернете.

— Как я выгляжу?

Я вру, что слишком много помады, и она целует салфетку "Клинекс", чтобы снять лишний слой.

— Надеюсь, тебе известно, — говорю я, — что женщин, которые попадают в Сеть, продают как белых рабынь.

Отряхивая невидимую пылинку с юбки, она отвечает:

— Иногда, Макс, нужно быть готовой испробовать и такую возможность.

Мне хочется сказать ей: "Не уходи". Не потому, будто я боюсь, что к ней на свидание явится убийца с топором. И не потому, будто я против, чтоб она с кем-то встречалась, позабыв о моем отце. И даже не оттого, что мне надо поговорить о том, что меня гложет. Просто мне хочется, чтоб она оставалась рядом, — только и всего. Чтобы бессмысленно шаталась по квартире, как делают другие мамы, когда ребенок, надувшись, не выходит из своей комнаты.

Она наклоняется и целует меня в лоб.

— Планы не изменились? Уходишь вечером с Рене-Луи? — спрашивает она.

Я пожимаю плечами. Лекция с дурацким светящимся в темноте грызуном начинается в семь. Мой зеленый флуоресцирующий билет торчит на магнитной доске.

После того как мама уходит, я насыпаю себе хлопьев на ужин. Аппетит, однако, на нуле, так что я оставляю недолговечные хлопья размокать в молоке.

Я обхожу квартиру. Перемещаюсь из комнаты в комнату. Под конец останавливаюсь в маминой и листаю "Ромео и Джульетту", которую приметил на книжной полке. Это школьный экземпляр моего папы, весь в загнутых уголках и пометках. На полях папа записывал карандашом свои комментарии.

"Любовь — не игра словами, — написал он во втором акте. — Скорее слова, которые выпустили на переменку поиграть и покачаться на качелях".

Что, к чертям собачьим, это значит?

Я вдруг начинаю сердиться на отца за его идиотскую тайнопись — оставался бы лучше рядом, помог бы разобраться, что к чему. Как бы не так: лежит себе тут мертвым камнем.

Я хватаю камень для керлинга и иду в коридор, он же дорожка для боулинга. Запускаю эту гадскую глыбу по полу с такой силой, что она врезается в стену, сдирая краску и оставляя чудовищную вмятину.

Я сажусь на пол.

Подушечками указательных пальцев нажимаю на уголки глаз, чтобы не разреветься.

Но это не помогает.

Когда мне было тринадцать, однажды я видел, как плакал отец.

Мы отдыхали в нашем коттедже на озере Данфорт. Я ходил собирать малину. Когда вернулся, услыхал громкий голос мамы, перебравшей джина с тоником. Мама сидела на веранде с немецкой парой из соседнего дома.

Увидев меня, она засюсюкала: "А вот и моя крошечка!"

Я убежал от нее на пристань. Там, опустив ноги в воду, сидел отец. Я встал на цыпочки, хотел подкрасться и напугать его. Но прежде чем успел подать голос, скрипнула доска, и папа обернулся.

Щеки у него были мокрые, а глаза красные. Из носа текли сопли.

Я жутко испугался.

Тем не менее я примостился рядом, плюхнув ноги в воду, и стал наблюдать за головастиками, шнырявшими вокруг моих пальцев.

— Пап, ты ее ненавидишь? — выдавил я наконец. — Ты ведь до́ смерти ее ненавидишь.

— Нет, Макс, — сказал он, вытирая нос тыльной стороной ладони. — Я плакал, потому что до́ смерти ее люблю.

В семь тридцать я приезжаю в "Экс-Центрис", где выступает Николас Поп с лекцией о светящихся грызунах. На тротуаре перед театром топчется взад-вперед с десяток пикетчиков. На шеях у них светящиеся в темноте бусы, в руках плакаты "Светиться — не значит светить!" и "Вспомните доктора Франкенштейна!"

Швейцар с бычьей шеей не желает меня пропускать, но когда я сую ему под нос билет, проталкивает меня вовнутрь. Там длинный вестибюль с каменным полом и стеклянным потолком. Из него можно попасть в три зала. Девушка-контролер говорит мне, что я опоздал, и указывает на зал "Феллини".

Я проскальзываю в слабо освещенный зал и вижу на сцене человека в черном. Внимательно оглядываю публику — человек двести навскидку — и наконец отыскиваю в первых рядах затылок Рубиду.

Пока я пробираюсь во второй ряд, выступающий, видимо тот самый Поп, говорит: "Меня не интересует эстетика. Для меня эстетика — то же самое, что приматология для обезьян". В зале раздается смех, Рубиду хохочет вместе со всеми, пока не замечает, как я устраиваюсь в соседнем кресле.

— Привет, — шепчу я.

— Неужто гнусная Золушкина сестрица пожаловала? — бормочет он, глядя прямо перед собой.

— Вот именно, — отвечаю я.

Во рту у меня привкус мела, как от таблетки аспирина. Я поворачиваюсь к сцене. Тут только я замечаю морскую свинку-альбиноса. Она в прозрачной пластиковой коробке на столе перед Попом.

— На протяжении тысячелетий человек относился к эволюции растений и животных потребительски. Поэтому создание гибридов ничему не противоречит, — говорит Поп в спрятанный от глаз публики микрофон. Этот тип выглядит как проповедник, наряженный в кожаные штаны рок-звезды. Он разглагольствует о медузах, мутациях, ферментах, а на экране за его спиной демонстрируются чашки Петри, X- и Y-хромосомы и тому подобное.

Я практически его не слушаю. Я вслушиваюсь в дыхание Рубиду: вдох-выдох. "Значит, так, — соображаю я, — надо извиниться. Сказать, что он классный парень, хороший друг — но не больше чем друг. А дальше поступить, как Чарли Деллер, и сделать вид, будто ничего не было".

Поп выуживает морскую свинку из клетки. Она сучит лапками в воздухе, пока Поп подносит ее к своей груди. Мы сидим так близко, что я вижу ее темно-красные глаза, похожие на капли крови.

— Я задался целью, — объясняет Поп, поглаживая белую шерстку и розовые ушки свинки, — посредством малышки Химеры бросить вызов

тому, что принято считать генетически чистой линией. Тому, что определяется как непохожесть.

Свинка бьется в руках Попа, издавая звуки, будто детская игрушка-пищалка.

– Зеленый флуоресцирующий белок, – говорит Поп, – не вносит никаких существенных изменений в живой организм, за исключением одного.

В следующую минуту вестибюль взрывается гневными выкриками.

– Но мы придаем колоссальное значение этому единственному изменению, – грохочет Поп.

Распахивается задняя дверь, все сидящие в зале оборачиваются. Строем входят пикетчики, распевающие: "Черта с два: светиться – никогда!" Один из них разбрасывает листовки. Сидящая в проходе женщина вскакивает, чтобы вырвать плакат, – ее отшвыривают назад прямо на колени какого-то парня. Тем временем качок-швейцар с красным от ярости лицом орет во всю глотку: "Câlice de tabarnac!"[1].

Рубиду поворачивается ко мне, его левая нога скользит по моей правой, и, клянусь, я хочу отодвинуться, но моя нога не шевелится.

– Бардак, – ухмыляется он.

– Полный, – отзываюсь я шепотом.

Поп со сцены дает знак проекторной будке. В зале гаснет весь свет. На две секунды воцаряется полная темнота. Потом слышится громкий щелчок. Из-под колосников опускаются синеватые лучи.

Морская свинка в руках Попа вспыхивает зеленым сиянием. Как ментоловый ликер. Как зеленый свет светофора, разрешающий продолжать движение. Как светящаяся кожа Франкенштейна.

Этот свет и манит, и по-настоящему пугает.

И еще неожиданно поражает своей красотой.

1. Традиционное в среде канадских франкофонов ругательство с использованием слов, обозначающих церковную утварь.

Анар Али

Крылатая малютка Хаки

Перевод с английского Олеси Качановой

МАЛЮТКА Хаки родилась с парой прозрачных крыльев, плотно прилегающих к спине и незаметных на фоне коричневой кожи.

Только если взять девочку на руки или положить к себе на колени и как следует приглядеться (а для верности провести пальцем по спинке), становился виден, и то едва-едва, контур крыльев – тоненькая трубочка. Ее было чрезвычайно сложно обнаружить и легко спутать с вздувшейся веной, которая может лопнуть от малейшего укола. Между лопатками и дальше по всей спинке шла узкая щель – что-то вроде кармашка, куда складывались крылья. Кончик правого торчал наружу, но так застенчиво, словно демонстрировал готовность отшелушиться или отстать, как короста или мягкая скорлупа с переваренного яйца. Долго, очень долго никто не подозревал о том, что малютка Хаки умеет летать.

Секрет малютки, по счастью, хранила ее *айя*[1] по имени Айша.

Среди деловых и других "важных" людей Танганьики[2] было принято каждому ребенку нанимать айю – не потому, что в этом была необходимость, а потому, что няня считалась допустимой роскошью и входила отдельной запланированной строкой в бюджет большинства семей. Многие мужчины считали присутствие айи в доме несомненным плюсом: не только дети получали хороший уход, но и у жен оставалось время для исполнения крайне важной обязанности – надлежащим образом заботиться о супругах.

© Anar Ali, 2006
© Олеся Качанова. Перевод, 2006

1. Няня (*хинди*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Материковая часть Объединенной Республики Танзания в Восточной Африке.

Арушским Хаки никак не удавалось найти хорошую айю, а между тем их дочь должна была родить со дня на день. Мистер Хаки обратился за помощью к брату, живущему на Занзибаре, и тот немедленно предложил прислать в Арушу свою айю Айшу — так сказать, напрокат. Мистер Хаки с благодарностью откликнулся на этот щедрый, как ему тогда казалось, жест, тем более что всем было известно: брат с женой наняли Айшу, потому что надеялись обзавестись ребенком — однако прошло уже несколько месяцев, а невестка так и не забеременела.

Незадолго до отъезда в Арушу Айша подслушала, как на веранде за чаем занзибарские Хаки рассуждали о том, почему у них нет детей. В борьбе со злой судьбой они перепробовали все возможные средства, даже оставляли на крыше дары духам, но это не помогло. Поразмыслив, они пришли к убеждению, что причина в Айше. После того как ее наняли, их бизнес стал хиреть, верно? А миссис Хаки упала с лестницы и сломала лодыжку. (Бедняжка!) Мистер Хаки подхватил неведомую заразу (и не мог ходить в лавку целых две недели!). А однажды миссис Хаки видела призрак маленькой девочки: он появился из кухонной стены, а потом ушел обратно под штукатурку; похоже, малышка навсегда застряла меж двух миров. Сомнений нет, это все Айша: она наслала на них *уганту*[1], лишив удачи и потомства. Кроме того, соседи не раз доносили, что видели Айшу выходящей поздно вечером из зарослей дикого кустарника, а зачем девушке там бродить? Разве что она гуляющая или замыслила недоброе. В довершение ко всему в последнее время пошли слухи, будто *вачави*[2] активизировались. Что, если Айша не просто навела порчу, но входит в эту тайную секту и наделена способностью вызывать *джуджу*[3]? Необходимо срочно принять меры. Иначе они обречены.

Чтобы проверить догадки, было решено послать Айшу в Арушу. Если подозрения подтвердятся, это сослужит двойную службу: у занзибарских Хаки родится ребенок, а от арушских отвернется удача, и тем самым будет покончено с несправедливым расположением звезд в пользу одного из братьев.

Вскоре после отъезда айи занзибарская миссис Хаки забеременела — и Айша оказалась в ловушке. Теперь, случись девушке хоть в чем-то провиниться, арушские Хаки немедленно вернут ее в Занзибар, где к тому времени слухи о ее зловещем даре проникнут-просочатся в сады "важных" людей. Ее не возьмут ни в один дом не только в Каменном Городе, но и на всем Занзибаре — и что ей тогда делать? Ни семьи, ни мужа у Айши нет; она снова окажется на улице, одна-одинешенька. Пока ее не наняли занзибарские Хаки (гордившиеся своей филантропией), она жила в трущобах, изо всех сил цепляясь за жизнь. Мать Айши сбежала с юнцом по имени Оман, отец вскоре повторно женился, а молодая жена, заимев собственного ребенка, стала гнать Айшу из дому. Отец разрывался между привязанностью к новой, растущей семье и неослабевающей любовью к первенцу, хоть Айша и напоминала ему об оскорбительном крахе предыдущего брака. Его колебания сводили с ума молодую жену, и в доме каждый день вспыхивали скандалы — в итоге жизнь стала невы-

1. Зд.: порча.
2. Тайная секта, членам которой приписывают сверхъестественные способности: умение превращаться в животных и птиц, насылать порчу, общаться с духами умерших.
3. Зд.: несчастья, беды, напасти.

носимой. Наконец отец попросил у Айши прощения, сказал, что очень ее любит, но выбора нет: ей придется уйти.

Грозящую ей опасность Айша обнаружила во вторник, через несколько дней после того, как арушские Хаки привезли новорожденную дочь домой. Войдя в детскую, она увидела, что малышка выпорхнула из люльки и, энергично хлопая крыльями, сосет воздух, как пустую грудь, тщетно пытаясь насытиться. Айша улыбнулась и покачала головой, как мать при виде безобидной шалости дитяти. Чтобы дотянуться до малютки и не дать ей удариться головой о потолок, айе пришлось встать на цыпочки — и вдруг она поняла, что уродство ребенка будет целиком и полностью поставлено ей в вину. Как занзибарские Хаки сочли Айшу причиной своего бесплодия, так Хаки из Аруши заявят, будто она наслала на их дочь угангу. У Айши бешено застучало в груди. Прижимая малышку к бьющемуся сердцу, она сложила крылья и заправила их в кармашек. Девочка вопила и извивалась, выгибая спинку и пиная айю в живот. Из груди Айши невольно вырвался крик.

Встревоженная горестным плачем дочери и няниным воплем, в комнату ворвалась миссис Хаки.

— *Каманини свезе, бана, ху?* — взвизгнула она, схватив девочку. — Боже, что ты делаешь с ребенком?

— Ничего, госпожа. Я ничего не делаю, — Айша спрятала руки в карманы своего расклешенного халата.

— Тогда, черт возьми, почему она так надрывается? И почему ты на нее кричала? Она, благодаренье Богу, человек, а не животное. Хорошая моя девочка. Ни разу так не плакала, не шумела. — Миссис Хаки гладила дочь по голове, но та не унималась. — *Бас, бета, бас.* Все позади. Никто тебя не тронет, милая. Не бойся, *миту*, мамочка рядом.

Одной рукой укачивая малышку, другой миссис Хаки схватила Айшу за локоть и, притянув к себе, сказала:

— Если я только узнаю, что ты сделала моему ребенку хоть что-то плохое, пеняй на себя.

Айша в ужасе отшатнулась. Хозяйка сильно ее тряхнула.

— На твое счастье, я пока не стану ничего говорить мистеру Хаки. Ты меня огорчила — и он ни единой секунды не потерпит твоей *шензе-вара*! — Миссис Хаки отпустила Айшу, напоследок вонзив в ее руку свои наманикюренные ноготки.

Айшу бросило в жар. Ей хотелось в ответ завизжать и завопить или даже ударить хозяйку по лицу. Вместо этого она стала тихонько баюкать пострадавшую руку.

Миссис Хаки еще немного покачала малышку и передала ее Айше.

— Смотри у меня! Чтобы такое больше не повторилось. — Она глянула на часы. — Покорми ее. Уже пора.

Выйдя из детской, хозяйка завернула за угол и налетела прямиком на мужа, только что вернувшегося домой с работы — из своего недавно открывшегося магазина "Оружие и боеприпасы Хаки".

— *Аррей,* осторожнее! — мистер Хаки отстранил жену, снял с плеча винтовку и прислонил к стене.

Миссис Хаки понимающе закивала и извинилась — она сразу заметила, что настроение у супруга скверное. Все, наверное, из-за нового магазина. С этими бестолковыми туристами хлопот не оберешься. А теперь, когда понаехали толпы американцев, станет еще хуже. Миссис Хаки

очень сочувствовала мужу. Что говорить, она счастливица, ей сильно повезло — в отличие от множества женщин, которые, похоже, просто не способны заарканить хорошего мужчину. Бедолаги! Они могут утешиться, лишь с головой погрузившись в общественную работу или благотворительность.

Чтобы развеять дурное мужнино настроение, миссис Хаки поспешила перевести разговор на его любимую тему — дочь.

— Малышка умница. Хорошо кушает, *пани-песаб* — все как надо.

Мистер Хаки расплылся в улыбке.

— Отлично. Дай-ка мне на нее взглянуть.

Миссис Хаки обрадовалась, что ее хитрость удалась, и велела Айше принести ребенка. Сунув винтовку в чехол и повесив ее на стул в прихожей, мистер Хаки посадил дочь на вытянутую руку и поверх очков внимательно оглядел. Перевел глаза на жену, снова посмотрел на малышку. Девочка, несомненно, пошла в мать — такая же красавица. Слава богу! Мистера Хаки захлестнула волна восхищения женой.

Разве она не совершенство? Он вспомнил, как с самого начала был покорен ее красотой. Узнав о матримониальных планах сына, мать возмутилась и осыпала его упреками за то, что он вздумал жениться, не посоветовавшись с ней, да еще выбрал такую паршивую семью. Отец девушки — ничтожный башмачник, так что жди неприятностей, точно тебе говорю. Ты заметил, сын, что в их роду сплошные уродцы? Кузен, к примеру, косолапит, еле ходит. А у тетушки — помнишь, такая толстая-претолстая? — лишний розоватый палец. Или возьми вторую жену дяди — был у нее прекрасный ребенок, и вдруг однажды, бог знает по какой причине, перестал разговаривать. Взял да и замолчал. Прямо на полуслове. Не иначе, это проделки дьявола. А ее старшая сестра? Кожа как у *макара*[1]. Ух-фух-фух! Ты что, сын, с ума сошел? Пожалуйста, не женись на ней, умоляю! Ты отпугнешь *бахати*[2] от нашего славного рода. Твой бедный отец в гробу перевернется.

Доводы матери не подействовали, и, чтобы достучаться до сына, она подключила родственников: кузенов, дядюшек, дедушек. Без толку. Мистер Хаки пропускал аргументы мимо ушей, ему было плевать на все возражения. Он знал одно: он желает эту женщину и ее получит. И теперь, глядя на красавицу дочь, которую родила ему супруга, ни капли не сомневался, что поступил правильно.

Мистер Хаки вернул малышку жене и спросил на *каччхи*[3], чтобы Айша не поняла:

— Как тебе наша айя?

— Молодец. Справляется.

Мистер Хаки улыбнулся, довольный, что дома все в порядке. И сразу стал прокручивать в голове перечень предстоящих сегодня дел: прежде всего, нужно распаковать партию из пятисот винтовок, прибывших из Германии, а потом, когда слуга их почистит, эффектно разместить на стенде (говорят, американцы любят, когда им представляют товар ли-

1. В индуистской мифологии водное чудовище; его представляли как огромную рыбу или крокодила.
2. Удача.
3. Диалект языка синдхи (индийская [индоарийская] группа индоевропейской семьи), на котором говорят в области Кутч индийского штата Гуджарат.

цом) — и не забыть вывесить в витрине новые тарифы на лицензии. (Как хорошо, что Танганьикское охотничье общество повысило стоимость генеральной лицензии до ста шиллингов!) Теперь, когда город наводнен богатенькими американцами, жаждущими поставить галочки напротив всех животных в своих списках, бизнес пойдет в гору. Оценив масштаб работы, которую надо проделать к приезду клиентов, мистер Хаки потребовал, чтобы обед был подан немедленно. Жена кивнула, вручила дочь няне и поспешила на кухню.

Позже, когда миссис Хаки предавалась послеобеденному сну, Айша украдкой обшарила чулан в коридоре и вернулась в детскую с ножницами и катушкой коричневых ниток. Вынув девочку из колыбели, она положила ее к себе на колени и смазала кармашек для крыльев мазью "Викс Вапораб"[1]. После этого Айша поставила кассету с новым сборником детских стишков и, осторожно заткнув тряпкой рот своей подопечной, окунула иголку в пузырек с деттолом[2].

Несколько месяцев крылья малютки Хаки оставались зашитыми, но однажды Айша, вынося в сад игрушки, увидела, что девочка, сося палец, висит на ветке миниатюрной *мачунгвы*[3], словно спелый фрукт, который пришло время сорвать. У Айши подкосились ноги. Она быстро оглядела двор — хозяева еще не выходили — и вскочила на подвернувшийся стул, но до малышки было не дотянуться. Тогда Айша метнулась за подставкой для ног, стоявшей под садовым столом, и водрузила ее на сиденье. Вскарабкавшись на эту двухэтажную шаткую конструкцию и с трудом удерживая равновесие, она принялась трясти дерево; наконец крошка Хаки, сгибая и ломая ветки, стала падать, обрушив на Айшу ливень листьев и один апельсин. Ой! Не обращая внимания на сыплющуюся листву, Айша схватила девочку, но тут стул под ними покачнулся и опрокинулся; не удержавшись, она плюхнулась в траву, крошка Хаки — на нее. Вскочив, Айша наскоро ее отряхнула и стала сворачивать крылья. Когда она запихивала их в потрепанный кармашек, девочка захныкала.

— Тсс, тсс, *тото*. Все хорошо, — погладила ее Айша. — Не плачь. — Крошка не унималась. — Перестань! — тряхнула Айша девочку. Подняла голову и увидела, что хозяйка в спальне открывает окно.

Миссис Хаки высунулась наружу, крик ее огласил сад и пронесся по зарослям дикого кустарника, тянущимся от заднего двора до самого подножья вулкана Меру:

— Что за *келеле*[4]? Какого черта вы там шумите?

Крепко прижимая к себе ребенка, Айша смотрела на хозяйку, раскачиваясь взад-вперед и едва держась на ногах.

— Госпожа, она плачет, потому что голодная. Видите, я ее кормлю.

Айша достала грудь и, поудобнее перехватив девочку, попыталась засунуть сосок ей в ротик. Но та не хотела его брать, а только плакала.

— Смотри у меня. Ты получаешь приличное жалованье, а за тобой вечно нужен глаз да глаз!

1. Мазь от кашля с ментоловым, эвкалиптовым и камфорным маслами, обладающая антибактериальным действием.
2. Сильнодействующий антисептик, которым пользуются в основном в жарких тропических странах.
3. Апельсиновое дерево.
4. Шум (*суахили*).

Айша еще глубже сунула грудь малышке в рот и прошептала:

– Давай ешь, сатанинское отродье!

Малютка Хаки укусила ее за сосок. Айша стиснула зубы. Это был обычный ритуал, предваряющий трапезу. Малышка наконец приладилась и громко зачмокала.

– Видите, госпожа, – со слабой улыбкой указала на нее Айша, – вот и все, это *мзури-сана*.

Покачав головой, миссис Хаки захлопнула окно и отвернулась.

Айша отчаялась найти способ отучить малютку летать. Ничего не поделаешь – придется отрезать крылья. Айша простерилизовала ножницы и наклонилась к девочке. Достала оба крыла (при этом из кармашка вылетел белый пух). Смазала складочки и расправила крылья на спине. И только тут заметила перемену: теперь их покрывали тонкие золотисто-коричневые волоски. Айша погладила крылья – до чего же мягкие! Какой красивый ребенок! Она взяла малышку на руки и подбросила в воздух. Та загулила и спланировала в ее объятия; айя засмеялась и расцеловала девочку в пухлые щечки. Какая славная крошка! Айша подбросила малышку во второй раз, и та, радостно захлопав крыльями, устремилась прямиком к открытому окну.

– Ой, тото! – кинулась за ней Айша, протягивая руки. – Вернись, тото. Иди ко мне!

Девочка чуть не вылетела наружу, но Айша успела поймать ее за лодыжку. Она попыталась втянуть непоседу обратно, но помешал сильный порыв ветра. Айя не сдавалась. Ребенка надо вернуть в комнату во что бы то ни стало! От нового порыва ветра Айша сама взмыла в воздух, но, к счастью, пальцами ног зацепилась за раму. Их тела вытянулись в струнку. Со стороны могло показаться, что к дому по случаю праздника привязаны надутые ручным насосом воздушные шары. Внезапно ветер стих и отпустил Айшу и девочку. Обе упали на пол детской.

Собравшись с духом и с мыслями, Айша укорила себя за глупость: этот дьяволенок просто дурачится, хочет ее разжалобить. Хватит, с нее довольно. Она не легковерная простушка. На сей раз Айша была настроена решительно: от крыльев необходимо избавиться. Они слишком опасны, их нужно отрезать!

Айша положила девочку на кроватку, отогнула одно крыло и осторожно поднесла ножницы к его основанию. Руки у нее дрожали – не так-то легко ампутировать детские крылья. Но другого выхода нет. От первого же надреза из раны засочилась водянистая жидкость – потекла по девочкиной спине, закапала на кроватку. Айша отвела глаза. Боже, прошу, спаси меня. Что я делаю? Что со мной, как я посмела поднять руку на невинного ребенка? Айша тряхнула головой, прогоняя непрошеные мысли, и снова принялась за дело. От новых надрезов из крыла опять полилась вода.

Нет! Нет! *Хапана*! Айша отшвырнула ножницы. Нет, она не станет этого делать! Не может. Не чудовище же она. Поплевав на палец, Айша зажала рану на крыле и, нагнувшись, поцеловала. Придется придумать иной способ избавиться от крыльев – не такой варварский.

Несколько дней спустя пошли слухи, будто в Арушу недавно переселилась одна знахарка, и Айша решила навести справки. Выяснилось, что

знахарку зовут матушка Зулека и живет она недалеко, на Олд-Моши-роуд. Кто знает, а вдруг, молилась про себя Айша, эта *ваганга* сумеет ей помочь. Дождавшись, когда хозяева, по заведенному обычаю, отправились поиграть в *карата*, айя вместе с малышкой поспешила к матушке Зулеке. То была глубокая старуха с морщинистым личиком, в просторном белом халате в красный горох. Поздоровавшись, она жестом пригласила Айшу в *шамбу*[1] и усадила у костра. Айша распеленала девочку и положила на колени ваганге. Та почесала свою бритую голову.

— Мне доводилось о таком слышать. Она похожа на большое насекомое, верно? — засмеялась знахарка, расправляя крылья маленькой Хаки. — Правда странно, что такая крошка столь быстро постигла искусство *фатафут* – особенно здесь, на материке. Я б еще поняла, будь это на Занзибаре или Пембе — там ребенка могут подхватить островные ветры и нести многие мили, покуда его не поймает посланец *шайтана*. Но тут я ничего не понимаю. — Она помолчала. — Это может значить только одно: у девочки мощнейший дар! Точно говорю. Поэтому мы должны действовать быстро. Эту уангу наслал очень сильный *джинн*.

Айша обхватила себя за локти.

— Матушка Зулека, почему другие живут счастливо и беззаботно, а на мою долю выпало столько мук? Я ничем не заслужила такой участи. Ничем. Я почитаю Бога. Мне трудно жилось, матушка, но я никогда не жаловалась. Никогда о многом не просила — а со мной случилась такая беда!

Знахарка понимающе закивала.

— Да, детка, мы все заслуживаем хорошей жизни, но ты, должно быть, чем-то прогневала судьбу.

Айша понурилась. Старуха протянула над огнем руку и погладила ее по щеке.

— Думаю, все просто, детка. Кто-то позавидовал твоей красоте и наслал это проклятье.

Айша оттолкнула руку знахарки.

— А может, во всем виновата ее мать! Она ровным счетом ничего не сделала, чтобы уберечь дочь от злых чар. Я за ней наблюдала. Она ужасно беспечная: стрижет ногти после заката, принимает ванну по вечерам, гуляет под деревьями во время месячных! По ее-то глупости и проникло в дом шайтаново отродье. Она сама напросилась на неприятности! А за ее проступки расплачиваюсь я! — Айша хлопнула себя по ляжкам. — Матушка Зулека, умоляю, помогите мне. Только вам известно о моей беде. В городе я пришлая, и никто, ни единый человек, не должен проведать об этой тайне. Я что угодно сделаю, лишь бы она перестала летать.

Матушка Зулека помолчала.

— Что-нибудь придумаем, детка.

Она энергично растерла руки над огнем и закрыла ладонями глаза. Вместе с младенцем накрылась белой простыней. Стала раскачиваться, а потом затряслась и забормотала на непонятном языке. От безотчетного страха Айша вскочила и едва не убежала. Но тут матушка Зулека резко выпрямилась, простыня съехала набок. Показался взмокший лоб, ли-

1. Загородный дом, в котором многие танзанийские семьи проводят время, когда приходит пора сажать овощи или убирать урожай, а также небольшой сад или огород.

цо, перекошенное безмолвным криком. Ваганга протянула малышку Айше.

— Я знаю, что можно сделать. Чтобы девочка избавилась от изъяна, будешь приносить ее сюда сорок дней подряд. Это единственный выход. Иначе средство не подействует.

— Целых сорок дней? О Господи, матушка, да как же это? Нельзя мне сорок дней подряд уходить из дома *бваньı*[1]. — Айша нервно накрутила на палец нитку от платья. — Может, я сама буду наносить снадобье?

Матушка Зулека расхохоталась и замотала головой.

Айша осела на землю.

— Что же мне делать? От этого зависит моя жизнь.

Старуха погладила ее по голове.

— Можешь и сама втирать мазь, но на это уйдет добрых сорок лет. Знахарками были моя мать и мать моей матери. Навыки приобрести можно, но понадобятся многие годы. Такому сложному искусству за одну ночь не обучишься.

Айша заплакала.

— У меня ни родных, ни мужа. Куда я пойду, если меня выгонят на улицу?

— Тише, детка, тише. Дай мне подумать.

Отпив большой глоток из чашки, матушка Зулека закрыла глаза. Через несколько минут она посмотрела на Айшу.

— Хорошо. Поступим так: я сварю для девочки самое сильнодействующее средство. Это рискованно, но, чтобы восполнить слабость твоих рук, необходима мощнейшая *кама*. Способ не самый лучший, но, сдается, другого у нас нет.

Айша радостно кинулась к ней:

— Вот мы и нашли выход!

— Но учти, — погрозила пальцем ваганга, — благополучие девочки будет всецело в твоих руках.

— Да-да, матушка, прекрасно.

Старуха кивнула и направилась к одиноко растущему баобабу. В ствол дерева были вколочены сотни гвоздей, еще больше лоскутков одежды висело на ветвях. Матушка Зулека велела Айше поднести малышку к стволу и, уколов крошечную пятку, выдавила несколько капель крови на серебряный поднос. Как ни странно, девочка не заплакала.

— Снадобье будет готово через несколько дней. Я приду и в первый раз сама его вотру. Ты посмотришь, а потом будешь сорок дней подряд проделывать то же самое в определенное время — за час до заката.

— Да, конечно! Я уверена, все получится! — захлопала в ладоши Айша.

— Не будь такой самонадеянной, — осадила ее старуха. — Не искушай шайтана.

— Вы такая мудрая. Вы правы. Я буду сдерживаться, — и Айша обняла знахарку.

Потом вручила ей заранее оговоренную плату, и они условились о следующей встрече.

1. Госпожа или господин, вежливая форма обращения (*суахили*).

Вечером Айша взяла тонкую сизалевую веревку и привязала один конец к своей руке, а другой — к девочкиной лодыжке. Это временное средство сгодится, пока не начнет действовать варево матушки Зулеки.

Как было условлено, ваганга явилась в следующую пятницу, когда чета Хаки отбыла в *джаматкану*[1]. Она принесла большую чашу и несколько мешочков.

— Сюда, матушка, проходите. Поскорее, пожалуйста, не то нас увидят соседи, — замахала ей Айша из-за ворот сада. Они поспешили наверх, в детскую.

Айша вынула загулившую малютку из гамака и положила на пол. Освободила ее ножку, но от своей руки веревку не отвязала, и та болталась, словно высохшая пуповина.

Матушка Зулека повернула ребенка лицом к востоку.

— Смотри и слушай внимательно, детка.

Айша опустилась рядом с ней на колени. Помолившись про себя, знахарка коснулась детской головки, потом по очереди рук, животика и ножек. Зажгла благовония и окурила малышку ароматным дымом. Затем выложила на серебряный поднос какие-то травы и, покопавшись в нагрудном кармане, достала пузырек с кровью девочки. Растерла травы с кровью и, перевернув ребенка на живот, намазала смесью крылья. Особенно густой слой снадобья она нанесла на спину, пониже шеи, в кармашек, где крылья крепились к телу. Пятикратно прочла молитву и воззвала к духам:

— Не гневайтесь на нас, мы сделаем, что в наших силах. Да пребудет с вами милость тех, кто принадлежит к дому Божьему, мы попросим их за вас. Смилуйтесь над нами и избавьте от ужасной напасти. Пощадите ту, которую вы обуяли, пожалейте ее всей своей жалостью, ибо блаженны милостивые. Простите нам наши грехи, простите, простите, во имя всех истинно верующих.

Тут матушка Зулека вытащила бутылочку с розовой водой, сбрызнула малышку и простерла ладонь над ее спиной.

— Эти крылья будут становиться мягче и мягче, а через сорок дней, с Божьей помощью, отпадут.

Айша услышала, как открылись главные ворота, и по звуку узнала хозяйский белый "пежо".

— Матушка, вам нужно уходить. Поторопитесь. Нельзя, чтобы вас видели.

— Не забывай про благовония, а то они учуют запах снадобья. И каждую ночь клади дары на крышу. А теперь займись ребенком. Я дорогу найду.

Старуха обхватила голову Айши и ласково покачала из стороны в сторону.

— Благословляю тебя. Да пребудут с нами духи.

— Спасибо, спасибо! — Айша обняла ее. — Я перед вами в вечном долгу.

Матушка Зулека улыбнулась:

— Пока благодарить не за что. Сначала посмотрим, подействует ли наше средство, — это главное.

1. Название молельного дома в одном из направлений ислама.

Помахав на прощание, она выскользнула за дверь.

Айша зажгла сандал и задвинула чашу и мешочки с лекарством под свою кровать. Завернув девочку в одеяло, она положила ее в гамак и, сев рядышком на стул, принялась ее баюкать и напевать колыбельную. Поймав между большим пальцем и мизинцем последний луч садящегося солнца, айя отправила его в рот и спрятала под язык. Откинула голову и подобрала ноги под сиденье; ее мягкое бронзовое тело расслабилось и обмякло.

Ночью Айше приснилось, что она беременна. Ее округлившийся живот упорно расклевывал соловей. Ребенок внутри капризничал и, похоже, пытался выбраться. Вот-вот должна была показаться головка и раздаться первый крик, но тут Айша проснулась и резко села в постели. Она было успокоилась и собралась снова заснуть, как вдруг ей показалось, будто в открытое окно выпорхнула птица.

Каждый вечер, за час до заката, Айша втирала снадобье — в точности, как ей было сказано. И всякий раз щупала крылья, проверяя их на мягкость, словно *мандази*[1]. От ночи к ночи крылья заметно теряли упругость и становились вялыми, как будто их долго отмачивали в ванне. Когда на девятую ночь она ткнула указательным пальцем в одно из крыльев, в нем осталось отверстие. Айша с улыбкой стряхнула прилипшую к пальцу кожицу. Слава богу, лекарство действует! Надо на днях сходить поблагодарить матушку Зулеку. При мысли, что мучаться осталось недолго, Айша возликовала. Совсем скоро с ее плеч спадет ужасный гнет этой тайны. От внезапного чувства свободы она расхохоталась. Ни разу в жизни не было ей так радостно и легко. Смех нарастал, как пожар в зарослях, поднимаясь из горла, наполняя рот, срываясь с губ. Его приступы опрокинули девушку на пол, она каталась по комнате, опьяненная прежде неведомой свободой. Когда Айша пришла в себя, на нее навалилась огромная усталость, и она мгновенно заснула.

Ей приснилось, что она гуляет по узким улицам Каменного Города, но они почему-то пустынны. Лавки закрыты, школьников не видно, хотя до Айши доносится приглушенный детский голос, считающий: *моджа, мбили, тату* — я иду искать! Кто не спрятался, я не виноват! Совсем рядом слышится топот ножек, но детей нет как нет — похоже, все попрятались в многочисленных канавах Каменного Города. Однако Айша чувствовала, что они за ней наблюдают. Она остановилась и резко обернулась, чтобы застать их врасплох. Никого. Одна. Став на колени, она заглянула под прилавок торговца рыбой, сунулась в портняжную мастерскую. Никого. Да где они все? Вдруг в репродукторе раздался голос муэдзина, призывающего верующих на молитву, — и разверзлись небеса. Вода хлестала и извергалась на Занзибар с такой силой, что остров в итоге поднялся под самое небо и нырял там в дождевых волнах, как поплавок.

На тринадцатую ночь, к ужасу Айши, крылья малютки Хаки, вместо того чтобы размягчаться, стали твердеть! Поначалу Айша не обратила внимания на перемену, приписав ее специфическому действию снадобья, но на шестнадцатую ночь забеспокоилась и пала духом. Почему нет обещан-

1. Глазированные пончики.

ного эффекта? В чем ошибка? Вроде бы она в точности выполняла все предписания. Подумав, Айша решила накладывать мазь более толстым слоем. Однако вскоре стало очевидно, что чем гуще мазать, тем быстрее крепнут крылья и все сложнее их складывать и прятать в спинной кармашек. Однажды они просто взяли и вылезли оттуда, как ноги из тесных туфель. Айша безотчетно потянулась за ножницами, но девочка вывернулась из рук и закружила по комнате, шумно ударяясь о стену и окна. В конце концов Айше удалось загнать ее в угол; крепко прижав малышку коленом, она снова потянулась за ножницами. Айша была настолько поглощена борьбой, что не услышала хозяйкиных шагов на лестнице.

— Что ты делаешь? — воскликнула миссис Хаки, бросаясь к ребенку.

Айша вскочила.

— Госпожа?

— Бадру! Бадру! Скорее доктора! — заголосила миссис Хаки, прижимая к себе дочку. — Затем она повернулась к Айше: — Дьявол в женском обличье! *Кумамайао!*

И залепила Айше пощечину.

— Что, что ты сделала с моим ребенком? — надрывалась хозяйка, смывая слезами косметику и лихорадочно ощупывая малышку.

— Что это? Что это такое? — Она нерешительно потянула за крылья. — Отвечай, *бенчод*[1]! Что ты сделала с моим ребенком?

— Ничего, госпожа. Малютка... эээ... летает.

— Черт возьми, что ты несешь?

Миссис Хаки, дрожа всем телом, положила дочь в кроватку, а сама опустилась рядом на пол и стала ласково ее поглаживать.

— Бадру, — жалобно звала она, — ну пожалуйста, скорее иди сюда! С девочкой несчастье!

Айша забрала малютку у нее из рук и, как чашу, подняла к потолку.

— Смотрите, госпожа, она летает.

Айша подкинула девочку вверх, дунув на нее, как на ресничку, когда загадывают желание, но та, видимо устав от предшествующей погони, лишь слегка шевельнула крыльями и упала в кроватку. Миссис Хаки сгребла дочь в охапку.

— Ты спятила?

Появившийся наконец мистер Хаки застал жену и дочь в ужасном состоянии.

— Бадру, ты только посмотри, что натворила айя, — хозяйка продемонстрировала спину девочки. Мужа затрясло от ужаса и гнева.

— *Пиша Мовла!* Господи, что с моим ребенком?

— Это козни дьявола! — миссис Хаки с трудом могла поднять руку, но нашла в себе силы ткнуть пальцем в Айшу. — Она его приспешница!

От страшной усталости Айша ощутила пустоту, словно из нее ушла жизнь.

— Нет, госпожа. Я человек верующий. Пожалуйста, пощадите меня. Я очень хорошо ухаживала за ребенком.

— Ты за это заплатишь! — произнес мистер Хаки ровным, но суровым тоном. — Ты не устроишься на работу ни в Танганьике, ни, естественно, в Занзибаре — нигде. Пожалеешь, что не умерла.

1. Индийское ругательство.

— Пожалуйста, бвана, простите меня. Умоляю вас. Я очень старалась, но не смогла прогнать духов.

— Значит, это правда? Ты признаешь свою связь с шайтаном?

Айша почувствовала себя загнанной в угол. Ей не на что и не на кого было рассчитывать, поэтому, хоть она и знала, что невиновна, оставалось только смириться. Она потупилась.

— Да, господин, признаю. Прошу вас, смилуйтесь надо мной!

Мистера Хаки явно удовлетворило ее покаяние, ему было приятно ощущать себя хозяином положения.

— Тебе придется заплатить за свои ошибки.

— Да, господин, я сделаю все, что прикажете. Умоляю, дайте мне еще один шанс.

Мистер Хаки повернулся к жене — узнать, что она об этом думает, — но та по-прежнему пребывала в прострации и не прислушивалась к разговору. Он покачал головой, недоумевая, как она умудрилась до сих пор не обнаружить, что над их ребенком висит страшное проклятье. Чем, дьявол ее побери, занималась она все это время? Он посмотрел на дочь и увидел, что у той даже *анджан* под глазами отсутствует. Глянул за ушком — и там его нет! Оказывается, жена не защитила дочь от злых духов! Да в здравом ли она уме? При взгляде на миссис Хаки, которая, растрепанная, с потекшей косметикой, все еще сидела на полу, уронив голову на край кроватки, он впервые задумался, не стоило ли ему прислушаться к материнским предостережениям насчет того, что над родом невесты тяготеет рок. Да, супруга у него красавица, но ведь произвела же она на свет негодного ребенка, и никакой красотой этого не поправишь. Наверное, при выборе жены стоило руководствоваться иными соображениями. Он подошел к миссис Хаки и ударил ее:

— Никчемная тварь.

Та была настолько потрясена, что едва ли почувствовала боль от пощечины. Новый поворот в ее жизни, осознание того, что беда случилась именно с ней, пришло как гром с ясного неба и полностью ее парализовало.

— Ну, почему, почему это случилось со мной? — только и смогла она произнести.

Тогда хозяин обратил взор на Айшу.

— Ты будешь расплачиваться всю оставшуюся жизнь, ясно?

— Да, господин.

Отныне она обязана отчитываться лично перед мистером Хаки и получать от него все распоряжения по уходу за дочерью. А еще он в срочном порядке договорится об ампутации крыльев.

Чувствуя угрызения совести за свои попытки отрезать крылья, Айша, не подумав, выпалила:

— Бвана, прошу вас, оставьте их.

И крепко прижала девочку к груди.

Ярость, словно ток, пронзила мистера Хаки, кровь бросилась ему в лицо. Он подскочил к Айше и выхватил у нее малютку. Перекинув дочь через руку, как мешок с рисом, он скомкал одно из ее крыльев и вырвал, будто лист из книги. Да как служанка смеет указывать ему в его доме!

Айша успела подставить ладонь и, как перышко, поймала падающее крыло.

Мистер Хаки налетел на нее с кулаками.

— Это все ты, гадина, виновата!

Лежащее на ладони Айши крыло неожиданно придало ей уверенности. Она крикнула громко и отчетливо:

— Нет! Я не виновата! — и, подхватив малютку, выбежала вон.

Мистер Хаки был ошеломлен дерзкой выходкой и рванулся за девчонкой, чтобы задать ей хорошую трепку. Он свернул за угол и устремился вниз по ступенькам, но тут его взгляд упал на чехол с винтовкой, висящий на стуле в прихожей. Мистер Хаки улыбнулся: уж кому-кому, а служанке его не провести. Вернувшись в детскую, он отворил окно и стал ждать.

Входная дверь осторожно приоткрылась, и вскоре мистер Хаки увидел в саду бегущую Айшу — в *канге*[1] та несла малышку. Мистер Хаки распахнул окно настежь и прицелился. Айша нырнула под мачунгву, затаилась и через мгновение припустила дальше. Новый выстрел — и она прыгнула за лавандовые кусты, потом за бугенвиллею; короткими перебежками, не разбирая дороги, устремилась прямиком к зарослям, ведущим в горы.

Крыло малютки торчало из канги, как одинокий парус на арабской лодке. Чем быстрее бежала Айша, тем выше подскакивала девочка — вдруг, загудев, как мотор, они оторвались от земли и медленно взлетели. От ветра из раны, взамен оторванного, выросло новое крыло. Малютка Хаки с силой взмахнула крыльями и выбралась из канги. Увидев, что они поднимаются над лесом, ее отец покрепче ухватил винтовку и снова выстрелил, и стрелял, пока не кончились патроны. К его великой радости, Айша раскинула руки, стала падать и, мягко ударившись о верхушку кедра, исчезла в густых ветвях.

Но малютка Хаки принялась кружить над деревьями, время от времени ныряя в них, как утка в воду. Несколько раз она поднималась одна, но вот они показались вместе: малютка Хаки цепко держала согнутую пополам Айшу и уносила ее высоко в небо.

1. Треугольный кусок хлопковой ткани, часть традиционного для Западной Африки женского наряда наподобие пончо.

Уильям Меткаф

Классная тачка и рэп, доносящийся из окна

Перевод с английского А. Соколинской

В проулке под лестницей, ну, там, где помойка и все исчеркано граффити, устроились на ночлег какие-то бродяги. Вдруг копы — сразу двое. И давай срывать брезент. Бродяги, два парня и девчонка, сильно смахивали на хипарей, ну, которые в драных шмотках, с дредами и барабанами. Парни и говорят: у нас права человека, мужик, шел бы ты стороной, чего бедных-то притеснять, эй, полегче, ты куда поволок спальник? А коп им: если бы вы, ребятки, не препирались, а убрались отсюда подобру-поздорову, и изымать бы ничего не пришлось. Мы же здесь просто спим, мужик, это что — жуткое преступление? — возмутился верзила. Один парень был маленький и серьезный, другой — здоровенный и веселый. Волосы у верзилы доставали почти до пояса, и он, говоря с копами, усмехался. На девчонке была длинная красная юбка, а голова повязана чем-то вроде шарфа. Она ни секунды не стояла спокойно, все пританцовывала. Я подумал, что зря так на нее уставился, и мне стало неловко, потому что она оглянулась, мол, чего пялишься, а затем вроде как улыбнулась. Иногда я брожу по разным местам, хочется поглядеть, что на свете творится. Этот городишко стоит на берегу озера, и здесь не пахнет океаном.

Злобный малый вдруг точно взбесился, гляжу: спальник летит прямо копу в физиономию и накрывает его с головой. Коп заколошматил руками, будто отбивался от противника. Это нечестно, мужик, мы просто спали, окружающей среде не вредили, землю токсинами не засоряли, мы странники, дети Божьи, а вы — посланцы смерти, губители нашей планеты... Некоторое время злой коротышка разорялся в подобном ду-

© 2004 by McClelland & Stewart
© А. Соколинская. Перевод, 2006

хе. Он стоял, широко расставив ноги, словно под ним была шаткая лодка, как у моего дяди. Мой дядя, Рональд, однажды возил меня в Принс-Руперт, городок, где умерла моя мама. Мама была белая женщина, но внешне смахивала на индианку, и ее приняли в семью. Дядя сказал, что теперь он мой ближайший родственник и будет за мной присматривать. Я перебрался к нему в Порт-Маккензи, в резервацию, и мы зажили вместе. В доме были и другие дети, помладше меня. Я помогал дяде рыбачить. Случалось, он напивался, и мы не ходили на рыбалку — тогда он еще не пришел к Богу. Мне нравилось плавать на лодке. От гребли у меня окрепли бицепсы. Дядя шутил, что еще немного — и я сделаюсь совсем как боксер. Дядя любил бокс. Он и меня обучил некоторым приемам. До чего же здорово удить рыбу в открытом океане, а потом возвращаться и, когда берег уже близко, вдыхать запах деревьев. Чудесный кедровый запах. Дядя мне даже кое-что платил. На эти деньги я купил себе CD-плеер и иногда во время рыбалки слушал рэп, но потом кончились батарейки, а сам плеер куда-то задевался, не знаю куда.

Как-то мы с дядей были в Руперте, и я заметил на пристани странного типа, белого мужчину в пиджаке. Он расхаживал вдоль берега, делая вид, что разглядывает лодки, а затем прямиком двинулся к дяде, остановился и говорит: брат, я узнал тебя. Ты, часом, не обознался? — удивился дядя. Я узнал тебя, ты чадо Божье. Чадо? — дядя удивился еще больше. По-твоему, я похож на чадо? И рассмеялся, но не по-доброму, не дружески, а натужно, точно с похмелья. Аллилуйя! — воскликнул тип. Дядя развернулся и зашагал прочь, я следом. А тип поплелся за нами, приговаривая: Господом Богом клянусь, я узнал тебя! Ты страждешь услышать слово Господне, обрести вечную свободу, стоя на коленях лобызать ноги Иисуса, душа твоя полна скверны, тебя гложут сомнения, ты блуждаешь во тьме, не ведая, как вступить на путь праведный. Пиджак на нем был без единой морщинки и такого же цвета, как форма у копа, того самого, который слушал речь коротышки, бросившего в него спальник. Коротышка все кипятился: мы чистые создания и не допустим насилия над природой, потому-то мы и спим здесь — это священное единение с землей. Вид у парня был ужасно сердитый. Тем временем верзила, его приятель, извинился перед копом и сказал: потопали отсюда. А девчонка опять мне улыбнулась, явно с каким-то значением, но я все равно ничего не понял.

Сколько вашей девушке лет? — спросил коп. Это моя сестра, заявил злой коротышка. Никакая я тебе не сестра, отрезала девчонка. Она впервые открыла рот. Документы имеются? — не отставал коп, а злой коротышка ему в ответ: мы не признаем документов, все документы — в помойку, мы хотим жить, как цветы. Цветам, по-вашему, нужны документы? А облакам? Люди обязаны иметь при себе документы, стоял на своем коп. Особенно несовершеннолетние девицы, которые якшаются с парнями вроде вас. Сколько тебе лет? — Это он девчонке. Пятнадцать. У нее нет возраста, опять вмешался злой коротышка. Она древняя душа, и потом — мы не признаем возраста, это линейное мышление, оно разрушает естественную среду. А где твои родители? — продолжал коп. У меня нет родителей, ответила девчонка. Она плод непорочного зачатия, как Христос, Будда и Билл Гейтс, вставил верзила, ну тот, который патлатый, и загого-

тал во всю глотку. У меня нет родителей, в новом воплощении я детище матери-земли, сказала девчонка. Кого-кого? — переспросил коп. Вместо ответа девчонка заулыбалась, видно, думала, коп — не тупица, уяснит, что к чему, но тот так и остался в недоумении. Тогда она показала на меня пальцем и говорит: древняя мудрость гласит, что решать, кому нужны документы и кто имеет право здесь спать, дозволено только первородным людям, они одни понимают язык земли. И все пятеро уставились на меня. Проповедник уставился на нас с дядей и говорит: вы отец этого молодого человека? Верно, у вас есть и другие дети? Сколько у вас детей? Тяжко заботиться о семье, да еще рыбачить, Иисус тоже был рыбаком, ловцом человеков. Дядя по-прежнему не обращал на него внимания, и мы пошли к дороге, по которой проносились машины.

Я узнал тебя, не унимался тип. Господь дал мне знак: передо мной заблудшая душа, жаждущая родиться заново. И воскреснуть, немедленно, а не завтра и не когда-нибудь в будущем, не через неделю, и не через месяц, и не через год, и не в царстве небесном, и не в преисподней, а сию минуту, брат мой, сию минуту. Дядя остановился. В глазах у него были слезы. Я взглянул на проповедника — тот рыдал навзрыд. Рядом затормозила полицейская машина с зажженными фарами. Из нее вышел коп и схватил проповедника за руку: пошли, Делберт, надо поговорить. Проповедник — ноль внимания, он все глядел на дядю. Полицейский потянул его за локоть, и тогда проповедник сказал: мне пора, но мы непременно встретимся. Хорошо, ответил дядя. Проповедник забрался в машину, фары потухли. Копы разом принялись что-то ему говорить, и один все время показывал на меня пальцем. Девчонка тоже показывала, когда рассуждала о мудрости земли. Мы с друзьями хотим обрести древнее знание, стать ближе к земле. Одному из копов по телефону сообщили о крупной аварии на шоссе, и он бросил: ладно, нам пора, а вы убирайтесь, здесь не положено спать, возможно, вам еще придется заплатить штраф за оскорбление полицейского. Другой коп его поддержал: поехали, мы только время теряем. То-то и оно, подал голос верзила, полиция должна находиться там, где она нужнее всего. И ухмыльнулся. Вроде бы закричали чайки, но никаких птиц я не увидал. Город был далеко от океана. Хорошо бы сейчас — прямо на лестнице — появился дядя, но я был один, опять один как перст.

На следующий день я снова оказался на этом месте, но под лестницей никого не было, не считая девчонки, той самой, вчерашней, которая пританцовывала и рассуждала о древней мудрости. Она сидела на земле и ела апельсин. Медленно сдирала кожуру. Я дошел до нижней ступеньки и замялся, не зная, что делать дальше. Девчонка подняла на меня глаза. Я заметил у нее на голове черную повязку, под которую была забрана челка, а волосы распущены, как вчера. На ней была прежняя юбка до пят. Однажды в Ксане я видел пляски индейцев. Меня туда привез дядя. Девчонка, жующая апельсин, когда говорила, размахивала руками, точно выбивала барабанную дробь, как те индейцы. Дядя пояснил, что они из другого племени, танцуют другие танцы, бьют в другие барабаны и говорят на другом языке, но все равно они индейцы, как мы, и мы обязаны их уважать, потому сюда и приехали. В тот день мы ночевали в дядином фургоне. Здесь тоже протекает Скина, объяснил дядя, как и у нас

в Руперте. В нее впадает река Балкли, индейцы, кстати, называют ее иначе. Я следил за танцорами. Почти все зрители были белыми, но танцы им тоже понравились. В зале пахло лесом, а люди на сцене напоминали танцующие деревья, казалось, со мной беседует сам лес. Дяде я ничего не сказал. Пусть это будет моим секретом. Ведь ни отца, ни матери у меня нет, так что успею еще рассказать. Вот как я рассудил. Копы уехали и увезли с собой Делберта, этого проповедника.

Назавтра я отправился к дяде и застал там Делберта. Он топтался во дворе, а дядя орал: иди отсюда, чтобы духу твоего не было, убирайся! Здесь мой дом, дом моего семейства, по какому праву ты сюда заявился донимать всех своими речами, а Делберт, проповедник, ему: Рональд, от судьбы все равно не уйдешь, на всякий случай я буду рядом, зови меня сразу, как только это случится, ведь я посланник Божий, а твое предназначение — сидеть за столом Господним, так что я здесь, поблизости, имей в виду. Возле дома стояла его машина, старенький зеленый "датсун", он влез в нее и медленно покатил прочь, разбрызгивая грязь. Моросил дождь. На следующий день, когда я вернулся домой, Делберт сидел за столом рядом с дядей. Меня они не заметили: обычно я веду себя очень тихо — не хлопаю дверьми, не шаркаю ногами и по большей части помалкиваю. Дядя опять плакал. А рядом, в гостиной, Джексон и Северин, мои двоюродные братья, смотрели телевизор. Они совсем еще дети, что с них взять. А Делберт меж тем провозгласил: Рональд, Господь сейчас с нами. Дядя пытался что-то сказать, но ему мешали слезы. Отныне твоя жизнь в руках Господа, продолжал Делберт, Господь всегда тебя хранил, но лишь сию минуту ты ощутил его присутствие, и пусть твою жизнь отныне озарит радость. Я немного послушал, а дядя тем временем свалился со стула и так и остался лежать на полу, заливаясь слезами, точно малое дитя. Твои грехи прощены, произнес Делберт, можешь подняться, теперь ты совсем другой человек, встань, новый человек Рональд. Джексон и Северин ничегошеньки не видели — они смотрели телевизор. Делберт вылез из-за стола, подошел к дяде, протянул ему руку и помог встать — дядя поднимался, как индеец, которого я видел на выступлении, очень медленно, будто боялся сделать неверное движение. После этого случая дядя больше не возил меня смотреть индейские пляски, теперь он заставлял всех ходить в церковь, а я как мог сопротивлялся. Девчонка поднялась, как танцовщица, и говорит: меня зовут Задушевная Песня. И опять улыбается. Никто мне еще так много не улыбался.

Хочешь апельсин? Давай. Я взял апельсин и стал его чистить под ее внимательным взглядом. У нее было очень чистое лицо. Я случайно проходил мимо, сказал я, а она: небось, меня захотел повидать? Разве ж я знал, что ты здесь? Очень даже знал. Ты где живешь? Здесь пока и живу. Я имею в виду, откуда ты родом? Из Принс-Руперта. Ты умеешь говорить на языке твоего племени? Нет. А как он называется, знаешь? Понятия не имею. Мой дядя умеет на нем говорить. Познакомишь с дядей? Он сейчас в Руперте или где-то еще. У тебя случайно нет знакомого шамана? Нет. Я не знал, кто такой "шаман", но спрашивать не стал. Тебя как зовут? Я назвался. А она: начиная с прошлой недели у меня новое имя — Задушевная Песня. Небось, трудно привыкнуть. Почему? Мое старое

"я" умерло, началась новая жизнь. А где твои мама и папа? Не все ли равно. Теперь моя мать — Луна, а отец — Солнце. И она опять улыбнулась.

Задушевная Песня повела меня в лес, где из больших валунов был выложен круг. Это священное место, сказала она. Его соорудили мои друзья. Ты относишься к Коренным Нациям, так что твой прямой долг — нас благословить, без твоего согласия у нас все накроется, будь другом, переговори со своими предками и потомками, и давай для начала курнем травы, но не для развлекаловки, а типа такой обряд. Я согласился. Мы покурили и присели на землю. Лес. Ни души. Пахло кедром и хвоей. Задушевная Песня распахнула блузку, и я увидел, какая она. Мы подсели друг к другу поближе, от нее пахло костром, пóтом и чем-то вроде ладана. Грудь у нее была гладкая, как поверхность океана, когда нет ряби. Я хочу потрогать, как у тебя затвердело, сказала Задушевная Песня и полезла туда обеими руками, а затем задрала юбку, и ее скользкое, влажное тело очутилось на мне сверху. Я весь полыхал, точно костер посреди того помещения в Ксане, где индейцы танцевали свои танцы. Языки пламени плясали у меня перед глазами, и я чувствовал, что девчонка тоже вся горит. Мы с дядей ездили в Ксан осенью, там сплошные тополя и березы, они стояли пожелтевшие, с опадающими листьями. На улице, возле здания, где были танцы, пахло гнилой древесиной и мокрой листвой — это было еще до того, как дядя стал молиться с утра до вечера, а молиться он стал, как только Делберт поднял его с пола.

Делберт поднял дядю с пола. Дядя беззвучно плакал. Глаза у него были закрыты. Я прощаю тебя, сказал он. Прощаю тебя, прощаю тебя. Прощаю тебя, прощаю тебя. Я не знаю и, верно, никогда не узнаю, кого он прощал, но, ясное дело, не Делберта. Ты можешь простить, сказал Делберт, ибо Господь простил тебя. Ноги у дяди опять подкосились, но на этот раз он рухнул на стул. Казалось, вот-вот опять свалится на пол. Я прощаю тебя, и да простит меня Господь. Он вдруг расхохотался, будто ребенок, которому в рот попала смешинка, просто остановиться не мог. Северин, мой двоюродный брат, подошел к дверям кухни и с минуту наблюдал за взрослыми, а затем вернулся обратно в гостиную. Папа смеется над потрясной шуткой, сказал он Джексону, и братья снова уставились в телевизор.

Дядя заставлял меня ходить в церковь. Делберт устроил ее прямо в резервации, в чьем-то доме. Дядя сказал: у Делберта проблемы с полицией, копы с ним часто беседуют, но в чем дело, не объяснил, может, и сам не знал. Он заметно подобрел и как-то притих, больше не учил меня боксерским приемам и не рассказывал, как что называется на языке индейцев, например, реки. Просил молиться, пока мы ловили в океане рыбу. В Ксане прямо в зале, где танцевали индейцы, горел жаркий костер — совсем как у меня в животе, когда я лежал с этой девчонкой. Я взглянул на нее, она — на меня, и мы поняли друг друга без слов. Лицо у нее было очень чистое, а рот улыбался. У тебя в роду наверняка были шаманы, сказала она. Нутром чувствую. Возможно, ты тоже станешь шаманом. Я все еще был в ней, но теперь мы просто болтали и смеялись. Я лежал на спине, девчонка — сверху; в какой-то миг я откинул голову и заметил другую девчонку. Я видел ее будто вверх ногами. Какие же вы оба красивые. Просто

ужасно красивые, сказала она, а затем добавила, что уже давно за нами следит, а еще — что читает книжку. Забыл, как называется, одним словом, книжку о том, что есть надо только растительную пищу, а пить — только воду, тогда тело очистится. У меня и так все очистилось, сказал я, и они обе прыснули. Девчонки толковали о книге, о чистоте ключевой воды из горных источников, о химикатах, которые добавляют в питьевую воду. Задушевная Песня разлеглась на мне и явно не собиралась слезать. Я, собственно, не возражал: она была легкой, мирной и пахла огнем, а от ее тела по-прежнему шел жар. Так мы и заснули. Не знаю, куда девалась другая девчонка — жаль, я не смог увидеть ее нормально. Мне приснилось, что в доме, где остановился Делберт, случился пожар. Я проснулся и понял, что это всего лишь сон. Девчонка спала, сосны тихо шумели, по бревну пробежал бурундук. Я проследил за ним взглядом, и вдруг мне захотелось домой — к реке Скина, к океану. В полудреме я вообразил, что девчонка на мне — это лодка, она плывет по реке, а река — это я. Хорошо бы так и было на самом деле. У дяди когда-то была моторка, и осенью мы на ней плавали вверх по Скине.

Дядя зачастил в церковь, пить он окончательно бросил и все свободное время либо торчал в церкви, либо чинил лодку. Но однажды дом, где была церковь, сгорел дотла. Вместе с дядей, который там ночевал. Делберт тоже погиб, и еще погибли люди, среди них — мои двоюродные братья. Я видел, как ревущее пламя поднималось до самых небес. Посмотреть на пожар собралась большая толпа, хотя только-только начинало светать. Мы стояли полуодетые и молча глядели на огонь. Было довольно прохладно, но на нас то и дело пыхало жаром. Старик, который стоял рядом со мной, произнес: я не раз бывал на пожарах, но впервые вижу, чтобы дом горел как свечка. Больше он ничего не сказал и опять уставился на огонь.

Я стоял на дороге и ловил попутку. Девчонка предлагала вместе с ней пошаманить, но я отказался: кто его знает, что это за штука. Стоило бы подыскать какую-нибудь работенку, но здесь с этим было глухо, может, придется податься в город покрупнее. И потом — не очень понятно, кем я могу устроиться, ведь кроме как рыбу ловить, я ничего не умею. Дядя наказывал мне трудиться. Задушевная Песня просила приезжать, может, когда-нибудь и приеду. Мне не к спеху. Пусть другие делают глупости. Не для того я ушел из дому. Водитель притормозил, но не остановился, а жаль: классная тачка, из ее окна доносился рэп.

Малькольм Лаури

Парадоксальное утешение, даруемое нашей профессией

Перевод с английского С. Силаковой

Сигбьёрн Уилдернесс, американский писатель, приехавший в Рим по стипендии фонда Гуггенхайма, остановился на лестнице чуть выше цветочного лотка, достал блокнот в черной обложке и записал, периодически поглядывая на здание перед собой:

Il poeta inglese Giovanni Keats mente maravigliosa quanto precoce mori in questa casa il 24 Febraio 1821 nel ventiseesimo anno dell' eta sua[1].

Тут, вдруг всполошившись, настороженно косясь уже не только на дом, но и через плечо: на церковь Тринита дей Монти, на цветочницу, на римлян, что в самых непредсказуемых направлениях поднимались или спускались по лестнице или пересекали площадь Испании (до сих пор, через несколько лет после окончания войны, он опасался быть принятым за шпиона), Сигбьёрн, как умел, зарисовал лиру — точную ко-

© 1961 by Margerie Bonner Lowry
© С. Силакова. Перевод, 2006

1. Английский поэт Джон Китс, чей ум поражал как блеском, так и ранней зрелостью, умер в этом доме 24 февраля 1821 года на двадцать шестом году жизни (*итал.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

пию изваянной на могильной плите поэта, — которая отделяла итальянский текст от английского.

И торопливо переписал то, что значилось внизу мемориальной доски:

Молодой английский поэт Джон Китс скончался в этом доме 24 февраля 1821 года в возрасте 26 лет.

Покончив с этим делом, он засунул карандаш и блокнот в карман, окинул окрестности уже иным — суровым, пристальным взглядом (хотя на самом деле от паники у него все перед глазами помутилось), в котором должно было читаться: "Имею право, вот и записываю" или "Если вы заметили, что я делаю записи или зарисовки, так и быть, не скрою: я действительно в некотором роде сыщик, а может даже, в некотором роде художник", — преодолел последние ступени, вновь затравленно огляделся и с облегченным вздохом человека, который после утомительного дня укладывается спать, вошел в успокоительный полумрак дома Китса.

Здесь, взобравшись по узкой лестничке, он почти сразу же набрел на витрину с пояснительной надписью, гласившей:

Остатки ароматических смол, использованных Трелони[1] при кремации тела Шелли.

Эту фразу он тоже переписал — ибо блокнот, которым он опять успел вооружиться, здесь вовсе не выглядел предосудительно, — никак, однако, не отозвавшись о самих смолах: собственно, они, как и вся внутренность дома, почти ускользнули от его внимания; лесенка, балкон, темновато, много картин, витрины, на библиотеку смахивает — "так, а есть ли в этой библиотеке мои книги? Ни одной!" — вот, по сути, и все впечатления Сигбьёрна, не зафиксированные на бумаге. От ароматических смол он перешел к миниатюрному алтарю, на который было помещено свидетельство о венчании того же поэта; этот документ Сигбьёрн также переписал, быстро черкая карандашом по бумаге — его глаза уже привыкли к тусклому освещению:

Перси Биши Шелли из прихода Св. Милдред на Бред-стрит в Лондоне, Вдовец, и Мэри Уолстонкрафт Годвин из Города Бат, Девица, несовершеннолетняя, обвенчаны в сей Церкви по надлежащему Дозволению с Согласия отца ея Уильяма Годвина сего дня Тридцатого Декабря Лета одна тысяча восемьсот шестнадцатого. Таинство венчания совершено мною, мистером Хейдоном, младшим священником. Сим удостоверяем, что вступили в Брачный Союз

1. Эдвард Трелони (иногда в русской транскрипции — Трилони) — близкий знакомый Байрона и Шелли, моряк, бывший корсар. Тело Шелли, утонувшего при крушении яхты, было опознано, в том числе по лежавшей в кармане книге Китса (а именно последнему прижизненному сборнику "'Ламия', 'Изабелла', 'Канун святой Агнессы' и другие стихотворения").

Перси Биши Шелли
Мэри Уолстонкрафт Годвин
В присутствии:
Уильяма Годвина
М. Дж. Годвин[1].

Ниже Сигбьёрн оставил загадочный комментарий:

Немезида. Свадьба утонувшего финикийского морехода. Вообще как-то тут странно. Грустно – глазея на подобн. вещи, чувствуешь себя свиньей.

И поспешно двинулся дальше (но на ходу все-таки успел призадуматься — сердце слегка защемило: ну хорошо, если его собственным книгам нет никакого резона находиться на этих стеллажах под потолком, что тут делают "In Memoriam"[2], "На Западном фронте без перемен", "Зеленый свет"[3] и "Полевой определитель птиц Западной Европы"?), к очередной витрине, где находилось вставленное в рамку незаконченное письмо, очевидно, от Северна, друга Китса; этот текст, почти лишенный знаков препинания, Сигбьёрн тоже переписал:

Любезный сэр,
Состояние Китса несколько ухудшилось По крайней мере, душевное его состояние — чрезвычайно Правда, кровохарканье прекратилось, пищеварение улучшается и если бы не кашель он выздоравливал бы телом Но фатальная перспектива чахотки все еще маячит перед его мысленным взором и претворяет все чувства в отвращение и отчаяние Он не желает слышать никаких уверений в том, что выживет, — о нет, он по-видимому утрачивает доверие ко мне оттого, что я пытаюсь подогреть в нем эту надежду [следующую фразу Северн вычеркнул, но Сигбьёрн беспощадно переписал и ее: ибо его познания в анатомии внутренних органов позволяют ему верно судить о всяком изменении и служат для него добавочным орудием пытки], он не разрешает себе полагать свои перспективы благоприятными — по его словам, постоянное напряжение воображения уже убило его, и отныне даже в случае выздоровления он не напишет более ни строчки О своих добрых друзьях в Англии он и слышать ничего не хочет, только о содеянном ими — вот еще один груз на его сердце — но о горячих надеждах, возлагаемых ими на него, о несомненном успехе, его ожидающем, о приобретенном им опыте — не желает слышать ни слова — и в отсутствие хоть малейшей надежды, которая питала бы его чрезвычайно живое воображение...

На этом месте письмо обрывалось, и Сигбьёрн с блокнотом в руке перешел — медленно, на цыпочках — к другой витрине, другому письму Северна, и записал:

Мой дорогой Браун[4] — Его больше нет — он отошел в полнейшем спокойствии духа — казалось, он просто погрузился в сон. 23-го в половине пятого

1. Вторая жена отца Мэри — Мэри Джейн.
2. Вероятно, имеется в виду поэма Альфреда Теннисона "Памяти А. Г. Х.", впервые опубликованная в 1850 г. (см. "ИЛ", 2006, № 5).
3. Опубликованный в 1935 г. роман популярного в 30-е гг. американского прозаика Ллойда К. Дугласа, писавшего на морально-религиозные темы.
4. Чарльз Браун (1787–1842) — один из ближайших друзей Китса в последние годы его жизни. Сохранилось десять писем Китса, адресованных Брауну.

смерть подступила к нему. "Северн — приподними меня: я умираю... я умру легко... не пугайся, благодарю Бога, что она пришла". Я приподнял его, подхватив под локти, мокрота у него в горле словно бы вскипела. Это состояние прогрессировало до 11 часов ночи, когда он постепенно погрузился в смерть так тихо, что мне поначалу показалось: заснул... — Но сейчас я более уж не могу писать. Нет никаких сил. Меня нельзя оставлять одного. С тех самых пор, девять дней, я не сплю. В субботу приходил один джентльмен снимать слепок с его руки и ступни. В четверг тело вскрыли. Легкие у него были полностью разрушены. Врачи не...

Потрясенный, Сигбьёрн перечитал последние фразы уже в своем блокноте, а затем, ниже, приписал: "*В субботу приходил один джентльмен снимать слепок с его руки и ступни*" — *вот, по мне, самая страшная фраза. Что за джентльмен?*

Покинув дом Китса, Сигбьёрн без заминки, не глядя по сторонам — даже вывеска "Американ экспресс" не привлекла его внимания, — зашагал по улице. И шел, пока ему не попался какой-то бар, куда Сигбьёрн тут же и нырнул, не задержавшись, против своего обыкновения, перед дверью, чтобы занести в блокнот название заведения. Казалось, он молниеносно переместился сюда из дома Китса только потому, что ему попросту не хотелось расписываться в книге посетителей. Сигбьёрн Уилдернесс! Само его имя точно буй — или, что благозвучнее, плавучий маяк, — сорванный бурей, выброшенный на риф в Атлантическом океане. И однако же как он ненавидит выводить эти буквы на бумаге (зато, э-хе-хе, любит видеть напечатанными, правда ведь?), хотя, как и многие другие черты его "я", имя остается относительно реальным, лишь покуда существует в реальности он сам. Не задаваясь вопросом, отчего, раз это имя так его коробит, он не подписывает свои произведения каким-нибудь другим — например, своим вторым именем (Генри) или девичьей фамилией матери (Сэндерсон-Смит), он забился в самый дальний закоулок бара, который и так смахивал на укромную пещеру, и выпил одну за другой, почти без паузы, две рюмки граппы. За третьей рюмкой его обуяли кое-какие из тех чувств, которые он, по идее, должен был испытать в доме Китса. Он всей душой отдался удивлению, ранее едва в нем шевельнувшемуся, по поводу того, что в этом музее заодно хранятся и реликвии, связанные с Шелли[1]; впрочем, не менее поразительно, что Шелли — чей череп едва не был присвоен Байроном, задумавшим приспособить его под винный кубок, а сердце, выхваченное из огня Трелони (этот факт Сигбьёрн смутно помнил из Пруста), погребено в Англии, — что Шелли отчего-то похоронен в Риме (впрочем, выбитый на его могильной плите отрывок из песни Ариэля[2] как-то подготавливает ко всей красочности и необычности участи покойного); также Сигбьёрн умилился благородству тех итальянцев, которые, как рассказывают, в войну с немалым риском для себя уберегли музей от разграбления

1. Ныне этот музей называется "Keats–Shelley House" — "Дом Китса и Шелли".
2. Имеется в виду цитата из пьесы Шекспира "Буря": "Nothing of Him that Doth Fade, But Doth Suffer a Sea Change, Into Something Rich and Strange" ("Он не исчезнет, будет он / Лишь в дивной форме воплощен" — перевод М. Донского; "Ничего не пропало. / По-морски лишь изменилось / В чудо-клады превратилось" — перевод М. Кузмина). Свою яхту, сыгравшую в его жизни роковую роль, Шелли назвал "Ариэль" вопреки желанию Трелони и Байрона, которые настаивали на названии "Дон Жуан".

немцами. Более того, ему показалось, что сейчас, отсюда, он видит дом яснее, хотя, несомненно, и не таким, как на самом деле, и он снова достал блокнот, чтобы присовокупить к заметкам эти новые, пришедшие в голову задним числом впечатления.

"Мамертинская тюрьма", – прочел он. Блокнот раскрылся не на том месте, на заметках, сделанных вчера при посещении вышеупомянутой темницы с бурным прошлым; однако он не стал перелистывать страницы, а в каком-то мрачном упоении продолжил чтение, ощущая, как леденящий ужас той или другой подземной камеры, ужас, которого он, если память его не обманывала, в самой тюрьме вовсе не ощутил, обволакивает его и смыкается тяжким сводом над головой.

МАМЕРТИНСКАЯ ТЮРЬМА [то был заголовок]
Истинная тюрьма – нижняя
...камера Мамертина, государственной тюрьмы в Древнем Риме.
Туллианский карцер (назв. нижн., подземной камеры) – вероятно, древнейшее сооружение Рима. Место заточения злоумышленников и врагов государства. В нижней камере можно видеть колодец на месте, где, по преданию, св. Петр заставил бить из камня чудесный источник, дабы окрестить темничных стражей Прокесса и Мартиниана. Узники: политические деятели. Понтий, царь самнитов, ум. 290 до Р. Х., Джиургуратх (Югурта), Аристобул, Верцингеторикс. Святые мученики Петр и Павел. Апостолы, заключенные в тюрьму в правление Нерона, – Прокесс, Абондий и многие другие, чьи имена неизвестны, были
decapitato
suppliziato
strangolato
morto per fame[1].
Верцингеторикс, царь галлов, был определенно strangolato в 49 г. до Р. Х., а Югурта, царь Нумидии, уморен голодом в 104 до Р. Х".

Истинная тюрьма – нижняя – почему я подчеркнул эту фразу? – задумался Сигбьёрн. Он заказал еще рюмку граппы и, дожидаясь, пока ее принесут, вернулся к своему блокноту, где под заметками о Мамертинской тюрьме ему попалась на глаза следующая заметка для памяти, сделанная, если он правильно запомнил, прямо в темнице:

Найти дом Гоголя – где напис. часть "Мертвых душ" – 1838. Где умер Вильгорский[2]*? "Они не внемлют, не видят, не слушают меня, – писал Гоголь. – Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их". Suppliziato. Strangolato. В блистательной и жуткой книге Набокова упомянуто: когда Гоголь умирал, "можно было через живот прощупать его позвоночник". Пиявки, свисающие с носа: "Снимите, уберите!" Генрик Ибсен, Томас*

1. Обезглавлены; замучены; задушены; уморены голодом (*итал.*).
2. Имеется в виду Иосиф Виельгорский, умерший в возрасте двадцати двух лет от чахотки на руках Гоголя в Риме, на вилле Зинаиды Волконской. "Я похоронил на днях моего друга, которого мне дала судьба в то время, в ту эпоху жизни, когда друзья уже не даются, – писал Гоголь Данилевскому. – Мы давно были привязаны друг к другу, давно уважали друг друга, но сошлись тесно, неразлучно и решительно братски только – увы! – во время его болезни. Ты не можешь себе представить, до какой степени благородна была эта высокая, младенчески-ясная душа!"

Манн и брат оного: Будденброки и Пиппо Спано[1]*. А. – где жил? Загорел на солнце? Возможно, был здесь счастлив. Проспер Мериме и Шиллер. Suppliziato. Фицджеральд на Форуме. Элиот в Колизее?*

Подо всем этим было начертано загадочное:

И многие другие.

А еще ниже:

Возможно, и Максим Горький. Забавно. Встреча Волжского Бурлака со Святым Рыбарем.

"Забавно"? Что забавно-то? Листая блокнот, вновь отыскивая дом Китса, Сигбьёрн ломал голову над последней фразой: что он имел в виду, кроме того факта, что Горький, как и большинство великих, прожил какое-то время в Риме, если и не в Мамертинской тюрьме, – но одновременно, другой извилиной, отлично понимал подтекст – и вдруг обнаружил, что из-за причудливой стихометрии этих заметок, которые он царапал между делом, точно стишки кропал, блокнот закончился – не вовремя, совсем не вовремя.

"В субботу приходил один джентльмен снимать слепок с его руки и ступни" – вот, по мне, самая страшная фраза. Что за джентльмен?

Этими словами блокнот завершался.

Нет, свободное место наверняка оставалось, Сигбьёрн всегда исписывал свои блокноты (да и жег свечу своей жизни – заметил он не без отеческой снисходительности) с обоих концов; да, верно, в начале тоже что-то есть. Перевернув блокнот, ибо он держал его вверх ногами, он улыбнулся и забыл, что искал чистые листы, поскольку моментально смекнул, где это писалось: два года тому назад, Америка, поездка в Ричмонд, штат Виргиния, – славное времечко. С довольной ухмылкой он настроился на чтение, радуясь еще и тому, что, сидя в итальянском баре, снова перенесется на Юг. Он не нашел никакого применения этим заметкам, даже не знал, что они в этом блокноте; наглядно вообразить себе картины, к которым они отсылали, иногда было нелегко:

Чудесная покатая площадь в Ричмонде и трагические силуэты голых, переплетающихся ветвями деревьев.

На стене "здесь был вонючий козел Дегенерат Бобс с Норт-энда, из Бостона, штат Массачусетс. Ублюдок трёхнутый".

Сигбьёрн тихо хихикнул. Теперь-то ему явственно вспомнился студеный зимний день в Ричмонде, романтично-величественное здание суда в крутосклонном парке, как долго надо было к нему взбираться, и двусмысленный знак духовного единства с Севером в мужском (только для белых) туалете. Улыбаясь, он продолжил чтение:

1. Итальянский кондотьер, герой одноименной новеллы Генриха Манна.

В Мемориале По хранится странная вырезка из газеты: "БИТКОМ НАБИТАЯ АУДИТОРИЯ ВНИМАЛА ЧТЕНИЮ СТИХОВ Э. А. ПО. Студент университета, покончивший самоубийством, похоронен в Уитервилле[1]".

Да-да-да, и это он вспомнил: в доме По или в одном из домов По, в том, на фасад которого лучи заката отбрасывали огромную тень в форме крыла, там еще была милая старушка-хранительница, это она показала ему газетную вырезку и сказала вполголоса: "Вы знаете, мы-то не верим, что он столько пил, как о нем рассказывают". Сигбьёрн вернулся к своим заметкам:

Напротив дома Крейга, где жила Эдгарова Елена[2], нижеслед. надписи на фасаде, окнах, крыльце, с которого Э. А. П. – если я ничего не путаю – должен был наблюдать за дамой с лампой из агата[3]: Мигрени – А. Б. В. – Невралгия – "Спиртные напитки навынос" – "Пепси – это наслаждение" – "Пейте 'Ройал Краун Колу'" – "Имбирное пиво доктора Свелла" – "Сдается комн. с мебл."; не здесь ли жил Э. А. П.? Наверняка здесь, Психею можно зреть только из мест, где спиртные напитки отпускаются навынос. В "Спиртных напитках" По больше не живет, это уж точно. Иначе комн. с мебл. не пустовала бы, верно?

Не забыть! – Говорящая Лошадь в пятницу.

"Дайте мне свободу или дайте мне смерть"[4] [читал дальше Сигбьёрн]. На церковном дворе, где похоронен Патрик Генри, табличка: "В радиусе 10 футов от храма не курить", и др. табличка на доме Роберта Э. Ли[5]:

Чтобы позвонить в звонок,
будьте любезны дернуть шнурок.

В Валентайновском музее[6], где хранятся личные вещи По..."

Сигбьёрн поднял глаза от блокнота. Тот зимний день вспомнился еще яснее. Дом Роберта Э. Ли находится, конечно, намного ниже по склону, чем суд, в значительном отдалении от Патрика Генри, дома Крейга и другого мемориала По, а следовательно, от него до Валентайновского музея путь был бы неблизкий, даже если бы улицы Ричмонда — города, чей эллинский дух проявлялся не только в архитектуре, но и в сильно пересеченном рельефе, греческая коза там была бы как дома — не взбирались так круто в гору, как только штурмовал эти улицы По, даже подумать больно. Заметки Сигбьёрна шли не по порядку, и, значит, эта относилась к утру, а не к вечеру, когда он на закате посетил тот, другой дом со старушкой-хранительницей... утром — вот когда он был в Валентайновском музее. Перед ним снова возник дом генерала Ли, и душу всколыхнул смутный отблеск красоты заиндевелого города, увиденного

1. Уитервилль — город в штате Виргиния.
2. Еленой и Психеей Эдгар По называл жительницу Ричмонда Джейн Стенард (в девичестве Крейг), в которую был влюблен в 14 лет. "Дом Крейга", ныне отреставрированный, — дом отца Джейн, где она жила, по-видимому, до замужества. Таким образом, По вряд ли мог постоянно видеть ее в окнах этого дома.
3. Отсылка к стихотворению Э. А. По "К Елене": "В окне, что светит в мрак ночной, / Как статуя, ты предо мной / Вздымаешь лампу из агата. Психея! Край твой был когда-то / Обетованною страной!" (перевод В. Брюсова).
4. Знаменитая фраза Патрика Генри (1736–1799) — одного из лидеров Американской революции.
5. Роберт Эдвард Ли (1807–1870) — главнокомандующий армией южан во время Гражданской войны в США.
6. Музей истории Ричмонда, носящий имя своего основателя, М. С. Валентайна.

целиком, перед глазами явственно возник белый особняк в конфедератском стиле, рядом — исполинская заводская труба из красного кирпича, а далеко внизу — кусочек старинной, мощенной булыжником улицы; и одинокая фигура, пересекающая пустошь, точно перекресток трех столетий, идущая от особняка к железнодорожным путям и вышеупомянутой трубе с рекламной надписью "Костная мука, сухие удобрения". Но последовательность заметок — "Чтобы позвонить в звонок, будьте любезны дернуть шнурок" в доме Ли — как бы задавала особый музыкальный ритм, настраивала на торжественный лад и услужливо, хоть и несвоевременно, растворяла перед ним двери музея, куда Сигбьёрн мысленно и вошел.

В Валентайновском музее, где хранятся личн. вещи По... [снова прочел он]

Просим

Не курить

Не бегать

Не трогать руками экспонаты и стены

Выполняя эти правила, вы гарантируете себе и окружающим удовольствие от посещения музея.

Синий шелковый сюртук и жилет, дар сестер Бойкин, принадлежавшие одному из зубных врачей Джорджа Вашингтона.

Сигбьёрн зажмурился (перед его мысленным взором беспомощно барахтались, борясь за внимание, дар сестер Бойкин и ароматические смолы, использованные при кремации Шелли), а затем вернулся к чтению и прочел следующий абзац. То были слова самого По, фрагмент одного из писем, в свое время написанных, видимо, в состоянии крайнего отчаяния, о котором не трезвонят, а ныне доступных досужему взгляду всякого, кому гарантировалось удовольствие от их прочтения, если только он воздержится от беготни, курения или прикосновений к стеклу витрины, где, подобно ароматическим смолам (на противоположной стороне земного шара), сохранялись эти листки. Сигбьёрн прочел:

Отрывок из письма По (после его исключения из Вест-Пойнта) к приемному отцу. 21 февраля 1831 г.

Однако это будет последний раз, когда я побеспокою кого бы то ни было из людей, — я чувствую себя словно на одре болезни, с которого мне уже никогда не подняться.

Сигбьёрн высчитал — и сердце у него екнуло, — что По написал эти слова ровно через семь лет (несколько дней разницы не в счет) после смерти Китса, а потом поднялся — и еще как поднялся! — с одра болезни, воскрес и, благодаря Бодлеру, направил на новый курс всю европейскую литературу, вот так-то, и не просто побеспокоил, но перепугал до умопомрачения несколько поколений людей такими милыми безделками, как "Король Чума", "Колодец и маятник" и "Низвержение в Мальстрём", не говоря уже о последствиях энциклопедичной, пророческой "Эврики".

Ухо у меня совсем разболелось, никакими словами не описать: день ото дня я чахну, если последняя болезнь меня уже не прикончила.

Сигбьёрн допил граппу и заказал еще. Чтение этих заметок оказывало на него любопытнейшее — вот именно, очень любопытное — действие. Сознавая, что читает их здесь, в этом римском баре, он одновременно явственно ощущал себя в Валентайновском музее в Ричмонде, штат Виргиния, — снова читал письма под стеклом, снова выписывал из них отрывки — и параллельно поглядывал на самого беднягу По — как тот угрюмо сидит незнамо где и все это пишет. А сквозь вышеописанные видения проступала фигура приемного отца По, на пару с Сигбьёрном читающего некоторые из писем, пробегающего их безразличным (насколько было известно Сигбьёрну) взглядом и все же, как оказалось, педантично сохранявшего эти листки для истории; да, он сохранил эти письма, которые, как ни крути, определенно писались — вот опять эта мысль — не для посторонних глаз. Впрочем... ой ли? Даже на пике отчаяния По, конечно, чуял, что переносит на бумагу некое повествование, которое само и есть — Эдгар Аллан По, и даже в тот миг, наверняка казавшийся ему моментом крайнего унижения, несмываемого — как бы ни готовил он себя к нему сознательно — позора, По, возможно, заколебался — рука не поднималась отослать написанное, донимала мысль: "Черт, кое-что из этого мне бы очень пригодилось — оно, разумеется, не ахти, но все же слишком хорошо, чтобы тратить попусту на моего приемного отца!" Среди опубликованных писем Китса тоже есть такие. Как-то странно и больно теперь, среди застекленных витрин, во всех этих музеях, сознавать, что этот пепел, эти вещественные доказательства страданий поставлены во главу угла и никуда от них не деться. Где астролябия По? Где бочонок с любимым кларетом Китса, где "Морские узлы: спутник яхтсмена" Шелли? Правда, ароматические смолы вряд ли были замечены Шелли, но даже дар сестер Бойкин, столь восхитительно неуместный, третьестепенный, отчасти ассоциировался со страданиями — у самого Джорджа Вашингтона, по крайней мере.

Балтимор, 12 апреля 1833 года

Я погибаю — совершенно погибаю из-за отсутствия помощи, хотя вовсе не сижу сложа руки. Не совершил я и никакого проступка против общества, которым заслужил бы столь тяжкую участь. Ради Бога, смилуйтесь надо мной и спасите меня от гибели.

Э. А. По[1]

"Матерь Божья", — подумал Сигбьёрн. Но По продержался еще шестнадцать лет. Умер в сорок. В Балтиморе. Сам Сигбьёрн покамест отставал от него в этом забеге на девять лет и собирался — тьфу-тьфу-тьфу — без лишних усилий опередить старика. А если бы По прожил еще немножко... а если бы Китс... Сигбьёрн принялся торопливо листать блокнот, но напоролся прямо на письмо Северна:

1. Последнее письмо По приемному отцу Джону Аллану.

Любезный сэр,

состояние Китса несколько ухудшилось По крайней мере, душевное его состояние — чрезвычайно Правда, кровохарканье прекратилось... но фатальная перспектива чахотки... ибо его познания в анатомии внутренних органов... служат для него добавочным орудием пытки.

Suppliziato, strangolato, подумал он... *Истинная тюрьма – нижняя. И многие другие.* Не совершил я и никакого проступка против общества. Ой ли? Так уж и не совершил, братец? Пусть общество оказывает тебе высочайшие почести и даже помещает твои личные вещи по соседству с жилетом, принадлежавшим зубному врачу Джорджа Вашингтона, но в сердце своем оно вопиет: *здесь был вонючий козел Дегенерат Бобс с Норт-Энда, Бостон, штат Массачусетс. Ублюдок трёхнутый!.. В субботу приходил один джентльмен снимать слепок с его руки и ступни...* Интересно, кто-нибудь такое пробовал, задумался Сигбьёрн, пригубив новую рюмку граппы и внезапно осознав, что гуггенхаймовская стипендия стремительно тает, — в смысле, сравнивал кто-нибудь Китса с По? Но в каком плане, в чем именно сравнивать Китса с По — в каких аспектах, в каком разрезе? Что он, собственно, вознамерился сопоставить? Не эстетику этих двух поэтов, не фрагментарность "Гипериона" в свете разработанной По концепции поэтического творчества и даже не философские амбиции Джона с философскими свершениями Эдгара. Или здесь уместнее говорить об "Отрицательной Способности"[1] в противоположность "отрицательному достижению"? Или предполагается сравнить их приступы хандры? Их попойки? Похмелье? Их твердолобое мужество (столь охотно игнорируемое литературоведами!), характер в высоком смысле слова, в конрадовском смысле, ибо в душе эти поэты — те самые невезучие капитаны, непоколебимо стремящиеся привести в порт свои утлые суденышки с бесценным грузом: привести любой ценой, в невыполнимо краткий срок, сквозь почти нескончаемые шторма и лишь изредка ослабевающие тайфуны? Или просто провести параллели между ощущениями, навеваемыми похоронной атмосферой их музеев? А не вообразить ли, начав опять же с Бодлера, что́ мог бы сделать из "Кануна святой Агнессы"[2] французский кинорежиссер Эпштейн, который гениально перенес на киноэкран "Падение дома Ашеров"[3] — сам По был бы в восторге? *Ради Бога, смилуйтесь надо мной и спасите меня от гибели!*

Ага-а-а, вот оно: а что, если бережное хранение подобных реликвий — кроме тех случаев, когда они лежат в шкафу злобного приемного отца, мечтающего уличить тебя и прищучить, — какая-то почти неосознанная месть поэту? Причем месть не за нонконформизм, но, скорее, за монополию на волшебство, за дар слова? С одной стороны, этому человеку было дано написать запредельный "Улялюм", колдовскую "Оду соловью" (а, теперь понятно, к чему там "Полевой определитель птиц Западной Европы"), но в следующую минуту он же мог бесхитростно

1. Отсылка к письму Китса Джорджу и Тому Китсам от 21 и 27 декабря 1817: "... меня осенило, какое качество формирует гения <...> я имею в виду Отрицательную Способность, проявляющуюся, когда человек способен находиться в неопределенности, в сумраке тайны, в сомнениях, не делая суетливых попыток непременно добиться до фактов и смысла..." Цит. по книге: Г. Кружков. Ностальгия обелисков. — М., 2001.
2. "Канун Святой Агнессы" — поэма Китса.
3. Фильм Жана Эпштейна снят в 1928 г.

взмолиться: Я погибаю... Ради Бога, смилуйтесь надо мной... Вот видите: поэт — тоже человек! Ой, а в этой витрине что?.. И наоборот, в таких фразах, как часто цитируемое флоберовское "Ils sont dans le vrai", навеки прославленное Кафкой и прочими[1], адресованное всему румяному, веселому и плодящемуся человечеству зараз, можно расслышать почти трагическую надменность. Надменность или, лучше сказать, самодовольство навыворот. В общем, черту характера, без которой можно преспокойно обойтись. Флоб... С какой, собственно, стати, это они — "dans le vrai", а не художник? Все люди и все поэты одинаковы, но некоторые поэты одинаковее других, как мог бы выразиться Джордж Оруэлл. Джордж Ор... И все же любой нынешний поэт скорее удавится (чего "они", собственно, и добиваются), чем позволит, чтобы его *Ради Бога, пришлите мне денег,* не вытребованное у адресата, не сожженное, лежало под музейным стеклом. Уже стало общим местом утверждение, что поэты не просто "тоже человеки", но даже с виду на людей похожи. Какой уж там нонконформистский вызов обществу: ежедневные газеты и сами писатели (позор на их головы!) при любом удобном случае самодовольно подчеркивают, что одеваются как банковские служащие и, мало того, частенько служат в банках или — о, какой великолепный парадокс — пишут для рекламы. И это чистая правда. Сигбьёрн сам одет как банковский служащий, а что поделаешь? Иначе он ни за что бы не осмелился зайти в банк. Большой вопрос, позволяют ли еще себе поэты, пусть даже в полном уединении, произносить фразы типа *Ради Бога, смилуйтесь надо мной!* Да по нормальности они уже нормальных перещеголяли! А отчаяние под музейным стеклом, вся частная переписка, тщательно уничтоженная, но обреченная стать в десять тысяч крат более публичной, выставленная на обозрение в циклопическом шкафу-витрине искусства, ныне подверглась трансмутации, переродилась в иероглифы, каракули виртуоза-стенографа, заумь, которую могут дешифровать только специалисты — ну, и поэты тоже — типа него, Сигбьёрна Уилдернесса... Уи...

И многие другие. Где-то в кутерьме всех этих нескладных, противоречивых мыслей должна быть одна дельная; и он ею воспользуется, и никакая жалость его не остановит, не станет препятствием даже легкий ужас, вновь охвативший Сигбьёрна, когда он осознал: эти страдальческие крики, нагие и мумифицированные, экспонируются в своей перманентной нетленности, словно навеки забальзамированы в изолированных траурных залах; изолированных, да не совсем, разве на вопль По, взывающего из Балтимора, не отозвался семью годами раньше, с опережением, крик Китса, взывающего из Рима? — так в сонете секстет перекликается с октавой; следовательно — по крайней мере, в особой реальности блокнота Сигбьёрна, — смерть самого По находится словно бы за пределами текста, чуть ли не на обочине его литературного пути, является лишь заметкой на полях. Однако, бесспорно, она — неотъемлемая

1. См. послесловие Макса Брода к первому изданию романа Кафки "Замок": "Франц Кафка напомнил мне однажды анекдот, который привела племянница Флобера в своей переписке. Он гласит: 'Не сожалел ли в свои последние годы он [Флобер], что не избрал жизненной стези обывателя? Я почти могу в это уверовать. Когда думаю о трогательных словах, сорвавшихся как-то с его губ, когда мы возвращались домой по берегу Сены; мы навещали моих приятельниц, они разыскивали где-то в толпе своих хорошеньких детишек'. 'Ils sont dans le vrai' ('Они правы' или 'Они в своем праве'), — сказал он, имея в виду тем самым добрый, почтенный семейный очаг". (Перевод В. Белоножко.)

часть все того же стихотворения, все того же повествования. *Но фатальная перспектива чахотки все еще маячит... Северн – приподними меня: я умираю. Снимите, уберите. Имбирное пиво доктора Свелла.*

Хороша ли идея или глупа, а в этом блокноте его мыслям уже не развернуться (заметки о По и Ричмонде, а также Фредериксберге[1] налезали на заметки о Риме, Мамертинской тюрьме и доме Китса, и наоборот), так что Сигбьёрн достал из кармана брюк другой.

По формату этот блокнот был намного больше, бумага плотнее, солиднее – довоенного производства, значит. Сигбьёрн прихватил его с собой в последнюю минуту, опасаясь, что за границей таких не раздобудешь.

В те дни он почти перестал вести записи: каждый купленный блокнот знаменовал собой минутную блажь, скоропреходящее желание начать с чистого листа; в итоге дома у него скопился запас таких, почти неиспользованных блокнотов; когда с войной его жизнь вступила в новую фазу, он перестал брать их с собой в путешествия – иначе не избежать ощущения, что поездка начинается с унизительной пощечины, нанесенной Сигбьёрну его прошлым, пощечины, незримо запятнавшей бумагу; этот он взял лишь как исключение из правила.

Но и под этой обложкой, обнаружил Сигбьёрн, непорочная чистота листков была уже нарушена: несколько начальных страниц исписаны его почерком, столь истеричным, столь дрожащим, что Сигбьёрну пришлось надеть очки. Сиэтл, – разобрал он. Ию... июль? 1939. Сиэтл! Сигбьёрн торопливо хлебнул граппы. Там, на закате, в тьме туманной, я вижу, вижу город странный, где Смерть чертог воздвигла свой, где грешный и праведный, добрый и злой равно навек нашли покой[2]. Истинный Сиэтл – нижний... В те дни он отнесся к Сиэтлу, к горным его красотам, предвзято, что, впрочем, в сложившихся обстоятельствах полагал вполне простительным. Ибо он наткнулся вовсе не на заметки, а на черновик письма, набросанный в блокноте, поскольку письмо такого рода он сумел бы написать только в баре. В баре? Что ж, это заведение можно было назвать и баром. Ибо тогда в Сиэтле, штат Вашингтон, все еще запрещалось подавать в барах крепкие спиртные напитки – а в Ричмонде, штат Виргиния, кстати, запрещено посейчас, – в чем на пятьдесят процентов и состоял смысл его пребывания в штате Вашингтон: затея мерзостная, старания напрасные. "Спиртные напитки на вынос", – подумал он. Нет, нет, к Вирджинии из рода Дэров вы не спешите... Не искушайте рот ваш пепси-колой, рубиновою гроздью Прозерпины[3]. Письмо относилось – оно определенно было ему знакомо, хотя теперь уже не упомнишь, поработал ли он над ним еще немного, отослал ли адресату, – к самой непроглядной поре того периода, когда жизнь Сигбьёрна круто покатилась под откос: скромное наследство, его единственный источник средств к существованию, внезапно было передано под управление

1. Фредериксберг – город в штате Виргиния, место одного из сражений Гражданской войны, в котором одержали победу южане.
2. Начало стихотворения Э. А. По "Город среди моря". Перевод Н. Вольпин.
3. Переиначенные строки стихотворения Китса "Ода к Меланхолии". Вирджиния Дэр – первый ребенок, родившийся у английских колонистов на североамериканском континенте. Судьба Вирджинии, как и других жителей колонии на острове Роанок в Северной Каролине, основанной в 1587 г., доселе остается загадкой: английская экспедиция, вернувшаяся на Роанок в 1590 г., нашла там лишь руины. Имя Вирджинии Дэр носит самый длинный автомобильный мост в Северной Каролине, а также фирма, производящая безалкогольные напитки.

лос-анджелесского поверенного (адресата данного письма), ибо родные, считавшие Сигбьёрна пропащим, умыли руки, а поверенный, по сути, поступил не лучше — сослал его в Сиэтл, поселил в семействе истово верующих христиан, последователей Фрэнка Бухмана[1], с условием, чтобы ему выдавали на руки не больше двадцати пяти центов в день.

Уважаемый мистер Ван Босх!

Чтобы уберечь свою психику — это лишь один из многих резонов, — я должен срочно покинуть Сиэтл и лично повидаться с вами в Лос-Анджелесе. В противном случае я всерьез опасаюсь за свой рассудок. Соблюдение ваших условий относительно спиртного дается мне довольно легко, я даже сам от себя такого не ожидал; работал я тоже прилежно, но, увы, пока ничего еще не пристроил в журналы. Должен заметить, что Макоркиндейлы в меньшей степени, чем я предполагал, вмешиваются в мой образ жизни — по некоторым вопросам, как минимум, они приняли мою позицию; если они и взывают к Господу о знамении в тех крайне редких случаях, когда находят нужным выдать мне более 25 центов в день, то им хотя бы понятно мое желание вернуться. Возможно, причина в том, что Макоркиндейл-старший буквально и телесно изнемог, повсюду следуя за мной по Сиэтлу, либо в том, что вы переводите им недостаточно денег на оплату моего проживания и питания, но такова амплитуда их сострадания. Короче говоря, они сочувствуют мне, но в глубине души не могут со мной согласиться; в беседе с вами они вряд ли предложат, чтобы я вернулся. А всякий раз, когда заходит речь о моем литературном труде — и это для меня едва ли не самое тягостное, — я сталкиваюсь с мнением, что мне "лучше отойти от всего этого". Если бы, говоря так, они просто ссылались на ваши слова или слова моих родителей, я мог бы их понять, но сие мнение преподносится мне как независимое суждение, исходящее — тут, по мне, попахивает кощунством — непосредственно от Бога, ежедневно спускающегося с небес к Макоркиндейлам, дабы известить их — пусть и в более краткой, чем я излагаю, форме, — что серьезного писателя из меня не выйдет. Поскольку я чувствую, что какая-то сокровенная правда в этом есть — моя судьба ее подтверждает, — я находил бы их точку зрения достаточно угнетающей, даже если бы она сводилась к вышеописанному убеждению, а не перерастала в надежду, по удивительному совпадению разделяемую моими родителями и вами, будто, забросив литературу, я смогу сделать блестящую карьеру в рекламе. Поскольку я отчетливо чувствую, что их убежденность искренна, и питаю к ней почтение, мне остается сказать только одно: надеюсь, при ежедневных переговорах со своим Всевышним в Сиэтле они невзначай попросят срочно возвратить одного докучливого грешника в Лос-Анджелес, а Всевышний оную мольбу исполнит. Ибо я не в силах описать свою духовную изоляцию в этом городе и охватившее меня отчаяние. Конечно, мне было приятно пожить у моря — Макоркиндейлы наверняка известили вас, что Ассоциация устраивала в Беллингхеме[2] небольшой съезд (желаю вам как-нибудь побывать в Беллингхеме), — но все возможности для моего исцеления здесь исчерпаны. Скажу как на духу: я никогда не смогу вернуться к нормальной жизни, пока нахожусь в этом городе, в разлуке с Примроуз, на которой, что бы вы ни говорили, я всей

1. Фрэнк Бухман (1878–1961) — американский христианский проповедник, основатель международного движения "Моральное перевооружение". Идеи Бухмана вдохновили создателей "Общества анонимных алкоголиков".
2. Беллингхем — крупный портовый город в 85 милях от Сиэтла.

душой желаю жениться. Как больно мне было узнать, что ее письма ко мне вскрываются, и, мало того, выслушивать от читателей этих писем нотации касательно ее нравственного облика; таким образом, я не смог ответить на ее послания и тем причинил ей страшные мучения. Вынужденная разлука с ней уже сама по себе — невыносимая пытка. В сложившихся же обстоятельствах могу сказать лишь одно: мне было бы легче находиться в тюрьме, в ужаснейшем из мыслимых застенков, чем томиться в этом проклятом городе, занимающем в Штатах первое место по числу самоубийств. В этой макабрической дыре я умираю в буквальном смысле слова; умоляю вас, пришлите мне из тех денег, которые как-никак принадлежат мне, необходимую сумму на обратную дорогу. Наверняка я не единственный писатель, были в истории и другие, о чьем образе жизни судили превратно, те, кому не удалось... те, кто все превозмог... успех... кабатчики и грешники... я вовсе не намереваюсь...

Дальше Сигбьёрн читать не мог; рука сама потянулась вырвать письмо из блокнота, но, опасаясь, что следом вывалятся и чистые листки, он принялся тщательно вымарывать строчку за строчкой.

Однако, расправившись с половиной, пожалел о своем решении. Ведь теперь, черт подери, письмо не используешь. Даже сочиняя его, он наверняка считал эти строки чересчур блестящими для убогого Ван Босха; что, впрочем, еще не показатель качества. Все равно, сгодилось бы на что-нибудь. И все же, если бы они нашли это письмо — "они"? кто — "они"? да все равно кто — и выставили под стеклом в музее среди его, Сигбьёрна, личных вещей и рукописей? Вряд ли... но разве с ними угадаешь!.. Что ж, теперь уже не выставят. Ничего, попробуем-ка вспомнить... *Я погибаю – совершенно погибаю. Что я сделал им? Любезный сэр. В ужаснейшем из застенков.* И многие другие: и *вонючий козел Дегенерат Бобс с Норт-энда, Бостон, штат Массачусетс. Ублюдок!*

Сигбьёрн допил пятую рюмку закоренело-греховной граппы и вдруг громко рассмеялся; и смех этот немедля, словно смекнув, что надо прикинуться чем-то благопристойным, перешел в затяжной — хотя не такой уж и неприятный — приступ кашля...

Легенды североамериканских индейцев

Перевод с английского Ксении Подгорной

Волосатый Коротышка

КОРОТЫШКА был волосатее скунса. Волосы росли у него из ноздрей. Спутанные густые клочья торчали из зада. Карлик был не очень-то красив, а вонял так, словно и вовсе никогда не мылся. Но он был забавным, смешливым парнем, поэтому ему запросто удавалось затащить в постель хорошеньких девушек. А еще ему не сиделось на месте и тянуло к новым открытиям.

Волосатый Коротышка, хоть и не отличался высоким ростом, но за какое бы дело ни брался, все ему удавалось. Он был очень отважен, поэтому его всегда звали туда, где людям грозила опасность. Когда огромный медведь, придя в ярость, разорвал своими страшными когтями шкуры вигвама и сожрал всех, кто находился внутри, Волосатому Коротышке не составило труда его прикончить. В благодарность люди подарили карлику волшебный нож.

Однажды, когда Коротышка путешествовал, он повстречал двух братьев и спросил, куда те направляются.

— Мы ищем приключений, — ответили они.

— Вот и я тоже. Давайте продолжим путь вместе, — сказал Коротышка. — Как вас зовут?

— Я — Дымящаяся Гора, — ответил один из братьев. — Я старший. А он — Сломанная Дубинка.

Втроем они бродили до тех пор, пока не вышли к красивому большому вигваму. Вокруг валялось множество бизоньих шкур. Снаружи к хижине были прикреплены оленьи рога, на них вялилось мясо, неподалеку кто-то оставил большой чан. Но вигвам пустовал: там не было никаких следов человеческого присутствия.

— Мне нравится это место, — сказал карлик. — Давайте остановимся здесь на время.

— Наверно, у этого вигвама есть хозяин, — сказал Дымящаяся Гора.

— Ну и что, — ответил Коротышка, — пускай приходит и доказывает, что это его жилище. А уж если никто не появится, тем лучше.

Итак, они остались.

Карлик сказал Дымящейся Горе:

— Давай-ка сходим поохотимся. Сломанная Дубинка пускай остается и приготовит нам что-нибудь на ужин из этого вяленого мяса.

Они взяли луки и стрелы и ушли.

© 1984 by Richard Erdoes and Alfonso Ortiz
© Ксения Подгорная. Перевод, 2006

Но когда охотники вернулись обратно в лагерь, ужином и не пахло. Сломанная Дубинка лежал под бизоньей шкурой, жалуясь и постанывая.

— Что с тобой? — спросил Коротышка. — Ты выглядишь так, будто тебя только что поколотили.

— Мне стыдно рассказывать, — отвечал Сломанная Дубинка.

— Как знаешь, — проговорил карлик, и они поужинали холодным вяленым мясом.

На следующий день Волосатый Коротышка сказал Сломанной Дубинке:

— Давай-ка сходим поохотимся. Дымящаяся Гора пускай остается и готовит.

Но, вернувшись, они обнаружили Дымящуюся Гору тоже стонущим и жалующимся.

— Что стряслось, дружище? — спросил Коротышка. — Ты выглядишь так, словно тебя поколотили.

— Мне очень стыдно рассказывать, — отвечал Дымящаяся Гора.

— Вы двое — замечательные стряпухи! — заметил Коротышка. И снова им пришлось ужинать холодным вяленым мясом.

На следующее утро Коротышка сказал братьям:

— Ступайте на охоту, а я останусь и приготовлю поесть.

И когда братья вернулись с добычей, их ожидал замечательный ужин.

— Кто-нибудь сюда приходил? — спросил Дымящаяся Гора.

— Загляните вон под ту шкуру, — сказал Коротышка, указывая на бизонью шкуру, лежащую на полу вигвама, — там большой плоский камень, а под ним — нора. Кто-то приподнял камень, вылез из норы и выполз из-под шкуры.

— А что было потом? — спросили братья.

— Да то же, что вы уже знаете. Уродливый гоблин, страшно сильный, хотя размером с мою руку, попытался отхлестать меня своей плеткой. Вот почему вы так стонали и жаловались. А рассказать, что произошло, вам было стыдно, потому что гоблин очень уж мал.

— Ага, — сказали братья, — он и тебя поколотил.

— Нет, — ответил Коротышка, — этого я ему не позволил. Я прикончил его и сбросил вниз, в нору.

Дымящаяся Гора отодвинул в сторону бизонью шкуру, приподнял камень и заглянул вниз.

— Ух ты, какой глубокий лаз, — сказал он. — Должно быть, он ведет к жилищу гоблина. Спущусь-ка я, пожалуй, туда и все разузнаю.

Волосатый Коротышка ответил:

— Это легко устроить.

Он притащил большой чан и привязал к его ручке веревку из сыромятной кожи.

— Забирайся в этот чан, — скомандовал он Дымящейся Горе, — и мы спустим тебя вниз. Затем мы втащим тебя обратно, и ты расскажешь нам обо всем, что увидел в норе.

Они опустили чан с Дымящейся Горой вниз, а потом подняли его обратно.

Дымящаяся Гора рассказал:

— Я приземлился справа от головы гоблина; ты и вправду лихо с ним расправился. Внизу темно и сыро, и еще я услышал странный звук, по-

хожий на фырканье животного. Не очень-то приятно было там находиться.

— Спустите меня вниз, — сказал Сломанная Дубинка. — Я не боюсь.

Они опустили его вниз, а потом подняли обратно. Сломанная Дубинка сказал:

— Я прошел немного дальше. Там есть дверь, вернее, дыра в стене пещеры, которая закрыта камнем. Я тоже слышал странные звуки — то ли глухое рычание, то ли хрипение.

— Спустите меня вниз, — сказал Волосатый Коротышка.

Когда братья опустили его, карлик нашел проход в стене и прислушался к рычащему хрипению, то ли хрипящему рычанию. Он отодвинул с дороги камень и обнаружил, что стоит в маленькой пещерке нос к носу с двухголовым чудовищем. Чудовище прорычало:

— Где мой сын? Ты видел его? Он не больше...

— Это, должно быть, тот самый гоблин, которого я убил, — отозвался Волосатый Карлик. — Валяется за стеной бездыханный.

Как только он произнес эти слова, чудовище взревело и набросилось на Коротышку, но тот ухитрился снести ему одну из голов своим волшебным ножом. Тем не менее чудовище продолжало биться все так же отчаянно. Они боролись до тех пор, пока Карлику не удалось срубить и вторую голову.

Заглянув за труп чудища, Карлик заметил в противоположной стене вторую дверь. Из-за нее доносились поистине ужасающие хрипение, рычание и сопение, словно там находилась целая стая диких зверей.

— Интересно, кто бы там мог быть, — подумал Коротышка, отодвигая с пути камень. В следующей пещере он увидел сплошь покрытое чешуей чудовище с тремя головами, каждая из которых фыркала, рычала и сопела.

— Где мой двухголовый сын? — спросило чудовище.

— Дедушка (или дедушки?), ваш сын мертв. Мне пришлось прикончить его, потому как иначе он бы прикончил меня. Он, похоже, свихнулся из-за того, что я убил его сына, вероятно, вашего внука — злобного гоблина с хлыстом.

Услышав это, трехголовое чудовище в ярости кинулось на Коротышку. Все три головы с пеной в углах ртов страшно рычали и щелкали зубами.

— Всему свое время, всему свое время, — приговаривал Коротышка, срубая одну голову за другой. — Как они меня утомили, — сказал Коротышка и огляделся вокруг. Он обнаружил еще одну дверь, за которой слышались завывания, шарканье, рычание и ворчание.

— Это становится скучным, — сказал он, отодвигая в сторону очередной камень, и тут же столкнулся с четырехголовым чудищем, покрытым роговой шкурой. Этот, в отличие от предыдущих монстров, не стал задавать вопросов, а сразу прыгнул на Коротышку, кусая, щелкая и разрывая четырьмя челюстями все что ни попадя. Шкура чудища была настолько грубой, особенно на шеях, что не поддавалась ударам волшебного ножа. И даже когда Коротышка снес три из четырех голов, чудище продолжало сражаться так же люто, как прежде. Четвертая голова была самой стойкой; она отхватила изрядный кусок плеча карлика, прежде чем тому удалось ее срубить. Обессиленный, тяжело дыша, Коротышка пнул гигантскую тушу и сказал:

— Поделом тебе, мерзавец!

И вновь он поглядел вокруг и увидел дверь.

– Ну, уж нет! – сказал Коротышка. Но, когда он прислушался, до его ушей донеслось сладкозвучное пение молодых девушек.

– Это совсем другое дело! – воскликнул Волосатый Коротышка, отодвигая в сторону последний камень. Вступил в последнюю пещеру и обнаружил там трех очень милых девушек.

– Чудовища ваши родственники? – спросил Коротышка.

– Нет-нет, что вы! – отвечали девицы. – Эти ужасные чудища держали нас в наложницах. У нас была тяжелая жизнь.

– Легко поверить, – сказал Коротышка.

– Прекрасный молодой воин, – произнесла одна из девушек, – я уверена, что ты пришел нас спасти.

– Ну, уж не знаю, насколько я прекрасен, – сказал Коротышка, – но освободить я вас собираюсь.

– Ты очень красивый, – отвечала смелая девушка, – мне нравятся маленькие, волосатенькие, толстенькие парни.

– Тогда, считай, ты встретила нужного человека, – сказал карлик. Он осмотрелся вокруг и увидел чудесные вещи, которые чудища отобрали у своих жертв: одежду из оленьей кожи, украшенную разноцветными перьями, превосходное оружие, военные головные уборы из орлиных перьев и многое другое.

– Этого достаточно, чтобы разделить на троих, – сказал Коротышка, – и разве не удачное совпадение, что вас трое и нас трое? Я говорю о двух своих друзьях, которые ждут в вигваме наверху.

– Новости одна другой лучше, – сказали три милые девушки.

Волосатый Коротышка завязал в узел порядком хороших вещиц и отправился к норе под вигвамом.

– Эй, приятели, – громко крикнул он, – у меня есть кое-что для нас троих!

Он положил вещи в чан, и братья вытянули их наверх. Потом покричали вниз:

– Теперь ты поднимаешься?

– Еще нет, – ответил карлик. – Сначала вытащите трех молодых красавиц, достойных того, чтоб на них поглядеть.

Братья снова и снова спускали чан вниз, пока не подняли всех девушек. Тогда Коротышка прокричал:

– Теперь я поднимаюсь!

И залез в чан. Когда братья подняли его до середины пути, Сломанная Дубинка сказал Дымящейся Горе:

– Давай сбросим его вниз. Тогда мы сможем забрать красавиц и все добро себе.

– Нет, – сказал Дымящаяся Гора, – Коротышка наш хороший друг.

Но Сломанная Дубинка уже перерезал веревку из сыромятной кожи, и карлик со страшным грохотом рухнул вниз. Он был оглушен ударом, но, быстро придя в себя, сказал:

– Каких хороших товарищей я себе выбрал!

Без веревки и чана Волосатому Коротышке пришлось нелегко. Он четыре раза пытался вскарабкаться наверх, в вигвам, прежде чем ему это наконец удалось.

– Теперь я должен найти этих дрянных братьев, – сказал карлик.

Идя по следам Дымящейся Горы и Сломанной Дубинки, Коротышка услышал громкую брань. Он пошел на звук и набрел на тело большого лося, на котором сидели и переругивались оса, червь и дятел.

— Друзья мои, — сказал им Волосатый Коротышка, — здесь не из-за чего препираться. Позвольте мне разделить тушу для вас и прекратить этот скандал.

Он отдал кости дятлу, жир осе, а мясо червю, и все успокоились.

— Спасибо тебе, дядюшка, за то, что поделил все по справедливости и помирил нас, — сказали они. — Взамен и мы тебе поможем: теперь, если ты попадешь в беду, сможешь превратиться в червя, осу или дятла.

— Спасибо, очень вам благодарен, — сказал Коротышка.

Никуда не сворачивая со следа, он вышел к вигваму, стоящему на опушке леса. Для начала он превратился в дятла, взлетел на шест над дымовым отверстием вигвама и заглянул внутрь.

— Ага, — сказал он сам себе, — в вигваме два дрянных брата разговаривают с тремя девушками.

После чего он обернулся осой и, слетевши вниз, опустился на плечо смелой девушки. Никто его не заметил. Смелая девушка сказала:

— Я все еще ужасно зла на вас. Вы поступили подло, бросив этого славного малыша. Он был храбрый парень, и очень мне понравился. Надеюсь, ничего плохого с ним не случилось.

Дымящаяся Гора согласился с ней:

— Да, это было несправедливо. Я пытался возражать, но брат уже перерезал веревку.

Сломанная Дубинка только рассмеялся:

— Брат, ты рассуждаешь как дурак. Было жутко смешно — сбросить никому не нужного волосатика вниз и слушать, как он визжит. Посмотри на богатства, которые я добыл для нас, взгляни на этих хорошеньких девушек, теперь нам не придется скучать по ночам. Да меня до сих пор смех разбирает, стоит вспомнить, как волосатый с грохотом и визгом полетел в нору.

— Чего-то не помню, чтобы я визжал, — сказал Волосатый Коротышка, быстро принимая свой обычный облик. — Давай-ка посмотрим, кто теперь будет молить о пощаде.

Сломанная Дубинка попытался убежать, но Коротышка схватил его за волосы и перерезал глотку своим волшебным ножом. Затем пнул Дымящуюся Гору в зад:

— Трус! Ты послушался своего младшего брата и бросил меня в норе! Если еще когда-нибудь попадешься мне на пути, я убью тебя так же, как убил твоего брата.

Дымящаяся Гора пустился наутек, а Коротышка повернулся к девушкам:

— Красавицы, вы согласны взять меня в мужья? Все трое будете довольны, не беспокойтесь. Я мал, да удал.

— Красавчик, — сказала смелая девушка, — мы ведь сестры и всегда мечтали, чтобы у нас был один муж.

Волосатый Коротышка женился на девицах, и они были счастливы вместе.

Пожив немного со своими женами, Коротышка сказал им:

— Дорогие мои, я не могу долго усидеть на месте. Меня тянет в новые края. Я отправляюсь путешествовать, а вам оставляю достаточно мяса, пеммикана, языков, жира, чтобы обеспечить безбедную жизнь. Не горюйте, я ухожу ненадолго.

Итак, Волосатый Коротышка снова отправился в путь. Он пришел к вигваму, в котором сидела и рыдала симпатичная молодая женщина. Зайдя внутрь, карлик спросил:

– Красавица, что случилось?

– Мерзкое водяное чудище держит меня в наложницах. Ненавижу, когда оно ко мне прикасается. Я много раз пыталась сбежать, но оно каждый раз ловило меня и притаскивало обратно.

– Утри слезы, – сказал Коротышка. – Я убью чудовище и возьму тебя замуж. У меня уже есть три жены, но мне не составит труда ублажать еще одну.

– Я бы не прочь, но никто не может его убить.

– Я уже прирезал несколько чудовищ своим волшебным ножом. И спас красоток, которых держали в неволе злобные страшилища. Мой нож меня не подведет.

– Этого ты не сможешь прикончить даже своим волшебным ножом, потому что оно состоит из нескольких чудовищ. Есть секретный способ, как его убить, но если ты не знаешь, что́ нужно сделать, тебе не жить.

– А что это за секретный способ?

– Сама не знаю; ни разу не было случая спросить. Но сегодня вечером, когда чудище вернется, я постараюсь вытянуть из него тайну. А ты пока спрячься.

– Легко, – сказал Коротышка, превращаясь в дятла и взлетая на шест над дымовым отверстием вигвама.

С наступлением ночи водяное чудище вернулось. Глядя вниз со своего насеста, Коротышка подумал: "Вот уж действительно ужасное и мерзкое страшилище!"

Страшилище бросило девушке кусок мяса и сказало:

– Я только что утопил и съел несколько человек и потому сыт, а это немного антилопьего мяса для тебя.

– Это как раз то, что я люблю, – ответила девушка. – Ой, у тебя рог испачкался; позволь я его почищу. Он такой красивый.

– Ты сегодня очень мила, наверно, для разнообразия, – сказало чудище. – Не такая хмурая и кислая, как обычно. Возможно, ты начинаешь обо мне заботиться.

– Как же мне о тебе не заботиться? – отвечала девушка. – Скажи, как в случае беды тебе помочь: что за единственный способ убить тебя?

Чудище жутко ухмыльнулось и сказало:

– Не забывай, что я – величайшее из водяных чудовищ. Пусть только кто-нибудь попробует ко мне подступиться: из меня выскочит огромный медведь – гризли, а из него бурый медведь поменьше, а из него – пантера, из пантеры – волк, из волка – росомаха, из нее – лисица, а из той – кролик. Из кролика вылетит перепелка, она снесет яйцо. Только разбив это яйцо о рог на моем лбу, можно меня убить.

Коротышка все это слышал. В тот же миг он слетел вниз в вигвам, принял обычный вид и набросился на чудовище со своим волшебным ножом. Одного за другим он убивал животных, выходящих из страшилища, а в конце разбил яйцо о рог на его голове.

– Ты храбрый и сильный, – сказала девушка. – Я твоя.

Вот так она стала четвертой женой Волосатого Коротышки. Он забрал ее в свой вигвам, прихватив те сокровища, которые водяное чудище накопило благодаря убийствам и грабежам. Коротышка был прав: его хватило и на четырех жен, да и тех иногда бывало маловато.

Глускап[1] сражается с водяным чудищем

ГЛУСКАП до сих пор еще живет где-то на Южном полюсе. Он никогда не состарится и проживет еще столько, сколько будет существовать мир. Иногда ему надоедает крутить Землю, править животными, наводить порядок в природе, учить людей жить. Тогда он говорит нам: "Я устал от всего этого. До свидания. Теперь мне пора умереть". Он садится в свое белое каноэ и медленно исчезает в облаках тумана. Но всегда возвращается. Ему не суждено навеки покинуть людей, а те не могут жить без него.

Глускап — дух, колдун, чародей. Он может заставить людей улыбаться. Он может сделать все что угодно.

Глускап создал всех животных мирными и полезными людям. Когда он сотворил первую белку, она была размером с кита. "Что ты будешь делать, если я предоставлю тебе полную свободу?" — спросил Глускап, и белка набросилась на большое дерево и в долю секунды разгрызла его в щепки. "При таких размерах ты приносишь слишком много разрушений", — сказал Глускап и сделал белку намного меньше. Первый бобер был тоже величиной с кита и выстроил плотину, которая затопила земли от горизонта до горизонта. Глускап сказал: "Ты утопишь всех людей, если я оставлю тебя в таком виде". Он положил бобра на спину, и тот сжался до своих теперешних размеров. Первый лось был таким высоким, что доставал до неба и очень сильно отличался от тех, что живут сейчас. Он топтал на своем пути леса, горы и вообще все подряд. "Ты разрушишь все, что я создал", — сказал Глускап. Он положил лося на спину, чтобы сделать его поменьше, но тот отказался повиноваться. Тогда Глускап убил его и возродил в другом виде и размере. Так Глускап сотворил все таким, как нужно.

Еще Глускап создал деревню и научил людей всему, что им необходимо было знать. Они охотились, рыбачили и были счастливы. Мужчины и женщины влюблялись. Дети играли и тоже были счастливы. Родители нежно любили детей, а те уважали своих родителей. Все шло так, как задумал Глускап.

Близ деревни протекал ручей — единственный источник воды в окрестностях; он постоянно пополнялся чистой, прозрачной, прохладной водой. Но однажды ручей начал пересыхать; лишь мерзкая липкая грязь текла теперь по его руслу. Он не наполнялся водой даже во время проливных дождей и даже весной, когда таяли снега. Люди задумались: "Что же нам делать? Мы ведь никак не можем жить без воды". Мудрецы и старейшины собрали совет и порешили отправить человека на север к источнику, чтобы тот узнал, почему родник пересыхает.

Этот человек долго шел, пока не набрел на поселение. Люди, жившие там, не были похожи на обычных людей. У них были перепончатые руки и ноги. Близ деревеньки начинал свой путь ручей. Здесь была вода, но какая — илистая, желтоватая, вонючая! Мужчине после долгого путешествия хотелось пить, и он попросил, чтобы ему дали немного воды, пускай даже такой грязной.

1. Глускап — легендарный герой и прародитель у индейцев абенаки, алгонкинов; в мифологии выступает как удачливый ловкач. *(Прим. перев.)*

– Мы не можем дать тебе воды, – ответили люди с перепончатыми руками и ногами, – пока не получим разрешения от нашего великого повелителя. Он хочет, чтобы вся вода принадлежала ему.

– Где ваш повелитель? – спросил мужчина.

– Иди вверх по ручью, – отвечали ему поселяне.

Он отправился в путь и наконец добрался до великого повелителя. Увидев его, мужчина затрясся от ужаса, потому что тот оказался таким страшным и таким огромным, что голова его скрывалась в облаках. Он вырыл себе глубокую яму и устроил запруду, поэтому вода не могла попасть в русло ручья. И он загрязнял и отравлял воду, поэтому над ее илистой поверхностью постоянно висел ядовитый туман.

У чудища была необъятных размеров пасть, зубы оскалены в ухмылке от уха до уха. Его тусклые желтые глаза торчали на морде как гигантские сосновые сучки. Тело было покрыто наростами, каждый величиной с гору. Чудище тупо уставилось на человека своими выпученными глазами и устрашающе проквакало:

– Маленький человек, что тебе нужно?

Человек, хотя и был очень напуган, смог ответить:

– Я пришел из деревни, которая располагается ниже по ручью. Наш единственный источник воды пересох, потому что ты забираешь всю воду себе. Мы хотели бы получить хотя бы малую толику этой воды. И еще, пожалуйста, не загрязняй ее.

Чудище долго глядело на него, прищурившись. И наконец опять заквакало:

Делай как хочешь,
Делай как знаешь,

Меня не расстроишь
И не напугаешь,

А, тебе нужна вода?!
Это не моя беда!

Уходи прочь!!!

Человек сказал:

– Но мы пропадем без воды. Люди умирают от жажды.

Чудище отвечало:

А мне плевать,
Ты мне не мешай,

Не морочь мне голову,
Не надоедай!

Уходи прочь,
Прочь уходи,

Не то я тебя проглочу!

Чудище разинуло свою гигантскую пасть, и человек увидел в ней множество убитых им существ. Потом оно сглотнуло несколько раз и со страшным ревом сомкнуло пасть. Тут отваге человека пришел конец, он развернулся и побежал прочь так быстро, как только мог.

Вернувшись в деревню, мужчина рассказал людям:

— Ничего нельзя сделать. Если мы и дальше будем жаловаться, чудовище затопит нас. Оно всех нас убьет.

Люди были в отчаянии. "Как нам быть?" — кричали они. Но вы, наверно, еще помните, что Глускап знает обо всем, что происходит на Земле. Он все видит своим внутренним оком. Он сказал:

— Я должен все уладить. Надо вернуть людям воду!

И Глускап начал готовиться к сражению. Он раскрасил свое тело красной как кровь краской. Он в десять раз вырос. Он вставил в уши серьги из огромных раковин моллюсков. Он воткнул себе в волосы двенадцать черных и двенадцать белых орлиных перьев. Он нарисовал желтые круги вокруг глаз. Он принял свирепый вид, состроив устрашающую гримасу. Он топнул ногой, и задрожала земля. Он издал ужасающий боевой клич, и этот вопль эхом докатился до гор и возвратился обратно. Он вырвал из земли огромную скалу, крепкую, как кремень, и из нее сделал себе нож, острый, как зубы ласки. "Теперь я готов", — сказал он и пошел широким шагом в окружении громов и молний. Большие орлы кружили над ним. И вот Глускап пришел в поселение, где жили люди с перепончатыми руками и ногами.

— Мне нужна вода, — сказал им Глускап.

Увидев его, жители перепугались и принесли ему немного мутной воды.

— Я думаю, что смогу достать больше воды, причем чистой, — сказал он.

Он отправился вверх по течению и повстречал чудовище.

— Дай мне чистой воды, — потребовал Глускап, — много чистой воды, чтобы хватило всем людям, живущим ниже по течению.

Ха-ха-ха!
Хо-хо-хо!

Все реки мои
И озера мои,

Все воды мои!
Прочь уходи.

Или я тебя убью!

— Мерзкая куча грязи! — закричал Глускап. — Поглядим еще, кто кого убьет!

И начался бой. Горы содрогнулись. Земля раскололась пополам. Топь задымилась и вспыхнула. Могучие деревья разлетелись в щепки.

Чудище широко разинуло пасть, чтобы проглотить Глускапа. А тот увеличился в размерах еще больше, стал выше, чем самое высокое дерево, — теперь и этой огромной пасти было с ним не управиться. Глускап выхватил свой нож и вспорол жирное брюхо чудовища. Из раны хлынул мощный поток, ревущая река бежала, катилась, пенилась, неслась дальше и дальше, размывала для себя широкое, глубокое русло, текла к деревне и мимо нее на восток к великому морю.

— Теперь людям должно хватить воды, — сказал Глускап.

Он схватил чудовище и сжал его в своих мощных ладонях. Он сжимал и давил его, а потом зашвырнул в топь. Глускап превратил великана в маленькую болотную лягушку, и именно с той поры кожа лягушки вся будто смятая. Это из-за того, что Глускап слишком сильно ее сдавливал.

Маргарет Этвуд

Выбор профессии: "Кем ты себя воображаешь?"

(Что такое "писатель" и как я им стала?)

Перевод с английского Е. Скрылевой

...Колонии не хватает душевных сил подняться над повседневностью, не хватает жизнелюбия и она не верит в себя по-настоящему... Колония хороша как декорация, но – не настоящего, и не прошлого, и не будущего, а того, что пребывает где-то еще, где-то за границами ее возможностей... Великое искусство пестуют художники и зрители; они напряженно и с неослабевающим интересом следят за жизнью, которая идет в их собственной стране.

Э. К. Браун
Трудности канадской литературы (1943)

Канадский поэт владеет всеми средствами родного языка (и, разумеется, других – иностранных), но ему не достает трезвого понимания того, что он должен их преодолеть.

Милтон Уилсон
Другие канадцы и последующий период (1958)

Мне казалось тогда, что стать писателем так же просто, как и читателем. Я купила школьную тетрадку и начала: размашисто исписанные страницы почти тотчас вызывали разочарование, и я со злобой рвала их в клочья, мяла изо всех сил и заталкивала в мусорное ведро. И так снова и снова, пока от тетради не осталась одна обложка. Тогда я купила новую тетрадь и начала сначала. Все тот же круг – восторг и отчаяние, восторг и отчаяние.

Элис Манро
Остров Кортеса (1999)

© O. W. Toad Ltd., 2002
© Е. Скрылева. Перевод, 2006

Писательство, писатели, литературная жизнь... Не оксюморон ли последнее? Не бесконечный ли лабиринт — выйдешь на очередную дорожку, а она опять раздваивается? Не встреча ли это с безымянным ангелом, с которым придется сражаться, как Иакову, до тех пор, пока он не даст благословения? Или с Протеем, коего нужно удержать, как бы он ни выкручивался? Что такое литературный труд, определить нелегко. С чего начать? С того, что называется писательством, или с того, кто называется писателем? С действия или с деятеля? И где именно кончается одно и начинается другое?

В романе "Женщина в песках" японского писателя Кобо Абэ герой по имени Ники попадает на дно огромной песчаной ямы, где живет одинокая женщина. Ему приходится отгребать песок, который постоянно их засыпает. Чтобы хоть как-то утешиться, он решает описать свои муки.

— Почему бы в самом деле не успокоиться, не посмотреть на все со стороны? Ведь когда ты наконец благополучно возвратишься домой, можно будет описать все пережитое[1].

И Ники тут же отвечает себе:

— О, поразительно, наконец-то решился писать. И впрямь пережил немало...

Да уж. И заглавие уже есть...

Понимаете, Ники уже примерил на себя роль писателя — понял важность названия. Еще немного, и он задумается над оформлением обложки. Но его уверенность очень быстро испаряется, он чувствует, что, несмотря на все старания, роль писателя ему не по плечу:

— Не нужно считать, что писатели какие-то особенные люди. Если пишешь — значит, ты писатель.

Но, подумав, возражает себе:

— Получается, что нет. Желание стать писателем — самый обыкновенный эгоизм: стремление стать кукловодом и тем самым отделить себя от остальных марионеток.

Решив, что слишком к себе строг, Ники делает вывод:

— ...Сначала надо разобраться, кто писатель, а кто просто пишет...

И тут же восклицает:

— Что это я! Я же хотел стать именно писателем. А если не смогу, то и пробовать не стоит!

Писательство — расположение слов на бумаге — занятие довольно обыденное, и, судя по размышлениям Ники, ничего волшебного в нем нет. Любой мало-мальски грамотный человек может взять в руки орудие письма и наставить закорючек на белом листе. Но быть писателем значит занимать известное социальное положение, причем существенное, весомое — уже само слово "писатель" внушает нам уважение. Ники хочет заняться сочинительством, потому что его привлекает статус — он стремится занять определенное место в обществе. Счастлив тот, кто берется за перо просто так, чтобы водить им по бумаге, не думая о своей будущей роли! Не всегда она блаженна и благословенна, зачастую — обременительна, да и плата за нее высока, хотя, как и многое другое, она может наделить властью того, кто хочет переодеться в соответствующее платье и сыграть ее.

Но платье бывает разное. Ребенок — творение не только тех или иных родителей, языковой среды, климатических условий и политической ситуации, но и принятой воспитательной системы: нужно ли разговаривать с ребенком, как со взрослым, прибегать ли к порке, нахваливать ли его каждый день, чтобы в будущем не пострадала его самооценка, и так далее. То же верно и для

1. Здесь и далее роман Кобо Абэ "Женщина в песках" цитируется в переводе В. Гривнина. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

писателей. Никто из них, став взрослым, не попадает в нейтральное, свободное от предвзятости по отношению к литературному труду пространство. Мы спотыкаемся о заранее расставленные камни: кто мы, какими должны быть, что такое хорошая литература, какую социальную роль она выполняет или должна выполнять. И наши собственные представления о том, что мы пишем, есть следствие ушибов об эти камни преткновения. Можно пытаться соответствовать общепринятому, можно протестовать и обвинять других в том, что они пытаются загнать нас в определенные рамки, — все равно чужие взгляды влияют на нашу писательскую жизнь.

Сама я выросла в обществе, где, на первый взгляд, таких ограничений было немного. Когда я родилась, а случилось это в 1939 году, через два с половиной месяца после начала Второй мировой войны, — литература и искусство в моей стране не были главной темой обсуждения. Людей в Канаде занимало другое, и если они о чем и задумывались, то не о писателях. Девять лет спустя, в 1948-м, в одном журнале вышла статья под названием "Канадцы умеют читать, но читают ли они?" Автор, поэт Эрл Берни, заявил, что в домах у большинства канадцев есть только три книги: Библия, Шекспир и "Рубаи" Омара Хайяма в переводе Фицджеральда.

Мои родители были из Новой Шотландии — и вдали от нее они всю жизнь чувствовали себя как в ссылке. Отец появился на свет в 1906 году в семье лесника и вырос в глуши. Его мать преподавала в школе и очень поддерживала его: он занимался самообразованием и учился заочно — ни колледжа, ни университета поблизости не было. Отец поступил в педагогическое училище и одновременно стал преподавать в начальных классах; он работал на лесозаготовках, чистил за гроши кроличьи клетки, ночевал летом в палатках и сам себе готовил. Откладывал зарплату, жил на стипендию, ухитрялся посылать домой деньги на обучение трех своих сестер и в конце концов защитил докторскую диссертацию по лесной энтомологии. Наверное, вы догадались, что мой отец был человеком самодостаточным и очень любил Генри Дэвида Торо.

Мой дед по матери врачевал по деревням, то есть запрягал сани и в пургу отправлялся принимать роды на кухонном столе. Моя мать была настоящим сорванцом, любила верховую езду, коньки, гуляла по чердачным балкам зернохранилища, домашними делами интересовалась мало, а сидя за фортепьяно — ибо из нее все время пытались сделать настоящую леди, — держала на коленях раскрытую книгу. Однажды в училище отец увидел, как она съезжает по перилам, и в ту же минуту решил, что на ней-то он и женится.

Когда я родилась, отец заведовал небольшой биостанцией по изучению лесных насекомых в Северном Квебеке. Каждую весну родители уезжали на Север. Каждую осень, когда ложился снег, — возвращались в город, обычно на новую квартиру. В шестимесячном возрасте меня положили в рюкзак и отправились в лес, и с тех пор он стал для меня родным домом.

Считается, что детство писателей определяет род их занятий, но на самом деле у всех оно разное. Чаще получается, что в ранние годы у них вдосталь книг и одиночества, и у меня как раз так и было. Ни театров, ни кино на Севере не существовало, а радио работало плохо. Зато книг имелось множество. Я рано научилась читать, читала запоем все, что попадалось, — никто никогда не запрещал мне браться за ту или иную книгу. Мать любила, чтобы дети вели себя тихо, а ребенок с книгой в руках — тише не придумаешь.

Из родственников я практически никого не знала, обе мои бабушки казались мне такими же сказочными, как бабушка Красной Шапочки, и, возможно, на выбор профессии повлияла моя неспособность отличить реальное от вымышленного, а точнее — тот особый взгляд, когда

реальное одновременно представляется и вымышленным; ведь всякая жизнь — это и жизнь внутренняя, придуманная.

Многие писатели в детстве испытывали одиночество, многим его скрашивал взрослый, который сочинял для них истории. Мне их рассказывал брат. Сначала я только слушала, потом он разрешил мне придумывать вместе с ним. Мы взяли за правило: каждый рассказывает до тех пор, пока у него не иссякнет воображение или ему не захочется помолчать и послушать. В любимой нашей истории говорилось о сверхъестественных существах, обитающих на далекой планете. Человек непосвященный решил бы, что это кролики, но на самом деле эти безжалостные плотоядные умели летать. "Сага" была приключенческой, там встречались враги и сообщники, герои вооружались, дрались, искали сокровища и дерзко сбегали из-под стражи.

Истории мы придумывали по вечерам или в дождливые дни, в остальное время жизнь была насыщенной и совсем не праздной. Проблемы морали и вопросы взаимоотношений не поднимались, — мы редко с ними сталкивались. Нас учили, что нельзя разводить костры в лесу и купаться в грозу, как вести себя, чтобы лодка не переворачивалась, объясняли, как не погибнуть по глупости, и так далее.

Мой отец почти все сделал своими руками: коттедж, причалы для лодок; смастерил мебель, и поэтому в доме всегда валялись на виду молотки, пилы, рашпили, дрели, коловороты и прочие опасные инструменты самого разного назначения — они часто служили нам игрушками. Нам показали, как чистить ружье (прежде всего выложить пули и не заглядывать в ствол спереди), как быстро умертвить рыбу (острием ножа между глаз). Плаксивость и капризы не приветствовались, в этом смысле девочкам, как и мальчикам, снисхождения не было, и слезы не вызывали сочувствия. Разумные доводы поощрялись улыбкой, так же как и любопытство по любому поводу.

Но по природе своей я не была рационалисткой. Самая младшая в семье, я чаще всех плакала, меня часто отправляли "к себе", считали слишком чувствительной и даже слабенькой, может быть, потому, что мне были интересны всякие "мерихлюндии" — вроде вязания, платьев и плюшевых зайцев. Сама я считала себя маленькой и беспомощной, эдаким пирожным с розочками, не то что остальные. Из двадцатидвухмиллиметровки я стреляла плохо и с топором обращаться не умела. И очень много времени у меня ушло на то, чтобы понять: для того, кто боится драконов, даже самый младший из них все равно дракон.

В 1945-м мне было пять лет, в тот год закончилась война и в мир вернулись воздушные шарики и цветные комиксы. Я стала больше времени проводить в городе и среди чужих людей. Начинался послевоенный бум на недвижимость, и дом, в который мы тогда переехали, представлял собой типичную многоэтажную коробку. Стены моей комнаты были выкрашены в мягкий персиковый цвет, краска на стене была мне в диковинку. Теперь я и зимой посещала школу. Мне приходилось весь день сидеть за партой, я быстро уставала, и меня еще чаще отправляли "к себе".

Примерно в семилетнем возрасте я написала пьесу. Главным героем был великан, темой — преступление и наказание, преступление заключалось во лжи, о чем и полагалось писать будущему романисту, наказание — в том, что луна раздавила главного героя всмятку. Но как поставить этот шедевр на сцене? Не могла же я играть всех персонажей сразу. Выходом из положения были куклы. Действующих лиц я вырезала из бумаги, сцену соорудила из картонной коробки.

Пьеса с треском провалилась. Сколько помню, на представление пришел брат с друзьями, они хохотали до упаду — так, уже в раннем возрасте, я столкнулась с литературной критикой. Я больше не бралась за пьесы, зато засела за роман, но дело не пошло дальше первой сцены, где плот с главным героем — муравь-

ем — несло по течению. Возможно, на большее меня бы тогда все равно не хватило. В общем, писать я перестала и совсем забросила это дело. Вместо этого занялась живописью и рисовала модных див с сигаретами в мундштуках, в дорогих нарядах и в туфлях на шпильках.

Когда мне исполнилось восемь, мы в очередной раз переехали в новый, построенный после войны дом, ближе к центру Торонто — в то время скучному провинциальному городу с населением в семь тысяч человек. Тогда-то для меня и началась настоящая жизнь — я познакомилась с другими девочками, узнала, что такое жеманство и кичливость, что такое "придворные" интриги — слухи и нашептывание, узнала, что это значит — не уметь прикоснуться к червячку, не содрогнувшись от омерзения, и как это бывает, когда не говорят, а мурлычут по-кошачьи. Я больше привыкла к незамысловатым мальчишеским проказам: розыгрышам, вроде "крапивного ожога" на запястье или "оторванного пальца". Но вот девочки, маленькие девочки, для меня были все равно что инопланетянки. И наблюдать за ними мне интересно до сих пор.

Приближались 50-е. Женщин, которые больше не требовались на военных заводах, погнали обратно к домашнему очагу. Начался подъем рождаемости: пределом мечтаний на ближайшие пятнадцать лет стал брак и четверо детей. В те годы Канада была тихой заводью по части модных веяний, поэтому идеал семьи и брака не так прочно закрепился в нашем обществе — еще, случалось, вспоминали отважную Амелию Эрхарт[1], встречались еще "синие чулки" и независимые, даже радикально настроенные особы, которые в 30-х и 40-х содержали себя сами; но все же дом и семья оставались предпочтительными занятиями.

А по сути, в основе всей этой добродетели был страх: ведь атомную бомбу уже сбросили, шла холодная война, Джо Маккарти открыл антикоммунистическую кампанию, и чем нормальней казались вы со стороны, чем меньше походили на коммуниста, тем вам же и было лучше. Я думала тогда, что моих родителей, которые на самом деле могли служить эталоном здравомыслия, многие окружающие считают эксцентричными, но безобидными дурачками, подозревают в атеизме и принимают за психически не совсем здоровых людей. И я упорно старалась быть как все, хотя и не знала точно, что такое эти "все".

В 1949-м году мне исполнилось десять, я узнала, что такое сингл и услышала мелодичную песенку Пэтти Пейдж, по прозвищу Звонкая Пэгги. Родители уже беспокоились, как бы массовая культура не оказала на меня разлагающее воздействие. Начиналась эпоха "мыльных" радиопостановок, вечерних сериалов, вроде "Зеленый шершень", "Убежище", и журнальной рекламы, когда хозяйки, начитавшиеся про микробов, в панике бросались на борьбу с грязью. Другим общественным злом были прыщи, перхоть, дурной запах изо рта и от тела, и на обложках комиксов я с восторгом читала сказания о том, как зубная паста спасла кого-то от социального краха, или о том, что стоит тебе позаниматься бодибилдингом по программе Чарльза Атласа и от тебя разбегутся все драчуны на пляже, до того постоянно кидавшие песком в глаза.

В то время я уже одолела полное собрание сочинений Эдгара По, взятое в школьной библиотеке, — в его творчестве не было ничего про секс, поэтому детям его выдавали. Я была влюблена в творчество Эдит Несбит, прочла все книжки народных сказок Эндрю Лэнга, какие только разыскала. Нэнси Дрю[1], девушка-детектив, не произвела на ме-

1. Амелия Эрхарт (1897–1937) — американская летчица 30-х годов, поставила несколько мировых рекордов.

1. Нэнси Дрю — персонаж писательницы Милдред Вирт, скрывавшейся под псевдонимом Кэролайн Кин. Первая книга "Тайна старинных часов" появилась в 1929 г. и явилась началом серии о приключениях девушки-детектива.

ня впечатления: слишком трезво мыслит; а вот в Шерлока Холмса я в двенадцать лет влюбилась безнадежной, но безопасной любовью.

Я уже перешла в старшие классы — раньше положенного. В то время детям разрешали перескакивать через класс, но по закону все обязаны были болтаться в школе до шестнадцати лет, поэтому мне пришлось сидеть рядом с вполне взрослыми ребятами, которые уже брились. Тут у меня и обнаружилась прогрессирующая анемия, появились непонятные шумы в сердце — я то и дело поднималась "к себе". На следующий год я повзрослела, одноклассников в коже, на мотоциклах и с велосипедными цепями вокруг щиколоток уже не было, а я стала получать на обед жареную печень и таблетки железа, после которых заметно ожила, и дела пошли получше.

Мне было пятнадцать, когда появился Элвис Пресли, теперь танцевали вальс и рок-н-ролл, но я скучала по танго, которое уже вышло из моды. Наступило время школьных танцулек, постоянных бойфрендов, кинотеатров под открытым небом, написанных с самыми благими намерениями журнальных статей о том, какая все-таки опасная штука — петтинг. Тема сексуального воспитания в нашей школе не поднималась, учитель по физкультуре специально диктовал выражение "менструальная кровь" по буквам, чтобы слушательницы не попадали в обморок. Противозачаточные таблетки были делом далекого будущего. Забеременевшие девушки сразу куда-то исчезали. Они либо делали аборт, после которого умирали или оставались калеками, либо в срочном порядке выходили замуж и стирали пеленки, либо их отправляли в специальные дома для брошенных мамаш, где им приходилось скрести полы. От такой судьбы надлежало уйти любой ценой, причем лучшей защитой должны были служить резиновые пояс-трусы. Не впервые в истории всю культуру словно заклинило: с одной стороны, были сплошные соблазны, с другой — несокрушимая, высоченная стена общественной морали.

И все же больше всего о запретном мне рассказывали книги. Чего я только не успела прочитать до шестнадцати! От Джейн Остин до журнала "Подлинные любовные истории", дешевой научной фантастики и "Моби Дика". Прочитанное в основном делилось на три разновидности: книги по школьной программе, книги по собственному выбору, но которые не нужно было прятать — их я либо находила дома, либо брала в библиотеке, — и книги подозрительные, куда я заглядывала украдкой, сидя с ребенком беспечных соседей. Таким образом в руки мне попали "Вечный янтарь" и "Джунгли классной доски" — своеобразный гимн во славу опасно просвечивающих нейлоновых блузочек.

Самой захватывающей я считала "Пейтон-плейс", тайком купленную в магазине на углу и прочитанную на удобной плоской крыше гаража, взобраться на которую можно было только по приставной лестнице. Героиня этой книги хотела стать писательницей, но от ее головокружительных вылазок, совершенных во имя заветной цели, временами начинало подташнивать. Ничего, я на это не обращала внимания — зато ей было о чем писать: инцест, венерическая болезнь, изнасилование, варикозные вены из-за абортов — там было все.

Школьная же программа была неукоснительно британской и хронологически упорно не доходила до модернизма — наверное, чтобы в поле нашего зрения не попали сексуальные сцены, хотя и в обязательном чтении за кулисами основного действия секса встречалось предостаточно. И сам акт, и предвкушение его, как правило, имевшие плачевные последствия, прочитывались и в "Ромео и Джульетте", и в "Мельнице на Флоссе", и в "Тэсс из рода Д'Эрбервиллей", и в "Мэре Кэстербриджа". На уроках у нас было много поэзии. Обучение строилось в основном на работе с текстами. Мы учили их наизусть, анализировали

структуру и стиль, писали краткие пересказы, но ни одного автора нам не показывали в историческом контексте или на фоне биографии — скорее всего, дело было в "новой критике". Хотя тогда этот термин еще не вошел в обиход и о писательстве как о процессе, профессии или занятии реальных людей еще никто не говорил.

Как же я в таких условиях стала писателем? Никто от меня ничего подобного не ожидал, и выбор свой я сделала не так, как обычно делают другие, задумываясь, кем быть: юристом или стоматологом? Я приняла решение внезапно, случилось это в 1956 году. Я шла из школы по футбольному полю и сочиняла стихотворение, дома записала его и поняла, что больше ничем не хочу заниматься — только писать. Я и не подозревала, что стихотворение у меня получилось плохое, но даже если бы знала, меня бы это не остановило. Интересно было пережитое состояние — меня будто током ударило, — а не его результат:. Превращение из не-писателя в писателя случилось моментально — так в низкопробных фильмах неприметный банковский клерк превращается в клыкастого монстра. Наверное, со стороны могло показаться, что меня подвергли воздействию химикалий или космических лучей, какие направляют на крыс, чтобы превратить их в гигантов, или на людей — чтобы превратить в невидимок.

Я еще не до конца повзрослела и случившегося со мной не стеснялась. Читай я больше о писателях, держала бы в тайне свое постыдное превращение. А я заявила о нем громогласно, и девочки, вместе со мной поглощавшие обед из бумажных пакетов в школьном кафетерии, не могли оправиться от потрясения. Одна из них впоследствии рассказывала, что сочла меня отважной, раз я могу так прямо сказать все это. Она решила, что я храбрая. Но на самом деле я просто не ведала, что творю.

Приходилось считаться с тем, что мое известие встревожило родителей: они были терпимы к гусеницам, жукам и всякой живности, но на художников их терпимость не распространялась. По своему обыкновению, они ничего не сказали и решили подождать: авось, само пройдет, и стали намекать, что неплохо бы мне устроиться на работу и зарабатывать деньги. Одна из подруг матери отнеслась к ситуации с юмором. "Очень хорошо, милая моя, — сказала она. — По крайней мере, работать будешь дома". (Наверное, решила, что я, как и все благоразумные девочки, планирую со временем обзавестись собственным очагом. Она не знала ни того, какой грязью тогда поливали женщин-писателей, ни того, что этим требовательным к себе и преданным творчеству созданиям полагалось либо отказаться от всех благ во имя вечной девственности, либо жить убогой и распутной жизнью, или уж покончить с собой. Не понимала она и того, что кроме страданий их ничего не ожидало.)

Если бы я тогда представляла себе, что такое стать не просто писателем, но писательницей — смертный приговор! — я бы через всю комнату швырнула мажущую синюю ручку или с головой спряталась под нераскрываемым псевдонимом, по примеру Травена[1], автора "Клада Сьерра-Мадре", чью личность, кажется, так и не установили. Или как Томас Пинчон — никогда бы не давала интервью, не разрешала помещать свои фотографии на обложки книг. Но тогда я была юна и не знала о подобных уловках, а сейчас уже слишком поздно.

На заре жизни каждого человека выпадает такая минута, которая предопределяет его судьбу как художника, политика или ученого. Взрослый рождается из ребенка, а если этого не происходит, биограф с помощью ножниц и клея приставляет к туловищу подходящую голову,

1. Б. Травен (наст. фамилия Торсван; 1890 (?) — 1969) — немецкий писатель, скрывал свое имя и происхождение.

чтобы получилась ладная картинка. Ведь очень хочется верить, что логика в этом мире существует. Но, вспоминая себя до того, как начала писать, я не вижу, что предрекло бы тот странный путь, по которому я пошла; нет в моем прошлом ничего такого, чего бы не было у тех, кто писателем не стал.

Свой первый настоящий сборник стихов я опубликовала в возрасте двадцати шести лет — не назовешь ведь "настоящим" маленький памфлет, собственноручно мной нашлепанный на плоскопечатном прессе у подружки на чердаке, как было тогда модно среди поэтов. Брат написал мне следующее: "Поздравляю с публикацией твоей первой книги. Сам грешил, когда был помоложе". Наверное, в этом вся соль. В детстве мы увлекались одним и тем же, но он переключился на другое, а я нет.

Вспоминаю себя в 1956 году: я еще не закончила школу, и ни одна душа не разделяет мои надежды на будущее. Никто в семье не был писателем, за исключением тетки, сочинявшей детские рассказы для журналов воскресных школ, но я в силу снобизма и молодости не воспринимала ее всерьез. Все те, кто писал для взрослых, чепуху ли, настоящую ли литературу, не были канадцами и уже давно умерли. Я еще не приступала к серьезным поискам собратьев по перу, не пыталась напасть на их след в священных рощах и не выманивала их из влажных пещер, поэтому в свои шестнадцать на окружающий мир смотрела глазами девочки из толпы, то есть видела только то, что мне преподносили. Создавалось ощущение, что роль писателя как фигуры общественной существовала в других странах, но в Канаде ее никогда не было, а если и была, то давно исчезла. Приведу цитату из стихотворения А. М. Кляйна[1] "Портрет поэта как пейзаж", которое как раз в то время попалось мне на глаза и произвело примерно такое же впечатление, какое утка, севшая на яйца, производит на кенгуру.

Возможно, что он мертв
и все о нем забыли.
Возможно, что его
вдруг кто-нибудь найдет:
Стоит в шкафу, как труп
в дешевом детективе,
Стеклянный взгляд, и вниз
вот-вот лицом падет...

Мы знаем лишь одно —
из суеты мгновений
Он выскочил, исчез,
изъят без лишних слов...

...Ведь если он и есть,
то это только номер,
Икс, мистер Смит в журнале
у портье,
инкогнито, отсутствующий,
прочерк[1].

Сначала я думала, что смогу сочинять сентиментальные рассказы для модных журналов — там, как сообщали в "Писательской бирже", хорошо платят, и я решила, что буду жить на гонорары и писать серьезную литературу, но после нескольких попыток убедилась, что мне не хватает соответствующего словарного запаса. Тогда я решила учиться на журналиста, ведь трудясь в газете, думала я, можно рано или поздно выработать собственный стиль (на тот момент он представлял собой помесь Кэтрин Мэнсфилд и Эрнеста Хемингуэя). Однако после разговора с настоящим журналистом — троюродным братом, которого притащили родители, дабы он меня разубедил, — я передумала: он рассказал, что мне как девушке дадут страничку некрологов или колонку для женщин. Но я сдала все экзамены — они до сих пор снятся мне в кошмарах, — распахнув тем самым врата в храм науки, и побежала учиться. Вот закончу и буду преподавать, думала я. Все равно неплохо, летние канику-

1. Авраам Моисей Кляйн (1909–1972) — канадский поэт еврейского происхождения, родился на Украине, умер в Монреале.

1. Перевод А. Олейникова.

лы — длинные, и времени на сочинение шедевров будет море.

Мне было семнадцать, год шел 1957-й. Профессора не скрывали, что считают нас скучной публикой и что им было увлекательней с ветеранами, немало повидавшими и вернувшимися с жаждой знаний, и намного веселее с левыми, наводнившими университет в 30-е — годы молодости самих преподавателей. Мы и правда в большинстве своем были неинтересны. Ребята стремились получить профессию, девушки — выйти замуж за ребят. Первые одевались в серые фланелевые брюки, блейзеры и галстуки, вторые — в верблюжьи пальто и кашемировые "двойки", а в уши вставляли жемчужные гвоздики.

Но существовала и другая категория. Ее представители носили черные свитера с высоким горлом, а представительницы — те же свитера и юбки поверх черных балетных трико, потому что колготки еще не придумали. Эти были в меньшинстве, обладали несомненным талантом, их упрекали в выпендреже и называли богемой. Поначалу я их боялась, а через пару лет вместе с ними нагоняла страх на остальных. Особого умения не требовалось — надо было понять основные тенденции и дальше их поддерживать: маникюр похуже, лицо побледнее, худоба и скудный гардероб, словом, "гамлетовский образ", иначе никто и не догадается, что у вас в голове слишком заоблачные для всеобщего понимания мысли. Нормальная молодежь посмеивалась, по крайней мере, над мужской половиной "богемы" и частенько вываливала представителей оной в снегу. Считалось, что "богемные" девушки доступней "кашемировых", зато скандальней, сумасбродней, подлей и гневливей, так что связывавшимся с ними следовало определиться, не слишком ли это высокая цена за легкий секс. Богему не интересовала канадская литература, вернее, они, как и остальные, не подозревали о ее существовании. Джек Керуак и битники появились на сцене в конце 50-х и печатались в основном в журнале "Лайф", но не стоит думать, что они произвели большое впечатление на богему, ведь мы заглядывались на Европу. Надлежало ознакомиться с творчеством Фолкнера, Скотта Фицджеральда и Хемингуэя, Теннесси Уильямса и Юджина О'Нила (если вы предпочитали драматургию), прочитать "Гроздья гнева" Стейнбека, до известной степени изучить творчество Уитмена и Дикинсон, Генри Миллера (если перепадал контрабандный экземпляр — Миллер был запрещен), упомянуть в разговоре про гражданские права Джеймса Болдуина и — между делом — еще и Элиота, Паунда, Джойса, Вулф, Йейтса и так далее. А вот имена Кьеркегора, автора "Степного волка", Сэмюэла Беккета, Альбера Камю, Жан-Поля Сартра, Франца Кафки, Ионеско, Брехта, Генриха Бёлля и Пиранделло были магическими. Некоторые еще читали Флобера, Пруста, Бодлера, Жида, Золя и великих русских — Толстого и Достоевского. Время от времени, чтобы пощекотать нервишки, произносили имя Эйн Рэнд[1], ведь героиня, получающая удовольствие от изнасилования, — смелый романный ход, хотя многие голливудские фильмы, где персонажи бранились, били друг друга по лицу, хлопали дверьми и обнимались в финале, по сути, повествовали о том же самом.

В стране, которая все еще оставалась в жестких культурных тисках умирающей Британской империи, современные британские писатели не пользовались большой популярностью. Джордж Оруэлл умер, но его читали, как и Дилана Томаса. В знакомстве с "Золотым дневником" Дорис Лессинг признавались немногие "радикалки", но жадно читали очень многие. Айрис Мёрдок только начала печататься, ее считали довольно

1. Эйн Рэнд (наст. имя Алиса Розенбаум; 1905–1982) — писательница, публицист, философ, эмигрировала из России после революции и стала в Америке ярым защитником системы капитализма, пользовалась огромной популярностью у молодежи.

странной и не особо ею интересовались. Здравствовавший еще Грэм Грин пользовался уважением, хотя и не таким большим, как после смерти. Кристофер Ишервуд[1] сильно выделялся на фоне остальных, потому что оставался в Германии во времена расцвета нацизма. У ирландского писателя Флэнна О'Брайена[2] почитателей было немного, но зато преданных, как и у Коннолли, автора "Безутешного у могилы"[3]. И настоящий британский дух чувствовался только в таких "вредных" передачах, как "Идиотские шоу" Питера Селлерса[4] и провозвестнике "Монти Пайтона" — "За бахромой", которая, сколько помню, транслировалась в записи.

Первыми людьми искусства, с которыми я столкнулась, стал театральный народ. Актрисой мне быть не хотелось, но я умела рисовать декорации и порой поддавалась на уговоры сыграть какую-нибудь, совсем крохотную, роль. Я зарабатывала тем, что рисовала и печатала театральные афиши, и это служило альтернативой работе в аптеке. Не скажу, что выходило блестяще, но особых конкурентов у меня не было. Творческие люди вокруг меня встречались нечасто, как и вообще в Канаде, и все, кто считал себя таковыми, обычно вращались сразу в нескольких художественных сферах. Я дружила еще и с фольклорными певцами (собирать народные баллады и играть на инструментах, вроде автоарфы, было модно) и, общаясь с ними, накопила удивительно обширный репертуар заунывных любовных плачей, как и убийственно-кровожадных и откровенно непристойных песенок.

И все это время я писала — маниакально, плохо, но продолжая на что-то надеяться. Пробовала себя во всех жанрах, в которых потом работала: поэзии, художественной и всякой другой прозе, — и прилежно выстукивала на машинке свои произведения двумя пальцами, как делаю до сих пор. Просматривала в читальном зале колледжа немногочисленные тоненькие литературные журнальчики на английском языке — кажется, их было всего пять, — и думала: неужели седовласому и богоподобному редактору одного из них мои стихи покажутся хуже тех, что там опубликованы.

Позже я стала печататься в литературных журналах кампуса, а затем — благодаря конверту с моим обратным адресом и маркой (эту подсказку я раскопала в "Писательской бирже") — в одном из пяти желанных изданий. Подписывалась я инициалами — не хотела, чтобы понимали, что я девушка (да еще и молоденькая). В старших классах мы проходили эссе сэра Артура Куиллера-Кауча[1], где он рассуждает о том, что мужской стиль — рельефный, сильный, образный и так далее, а женский — пастельный, пресный и незамысловатый. Писатели любят повторять, что они существа двуполые, и это, безусловно, справедливо, хотя известно, что такие высказывания зачастую принадлежат женщинам. В разговоре о поле они более чем пристрастны. И что самое важное — к женщине-писателю всегда другое отношение, особенно у критиков, которые могут его ненароком и продемонстрировать; впрочем, рано или поздно оно все равно даст о себе знать.

Получив первое письмо с известием, что мои стихи опубликуют в литературном журнале, я с неделю ходила как в тумане. То было настоящее потрясение. Все это время уси-

1. Кристофер Ишервуд (1904—1986) — английский писатель; жил в Берлине, впоследствии — в Калифорнии.
2. Флэнн О'Брайан (наст. имя Брайан О'Нолан; 1911—1966) — ирландский новеллист и сатирик.
3. Сирил Вернон Коннолли (1903—1974) — английский критик и писатель. "Безутешный у могилы" (1944) состоит из цитат и мыслей, которые автор записывал в блокнот в течение военных лет; книга носит то же название, что и старинная английская баллада о юноше, оплакивающем свою любимую на кладбище.
4. Питер Селлерс (полн. имя Ричард Генри Питер Селлерс; 1925—1980) — английский комик, прославившийся серией передач на Би-би-си.

1. Артур Куиллер-Кауч (1863—1944) — английский писатель, критик.

лия, которые я прилагала, казались тщетными даже мне самой, а тут — сокровенная мечта вот-вот сбудется! Как в сказке или страшноватом сне. Однако я читала слишком много сказок: о золоте, наутро обратившемся в уголь, о красоте, за которую приходилось платить отрубленными руками, — и знала, что по сюжету теперь меня ждут обман, испытания и препятствия, многие из которых мне не дано будет распознать, и цена за ошибку, возможно, — жизнь.

С помощью литературных журналов и некоторых моих преподавателей, в них печатавшихся, я отыскала потайную дверцу. То был доступ к пустынной с виду горе, которая на самом деле была не то курганом, не то муравейником: человек сторонний решил бы, что там ничего нет, но на самом деле, если найти вход, попадаешь в самую гущу жизни. Прямо у меня под носом открывался настоящий микрокосмос литературной жизни.

Оказывается, в Канаде и впрямь существовали поэты, они сбивались в маленькие кучки, и даже в целые школы — одни были "космополиты", другие "аборигены". Каждый из них отрицал свою принадлежность к какой-либо группе, зато кивал на собратьев по перу. Все они критиковали критиков, которые тоже в основном были поэтами, крыли друг друга последними словами, писали аннотации, рецензии, превозносся до небес друзей и разрывая на куски врагов, как в XVIII веке, разглагольствовали, выступали с программными документами, напарывались на шипы жизни, истекали кровью.

Временами случались настоящие бури в стакане воды. Нортроп Фрай, профессор моего колледжа, только что опубликовал "Анатомию критики" (1957), которая наделала шума не только на родине, но и за границей, вызвала настоящий шквал негодования среди поэтов и разделила их на сторонников мифопоэтической концепции и ее противников. Фрай сделал сенсационное заявление — сенсационное не только для Канады, но и для любого другого общества, особенно колониального: "...центр реальности там, где человек находится в данную секунду, и длина окружности равняется тому, что с помощью воображения человек может сам себе объяснить". (То есть местом твоего рождения не обязательно должен быть Лондон, или Нью-Йорк, или Париж!) На соседней улице, в другом колледже, работал Маршалл Маклюэн, в 1960 году он опубликовал свою "Галактику Гутенберга", вызвав новую волну возмущения; на этот раз поводом к диспуту явились СМИ и их воздействие на читательское восприятие, обсуждалась вероятность того, что печатное слово постепенно отойдет в прошлое. (То есть у писателей Лондона, Парижа и Нью-Йорка — те же сложности, что и у нас, провинциалов!)

Вой насчет мифопоэтики, СМИ и литературы в основном поднимали поэты. Романисты и новеллисты, в отличие от поэтов, еще не сбились в сообщества. Публиковавшихся канадских романистов было немного, все они знали друг друга и почти все жили за границей, потому что считали: существовать в Канаде художнику невозможно. Многие писатели, чьи имена прогремят в конце 60-х — начале 70-х: Маргарет Лоренс, Мордехай Рихлер, Элис Манро, Мэриан Эйнджел, Грэм Гибсон, Майкл Ондатже, Тимоти Финдли, Руди Уайб — еще ничем не выделялись среди остальных.

Попасть в волшебный муравейник, туда, где другие считают тебя писателем и радуются этому, оказалось много проще, чем я думала. В то время существовала настоящая богема — и впрямь обособленная от остального общества и совершенно на него непохожая, — и стоило в нее попасть, как ты становился ее частью.

На старом заводе, например, расположилась кофейня под названием "Посольство Богемы", там раз в неделю собирались поэты и читали вслух свои произведения. Как только я "напечаталась", меня тоже попросили "почитать". Такое "выступление" не имеет ничего общего с актерством. Для актера слова автора — экран, ма-

скировка, но встать и произнести свои собственные — какая беззащитность! как легко попасть в идиотскую ситуацию! От одной мысли о слушателях мне становилось плохо. ("Чтение поэзии" быстро входило в обычай среди поэтов, и вскоре только этого от вас и ожидали. Не думала не гадала я тогда, что последующие десять лет буду мечтать попасть не на сцену, а за кулисы.)

Сборища в кафе во всех отношениях были замечательными. С одной стороны, собирался разношерстный народ, то есть в кафе встречались полные противоположности. Молодые и старые, женщины и мужчины, печатавшиеся и непечатавшиеся, маститые и неофиты, оголтелые социалисты и крайние формалисты, все рассаживались как придется за столы, накрытые клетчатой скатертью и с обязательной винной бутылкой в качестве подсвечника. С другой стороны... как бы это сказать? Меня не оставляло чувство, что здесь есть и не очень хорошие люди, даже среди тех, кто публиковался, даже среди самых уважаемых. Одни подчас бывали просто неподражаемы, но длилось это недолго, другие каждый раз читали то же самое, третьи были неисправимыми маньеристами, четвертые приходили сюда в поисках любовных приключений. Неужели принадлежность к кишащему поэтическому муравейнику сама по себе ничего не гарантировала? Что же тогда есть истинное Признание? Как узнать, оценили ли тебя и какова эта оценка? Ведь многие здесь обманывались насчет своих талантов, может, обманывалась и я? И если задуматься, кто же "настоящие"? Кто это определяет, какой лакмусовой бумажкой пользуется?

Остановлюсь здесь на воспоминаниях о 1961-м (тогда мне исполнился двадцать один год и я как раз начала кусать локти: осознала, куда угодила) и вернусь к литературе как виду творчества и к писателю как наследнику и хранителю всех общественных упований на искусство в целом и на писательство в частности.

В отличие от всех других искусств, писательство обладает неким особым свойством — оно очень демократично и как средство выражения всем доступно. В одной назойливой газетной рекламе говорится: "Все в писатели! Опыта или специального образования не требуется". Некий уличный плут у Элмора Леонарда[1] однажды выразился так:

> Спрашиваешь... как я пишу? Так и пишу, приятель, сначала одно слово, потом следующее, друг за дружкой, как на ум приходят... Тебя ж учили в школе письму? Надеюсь, учили. Хватаешь мысль и — на бумагу. А потом просишь кого-нибудь, чтобы за тебя запятые и прочую муть расставил... Он и ставит, вот и все.

Чтобы быть оперным певцом, нужен не только голос, но и долгие годы учебы; композитору нужен слух, танцору — гибкое тело; для игры на сцене надо вызубрить текст и так далее. В последнее время считается, что рисовать так же легко, как и писать, и когда слышишь: "У моего четырехлетнего сына получилось бы лучше", чувствуешь, как в людях просыпается зависть и презрение, они и правда думают, что художник, на чью картину они смотрят, либо бездарен, либо везунчик и ловкач и им подсунули подделку. Такое обычно происходит, когда зритель не выделяет художника из толпы — не может распознавать его дар или уникальную способность.

Что касается литературы, то многие считают, будто носят в себе великую книгу, которую обязательно напишут, как только появится время. Доля истины тут есть — ведь каждый обладает опытом, который может быть интересен другим. И все же это еще не значит "быть писателем".

Приведем другое, более мрачное сравнение: любой может выкопать на кладбище яму, но могильщи-

1. Элмор Леонард (р. 1925) — популярный голливудский писатель, культовая фигура 60-х, известен своими детективными сюжетами.

ком от этого не станет. У могильщика гораздо больше выносливости и упорства. И род его деятельности глубоко символичен. Если вы могильщик, то вы не просто копаете. Вы несете на своих плечах огромный груз — мысли других людей, их страхи, фантазии, мечтания и суеверия. Вы выступаете от лица всех смертных, хотите вы того или нет. То же самое верно и для любой другой общественной роли, в том числе и для Писателя с заглавной буквы. Но ее значение, ее эмоциональное и символическое наполнение со временем меняется — как и у всех остальных ролей.

Название этой статьи было взято из сборника коротких рассказов Элис Манро. В Канаде книга вышла в 1978 году под названием "Кем ты себя воображаешь?", британские издатели сменили название на "Роуз и Фло", а американские — на "Нищая дева". По-видимому, издатели обеих стран решили, что название покажется публике туманным, но канадский читатель все прекрасно понимал, особенно тот, у кого были хоть мало-мальские художественные задатки.

Сама книга — "роман воспитания": о молодежи и образовании, о старшекласснице по имени Роуз, которая становится актрисой второго плана. Она живет в маленьком городке и как-то раз на уроке английского языка получает, наравне со всеми остальными, задание: переписать и выучить стихотворение. Роуз талантлива и может тут же прочесть его наизусть, ей не надо его переписывать. "Чего же она (Роуз) ждет? — спрашивает Манро. — Что люди восхитятся, захлопают и зауважают ее?" Да, именно этого она и ждет, но получается совсем иначе. Учительница решает, что девушка рисуется, и отчасти права. Она говорит Роуз:

— Может, ты и знаешь стихотворение, но это еще не дает тебе права не делать того, что задано. Садись и перепиши стихотворение в тетрадь. Будешь писать каждую строчку по три раза. Если не успеешь, останешься после занятий.

Роуз кончает только после четырех и, когда сдает переписанное стихотворение, учительница говорит:

— Нельзя считать себя лучше других лишь потому, что ты быстро запоминаешь стихи. Кем ты себя воображаешь?

Другими словами, Роуз не стоит надеяться, будто она вырвется из стада только потому, что у нее есть крупица таланта, пусть и крохотная, но отличающая ее от остальных. В общем — вместо "актриса" читай "писатель"; вместо "запомнить стихотворение" читай "написать рассказ". На протяжении двух сотен лет все западные писатели, особенно те, что жили в маленьких провинциальных городах, сталкивались с такими учительницами, как у Манро. И конечно, постоянно задавались и задаются теми же вопросами, что и Ники в романе "Женщина в песках": правда ли, что писатель, который дерзает считать себя не газетным борзописцем, не поставщиком массовой литературы, а художником, отличается от других людей, и если да, то чем?

Робертсон Дэвис

Зимняя зарисовка: творчество в преклонном возрасте

Перевод с английского Е. Скрылевой

Меня попросили открыть вечернее заседание и поделиться с вами своими мыслями о том, что такое творчество в преклонном возрасте. Вас, возможно, не удивляет, что это доверили мне, но сам я, честно говоря, не совсем понимаю, почему так вышло. Да, я стар, и правда, что как писатель — в первую очередь романист — продолжаю работать по сей день, но мне кажется, что ничего тут особенного нет. Я делаю то, чем занимался всю жизнь, и не вижу причин останавливаться. Я не устал, мысли у меня не иссякли, и писательство всегда было моим основным занятием в миру. Зачем же мне его бросать?

Но вам нужен отдых, ответите вы. В западном мире широко распространено мнение, будто после шестидесяти пяти отдохнуть хотят все. Но я не ощущаю такой потребности. На мой взгляд, отказ от творчества — не покой, а обездоленность. Я стану обычным занудой на пенсии и от нечего делать буду путаться у всех под ногами. Бездействие и лишение всего того, что вдохновляет, — не отдых, а путь к могиле. Но строить свои выводы лишь на собственном опыте я не намерен. И готовясь к сегодняшнему заседанию, я провел небольшое исследование творчества пожилых — в основном пожилых — писателей.

Не буду, однако, утомлять вас перечислением всех, кто писал на склоне дней. Их — море. Имена тех, кто творил в другие эпохи, возможно, ничего не скажут нынешней аудитории, поэтому ограничусь двумя примерами из XX столетия. Томас Манн, великан среди своих собратьев-писателей, умер в возрасте восьмидесяти лет (1955), успев завершить труд, получивший известность как великий немецкий сатирический роман, — "Признания авантюриста Феликса Круля"[1]. Впрочем, допускаю, что при всем своем великолепии вам это произведение не кажется захватывающим чтением. Что ж, я готов перечислить множество других искуснейших романов, от иронических до трагических, которые Манн публиковал, начиная с двадцатипятилетнего возраста. Другая фигура, к коей я спешу привлечь ваше внимание, конечно Бернард Шоу, проживший до девяноста четырех лет и писавший до самой смерти (1950). Некоторые критики говорят, что последние его работы не дотягивают до уровня созданных до семидесяти шести лет, уступая по новизне и смелости, скажем, такой удивительной пьесе, как "Горько, но правда", — кстати, все, созданное позже указанного времени, сам автор называл "старческим сла-

1. Ошибка Р. Дэвиса: роман "Признания авантюриста Феликса Круля" остался незавершенным; начат автором в 36 лет, отложен перед Первой мировой войной, возобновлен в последние годы жизни. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

© R. Davis, 1998
© Е. Скрылева. Перевод, 2006

боумием Шоу". Я много лет вел в университете семинар по творчеству Шоу, и не было студента, который, прочитав его последние произведения, не заметил бы: "Побольше бы каждому из нас такого старческого слабоумия!"

Но это же примеры, возразите вы, людей гениальных. Безусловно. Ибо у человека посредственных способностей великие дарования в старости не обнаружатся.

Здесь я ступаю на зыбкую почву, ибо согласно современному пониманию демократии едва ли не всего, что только есть на свете хорошего и ценного, добиться может практически каждый. Коли один сочиняет на склоне дней, значит, могут все, нужно только поднапрячься. Ведь должны же существовать какие-то приемы, формулы, секреты, открывающие пожилым путь к творчеству, вот и моя "Зимняя зарисовка" призвана стать для них подобным откровением.

Прежде всего спросим себя, что́ мы на самом деле понимаем под творческим актом. Мой настольный толковый словарь дает следующее определение: "Творчество — умение сочетать воображение и навыки". Это слишком общо и явно не то, что мы ищем. Но такая трактовка отчасти поможет объяснить, как рисуют малыши в детском саду. Ведь взяв в руки карандаш, ребенок неизбежно включает воображение. Он не смотрит при этом на стул, дерево или, скажем, на свою мать. Он рисует, руководствуясь представлением об этих предметах и обходясь без вышеупомянутых навыков и техники. Однако, постоянно наблюдая за окружающим и развивая технику рисунка, постепенно осознает, что и стул, и мама, и дерево на самом деле не соответствуют тому, как они видятся его внутреннему взору. Для нашей цели, как мне представляется, больше подходит определение, которое предлагает Франк Барон в своем эссе "Психология творчества": "Возможность привносить в существование нечто новое". Но и это неполно. Когда Рембрандт пишет старуху, он не задается целью написать собирательный образ всех старух на свете, не стремится он также изобразить во всех подробностях ту и только ту старуху, которая сидит перед ним в мастерской, а создает картину — модель, предстающую в особом свете: мы видим и эту старуху, и старость вообще. Таков внутренний взгляд Рембрандта, его *особое* восприятие. Творчество — нечто новое, привнесенное в мир теми, кто наделен *особой способностью* понимать, описывать, открывать.

Даже самые убежденные социореформаторы вряд ли всерьез верят, что такую способность могут развить все, кто пожелает, довольно лишь подучиться.

Но "Надежда в нашем сердце, как звезда, / Благословенье в будущем всегда"[1], как поведал нам поэт, безусловно творчески весьма одаренный. В нашей стране хватает оптимистов, которые горячо уверяют всяких простаков в том, что у них есть дар, пусть и не столь ярко выраженный. Рисуй! Ничего, что тебе далеко до Ренуара, все равно дерзай! И хотя с Томасом Манном и Бернардом Шоу тебе не сравниться, пиши — где-то глубоко внутри в тебе великий талант, только он пока еще не проявился. Примечательно, что подобные оптимисты не предлагают своим последователям музицировать — чувствуют, что музыка требует определенного уровня владения совсем другим художественным языком, к тому же в мире и так порядком скверной музыки, а добавлять еще... Но зато они побуждают своих доверчивых слушателей без устали пачкать холст, плести словеса, да еще и бесстрашно называют это творчеством. И в принципе правы: таких творений свет еще не видывал! И дай-то бог, не увидит впредь!

Хочу сразу сказать: я плохо отношусь к тем, что выбирают в качестве терапии искусство, если они не больны, а просто томятся скукой и жела-

1. А. Поуп. Опыт о человеке. Перевод В. Микушевича.

ют чем-то себя занять. Да, и в приютах для душевнобольных рождались великие произведения — сразу вспоминаются замечательные полотна Ричарда Дэдда[1], но обычно работы пациентов имеют другое назначение: служат исследовательским материалом для врачей и психоаналитиков. Что же касается современной литературы, то число огорчительно посредственных работ растет, как и отчаяние издателей, агентов и писателей, вроде меня, которых просят высказаться по поводу этих малопримечательных творений. Их авторам однажды кто-то предложил, скорее всего, врач или социальный работник, попробовать что-нибудь написать: рассказец-другой, стишок, воспоминания. В этом еще не было бы ничего страшного. Но не зря человеку дается тщеславие! Не бывает так, чтобы, написав, он не захотел продемонстрировать кому-то свои экзерсисы, к тому же обычно он и сам бывает поражен, что заполнил страницы чем-то похожим с виду на продукт творчества. Ему не сидится на месте, он спешит услышать суд тех, кто разбирается в искусстве. Не хочется отнимать у вас время, но все-таки не могу не пожаловаться: каждую неделю мой письменный стол буквально заваливают присланными на рецензию опусами. Их отправители зачастую даже не заботятся приложить конверт с обратным адресом, им и в голову не приходит, что шедевр могут отослать обратно. Поначалу я старался проявлять терпение и относиться к ним сочувственно, но за много лет преподавания успел начитаться студенческих эссе на всю оставшуюся жизнь и сыт по горло всяческой глупой писаниной.

Что же стало причиной такого повального графоманства? Говорят, после Второй мировой войны США были очень обеспокоены тем, что русские ученые обгоняют их в области исследований космоса. Боб Хоуп[1] попал в точку, сказав, что причина тому одна: "Наши немцы — хуже их". Но специалисты по педагогике решили, что дело в другом — американская школа слишком зашорена, слишком многое в ней заучивается механически, не хватает свободного полета мысли. Учеников нужно поощрять к тому, чтобы они сами делали открытия. Вера в неисчерпаемую отвагу юных, чья мысль не знает преград, — один из стойких мифов теоретиков. Любой ребенок считается гением еще на стадии зародыша. Сдается, эти теоретики никогда не были детьми, ведь каждый нормальный человек помнит, сколько скучных, косных, лишенных всякого воображения сверстников встречал он, когда был малышом.

Новый подход распространился не только на естественные науки, но и на всю школьную программу. Классическую литературу из нее практически исключили, детям теперь надлежало читать о таких же людях, как они сами. Вследствие чего появилось особое направление — "романы" для подростков, вроде "Первого аборта Мэри", "Осечки Джимми", "Лопнувшего презерватива" или "Грязной иглы". О литературной ценности таких побасенок говорить не приходится, а что касается развития литературного вкуса, надеяться на них можно и того меньше.

Зубрежку оставили — она сковывала дух творчества. К тестам на интеллект стали относиться с подозрением: их результаты свидетельствовали о том, что один ребенок превосходит другого и, значит, тот может по этому поводу начать комплексовать. "Ткань прочь унесена была, / И раскололась гладь стекла"[2] — проклятье коснулось всех, и нас в том числе, потому что мы в Канаде следуем модным американским педагогическим теориям неукоснительно — как верные вассалы.

1. Ричард Дэдд (1819—1887) — английский художник, в порыве безумия убивший отца и проведший жизнь в психиатрической лечебнице.

1. Боб Хоуп (полн. имя Лесли Таунс Хоуп; 1903 — 2003) — американский киноактер.
2. А. Теннисон. Леди Шалотт. Перевод А. Плисецкой.

Детство тех, кому сейчас от сорока до шестидесяти, пришлось как раз на школьную революцию. Они прожили жизнь, так и не узнав, что такое дар Божий, но зато пребывая в уверенности, что творить в их власти и что, по устрашающему мнению социологов, это обогатит и сделает ярче их "сумеречный" возраст.

Боюсь, что все эти доверчивые души ждет разочарование. Невозможно отодвинуть творческую деятельность на пенсионные годы. Если креативность — мне не очень нравится это слово, но без него не обойтись — не проявилась с самого начала, то в зрелом возрасте она не проявится. Слишком поздно. И не стоит обманываться помпезными словами Лонгфелло:

...Ах, друзья,
Ничто не слишком поздно!
Поздно станет,
Когда в нас сердце биться
перестанет.
Восьмидесяти лет взялся Катон
За греческий; Софоклом был
рожден
"Эдип", и Симонид
сребробородый
Стяжал венок лавровый в эти
годы[1].

Все это конечно замечательно, но Катон и прежде был не дурак, Софокл и раньше стяжал славу как поэт, а Симонид с юных лет писал эпитафии. Сочиняя эти строки, Лонгфелло опустился до уровня "Ридерз дайджест" и тому подобных массовых изданий, ознакомившись с которыми, лица пожилого возраста открывают в себе неведомый дотоле писательский дар, а также решают до посинения заниматься сексом — неважно, что утомленная и истерзанная плоть вопиет о покое. Идея о дремлющем таланте — обман, так же как и разговоры о "тихих и безвестных мильтонах". Если есть настоящие способности, их нельзя не заметить в самом начале жизни, и глупо называть кого-то Мильтоном только потому, что он тих и безвестен. Если вы продолжаете верить в подобную чепуху, то в таком случае я тихий и безвестный Бетховен.

Все это, как мне кажется, связано с тем, что многие путают креативность с интеллектуальными способностями. Что не одно и то же. Часто на склоне лет человек сознает: в своем умственном развитии он шагнул далеко вперед, но случилось это благодаря тому, что теперь он стал понимать то, что было ему недоступно в юности. Но творческие способности не связаны напрямую с интеллектом и нередко проявляются у тех, кто умом не блещет. Художники и поэты славятся своим неумением думать о насущном, катастрофически не справляются с денежными делами. Иным, как Бальзаку, например, достается огромное наследство, но они тратят его самым безрассудным образом: просаживают на немыслимую роскошь, чего разумный человек делать бы никогда не стал. Натуры артистические зачастую бывают не в силах избавиться от скверных и разрушительных привычек, на что остальным ума хватает. Я много раз повторял — правда, обычно мне не верят, — что большой талант гораздо чаще идет рука об руку с более чем скромными умственными способностями.

Подтверждением тому могут служить тесты на интеллект. Исследовательница Кэтрин Моррис Кокс подвергла подобной проверке труды великих писателей. Не могу слепо полагаться на ее оценку их ума, потому что изучать она могла лишь уже опубликованное и к тому же у нее не было возможности побеседовать — для полноты картины — с людьми давно умершими; но тем не менее она обнародовала свои открытия и, похоже, не так уж погрешила против истины. Как вы думаете, кто оказался самым умным? Джон Стюарт Милль, политический экономист. Даже если вы не из тех, кто относится к политэкономии предвзято и считает ее наукой непо-

1. Строки из поэмы "Morituri Salutamus". Перевод М. Бородицкой.

следовательной, несуществующей и раздутой, вы и тогда вряд ли назовете Джорджа Стюарта Милля могучей творческой личностью. При всей увесистости написанных им томов лишь одно его понятие вошло в широкий обиход — приращение стоимости имущества. Из двухсот возможных пунктов в тесте на интеллект у Милля — 190, на пять больше, чем у Гёте. Интересно, что у лорда Байрона — 150, а результаты Вордсворта, Китса и Шелли даже упоминать не стоит. Шекспир не дотягивает и до 100. У Бальзака, безрассудного мота, о котором уже шла речь, всего 130. Эти цифры основаны на коэффициенте интеллекта Термена. Признаюсь, я успокоился, узнав, что даже Шекспир не добрал баллы, потому что много лет назад, когда мне было четырнадцать, я переходил в другую школу и сам сдавал тест на интеллект. Моего имени не оказалось в вывешенных списках, я подошел к директору и спросил почему.

— Не хотел бы отвечать на твой вопрос, — ответил он.

Сердце у меня упало, но я продолжал:

— Я так мало набрал?

— Не буду говорить, сколько именно (он был очень добрым человеком), скажу тебе лучше вот что. Получи ты такую оценку при поступлении в армию, выше рядового никогда бы не поднялся, даже до капрала бы не дотянул.

Конечно, новость меня не обрадовала — она произвела на меня сильное впечатление, и я до сих пор не успокоился. (Хотя спустя столько лет смею надеяться, что до капрала все-таки дослужился бы: война косила людей тысячами, и оставшиеся в живых быстро продвигались по службе. На подбор кадров времени не оставалось, так что, пожалуй, я бы дослужился даже до сержанта.) Но передо мной стоял другой выбор: либо литература, либо голод. По недостатку ума, я и стал писателем, но занимался при этом вещами посторонними: подрабатывал как актер, редактировал ежедневную газету, заведовал аспирантурой, читал студентам лекции — и все время строчил, строчил, строчил не переставая. Несчастный слабоумный, вот кем я был, такая уж мне выпала доля.

Понимаю, что могу ранить чувства тех из вас, кого отталкивает сама мысль о судьбе, предопределенности. Вы — американцы, и ваша процветающая страна пребывает в уверенности, что каждый ее гражданин может все, надо лишь работать не жалея себя. И это действительно так, но — до определенной степени. Нельзя пренебрегать здравым смыслом. Президент Клинтон, глава исполнительной власти США, возможно, задолго до своего назначения мечтал о кресле в своем нынешнем кабинете. Однако выйти в президенты была его судьба, а не просто мечта. Задайся он целью стать лучшим тенором в мире и превзойти Паваротти, думаю, ничего бы не получилось, несмотря на его всем известный скромный музыкальный талант. Я пытаюсь довести до вас не унылую расхожую истину, что у каждого в мире свое место и от добра добра не ищут, а, скорее, хочу переставить акценты и сказать, что место, которое достается человеку по тысяче разных причин и над которым, несмотря на все старания, он не может подняться, — дано ему в удел. Выражение "характер — это судьба" стало ходячей фразой, но мне кажется не менее верным утверждение, что судьба — это характер, правда, признать подобное много труднее.

В таком случае, кому же предначертано не только родиться одаренным, но и оставаться таковым всю жизнь? Если творчество не связано с умственными способностями, что же оно такое? Утверждение, что это дар природы, никуда не ведет. Как природа являет себя в человеке?

Я говорю здесь о писательстве лишь потому, что это моя профессиональная область, и говорю о литературе, требующей от человека чего-то гораздо большего, нежели желания настрочить банальные вирши или рассказ, убить время и тут же забыть об их существовании. Причем

все вышесказанное относится и к творчеству музыкантов, художников, скульпторов, архитекторов и вообще созидателей, привносящих в жизнь нечто новое или хорошо забытое, а то и попранное старое. Из какой породы эти люди?

Обращаюсь к ученым в зале[1]: я не забываю и о вашем творчестве. Ни в коем случае! Как не вспомнить слова Эйнштейна о том, что только наделенный воображением ученый открывает дверь в мир своих снов? Что он хотел этим сказать? Уверен, что имел в виду отнюдь не сновидения, истолкованные в свете психоанализа. Сны пациента, рождающиеся на грани науки и искусства, толкуются с особым тщанием, да он и сам ощущает, что в них есть что-то особенное. Но подвергнуться психоанализу не означает превратиться в творческую личность.

Как мне кажется, Эйнштейн имел в виду не сны, а некие странные, загадочные, иногда пугающие образы, далекую музыку, вещие слова, возникающие в голове в состоянии дремы, на границе бодрствования и сна, когда сами собой находятся ответы на вопросы, наяву казавшиеся тупиковыми. Известно, что Август фон Кекуле[2] открыл формулу бензола после того, как ему привиделся мифический Уроборос — змей, кусающий себя за хвост. В таком же пограничном состоянии Колридж — наверное, не без помощи привычной дозы опия — сочинил "Кубла-хана", которого вспомнил и записал, как только проснулся. Это одна из жемчужин английской поэзии, и, читая поэму, мы переносимся в другой мир, совершенно неизвестный, но волшебным образом знакомый.

Другой пример — композитор Рихард Вагнер. Он сочинял оперу "Золото Рейна" и долго не мог найти тему вступления, в котором должно было отразиться все великолепие и величие реки. Однажды, утомленный бесконечными поисками, он прилег и решил вздремнуть. Но, по его словам, не заснул, а погрузился в забытье и услышал аккорд, который настойчиво звучал в голове, повторяясь в виде ирреальных, фантастических вариаций, рождавшихся сами собой. Это была тема в ми-бемоль мажоре. Вагнер писал: "Я очнулся от испуга и почувствовал, что высоко надо мной проносятся волны. Я сразу понял, что оркестровая увертюра к 'Золоту Рейна', которая так долго спала где-то глубоко в душе и которой я так долго не мог придать определенную форму, наконец-то явилась мне. Я понял, что представляет собой мое существо: поток жизни льется не извне, а изнутри". И это не просто фигура речи. В тот момент на Вагнера хлынуло 136 тактов, вызванных к жизни могучим трезвучием в ми-бемоле, — широкий и ясный солнечный поток.

Такое состояние ведомо неисчислимому множеству творческих людей, и Вагнер выразился очень точно, сказав, что поток жизни льется не снаружи, а изнутри. Любому автору знакома ситуация, когда ему рассказывают случай из жизни или описывают какого-то человека, потому что, по мнению собеседника, именно их-то писатель и ищет. Но это только на сторонний взгляд. Художник — существо капризное, и любая попытка вложить в него нечто чужое, навязать что-то извне, может встретить у него отпор и даже вызвать презрение. Конечно, он улавливает то, что происходит вокруг, и порой услышанное и подмеченное ненароком может превратиться в полноценную историю. Ненароком, но не более того — подробности излишни. Генри Джеймс писал именно об этой стороне дела: намек — это все, а слишком детальные описания только сбивают тонкую писательскую настройку. Намек, может быть, тут же забудется, но потом "всплывет" и в нужную минуту "сработает".

Нельзя заставить творить. Ко мне приходят очень молодые люди, ученики старших классов, с которы-

1. Настоящий текст представляет собой лекцию, прочитанную автором 14 ноября 1993 г. в Университете Джона Хопкинса.
2. Фридрих Август Кекуле (1829–1896) — немецкий химик-органик.

ми я, по разным соображениям и прежде всего потому, что они изучают некоторые мои книги, согласился проводить беседы о писательском ремесле. Не сказать, что жду этих встреч с нетерпением, ибо законченная вещь претерпевает всякие метаморфозы, прежде чем учитель, который, в свою очередь, может оказаться отнюдь не чутким провожатым, преподносит ее целому классу, где учатся дети с совершенно разными способностями. Чаще всего мои посетители задают один и тот же вопрос: "Как вы придумали своих героев?" И каждый раз я отвечаю: "Не я их придумал, они сами ко мне пришли". Ребята считают, что я отшучиваюсь, не хочу раскрывать секреты своей лаборатории, но на самом деле я говорю истинную правду. Если образ не возник во мне, он не пригодится для моей истории. Он должен быть со мной связан, пусть и не напрямую, но так, чтобы я эту связь ощущал, должен оставаться в пределах моего внутреннего мира, где я, как и все, по большей части, обитаю. Справедливо говорят, что вся художественная литература — по сути, замаскированная автобиография, и порой маскировка совсем проста. Но биограф или критик зачастую не в состоянии ее разглядеть, потому что она рождена миром писательских фантазий, куда исследователи вторгнуться не могут.

Поэтому повторюсь: нельзя заставить кого-то творить. Да, мы читаем захватывающие истории о том, как Моцарт сочинил увертюру к "Свадьбе Фигаро" прямо в день премьеры, а Шеридан — потрясающие страницы своих комедий за несколько часов до выхода актеров на сцену. Но правильнее все-таки сказать, что они не сочиняли, а *записывали*: один — увертюру, другой — фрагменты комедии, то есть облекали в некую форму то, что все время сидело у них в голове. Моцарт и Шеридан, может, иногда и ленились, но были творцами. Многие авторы расскажут вам, что порой работают в силу необходимости. Но чтобы написать, нужно уже иметь нечто внутри. Психоаналитики могут поведать о желании человека утаивать нечто до поры до времени — пока не придет подходящий момент, но механизмы творчества не поддаются психологическому объяснению. Отчасти, как мне кажется, потому, что психоанализ не придает значения качеству искусства — всем нам известно, что Фрейд, Юнг и их ученики предпочитали исследовать второсортные и третьесортные произведения. Посредственное легче поддается анализу и тщательной проверке, чем высокая литература. Легче применять психоаналитическую теорию к "Градиве" Йенсена[1] или приключенческим романам Райдера Хаггарда, чем к "Фаусту" Гёте. Интересно, что рассуждения Эрнеста Джонса[2] о Гамлете или Эдипе ничем не обогащают наше впечатление от этих пьес и никак на него не влияют. Возможно, психоанализ — нечто враждебное искусству, которое вообще не поддается системному подходу.

Но раз нельзя заставить творить, можно ли заразиться вдохновением или пробудить его? Да, можно. С этой целью разрабатываются сложные теории, и излагаются столь же сложным языком, но в итоге все сводится к способности художника отойти в сторону. Он не должен навязывать себе процесс созидания, прилагать к тому усилия. Пребывая в поиске, он не должен упорствовать, подстегивать себя, ставить себе условия. По существу, художнику надлежит отказаться от самоконтроля, положиться на волю случая. Удивительно, как трудно это сделать! Ведь все мы изо всех сил стремимся учиться, получить образование, главная ценность в нашем мире — плоды усердного труда, и нам настойчиво доказывают, что целенаправленными действиями можно достичь всего, чего пожелаешь. Мно-

1. Вильгельм Йенсен (1837–1911) — немецкий писатель.
2. Эрнест Джонс (1879–1958) — британский психоаналитик.

гие считают, что любые проявления пассивности непозволительны.

Художники, в которых есть искра Божья, понимают, что надо делать, а точнее — не делать. Поэтому их нередко считают бездельниками, лодырями, людьми без дерзновения и трудолюбия. На самом деле они работают всего больше именно тогда, когда кажутся праздными. Когда отклоняются от привычного пути и отдаются во власть вдохновения. Представьте, как странно выглядел со стороны Эйнштейн, по нескольку часов наблюдавший за тем, как рабочие строят дом или копают очередную яму на оживленном шоссе. Наблюдая за чужой работой, творец размышляет о бесчисленном множестве вещей, и раздумья эти бывают продуктивны. Такая отстраненность бесит окружающих и может превратиться в источник семейных неурядиц. Потому художникам стали предоставлять особые "приюты", где им дозволяется бездельничать: они живут в маленьких домиках, имеют в своем распоряжении все необходимое (и даже больше того), предоставляемое им каким-нибудь филантропом, появляются они только к обеду, во время которого точат лясы и пропускают по рюмочке. Но я не смог найти доказательств тому, что в этих местах рождаются великие произведения искусства. Мне кажется, в таких благотворительных заведениях только и можно, что подстегивать художников, увещевать их и ждать, когда же к ним придет вдохновение. Но только в подлинном контакте с миром они (так сказать, бездельники и зеваки) отдаются своему назначению — прислушиваются к внутреннему голосу.

Правда ли, что художник и впрямь ничего не делает, когда выглядит ленивцем? Нет. Он смиренно и благоговейно просит о помощи. На церковном языке — "взывает к милости Божьей". Ждать ее иногда приходится очень долго. Художник должен уметь терпеть. Нельзя заставить себя творить, и совершенство рождается медленно. Как грибы после дождя растут только третьесортные поделки, которые не имеют ничего общего с настоящим искусством.

Я долго говорил о механизмах творчества, о том, как я их понимаю. Но еще ничего не сказал о том, как это соотносится с преклонным возрастом. Много времени я уделил утверждению, что способности не проявляются внезапно — как только мужчина или женщина поставят перед собой цель, не дававшую им покоя лет эдак пятьдесят, а то и более. Если вы не были творцом в юности, не надейтесь, что превратитесь в такового в старости. Это дар, и не с меня спрос, если он элитарный — бессмысленно рассуждать о нем с позиций демократии.

Да, безусловно дар, но какого рода? Я говорил, что художник не обязательно умен в том смысле, в каком в нашем обществе понимают ум. С другой стороны, творец, художник — не idiot savant[1], эдакий простачок с необъяснимым даром. Что же есть дар?

Мне кажется, отличное определение принадлежит одному выдающемуся писателю, Владимиру Набокову. Говоря об Андре Мальро, он выразился так: "Чем дольше я живу, тем чаще прихожу к выводу: единственное, что имеет значение в литературе, — это (более или менее неосознаваемое) *шаманство* книги, то есть хороший писатель — прежде всего волшебник". Слово "шаманство", как объяснил мне один русский приятель, и означает способность быть волшебником. В этом определении содержится многое. Слова "единственное, что имеет значение" следует понимать так, что стиль — явление второго порядка (будь то величественная проза Сэмюэля Джонсона или безыскусная с виду проза Марка Твена). "Шаманство книги" сказано о том, что писательство берет начало из внутреннего источника и не подвластно жесткому контролю сознания. И наконец, "хороший писатель — прежде всего волшебник". Ес-

1. Idiot savant (*франц.*) — ученый безумец.

ли вы волшебник, ваше дарование развивается, проходит разные стадии, но дается оно вам с рождения и не может ни с того ни с сего объявиться в пожилом возрасте. Что значит быть волшебником? Объяснять не стану, ведь, возможно, вы сами встретитесь с чудом и пленитесь им — тогда и попытайтесь проанализировать, постигнуть его природу, но читайте только первоклассную литературу, ведь оно живет лишь там.

Позвольте привести в пример одно великое стихотворение, где речь идет о старости и где искусство и волшебство сочетаются с глубиной мысли. Это настоящая "Зимняя зарисовка". Многие из вас знают его. Это стихотворение Роберта Браунинга "Рабби Бен Эзра". Первые строки всем хорошо известны.

> О юноша, со мной старей!
> Закат — вот злато наших дней,
> Ты лишь в конце пути оценишь
> первый шаг.
> Все наши дни в Его руках,
> Он говорит: "Жизнь суть река
> С истоком — юностью; верь Мне,
> внемли, отринь свой страх"[1].

Призыв воспринимать жизнь как целое сегодня многим покажется обескураживающим, и прежде всего тем, кто боготворит молодость и ее удовольствия (особенно сексуальные), кто мечтает оттянуть свою старость. Как знать, что за ужасы ждут нас с ее приходом! Стихотворение же хоть и восхваляет юность, но не как лучшую часть человеческого существования. Поэт говорит, что на свою молодость нужно смотреть снисходительно и прощать себе глупости, но на склоне лет подобная невзыскательность предосудительна — следует трезво оценивать свои поступки. Лишь рассматривая жизнь как целостность, можно открыть ее смысл и замысел Божий, но понимание этого приходит лишь с возрастом.

В стихотворении Господь — гончар, человек — горшок, который Он обжигает. Гончарный круг символизирует время и обстоятельства нашего земного бытия, глина же — суть человека, его духовная природа. И если хочешь постигнуть цель своего труда, суди о нем, завершив его, но такое под силу только зрелости.

Стихотворение это резко критиковали: считалось, что оно отрицает свободу выбора. Возможно, упреки были справедливы, но, возможно, прав Браунинг. Я не буду приводить никаких аргументов, хочу только обратить внимание на то, что Браунинг говорит от имени героя (таков его излюбленный прием) — теолога и философа XII века, рассуждающего о старости. В течение многих лет я непременно читал поэму "Рабби Бен Эзра" на своем дне рождения.

Вот что в общем и целом я думаю о творчестве писателя. На выводах своих я не настаиваю, разве только на том, что в силу объективных причин все сказанное — поистине "Зимняя зарисовка".

1. Перевод А. Олейникова.

Мария Карп
Исследование импульсов

Чем берет Элис Манро? Слогом? – Иногда, но чаще он не играет особой роли. Сюжетами? – Да, но они бывают и довольно искусственны. Семидесятипятилетняя седовласая канадка сладко улыбается на фотографиях, и трудно поверить, что она захватывает читателей (главным образом, безусловно, читательниц) исключительно содержанием своих рассказов. Но содержание – захватывающее. Почти сорок лет Манро пишет "о свойствах страсти" и о потаенных внутренних движениях, которые определяют человеческую судьбу.

Сборники рассказов называются так: "Жизни девушек и женщин" (1971), "Давно собиралась тебе сказать" (1973), "Развитие любви" (1986), "Подруга юности" (1990), "Раскрытые тайны" (1994), "Любовь доброй женщины" (1998), "Ненавижество, дружество, ухажерство, влюбленство, замужество" (2001) и, наконец, последний – "Беглянка" (2004). Кроме иронического "Ненавижество, дружество..." – пародии на девчоночью считалку – названия вполне подходят для бульварных женских романов... Даже как-то неловко. Это – литература?

Элис Манро опубликовала первый сборник рассказов поздно – в 37 лет, после того как родила четырех дочерей (одна умерла в младенчестве). Опубликовав второй, ушла от мужа, потом вышла замуж за другого. За первого выходила, когда ей еще не было и двадцати – очень не хотелось возвращаться из университета в отчий дом. Собственный эмоциональный опыт – девочки, девушки, жены, матери, дочери, любящей женщины, нелюбящей женщины, любимой, нелюбимой, стареющей, переживающей утраты – основа прозы Манро, фундамент отведенной ею для себя территории, географически размещающейся между Онтарио и Британской Колумбией. Сюжетно территория эта, может, и невелика, но разнообразие душевных состояний, описываемых Манро, – под стать огромным канадским просторам.

Считается, что она пишет рассказы, хотя по емкости это почти романы. Причина недоразумения отчасти в том, что по-английски слово "новелла", хоть и существует, но употребляется редко. Сама Манро признается, что долгие годы пыталась написать роман, но не доходила до нужной длины. Теперь она уже знает, что у нее – *такие* рассказы, хотя для рассказов в них много лишнего. Вместо фабулы, аккуратно развернутой на небольшом пространстве, в удачных случаях оставляющей ощущение изящества, в неудачных – зажатости, в лучших рассказах Манро на сорока-пятидесяти страницах невероятным образом умещаются предыстория героини, ее выбор, его последствия, окружающие ее люди, комментарии, отступления, размышления, часто параллельные судьбы разных героинь и почти всегда – разрывы сюжета на много лет.

Один из самых известных рассказов Манро – "Нищая дева" из сборника под тем же названием (с подзаголовком "Рассказы о Роуз и Фло"), опубликованного в 1978 году и в 1980-м попавшего в число претендентов на Букеровскую премию. Его сюжет – архетип бесчисленных

© Мария Карп, 2006

историй о девушках, которые благодаря выигранной стипендии поступают в университет и вырываются из своего бедного и убогого окружения. "Нищая дева" — ироническая отсылка к картине прерафаэлита Эдуарда Берн-Джонса, где изображены герои английской народной баллады: король Кофетуа и красавица-нищенка, которую он полюбил. Этот жестко построенный рассказ не только рисует два совершенно разных мира, к которым принадлежат одаренная, но грубоватая в своей живучести Роуз и влюбленный в нее интеллигентный аспирант и богатый наследник Патрик, не только демонстрирует смятение и даже отчаяние совсем не любящей Патрика Роуз и ее попытку порвать с ним, но и анализирует неудачу этой попытки, и последующие десять лет несложившейся семейной жизни, и случайную встречу в аэропорту через девять лет после развода, когда по скроенной Патриком гримасе Роуз понимает, сколько зла ему причинила.

Разрывы во времени — важная для Манро часть сюжетосложения. Жизнь человеческая представляется ей состоящей из нестыкующихся между собой кусков, и понимание прошлого отнюдь не означает, что тот человек, которым ее героиня или герой были прежде, мог поступить иначе, чем поступил. Жалость к Патрику, желание иметь его деньги, трусость, тщеславие, надежда на возможное счастье — вот объяснения, которые приходят Роуз на ум впоследствии, когда она думает, почему же она все-таки с ним не порвала. В решающий момент не смогла удержаться, бросилась к нему на шею и осталась с ним. Последствием этого импульсивного движения оказалась искореженная жизнь обоих. Ретроспективный взгляд помогает, хотя и не всегда, даже самому человеку разобраться в своих душевных движениях, а поскольку анализ душевных движений — это главная тема Элис Манро, она снова и снова возвращается к одному и тому же сюжету, всякий раз чуть по-иному его поворачивая, чуть меняя, как ученый, условия опыта, но, как писатель, заново погружаясь в страсти своих героев.

Экспозиция рассказа, который так и называется "Страсть", опубликованного в недавнем сборнике "Беглянка", во многом повторяет ситуацию "Нищей девы". В двадцатилетнюю официантку Грейс влюбляется обеспеченный молодой человек Мори, который к ее недоумению хочет на ней жениться. У Мори, как и у Патрика, высокий голос и самоотверженное желание беречь и холить девушку из совсем другого мира. Он представляет ее родителям, и Грейс влюбляется в его живую, тонкую, начитанную мать, которая позволяет ей в обеденный перерыв выбирать книги у них в библиотеке и обсуждает с ней "Анну Каренину". Но вот в День благодарения в доме появляется старший брат Мори Нил, сын его матери от первого, покончившего с собой мужа. И в ту секунду, как Грейс садится с подвыпившим Нилом в машину — она поранила ногу и он, врач, везет ее в больницу, чтобы сделать прививку от столбняка, — она ощущает, что за ее прошлой жизнью с грохотом захлопываются ворота. Вернее, так она описывает это впоследствии. "Но в тот момент грохота не было — просто внутри нее пробежала рябь согласия, и все права оставшихся в доме были безмолвно отменены". Стремительная поездка с Нилом в открытой машине похожа на секс, который она — с оберегавшим ее Мори — еще не узнала в реальности. Все дальнейшее: поцелуи, урок вождения машины, который дает ей Нил, его незаконные в праздник покупки спиртного, осознание страшной безысходности его тоски, которой ни Грейс, и никто другой помочь уже не может, обратный путь в девять миль, когда она, едва научившись водить, везет спящего Нила домой, прощание и на следующее утро весть о его самоубийстве — это драматические подробности, которые помогают Грейс понять, каким предательством себя стал бы ее брак с Мори. В начале рассказа, через сорок лет после

описываемых событий, Грейс приезжает посмотреть на пейзажи и дороги, сыгравшие такую важную роль в ее жизни. Жизни, которую ей все-таки удалось построить по-своему — после разрыва с Мори она получила от его отца чек на тысячу долларов, и благодаря этим деньгам поворот в судьбе стал возможен без нежеланных отношений.

Еще в одном рассказе — "Семейные безделушки", — написанном от первого лица, социальная разница между героями ничуть не мешает их счастливому союзу — напротив, она радует героиню, которая мечтает перейти в другую среду, стремится осуществить свое призвание и разорвать с раздражающими и не понимающими ее родственниками. Но и в этом случае сознание социальной разницы никуда не исчезает.

Большое искушение сравнивать Элис Манро с Джейн Остин — та же работа на ограниченном пространстве человеческих отношений — "на двух дюймах слоновой кости", по которым автор водит "тоненькой кисточкой, так что после огромного труда и следов почти не остается", то же жесткое понимание финансовой зависимости, та же психологическая тонкость и остроумие при описании человеческой комедии, но только Элис Манро пишет после сексуальной революции, и ее героини — современные женщины, не стесненные ни религиозными, ни светскими условностями, — ощущают себя вправе и с юности интересоваться сексом, и следовать своим страстям, и иметь семью и детей, и профессионально заниматься тем, чем хочется. Что отнюдь не делает их существование легче.

Свобода, однако, влечет за собой ответственность, и, возможно, ответственность помогает героиням Манро осознавать то, что с ними происходит или во всяком случае пытаться это делать. В рассказе "Крапива" женщина, которая разошлась с мужем и поселилась в другом городе, чтобы сосредоточиться на литературных занятиях, встречается с любовником и горюет, что гостящие у нее на каникулах дочки хотят домой — к папе. Но это лишь фон, на котором происходит ее случайная встреча с бывшим товарищем по детским играм, горячо любимым в восемь лет. Влечение к нему вспыхивает мгновенно и разгорается все сильней, но пламя страсти превращается в маленький "контрольный" огонек — он не может ответить ей взаимностью, и она не может на этом настаивать, узнав, что его связывает с женой общее горе — гибель трехлетнего сына, в которой отец считает себя виноватым. Любовь, которая не может воплотиться, которая знает свое место, размышляет героиня, почти нереальна. Она не рискует свернуть себе шею, превратиться в дурную шутку, просто печально сойти на нет — как сплошь и рядом бывает с любовью, заявившей о себе во всеуслышание. Она остается сладким ручейком, подземным источником, придавленным грузом молчания...

В рассказе "По-другому" женщина изменяет мужу:

> Карту города, которую она до сих пор держала в голове, с маршрутами в магазины, на работу и в гости, вытеснила — другая — карта обходных путей, выбранных под воздействием страха (не стыда) и возбуждения, карта ненадежных убежищ, временных укрытий, где они с Майлсом занимались любовью, часто слыша гул машин, голоса туристов или какой-нибудь семьи на пикнике. Точно так же и в самой Джорджии, смотрела ли она на своих детей, крутящихся на карусели, или нащупывала лимон совершенной формы в универсаме, жила другая женщина, которая всего за несколько часов перед тем визжала и металась на траве, на песке, на голой земле или, во время ливня, в собственной машине, — женщина, которую с силой и торжеством доводили до безумия, и она плыла в пространстве и приходила в себя и возвращалась домой. Неужели это у многих так? Джорджия оглядывала других женщин в универсаме. Она искала признаки мечтательности, или щеголеватого вызова, или драматизма в том, как они одевались, в особом ритме их движений.
>
> — Сколько таких? — спрашивала она Майю.

– Бог его знает, – отвечала Майя. – Проведи опрос.

Джорджия обсуждает свою измену с более опытной подругой до тех пор, пока любовник, поссорившись с нею, не становится любовником этой подруги. Тогда она ссорится с подругой – мстя ей, она в своем сознании мстит и любовнику. И здесь снова, как часто бывает у Манро, ситуация рассматривается ретроспективно: подруга давно умерла, героиня давно разошлась с мужем. Авторский комментарий, как будто во многом сливающийся с комментарием вполне способной к осмыслению происходящего Джорджии, ближе к концу и спорит с ним тоже. "Я никогда не была счастлива", – утверждает героиня, уходя от мужа. "Была", – возражает ей автор (или она сама через много лет?). Многослойность анализа – женщина смотрит на себя, смотрит на другую женщину, оценивает себя и другую в двадцать, тридцать, пятьдесят, та оценивает ее, автор изучает обеих – еще усиливается в тех новеллах, где Манро рисует параллельное существование разных героинь. Одна из лучших в этом ряду – "Ненавижество, дружество, ухажерство, влюбленство, замужество", давшая название сборнику 2001 года.

Злая шутка изнывающих от сексуального томления девочек-подростков, которые пишут любовные письма некрасивой и немолодой экономке от имени овдовевшего беспутного отца одной из них, кажется, не может привести ни к чему хорошему. Но приводит! Приводит потому, что человеческое стремление к любви, стремление помочь другому способно преодолеть равнодушие и глупость. Такой светлый вывод довольно неожидан для Манро, финалы рассказов которой, как правило, оставляют героиню хоть и поумневшей, но не обязательно счастливой. Но здесь главная героиня рассказа, экономка Джоанна – проще, наивнее, можно даже сказать примитивнее, чем обычные интеллигентные героини Манро. Сквозь многие рассказы проходит это столкновение тонкой и менее приспособленной к быту женщины с другой – более земной, хваткой, тверже стоящей на ногах, но зато и менее образованной, менее восприимчивой, менее деликатной. Однако в "Ненавижестве..." именно земная хватка Джоанны делает ее абсолютно необходимой человеку, которого она полюбила, и все ошибки и недоразумения, вызванные тем, что он, на самом деле, никогда ей не писал, оказываются совершенно неважны. С другой стороны, девочка Эдит, сочинявшая любовные письма от его имени, как раз принадлежит к автобиографическим героиням Манро, тем, которые благодаря своему уму и дарованию вырываются в другую жизнь – что чуть подросшая Эдит и собирается сделать через несколько лет. В девчоночьей игре, давшей название рассказу, число, полученное в результате сложения букв в именах девочки и мальчика, должно привести к ответу на вопрос, какой тип отношений ее с ним ожидает. Расстояние между тем, что вырисовывается в сознании девочек, и реальной жизнью взрослых и есть та ось, которая держит напряжение рассказа.

Женщина и секс, женщина и страсть, женщина и любовь – Манро виртуозная и оригинальная исследовательница этих сюжетов, но ее проза отнюдь ими не исчерпывается. Уже упомянутые "Семейные безделушки" – это почти "роман воспитания", новелла о становлении человека. Она тоже построена на параллельном движении судеб двух разных героинь и охватывает – как полагается роману – бóльшую часть их жизни.

Конец сороковых годов. Девочка-подросток, потом молодая девушка описывает свою двоюродную тетку Альфриду. Сперва – как залетную птицу из экзотического мира. Альфрида, в отличие от родителей девочки, живет в городе и ведет колонку в местной газете. Вернее, даже две: одну – "Городские сплетни" – под собственным именем, другую – "Страничка домохо-

зяйки" — под псевдонимом. Альфрида ни капельки не похожа на других сестер отца. Приезжая в гости, она рассказывает байки, острит и рассуждает о политике. Она курит, и благодаря ей девочка впервые осмеливается закурить в присутствии родителей, что знаменует начало ее взрослой и независимой жизни. Потом тетка перестает приезжать — родственники отказываются принять ее друга, ведь Альфрида живет с ним не в браке, а просто так, и к тому же он, кажется, женат...

Ситуация меняется, когда девушка, получив стипендию, едет в университет — в тот самый город, где живет Альфрида. Днем она учится, вечерами работает в библиотеке, потом у нее появляется мальчик — навещать тетку ей некогда. К тому же ее новые друзья читают "Будденброков" и смотрят фильм "Дети райка" — а тетка по-прежнему сотрудничает в газете, которая кажется уже не средоточием кипучей городской жизни, а наоборот — пошлой и скучной. Только через два года, перед тем как выйти замуж и уехать из провинциального города, племянница навещает Альфриду. В этот момент их отношения решительно и навсегда меняются, и обе они это ощущают — Альфриду раздражает и новое искусство, которое увлекает молодую девушку, и ее интересы, а племянница уже настолько презирает тетку за косность, что не считает нужным с ней спорить.... Однако, когда друг тетки, молчаливый Билл, удаляется в соседнюю комнату и Альфрида провожает его "обеспокоенно нежным взглядом", женщины начинают вместе убирать со стола, мыть посуду, обсуждать семейные безделушки, доставшиеся Альфриде по наследству, и это несколько их сближает... Альфрида рассказывает историю трагической гибели своей матери, много раз слышанную племянницей, и добавляет прежде неизвестную ей подробность:

> И в ту минуту, когда я ее услышала, что-то произошло. Как будто захлопнулась ловушка, чтобы эти слова удержались в моей памяти. Я еще не понимала, что с ними сделаю. Я ощущала только, как они меня подбросили и вынесли на свободу, где я немедленно стала дышать другим, мне одной доступным воздухом.

Рассказ, куда вошла и эта подробность, сообщает героиня, был написан лишь много лет спустя, когда как будто стало уже неважно, от кого она его услышала. Тем не менее впоследствии она узнает от отца, что Альфрида была на нее за публикацию этого рассказа сердита. Больше тетка и племянница не видятся. На похоронах отца рассказчицы, ставшей к тому времени известной писательницей, к ней подходит незнакомая женщина, ее ровесница, и сообщает, что Альфрида — в доме для престарелых, а она — ее родная дочь, отданная при рождении приемным родителям и отыскавшая Альфриду только совсем недавно. Рождение незаконного ребенка в годы юности Альфриды было настолько предосудительно, что содержалось в абсолютной тайне.

Жизнь Альфриды, хотя об этом ничего не говорится, ретроспективно освещается новым светом. Неведение племянницы обнаруживает пределы ее понимания, глубину ее эгоизма. И все же рассказ кончается не этим. Он кончается возвращением в прошлое и описанием счастливого одиночества, которое героиня испытывает, когда после визита к Альфриде слоняется по пустому воскресному городу и вдруг осознает свое призвание:

> Я не думала о рассказе, который напишу об Альфриде, — не думала именно о нем — но о деле, которым мне хотелось бы заниматься и которое казалось больше похожим на выхватывание чего-то из воздуха, чем на сочинение историй. Шум стадиона по радио доносился до меня как мощные сердечные удары, полные печали. Чудесные, ритмично звучащие волны с их далеким, почти нечеловеческим согласием и жалобой.
>
> Этого мне хотелось, этому я собиралась посвятить себя, такой должна была быть моя жизнь.

Правомерность эгоизма героини не перечеркивает трагедию несчастной Альфриды, наоборот – существуя параллельно, жизни двух женщин оказываются зависимы друг от друга. Решения, определяющие судьбу, принимаются не в абстрактной пустоте, а в столкновениях с другими людьми, и раскачиваясь на эмоциональных качелях отношений, человек и реализует себя так или иначе. Сознательное поведение в любой сфере жизни, как будто говорит Манро, вырастает из инстинктов, эмоций, жажды подражать или отталкиваться, осознанных и неосознанных желаний.

Конечно, тема отношений мужчины и женщины никогда полностью не уходит из прозы Манро. Там, где она не на поверхности, она существует скрыто в виде вековой женской мудрости, приобретаемой каждой женщиной по ходу жизни. В "Семейных безделушках" друг Альфриды, Билл, оказывается красивым, но несколько увядшим человеком утомленно-любезной наружности, который "умел так наклоняться к женщине, словно намекал, что знакомство сулит удовольствие и ей, и ему". Однако за обеденным столом Билл молчит, и невзирая на все усилия Альфриды, общий разговор не завязывается:

Я не поддержала беседу не от невежливости и не потому, что мне было скучно (то есть невежливость не выходила за рамки того, что мне было тогда свойственно, а скука была не больше ожидаемой), но поскольку не понимала, что мне следует задавать вопросы – практически любые вопросы, лишь бы втянуть робкого мужчину в разговор, вытащить его из погруженности в себя и закрепить за ним некий авторитет, то есть сделать его хозяином в доме. Я не понимала, почему Альфрида смотрит на него с такой энергично подбадривающей улыбкой. Весь мой опыт поведения женщины с мужчинами – женщины, слушающей своего мужчину и надеющейся, надеющейся изо всех сил, что он сумеет утвердить себя, так что можно будет на законном основании им гордиться, был еще впереди.

Это женское знание мужских (и женских!) слабостей постоянно присутствует в суховато-сдержанной, но неожиданно остроумной прозе Манро. Остроумие чаще всего вырастает из зоркости и наблюдательности, как, например, в рассказе "Майлс-сити, Монтана", где есть такой диалог между супругами, отправившимися с детьми в поездку на машине:

Я приготовила бутерброды с арахисовым маслом и мармеладом для детей и с лососем и майонезом – для нас. Но не положила внутрь листья салата, и Эндрю расстроился.

– У меня не было салата, – сказала я.

– А что, купить нельзя было?

– Пришлось бы покупать целую упаковку ради нескольких листиков в бутерброды, и я решила, что не стоит.

Это была чистая ложь. Я просто забыла.

– С салатом гораздо вкуснее.

– Я не думала, что это так важно. – Помолчав, я добавила: – Не сердись.

– Я не сержусь. Я просто люблю бутерброды с салатом.

– Я не знала, что это настолько существенно.

– А вот если бы я не налил бензина в бак?

– Это не то же самое.

Отношения между супругами не главная тема этого рассказа, сюжет его в другом, но именно ее подспудное присутствие придает рассказу в семнадцать страниц "романную" емкость. Точно такой же эффект создает в еще более коротком рассказе "Спутники Юпитера" наблюдение героини за тем, как ведет себя младшая дочь, приехавшая в аэропорт ее встречать вместе со своим молодым человеком:

Джудит подалась вперед и коснулась руки Дона. Я узнала это прикосновение – просьбу о прощении, взволнованное желание успокоить. Так касаются мужчины, чтобы напомнить ему, что ты благодарна, что ты понимаешь: он делает ради тебя что-то такое, что ему делать скучно или что слегка угрожает его достоинству. Вну-

ки не состарили бы меня сильней, чем это прикосновение моей дочери к мужчине — к мальчику. Я почувствовала ее волнение и огорчение, могла предсказать ее услужливые ласки. Мой прямодушный, коренастый, светловолосый, откровенный ребенок. Почему я думала, что она этого избежит, что она всегда будет открытой, крепкой, полагающейся только на себя?

Рассказ "Спутники Юпитера" совсем не о дочерях — он об умирающем отце. Но отношения с родителями и отношения с детьми у Манро часто переплетаются. В последние годы она стала больше писать о болезни, смерти, утратах, но и прежде в картине жизни, рисуемой ее прозой и несомненно восходящей к собственному опыту, всегда присутствовали: мать — как правило, болеющая или рано умершая, отец — одновременно и близкий, и далекий и мачеха, вызывающая разом ненависть и жалость. В "Спутниках Юпитера" героиня беспокоится об отце, которому предстоит серьезная и, по-видимому, смертельная операция, но одновременно — и о старшей дочери, которая не желает иметь с ней дела: "Николь хочет побыть incommunicado"[1], — сообщает матери младшая дочь Джудит. Это рассказ 1982 года. Через двадцать лет писательница возвращается к обеим этим темам в цикле рассказов о Джулиет[2], но связывает их еще более драматично. Нежелание Николь общаться с матерью, да и вообще ее стремление уйти от внешнего мира, намеченное в "Спутниках Юпитера", в более позднем рассказе "Молчание" оборачивается внезапным разрывом двадцатилетней дочери с матерью. Этому рассказу цикла предшествует рассказ "Скоро", где описывается, как в конце шестидесятых годов Джулиет с полуторагодовалой тогда дочкой приезжает к родителям в провинциальный городок, где ни ей, ни даже им не могут простить, что она живет с мужчиной вне брака. Каким косным кажется ей все вокруг по сравнению с ее собственным смелым и современным подходом! У нее возникает чувство отчуждения от любимых родителей, особенно от больной матери, которая принимает у себя священника и, похоже, вдруг перед смертью уверовала в бога. Джулиет не в силах даже посочувствовать материнскому одиночеству, и впоследствии казнит себя за это. Проходят годы, и ее собственная любимая дочь, передав через чужих людей, что ее жизни недоставало общения с вышними силами, уходит сперва с какой-то сектой, а потом просто исчезает из жизни матери навсегда. Вина детей перед родителями, родителей перед детьми, невозможность полного взаимопонимания ни с теми, ни с другими — это еще один экзистенциальный круг, который постоянно занимает Манро.

В англоязычных странах принято всех мало-мальски заметных авторов рассказов уподоблять глубоко почитаемому там Чехову. Разумеется, Элис Манро прямо называют "нашим Чеховым", а самые недавние отзывы добавляют к этому почетному титулу еще и признание ее "нашим Флобером". Натянутость подобных сравнений — очевидна, однако следует все же сказать, что, при всей горячей любви Манро к русской литературе, стремление к рациональному осмыслению чувств сближает ее, скорее, с французской традицией, идущей, может быть, даже не от Флобера, а от Мариво и тянущейся до сегодняшнего кинематографа, где циклы фильмов Эрика Ромера: "Нравоучительные истории", "Комедии и поговорки", "Сказки времен года" — представляют собой похожие попытки с почти научной точностью изучать и анализировать человеческое поведение.

Действие рассказов писательницы неизменно происходит в Канаде, и ее Канаду часто уподобляют то фолкнеровскому Югу, то Небраске Виллы Катер, которая в первой половине двадцатого века взахлеб, с чувством первооткрывателя писала об

1. Зд.: Вне общения (*исп.*).
2. См. рассказ "Жребий" в настоящем номере "ИЛ". (*Прим. перев.*)

освоении новых земель американскими пионерами. В отличие от Катер, Манро описывает природу скупо, хотя и точно, но пространство между Онтарио и Британской Колумбией так обжито ее героинями, так насыщено их страстями, что действительно приобретает особую реальность мифа. Постоянно возвращаясь на ту же самую территорию, где иногда высвечены одни фигуры, иногда другие, но круг их известен и почти предсказуем, она создает в воображении своих читателей отдельную страну – Канаду Элис Манро.

"Свои" читатели полюбили Элис Манро давно и сильно – они читают ее рассказы, как только они появляются в "Нью-Йоркере" и других журналах, не дожидаясь выхода сборников. Манро постоянно изучают литературоведы и критики – в Канаде о ней написана, по меньшей мере, дюжина книг, десятки специальных статей. После публикации в 1996 году "Избранного" и особенно после уверенного мастерства двух последних книг, ее известность разрослась и стала превращаться чуть ли не в популярность – в западном мире явление опасное. В апреле этого года она, к своему изумлению, вошла в список ста самых влиятельных людей мира, ежегодно публикуемый еженедельником "Тайм", – вместе с Джорджем Бушем, Биллом Гейтсом и американской телеведущей Опрой Уинфри. По двум ее рассказам сейчас снимаются фильмы. Уже несколько лет идут разговоры о Нобелевской премии. Но русскому читателю пора с ней познакомиться не поэтому, а потому, что, подобно русской классике, ее проза наверняка продвинет его понимание человеческой природы и человеческих отношений.

Уилл Фергюсон, Иан Фергюсон
Как быть канадцем[1]

Фрагменты книги

Перевод с английского Е. Домбаян

Вступление
Как найти Канаду на карте[2]

Канада – огромная страна, и большая часть ее территории лежит выше уровня моря. Эта глыба, нависшая над бездной океана где-то между Гренландией и Иркутском, – именно то место, куда попадут бомбы в случае ввода в действие программы стратегической оборонной инициативы США.

Правительство

Столица Канады – Бей-стрит[3]. Правительство тем не менее расположилось в Оттаве, солнечном полутропическом городе на берегах реки Святого Лаврентия. Кажется, там. Облюбованная поэтами и художниками Оттава – город каналов. Ее часто сравнивают с Венецией. Любопытно, что в определенных кругах, имеющих отношение к стратегической обороне, Венецию называют "европейской Оттавой".

Экономика

Основная продукция Канады – снег. Канада экспортирует сульфаты, бокситы, нитраты, алуниты и целлюлиты (последние только зимой, причем во Флориду). В Канаде процветают и другие отрасли экономики, о которых вам лучше всего справиться в энциклопедии либо какомнибудь ежегоднике.

Валюта

Денежная единица Канады – канадский доллар, известный также под названием "эль песо дель норте"[4]. Канадцы нежно зовут свою монету "дурочкой", потому что на ней изображена чокнутая с виду женщина внушительных размеров.

© 2001 by Will Ferguson and Ian Ferguson
© Е. Домбаян. Перевод, 2006

1. Даже если вы уже таковым являетесь. (*Прим. авторов.*)
2. Карта не прилагается. (*Прим. авторов.*)
3. Небольшая улица в Торонто, в центре района, где размещаются крупнейшие финансовые корпорации и банки. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
4. Северный песо (*исп.*).

2 “дурочки” = 1 “парочке”
2 “парочки” = около 50 центов США

Население

В Канаде проживает 30 миллионов человек, причем каждый из них когда-либо примерзал языком к железной ограде или флагштоку. Невзирая на то что матери запрещали им это делать. Какое время года ни возьми, в Канаде где-нибудь зима, и там непременно найдется субъект с примерзшим к флагштоку языком. “Помоите, помоите! То-ниудь, псалста, помоите!”

Средний коэффициент интеллектуальности

См.предыдущую статью.

Язык(и)

Канадцы говорят на французском и английском, частенько на обоих сразу. Trayz sophisticated, n'est pah?[1] Широко известные в мире как блестящие лингвисты, канадцы, в частности, превосходно переводят инструкции на коробках с хлопьями и сухими кашами. Когда в ООН требуются подобные переводы, зовут канадцев, и те спешат на помощь в истребителях-невидимках и прыгают с парашютом, зажав в руках коробки с “Капитаном Хрустом”. Англоговорящие канадцы знают, как переводятся на французский слова “рибофлавин”, “ниацин”, “часть полного завтрака”, чем обусловлена их уникальность среди других народов Земли. Они владеют и обратным переводом. То есть англоговорящие канадцы не могут объяснить, что такое рибофлавин (этого вообще никто не может), но они вроде бы представляют себе, на что он похож по-французски. И наоборот.

Размер

В Канаде *размер имеет значение.* У нас всё очень большого размера, от дефицита платежного баланса до ягодиц, в чем можно убедиться, постояв в очереди в кассу в любом супермаркете сети “Ай-джи-эй” или “Сейфуэй”. (Ученые приводят необъятную задницу канадского потребителя в качестве доказательства тому, что вселенная растет, причем вширь.)

Высокие горы, огромное небо, обильные порции и обширные инфаркты. В Канаде каждый день — праздник “Большого Размера” (торговая марка).

И Канадская Глотка под стать населяющим ее народам.

Канады слишком много: она больше, чем эго Донована Бейли (помните такого?)[2], больше, чем займы шавиниганского банка и пенсионный фонд членов парламента.

Справка. Считается дурным тоном напоминать канадцам, что, хотя их страна действительно огромна, более пятидесяти процентов ее территории сковывает вечная мерзлота. Это все равно что успокаивать

1. Сложновато, не так ли? (*англ., искаж. франц.*)
2. Канадский спринтер, чемпион Олимпийских игр 1996 г.

клиента дежурной фразой: "Мы пережарили вашу рыбу, поэтому положили вам добавки". Спору нет: территория бросовая, необжитая, но ведь ее — хоть завались! Памятка от Господа: "Я заморозил половину вашей земли, поэтому дал вам добавки".

Плотность населения

Несмотря на обширную территорию, Канада — страна редконаселенная. Очень даже редко. Так много земли и так мало народу, что плотность населения составляет около одного человека на 100 квадратных миль или что-то в этом роде. Хотите знать точно — загляните в справочник.

Главное, что в Канаде вам полагаются ваши законные 100 квадратных миль, поэтому не смущайтесь! Отмерьте размашистым шагом отрезок земли в поле или участок в лесу и застолбите себе место. "Этот шест и 100 миль вокруг него принадлежат мне!"

Спорить никто не станет — все законно. Канада действительно началась именно с этого. Прибыл сюда некий француз по имени Жак Картье[1], вбил в землю крест и объявил, что все вокруг принадлежит Франции. А на острове Ньюфаундленд Хамфри Гилберт[2] просто зачитал декларацию, и, как по мановению волшебной палочки, земля отошла Англии. Жозеф-Эльзеар Бернье[3] девятнадцать раз выстрелил из ружья в воздух Арктики — и самый большой в мире архипелаг стал канадским. Как видите, все проще простого.

В общем, вперед с крестом, ружьем или декларацией, и те самые 100 квадратных миль — ваши.

Национальный герб

Согласно официальному постановлению Королевской Пиф-Паф Колониальной Незабвенной Геральдической Ассоциации, "герб Канады включает в себя бобра величественного под сенью чертополоха ясно различимого в сопровождении льва вздыбленного и выхухоля сонного у клена развесистого в окружении коварства надменного и гирлянд, невесть из чего сплетенных, но исключительно тогда, когда герб не выносится на всеобщее обозрение во время церемониального шествия генерал-губернатора в месяц, начинающийся во вторник, и при условии, что процессию возглавляет герцог либо титулованная особа менее благородных кровей, за исключением типичных носителей рецессивных генов в третьем поколении, в каковом случае установленный порядок меняется с точностью до наоборот, а с нас — взятки гладки".

Вот оно, наше великое британское наследие.

Национальный символ

Национальный символ Канады — опавший лист. Немедленно выкиньте из головы, что канадский флаг похож на гигантский платок, которым вытирали кровь из носа.

1. Жак Картье (1491–1557) — французский путешественник и исследователь.
2. Хамфри Гилберт (1539–1583) — английский мореплаватель.
3. Жозеф-Эльзеар Бернье (1852–1934) — французский исследователь Арктики, пересек Атлантику 269 раз.

Официальная ролевая модель

У русских национальное животное — медведь, у британцев — лев, у американцев — могучий орел, а у нас в Канаде — бобер. Вечный труженик, он прославился благодаря природному терпению и трудолюбию и еще... ну да ладно, мы не собирались вас смешить. Бобер — это водяная крыса весом в сорок фунтов, самая героическая черта характера которой заключается в том, что, собравшись бежать, она энергично бьет хвостом, предупреждая об опасности собратьев. Можно подумать, у канадцев не было выбора. В стране полно более благородных и внушающих благоговение животных. Лесной волк. Медведь гризли. Горный барс. Бизон. Да тот же карибу или овцебык во сто раз лучше перепончатолапого увальня с кривыми зубами. Как бы не так: когда в 1975 году принималось решение об официальном национальном животном, выбрали именно бобра.

Вопрос. А что будет, если стравить льва, орла и бобра и выяснить, кто круче?

Канадцы любят свой пушистый талисман. От избытка чувств удушить его готовы. Буквально. В таких провинциях, как Манитоба, каждый год сотни тысяч долларов уходят на то, чтобы взрывать бобров вместе с их плотинами. Люди ездят к водяным паразитам (они же "гордый символ нации") на бульдозерах и тщетно пытаются их остановить. Между прочим, в Манитобе недавно подняли ставку вознаграждения за поимку бобра, а в некоторых местах обещают уже двадцать долларов за голову против обычных пятнадцати. (Предлагаем идею для динамичного экшн-шоу на канале Си-би-си: "Удачливый охотник в Манитобе всегда получит Castor canadensis[1]!")

А теперь правдивая история из нашего архива о преступлениях бобров. В 1992 году из-за бобровой плотины были затоплены железнодорожные пути к северо-востоку от Грозового залива, в результате чего сошел с рельсов поезд и погибли два машиниста. (Идея для динамичного документального фильма на канале Си-би-си: "Водяные крысы-убийцы: зло или меньшее зло?")

Национальный гимн

Национальный гимн Канады звучит примерно так:

ДА ДА да-да-да
Да-да-да-да ДА ДА!
ДА ДА да-да-да
Да-да-да-да ДА ДА!

Честное слово. Звуковую заставку к вечерним хоккейным трансляциям канадцы предпочитают любой другой музыкальной теме. Запоминается очень легко — только одно слово "да".

Это большой шаг вперед по сравнению с официальным, или "настоящим", национальным гимном "О, Канада", который неоднократно переделывался, переписывался и пересматривался парламентом. Мы о том гимне, который канадцы с гордым видом бормочут себе под нос на общественных мероприятиях в любой точке огромной страны. Если вы только недавно в Канаде, вот вам первый урок: независимо от рода занятий, не учите слов

1. Бобер канадский (*лат.*).

гимна "О, Канада"! В противном случае вас сразу сочтут чужаком. Канадцы не знают слов своего национального гимна — и вам ни к чему.

Гимн неоднократно перекраивался, дабы соответствовать "правилам политкорректности" и быть "социально приемлемым", поэтому неудивительно, что канадцы сбиты с толку. Возьмем оригинал:

О, Канада! Наш дом и родная земля!
Та-та-ра та-ра-ра
И сынов заря!

и сравним его с переделанной версией:

РА-РА ра-ра-ра,
Нам хоккей смотреть пора!

"Официальный" национальный гимн

В соответствии с дуалистической природой канадского общества существует не одна, а ДВЕ официальные версии "О, Канада". Не сказать, чтоб английская и французская, — скорее, протестантская и католическая.

Ниже приводятся строчки из национального гимна: вначале протестантского, затем католического. (Формально лишь первая строфа каждого из них считается официальной, тем не менее они реально существуют.)

Протестантская версия описывает Канаду как "землю надежды для тех, чьи дни заполнены трудом", воспевает долг ("мы всегда на страже!") и включает следующие слова:

Дай нам, Боже,
Всем побольше
От Твоих щедрот.

Католическая версия, как нетрудно догадаться, смешнее протестантской. Она прославляет историю и начинается словами "O Canada, terre de nos aieux / Ton front est ceint de fleurons glorieux" ("О, Канада! Земля наших отцов / Твою голову красит лавровый венец"). В завершение звучит громкий призыв "Pour le Christ et le Roi!" ("Вперед за веру Христову и Короля!") и такая строфа:

Car ton bras sait porter l'epée,
Il sait porter la croix!
Ton histoire est une epopée
Des plus brilliants exploits.

Что в буквальном переводе означает:

Твоя десница крепко держит меч
И знает, как нести крест.
История твоя — эпопея
Самых блестящих подвигов.

Неудивительно, что канадцы путаются. А теперь хором дружно: "ДА-ДА да-да-да..."

История

История Канады — несусветная скукотища. Судите сами. В 1600-е годы французские переселенцы вели партизанскую войну на границе с Ирокезской конфедерацией; позднее, когда туда добрались англичане, завязалась имперская драка за территории от Ньюфаундленда до ледовых берегов Гудзона. Задиристые французы с каперов бились с красными британскими мундирами, акадийцев[1] сослали подальше от этих мест — в результате в 1759 году две европейские державы столкнулись лоб в лоб на Авраамовых равнинах. Как только Новая Франция была завоевана англичанами, снова вспыхнул пограничный конфликт — в Канаду вторглись американцы. Их оттеснили назад, но, перегруппировавшись, в 1812 году они предприняли новую атаку. Исторические злоключения продолжались по мере того, как первопроходцы продвигались по течению коварных студеных рек, преодолевали горы и наконец вышли к Тихому океану. На этот раз возникло опасное противостояние Испании, Британии и США, жаждавших власти и установления контроля над тихоокеанским побережьем. Существует мнение, что поводом к началу войны послужила одна-единственная свинья, доставшаяся мародерам. В 1837 году в Верхней и Нижней Канаде объявились вооруженные мятежники, но благодаря усилиям правительства Великобритании восстания были тут же подавлены. В 1867 году британские колонии в северной части Америки объединились для создания нового доминиона, призванного стать оплотом против угрозы, связанной с Гражданской войной в США: каждую минуту можно было ожидать беспорядков на границе. Затем началось строительство трансконтинентальной железной дороги "от моря и до моря"[2], а на северо-западе с оружием в руках бунтовали метисы[3]. На Юконе, в одном из самых отдаленных и недружелюбных уголков света, нашли золото, и тысячи старателей рванули на север в надежде разбогатеть и прославиться. Западные территории были отвоеваны, арктические острова застолбили. В небо над Европой взмыли канадские пилоты: во время Первой мировой войны они превосходили летчиков других стран и количеством, и мастерством ведения боя. Затем грянула Великая депрессия — в степных районах не осталось ничего, кроме пыли; мир вскоре снова надолго увяз в войне, и канадские солдаты и офицеры оказались под шквальным огнем в Гонконге, Дьепе, в Италии и на побережье Нормандии. В 1945 году, после того как советский агент переметнулся на сторону Канады и представил доказательства о глубоком коммунистическом проникновении в страну, началась холодная война... но стоит ли продолжать? Как уже было сказано, история Канады — предмет довольно скучный. Ничего, кроме убийств и членовредительства.

К счастью, дело в свои руки взяли канадские ученые-историки и благонамеренные наставники. Кому нужны все эти герои, ссыльные и крупномасштабные кампании за правое дело? Надоело! Зачем канадцам знать, кто ими правил? К чему нам ключевые сражения и поворотные моменты?

1. Жители французской территории Акадия.
2. Слова из девиза на гербе Канады, основанные на 71-м Псалме: "Он будет обладать от моря до моря".
3. Потомки от браков североамериканских индейцев с европейцами.

Все это устарело. Пришло время "социальной истории" (которая в действительности таковой не является). Историческая наука изучает причины и следствия событий. "Социальная история" занимается бессчетными частными случаями и всяческими подробностями. Это скорее "историческая социология", а не история. Подсказка: если вам попадаются такие слова, как "условия жизни рабочего класса" или "изучение гендерного поведения", значит, вы читаете книгу по социальной истории (т. е. социологии). Современные ребятишки проявляют к ней все больший интерес. "Забудьте о Джоне Макдональде[1] и завоевании континента, – требуют они. – Мы желаем знать, каково было социальное положение пролетариата, занятого в текстильной промышленности в XVIII веке".

Канадская история теперь не занимается "людьми" (т. е. личностями). Она изучает "массы". Обратите внимание на множественное число. Лишь только в заголовке попадается слово "массы", знайте – перед вами отменно глубокое, демографически и этнически достоверное, гендерно корректное социологическое исследование. Поэтому берите одеяло, большую любимую подушку и устраивайтесь поудобнее, чтобы сладко поспать.

Климат

В Канаде два гимна, два языка и две истории. Существует мнение, что в Канаде также два времени года – зима и не зима. Но это не соответствует действительности.

На самом деле в Канаде не менее шести времен года: "налоги", "хоккей", "опять хоккей", "снова хоккей", "лето" (оно же "долгий июльский уик-энд", известный также под названием "Как, уже все?") и, наконец, – "Господи, неужели хоккейный сезон еще не кончился?!"

Вопреки теории Эйнштейна и пространственно-временному континууму, в хоккей у нас играют шестнадцать месяцев в году. "Налоги" и "лето" тонут в хоккейных временах года – и это если считать только запланированные игры. Повторные встречи удлиняют сезон. Ледники движутся быстрее, чем стандартный сезон НХЛ. До сих пор на льду можно увидеть игроков с выбритыми висками или прическами в стиле "диско", которые пытаются завершить сезон 1974 года. В общем, если вы намерены стать канадцем, придется вам к этому привыкать. Хоккей – вечная песня канадского общества. Он всегда с нами, это наш постоянный фон, подобно радиации или белому шуму. "ДА-ДА да-да-да..."

Искусство и всякая всячина
Как быть культурным по-канадски

Нет, нет и еще раз нет. Канадская культура – никакая не нудятина. Сами вы зануды. Это из-за вас канадские мастера культуры вынуждены работать официантами, а канал Си-би-си выбивается из сил. (Сегодня в прямом эфире: Авторы Всерьез Обсуждают Свои Книги в Самой Серьезной Форме с Серьезнейшим Ведущим. У Нас на Си-Би-Си Вам Не Придется Скучать!) В Канаде – когда мы говорим об искусстве – действует железное правило: если люди не смотрят ваш канал, не раскупают ваши книги и не ходят в театр на ваши пьесы, это их вина.

1. Джон Александр Макдональд (1815–1891) – первый премьер-министр Канады.

Ниже мы приводим перечень выдающихся художественных достижений канадцев на ниве музыки, балета и драматического искусства.

Эдмонтонский симфонический оркестр. Лидер в погоне за славой. Был случай, когда оркестр записал альбом на пару с невероятно претенциозной рок-группой "Прокол Харум". Там в композиции под названием "Бледнее бледного" есть одно место, где фаготы сливаются в соло так, что дух захватывает.

Национальный балет Канады. Величайшим событием в истории этой прославленной труппы явился эпизод с Михаилом Барышниковым, которому канадские коллеги помогли стать невозвращенцем. В знак благодарности Барышников, прежде чем укатить в США за славой и деньгами, пару раз вышел на сцену в главной партии. Если вы случайно видели, как он танцует в фильме "Белые ночи", у вас наверняка захватило дух.

Театральный центр в Манитобе. Светом в окошке этого театра должно было стать выступление бывшего соотечественника и трагика Киану Ривза, который временно прервал свою набиравшую силу карьеру в кино, чтобы выйти на сцену в роли Гамлета. Все билеты на все спектакли с его участием были распроданы в течение сорока восьми часов. Ради того, чтобы увидеть так называемого мастера в роли меланхоличного датчанина, фанаты Ривза прикатили даже из Европы и Японии. Играл он довольно сносно и грамотно, и, хотя его экранный типаж затмил художественный образ, у большинства прорвавшихся на спектакль зрителей не хватило духу признать, что он халтурил, да и счесть себя разочарованными не хотелось.

Что же общего между этими тремя известнейшими канадскими институциями Высокого Искусства? Во-первых, все они располагают длинной и содержательной летописью высокохудожественных событий, снискавших мировую известность. Во-вторых, все они банкроты. Или, что вернее, "почти всегда балансируют на грани финансового краха". Фактически это означает следующее: они полагаются на переменчивые настроения различных государственных органов, поддерживающих существование этих учреждений.

Теперь становится ясно, ради чего эти культурные заведения выделывают фокусы и выкидывают коленца (см. приведенные выше примеры) на глазах у изумленной публики. (Как иначе, нежели несусветной глупостью, можно назвать ситуацию, когда балетная труппа помогает лучшему в мире танцовщику обрести политическую свободу, но не заключает с ним долгосрочного контракта? О чем они вообще думали?) Ну и, конечно же, все это — часть сложного механизма, с помощью которого сплетаются причудливые нити и составляется многоцветный рисунок культурного полотна Канады.

В Канаде искусство вездесуще. Вся страна погрязла в искусстве. К примеру, как выяснилось, в столице каждой провинции есть художественная галерея. Не удивляйтесь — и в Реджайне[1] тоже. Забредя ненаро-

1. Самый крупный город провинции Саскачеван, преимущественно сельскохозяйственной, где большинство жителей не являются потомками англичан и французов.

ком в любую из таких галерей, вы обнаружите, что там представлены все поддающиеся и не поддающиеся воображению виды изобразительного искусства, за исключением работ Кена Данби[1], который то ли слишком реалистичен, то ли слишком успешен в коммерческом отношении, чтобы выставляться в общедоступных местах.

Предположим, что вместо галереи вам захотелось сходить на балет. Если вы из тех, кто вырвался из коммунистической страны, перед вами открывается широчайший выбор. Скажем, классический танец (читай: балет, например, Королевский балет Виннипега или Балет-джаз Монреаля). Когда требуется что-то попроще, можно полюбопытствовать, как обстоят дела с современными танцами (см. труппу Дэнни Гроссмана[2]).

Как сделать выбор? Да очень просто. Исходите из того, что милее вашему глазу: женщины в пышных пачках и мужчины в подчеркивающих анатомические подробности колготках, выделывающие сложные па, или корчащиеся в судорогах нагие раскрашенные девицы. Итак, вы остановились на обнаженных девушках, то есть на раскрашенных телах.

Можно купить билет и на представление какой-нибудь канадской труппы этнического танца: "Шумка Дансерз" из Эдмонтона (их конек — украинские танцы), "Каджифка" (по названию африканского племени и одноименного танца) или крутящихся дервишей из группы "Амиш Дансерз" (на самом деле никто из них не танцует и музыки никакой нет: они становятся в круг, а вы врастаете в кресло под их испепеляющими взглядами). Но если вы желаете увидеть настоящих плясунов, не раздумывая отправляйтесь в Оттаву, прямо в здание парламента, и полюбуйтесь на свистопляску, которую устраивают политики. Самая большая потеха — застать их во время дебатов.

Теперь хотелось бы подробнее остановиться на четырех отдельных направлениях, образующих культурную составляющую Канады, а именно: музыке, театре, кино и литературе. Наши усилия, способствующие отражению позитивных социальных ценностей, которые... эй, погодите, куда же вы? Оставайтесь с нами!

Музыка

В Канаде известны два вида музыки. Первый — это вызывающая всеобщее восхищение музыка, которую никто не слушает. Второй — музыка, которую слушают все, но никто не рискнет признаться, что ею восхищается. Таким образом, речь пойдет о классической и неклассической (она же популярная) музыке.

Классическая музыка. О самой музыке забудьте. Музыка тут ни при чем. Она всем до лампочки. Нам это доподлинно известно от анонимного источника в недрах канадской музыкальной жизни (это Шон, наш братец Фергюсон № 3). Узкий круг критиков — вот что главное в музыке. И никак иначе. Когда речь заходит о классической музыке, роль критика трудно переоценить. То есть переоценить ее, разумеется, можно. Можно сказать, что музыкальные критики важнее кислорода, что они спасают младенцев на пожаре, — более того, самоотверженно трудятся над изобретением лекарства от рака или даже вносят некий весомый

1. Кеннет Данби (р. 1940) — художник, прославившийся работами на спортивную тематику.
2. Один из самых известных канадских коллективов современного танца, основан в 1975 г. американским танцовщиком и хореографом Д. Гроссманом.

вклад в жизнь общества. Тем не менее музыкальные критики — так же, как и их коллеги по театру и литературе, — выполняют важную функцию, сравнимую, по своему — недоступному нашему пониманию и значению, с функцией рыбы-прилипалы, паразитирующей за счет крупных особей. Чего о нас, братьях Фергюсонах, не скажешь — боже упаси.

Итак, в мире классической музыки Канады действует следующий механизм: нарядно одетая публика приходит на концерт, а затем — и в этой точке возбуждение достигает своего апогея — зрители спешат домой, и начинается ожидание. Зрители ждут появления рецензий. И потом читают рецензии, дабы узнать, понравилась им музыка или нет. В Канаде концерт — мероприятие общественное, и музыка — лишь помеха. Вот почему столь важна фигура музыкального критика, берущего на себя труд прослушать и оценить музыку вместо публики, у которой, согласитесь, найдутся дела и поважнее.

Популярная музыка. Коль скоро мы обсуждаем популярную музыку, стоит поговорить о музыке, которая действительно популярна. Возьмем, к примеру, кантри. Музыку кантри западного побережья. Пока Шания Твен[1] занимала первую строчку чартов, мы в нашем НИИ КБК[2] полагали, что тоже успеем вскочить на подножку этого поезда. (С таким именем, как у этой девушки, далеко не пойдешь, тут одна дорога — петь кантри. Представляете ее в другой роли? "Здравствуйте, я ваш нейрохирург. Меня зовут Твен, Шания Твен". Мы — не представляем.)

Стиль кантри — все равно что "выпил-помахал кулаками-дал деру", а в результате не получил удовольствия ни от того, ни от другого, ни от третьего. Типичные названия песен — "Стулья в ритме рок и томаты, что припасла для меня Бернис" или "Отчего ты не любишь меня так, как я любила тебя прежде?"

Образец: песня "Как я поджаривал бекон" (сочинение И. Фергюсона).

За завтраком сидел я грустный
И думал я о ней.
Зачем, родная, ты мой пикап угнала,
Ведь в нем дремал любимый пес.
Налил стаканчик я, поджаривая бекон.
И думал только о своем:
Эх, тает любовь наша, тает,
Как этот дешевый бекон.

Среди других направлений популярной музыки можно назвать кейпбретонские скрипичные наигрыши или просто "наигрыши". В действительности существует лишь один кейпбретонский наигрыш. Он звучит так: *дидл-дидл-дидл-дидл-дидл-дии* (с повтором).

Еще имеется канадская эстрада, представленная одной странной дамой из Квебека, которая напоминает клеща, — не станем упоминать ее имя всуе (Селин Дион). Если уж Селин вопьется в ноту, ее не оторвать. Она подобна ротвейлеру, вцепившемуся в котенка. Она будет держать ноту до скончания века и выжимать ее, как лимон, пока не выдавит последнюю капельку вымученных эмоций. "Тыыыы мнеее нуууууууууууужен. Я тебяяяяяя люблююююю". Не останови ее — два дня будет пес-

1. Шания Э. Роджерс Твен (р. 1965) — автор и исполнительница песен.
2. См. название книги.

ню тянуть. По сию пору пытается завершить свое выступление на концерте в честь миллениума. (Припоминаете это событие? Селин полагала, что рассвет нового века менее важен, нежели тот факт, что она — о боже! — покидает нас. По крайней мере, с тех пор на эстраде она не появлялась.)

Селин Дион, несомненно, мутант. (Ее показывают в первых кадрах фильма "Люди Икс".) Обычному человеку такое пение не под силу. Простым смертным следует равняться на Брайана Адамса, который, согласно нашим расчетам, жил, жив и будет жить. Если вы хотите стать звездой в Канаде, добиться этого вам будет легче, чем даже умнице Брайану.

Специальное предложение! Как написать песню "под Брайана Адамса"

Рецепт прост. Смешайте три ингредиента: оглушительные гитарные аккорды, громкий скрипучий голос и напичканный штампами текст. Не забудьте также об умении Брайана пользоваться словечками "щас" и "ваще". Каждая песня Б. Адамса непременно содержит эти слова. Таким образом, "Настоящая песня под Брайана Адамса" должна называться...

"Ваще от вас я щас уйду" (слова и музыка Б. Адамса, интерпретация У. Фергюсона)

Мы с друзьями крутые парни,
После школы пошли в разнос.
Но как-то раз они сказали: не светись,
А ну-ка щас отсюдова катись,
Ваще ты типа, как твой папаша,
И времени — в обрез.
(*Хором*) Щас типа я уйду, уйду ваще от вас, ваще от вас я щас уйду.

Эта глава производит на вас удручающее впечатление? В отличие от каждого второго канадского артиста, Брайан Адамс полагается только на свой талант. Насколько нам известно, он не получил ни одного гранта Канадского совета по культуре и не пользовался финансовой поддержкой местных органов управления культурой. Брайан стал крупной мировой звездой исключительно благодаря силе своей музыки. Он — "народная звезда". В общем, как уже было сказано, вы сами во всем виноваты.

Театр

В Канаде существует шесть различных типов театральных компаний — выбирайте по вкусу.

Коммерческий театр. Есть лишь в Торонто, Ванкувере и Монреале. Не путать с большими некоммерческими театрами, которые, невзирая на название, заинтересованы в прибыли ничуть не меньше. Коммерческие театры предлагают вниманию публики зрелищные эпические мюзиклы с массой спецэффектов. Как определить, где вы находитесь и что смотрите? Если на сцену приземляется вертолет или в самый драматичный момент с потолка грохается массивная люстра, вы наверняка в коммерческом театре. Если же вертолет изображает статист, который, как умалишенный, колотит себя кулаками в грудь, а люстра падает где-то за сце-

ной и вы узнаете об этом по характерным жестам актеров и крику: "Вы слышали? Только что на пол рухнула огромная люстра... там... за кулисами!" — то, скорее всего, это — небольшой некоммерческий театр.

Билеты на коммерческие постановки стоят дорого, больше, чем полет на настоящем вертолете. Зато как приятно испытывать патриотические чувства, восклицая: "Представьте себе! Абсолютно все участники спектакля, за исключением драматурга, композитора, режиссера, хореографа, сценографа и двух ведущих актеров, канадцы! Вот здорово!"

Региональные театры, субсидируемые государством (большие). Такой театр есть в каждом крупном городе, обычно он расположен в центре, где стоимость парковки равняется цене одной прогулки на вертолете. Большие субсидируемые государством театры работают наподобие хлебозавода. Крепко знают свое дело и "выпекают" продукцию по проверенным рецептам: Нил Саймон, Ноэл Кауард, мюзиклы и драматические постановки, которые с успехом шли на Бродвее или в лондонском Вест-Энде четыре-пять лет назад. Цена на билеты такая же, как в коммерческом театре, но все участники спектакля — канадцы. Кроме режиссера. Он — англичанин.

Региональные театры, субсидируемые государством (малые). То же, что и большие, но гораздо "круче". Что это означает? Такие театры весь сезон напролет играют одну пьесу, которая считалась модной за пределами Бродвея четыре-пять лет назад. В Канаде это называется "гвоздь сезона". Такие театры берутся и за пьесы канадских авторов. Как правило, действие разворачивается в прериях, и озаглавлены эти произведения примерно так: "Средь высоких хлебов" или "42 короткие сцены из жизни Габриеля Дюмона". Билеты вдвое дешевле по сравнению с большими театрами, а режиссер — канадец, которого публика легко узнает. В антракте он (она) обслуживает туалет для зрителей.

Фестивали (крупные). В них участвуют репертуарные театры, специализирующиеся на произведениях какого-нибудь одного драматурга (Уильям Шекспир, Бернард Шоу) и схожих по стилю пьесах его соотечественников. Цены заоблачные, но игра стоит свеч хотя бы потому, что вам представится возможность прокричать в полный голос: "Глядите! Полония играет тот самый тип, который рекламирует канадские автопокрышки!" В таких фестивалях участвуют режиссеры британского происхождения, но большинство из них уже получили канадское гражданство. Возьмите у них автограф прямо на нашей книжке. Они подпишут все что угодно, включая смертный приговор. Самим себе. В антракте вы всегда найдете их у стойки бара: празднично-возбужденные, они напиваются с нескрываемым отчаянием Фауста.

Фестивали (мелкие). Носят также название "фриндж" (читай: маргинально-благотворительные). Такие фестивали расползаются по стране быстрее, чем плесень в сыром чулане. Дешевые билеты, независимые продюсеры, сонмы начинающих драматургов, актеров и режиссеров — фестивали служат площадкой для выгула молодняка, подрастающего для большой сцены. Художественный руководитель фестиваля всегда женщина, ее легко узнать по увесистым мешкам под глазами и сотовому телефону, который она не отрывает от уха, решая очередной неотложный вопрос.

Предостережение. Качество и содержание зрелища могут быть весьма разнообразными (и столь же безобразными). Некрофилия истинная природа любви и т. п. В общем, если вас легко шокировать и (или) заставить скучать, вам там не место. На многих фринж-представлениях возможно одновременно и то и другое: "Никогда в жизни я не был так шокирован! И никогда еще так не скучал!"

Так называемые театры, где подают так называемые обеды. Здесь за приблизительно такую же цену, какую вы платите в большом субсидируемом государством региональном театре, не только показывают спектакль, но еще и "кормят". (Обратите внимание на кавычки.) Играть наверняка будут какой-нибудь затасканный английский фарс под названием "А вот и я — небось не ждали!" В главной роли выступит американская звезда, уже отыгравшая свое в комедиях положений, однако минуточку — не пора ли заглянуть в буфет? В некоторых театрах этого типа актеры исполняют роль официантов, что логично, поскольку многие отличники ресторанного дела стремятся выбиться в актеры. И наоборот.

В общем, не премините сделаться заядлым театралом. Если вы не согласны с тем, что государство должно субсидировать искусство, — выкладывайте денежки за театральные обеды или отправляйтесь на ближайший к вашему дому фринж-фестиваль. Маргиналы вряд ли станут на вас наживаться. А на случай, если вам приспичит поддержать истинных артистов, существуют официанты — оставляйте им достойные чаевые.

Кино

Производство документальных фильмов — особенно биографических, о жизни актеров и писателей, — вот область, в которой канадцы действительно знают толк. Национальный кинематографический комитет получил свыше сорока "Оскаров", проторив себе дорожку лентами о "Группе Семи"[1].

Правда, одно дело — кино документальное и совсем другое — художественное. В Канаде нет "звездной системы". Более того, лучший способ остаться в Канаде неизвестным — стать знаменитостью. (ФБР в рамках своей программы по защите свидетелей давно уже прячет людей под видом канадских кинозвезд.)

Многим канадцам невдомек, что в стране есть киноиндустрия. "Канадское *кино*? — удивляются они, делая ударение на последнем слове. — Слыхом не слыхивали. Разве такое *существует*?" Да, существует. Возьмите хоть Атома Эгояна. Или того, другого режиссера, который снял фильм о человеке, из-за чего-то там покончившем с собой... Не стоит забывать и о "Музее Маргариты"[2] — вот это был настоящий праздник! Вся страна обхохоталась. Ежегодно в Канаде проводится даже церемония чествования лучших достижений национального кинематографа. Своего рода междусобойчик по раздаче наград. Телетрансляцию этой церемонии никто не смотрит, фильмов никто не видел, а себя кинодеятели эти называют ДЖИНЫ[3] (что мы расшифровали как "Долларов Жди и Награды").

1. Объединение семи художников-авангардистов, основано в 1920 г. в Торонто.
2. Художественный фильм 1995 г., получивший национальную кинопремию в нескольких номинациях.
3. GENIES — аналог американского "Оскара".

Потуги канадской литературы, или Скоро в ближайшем мусорном ящике

Давайте посмотрим правде в глаза: канадские писатели — люди особого пошиба. Они прекрасны и душой, и телом, и умом, и сердцем, и кошельком. Найдется ли в наше время человек, не завидующий положению и славе канадского писателя? (Вопрос риторический, не пытайтесь на него ответить.)

Возможно, вам тоже захочется попытать счастья на ниве сочинительства, дабы вкусить все прелести жизни в литературе. Начинающим мы советуем работать в неглиже. Не забывайте о правиле ЧКГП (чешись, когда и где приспичит). Попробуйте этим заняться в вашем личном кабинете — узнаете, чем дело кончится.

Далее. Если вы задумали написать Канадский Роман, для начала следует решить, какой вариант выбрать: "Роман о неблагополучной семье" или "Роман о рассерженном на весь мир молодом человеке".

Ниже прилагается краткое руководство, необходимое, дабы оправдать ожидания критиков.

Место действия. Это очень важно. Желательно, чтобы оно было уныло-зловещим: остров Кейп-Бретон, глубинка на Ньюфаундленде или хибара в северной части провинции Онтарио. (Судя по трудам канадских романистов, половина городской молодежи мужского пола обитает в хибарах на севере Онтарио.) №: Если вы остановились на "Ироничносардоническом мужском романе ужасов", необходимо выбрать мрачное место в каком-нибудь захолустье. Даже городской канадский роман разворачивается в сельской местности.

"Роман о неблагополучной семье" немногим отличается от "Мрачного юношеского романа отчуждения" — на самом деле лишь тем, что каждую фразу юношеского романа придется снабдить названиями культовых брендов.

"Роман о неблагополучной семье": *Дейл надел куртку и вышел на улицу.*

"Юношеский роман": *Дейл закрыл крышку ноутбука, надел сделанную в Италии куртку "Dicanni", убрал звук цифрового музыкального центра "Aiwa", сунул замороженный торт "Kellog's Pop Tart" в "Toastmatic 2000" и вышел на улицу. В фирменных туфлях.*

Сюжет. Избегайте любой ценой. Сюжетная линия, описывающая, что́ *происходит*, теперь расценивается как "отстой". Вместо этого персонажи обязаны маяться, хандрить и время от времени устремлять взгляд в пустоту, силясь припомнить, что происходило в далеком прошлом. В таком романе не требуется соблюдать хронологию. Нужно создать "атмосферу". Большая часть канадских романов строится на немотивированных ретроспекциях. Почему бы вам не стать на проторенную дорожку?

Юмор. Боже, только не это. Юмор исключите — дайте иронию. Море иронии! Ваша книга должна быть пропитана иронией, сочиться ею. Если сжать книгу ладонями, пускай ирония полезет из каждой страницы, как крем из пирожного. Еще она должна отдавать постмодернистской отчужденностью и тоской. Чем больше постмодернизма, тем лучше. (См. бренд — использование в ироническом смысле. Представьте, что

автор разрекламировал какой-то бренд, а ему за это не заплатили. Вот простофиля!)

Персонажи. В канадских романах мужчины, особенно отцы семейства, должны быть либо угрюмыми алкоголиками, либо агрессивными угрюмыми алкоголиками, либо жалкими неудачниками — хотя и не столь угрюмыми, тем не менее жалкими, — либо завязавшими алкоголиками, либо драчливыми неудачниками, либо жалкими алкоголиками, лечащимися от запоя, а заодно и от приступов агрессии.

Главная героиня — всегда жертва. Ни о чем другом не может быть и речи. Она *обязана* подвергаться насилию. Но в то же время — и в этом вся соль — она должна уметь проявлять волю. Именно так. В канадских романах вы подаете сразу "два в одном": жертву с волевым характером.

Подсказка! Опишите какое-нибудь семейное сборище — например, похороны или званый обед. Это самый легкий способ собрать всех героев в одном месте без сюжетных ухищрений. Только не забудьте включить в список свободолюбивую сестрицу, завязавшего брата-алкоголика, еще одну сестру (которая распрощалась с девическими мечтами и вышла за насильника/человека абсолютно к ней равнодушного) и — последнее, но не менее важное — типичного отца-деспота либо отца, которому все до лампочки. Добавьте в эту смесь немного загадочных диалогов о прошлых изменах, пару-тройку грязных секретов и доведите до полуготовности при температуре 40 градусов по Фаренгейту. Теперь вы сами видите, что написать роман — раз плюнуть.

Стиль. Простой. Чем проще, тем лучше. Образец см. ниже. Подлежащее + сказуемое + дополнение: снова и снова, от начала до конца. ПСД. ПСД. Придерживайтесь минималистской лексики английского языка. Избегайте наречий. Не можете обойтись без прилагательных — используйте самые короткие и незатейливые, пишите без прикрас ("голубое небо", "белые облака", "проливной дождь", "неверный муж").

Образец: Она раскрыла окно. Небо было голубым. Белые облака отражались в холодной воде. Она закрыла окно. Присела на зеленый стул. Вздохнула.

✂ ----------

ВЫРЕЗАТЬ и СОХРАНИТЬ

Руководство для честолюбивых писателей,
или Как заполучить благоприятную рецензию

Сюжет: нет.

Загадочный диалог: да.

Загадочный диалог с намеком на измену в темном прошлом: да.

Инцест: весьма вероятно.

Женский персонаж — жертва с волевым характером: да.

Схематичное, но ироничное воспроизведение картин насилия: безусловно.

Исцеление: да, но только в конце.

Ирония: да.

Персонажи, преимущественно занятые воспоминаниями о жизни, предшествовавшей моменту, с которого начинается книга: да.

Нет ли внутреннего противоречия в словосочетании "жертва с волевым характером"? — Тссс.

✂ ----------

Теперь посмотрим, как должно развиваться действие. (Хотя, говоря о развитии действия, мы выражаемся фигурально. Не забывайте, что в данном случае речь идет о канадской литературе.) Вот вам отрывок из еще не дописанного романа, где местом действия служит небольшая рыбацкая бухта в Ньюфаундленде. Или Кейп-Бретоне.

Марта встала. Надвигалась гроза. Она вышла из дома. Начала снимать сохнувшее на веревке белье. Шейн ждал. Он всегда ждал.

— Оно никогда не высохнет, — сказал он.

Простыни белели на фоне темнеющего неба. Вода была голубой и холодной.

— Высохнет, — сказала она. — Высохнет. В свое время.

— Холодно, — сказал он.

Она отвернулась.

— Зима, — сказала она. — Зимой всегда холодно.

Она подумала о погребе. Там пахло картошкой. Там она потеряла невинность. Потеряла навсегда. Похороны (и/или сбор родственников) в следующую пятницу. Будет ли там он?

Она поглядела на дом. Это был хороший дом. Небольшой. Но все-таки хороший. По сравнению с другими.

Чайки летали близко от берега. Здесь жили семь поколений Макгуглов. Семь поколений. Их мечты оставили следы на этих скалах так же отчетливо, как время оставило морщинки на ее лице. Она дотронулась до синяка под глазом.

— Вот ублюдок! — сказал Шейн.

Он поднес бутылку к губам. Выпил. Потом оторвал бутылку от губ.

— Они скоро приедут, — сказала она. — Они поедут по кейп-бретонской дороге. Если только мы не в Ньюфаундленде.

Шейн приблизился к ней. Он был в синих джинсах. Футболка белая. В глазах дикая злоба.

— Мы не выбираем свою судьбу, — сказал он. — Судьба выбирает нас!

Он поднес бутылку к губам и пил до тех пор, пока отзвуки растиражированного средствами массовой информации мифа не растаяли в тишине. Он вытер ладонью губы.

— Что это значит? — спросила она.

— Что?

— То, что ты минуту назад сказал. "Мы не выбираем свою судьбу. Судьба выбирает нас". Объясни, что это значит.

— Гм. Не знаю. Автор заставил меня сказать так. Он решил, что это звучит круто. Вполне возможно.

— Довольно претенциозно — не находишь? Мог бы придумать что-нибудь другое. "Мы не выбираем нашу семью. Семья выбирает нас". Или, к примеру: "Мы не выбираем погоду. Погода выбирает нас".

— А что, по-моему, здорово, — сказал он. — Тебе надо в писатели податься.

— Боже упаси! Мне надо выпить, — сказала она.

— Между прочим, это я лечусь от алкоголизма, а не ты. Забыла? Ты — волевая мать семейства, которая стремится избежать выяснения отношений.

— Дай-ка мне бутылку и помолчи, договорились?

Далее в том же духе еще на 200 страницах. Так что волей-неволей придется выпить и нам.

Одной улицей больше

Мордехай Рихлер *Улица* / Перев. с англ. Л. Беспаловой. — М.: Еврейское слово, 2005/5765

Как известно, мы ценим художественную литературу за художественность. То есть за совокупность трудноопределимых свойств, которые нигде больше и не надеемся найти. Однако иногда в качестве побочного эффекта литературное произведение превосходно решает и прикладные задачи. Например, описывает ментальные константы. Мне запомнилось замечание Фаулза, что никто так не выразил викторианскую эпоху, ее лицемерный разрыв между фасадом и внутренним содержанием, как Стивенсон в истории доктора Джекила и мистера Хайда.

Получается, если вдуматься, странная ситуация. Стивенсон выигрывает соревнование, в котором не собирался участвовать. Он только записал свой жутковатый сон — и помимо воли нарастил мышечную массу литературы как таковой.

Как представляется мне, с годами и столетиями задача по добыче художественности не упрощается и не усложняется. В этой фундаментальной неизменности заключено само бытие литературы. А вот все прикладные задачи решаются все проще и ярче, потому что тут накопление опыта действительно происходит.

Эта небольшая преамбула была нам нужна, чтобы перейти к главному вопросу настоящей рецензии — читать или не читать "Улицу" Мордехая Рихлера. А смотря зачем. Если с познавательной целью, чтобы ознакомиться с жизнью канадских евреев, то еще как да. А если с теми же смутными мотивациями, с которыми мы открываем Чехова, Гоголя или Зингера, то... ну, я не могу прямо отсоветовать. Скажем мягко, в зависимости от альтернативного варианта. Есть много книг как хуже, так и лучше, чем "Улица".

Вернемся к этнографии. Путеводитель практически ничего существенного не говорит нам о времени, стране или народе. Чтобы согласиться со мной, представьте себе Москву или Россию в оптике путеводителя. Очерк куда информативнее. Эссе продуктивнее очерка, потому что смелее ныряет вглубь. Повесть или роман в случае удачи оперирует живыми типическими фигурами — ничего лучше и представить себе нельзя. На этом поле, заметим, Сергеев-Ценский не проигрывает Достоевскому, более того, за счет менее яркой индивидуальности Сергеев-Ценский некую клетчатку жизни доносит до нас вернее.

А если описывать жизнь меньшинства в большинстве, да еще сталкивая и сопоставляя его с другими меньшинствами, ты можешь быть почти уверен в ценности такого литературного исследования. Его тема локализована так же хорошо, как тема докторской диссертации.

Негры в Архангельске. Русские в Венесуэле. Евреи в Канаде. Мы заполняем своеобразный ментальный глобус — и Мордехай Рихлер вносит свою лепту в эту деятельность. За что ему и спасибо.

Если же перейти к художественной системе автора, то можно сказать, что Рихлер пишет архетипами. Поясню эту мысль. Возь-

мем три истории. Человек играет в казино, сперва ему не везет, потом он ловит за хвост удачу, потом (к утру) проигрывается в пух. Человек думает, что потерял жену и дочь в фашистской Европе, потом узнает, что они живы и плывут к нему на корабле, потом корабль тонет. Человек кажется всем графоманом, потом выясняется, что это удачливый писатель, потом — что все-таки графоман.

Две из трех историй взяты из книги, третья добавлена для наглядности. Какая, не скажу.

Если эти три сюжета изобразить геометрически, получится одна и та же фигурка. Именно ее, эту графическую эмблемку, мы и назовем немного вольно архетипом сюжета. С *человеческой* точки зрения это три совершенно разные истории, скучно и долго объяснять почему.

У Мордехая Рихлера они практически совпадают.

По-моему, настоящая литература начинается там, где они резко различаются. Потому что настоящая литература (повторяю, *на мой взгляд*) работает не с архетипами, а с иерархиями. И пресловутые истории будут ранжированы по важности предмета разговора.

Фактура прозы — это в первую очередь интонация. Именно она (а не лексический ряд, не образы, не сюжеты) резко индивидуализирует автора и произведение. Возникает проблема диапазона. Даже диапазонов. Громче — тише, веселее — печальнее, доверительнее — строже. За счет варьирования ритма, тона, тембра, темпа автор разводит понятия, показывает нам разное как *очень разное.* Создает контрастную, объемную, центробежную картину мира.

Интонация Мордехая Рихлера заземляет, обращает разное в примерно одно и то же. Она производит этакую эмоциональную анестезию, превращая горе в расстройство, крах в разочарование, счастье в удовлетворение. Это ровный говорок, изредка остроумный, изредка обиженный, никогда — ликующий, гневный, яростный. Справедливости ради надо отметить, что речь автора жива, органична и что эта живость сохранена в переводе. Вообще, недостаточность этой прозы заметна только на более или менее длинной дистанции, как, скажем, нехватка витаминов во вполне добротной еде.

С другой стороны, вам вполне могут нравиться неяркие тона, неброские мелодии. Новеллы Рихлера, из которых составлен более или менее поступательный ход целого, не поражают, а заставляют задуматься. Может быть, это актуально? Ведь достаточно много разнообразных вещей поражают нас сегодня помимо литературы...

Хотя и задуматься тоже есть от чего.

Леонид Костюков

Канадская литература на страницах "ИЛ"

1957

Новые переводы из Джо Уоллеса. Стихи [3]

Джо Уоллес — *Песнь о фестивале.* Стихотворение [8]

1959

Джо Уоллес — *Заметки о канадской поэзии* [10]

Джо Уоллес — *Лунник.* Стихотворение [11]

1964

Джо Уоллес — *Ответ на международную анкету "Книги. Замыслы. Темы"* [1]

1967

Гарольд Гриффин — *Жизнь и литература.* Письмо из Канады [9]

1972

Фарли Моуэт — *Лодка, не желавшая плавать.* Главы из книги [5]

Фарли Моуэт — *Президент республики.* Отрывок из книги "Мои открытия в Сибири" [12]

1973

Питсеолак — *Картины моей жизни* [1]

1976

Роберт Артур Дуглас Форд — *Стихотворения* [11]

1977

Фарли Моуэт — *Когда мы рыбачим...* [11]

Антонин Майе, Мари-Клер Бле в рубрике "Наши гости" [7]

1979

Фарли Моуэт — *Письмо сыну* [3]

1980

Эти книги пришли из Канады. Антонин Майе открывает Акадию [3]

Эрнест Сетон-Томпсон — *Пижон среди ковбоев.* Глава из автобиографии [6]

1985

Мадлен Уэллет-Михальска в рубрике "Наши гости" [4]

1986

Фарли Моуэт — *Море истекает кровью.* Главы из книги [1]

Фрэнсис Р. Скотт — *Стихи разных лет* [5]

1987

Брайан Фоссет — *Моя карьера в "Торонто мейпл ливс"* [2]

1988

Рассказы канадских писателей. Синклер Росс. Уильям Патрик Кинселла [7]

1993

Дэвид Мэником — *Стихи* [6]

1995

Тимоти Финдли — *Камни.* Рассказ [5]

1996

Элис Манро — *Настоящая жизнь.* Рассказ [1]

1997

Джон Роберт Коломбо — *Инвентарный список.* Стихотворение. Юрий Кожевников. Антология для домашнего пользования [2]

Маргарет Этвуд — *Восход солнца.* Рассказ [6]

1998

Дуглас Коупленд — *Поколение Икс. Сказки для ускоренного времени.* Роман [3]

1999

Маргарет Этвуд — *Та самая Грейс.* Фрагменты романа [4]

Из канадской поэзии. Эмиль Нелиган. Альфред Дероше [5]

2005

Йозеф Шкворецкий — *Два убийства в моей двойной жизни.* Детективный роман с двумя параллельными сюжетами [3]

Мартин Левин
Martin Levin
Критик, литературный обозреватель торонтской "Глоб энд Мейл".

Автор многочисленных обзоров, статей, эссе и рецензий в канадской и американской печати.

Надин Бисмют
Nadine Bismuth
Франко-канадская писательница.

Дебютировала в 1999 году сборником рассказов *Без измены нет интриги* [*Les gens fidèles ne font pas les nouvelles*; рус. перев. 2004].
Публикуемый роман – ее вторая книга, печатается по изданию *Scrapbook* [Editions du Boréal, 2004].

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Иностранка* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Дж. Грина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор работ по английской поэзии рубежа XVI–XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Эрл Берни
Earle Birney
[1904–1995]. Поэт и прозаик.

Автор 21 поэтического сборника, среди которых: *Давид и другие стихи* [*David and Other Poems*, 1942], *Память не служанка* [*Memory No Servant*, 1968], *Пораженные гневом небесным* [*Fall by Fury*, 1978], *Приводя дела в порядок* [*Last Makings*, 1991]; романа *Тёрви: военно-плутовской роман* [*Turvey: a Military Picaresque*, 1949], сборников эссе.
Публикуемое стихотворение взято из книги *Пораженные гневом небесным* [*Fall by Fury*, 1978].

Леонард Коэн
Leonard Cohen
[р. 1934]. Певец, поэт и прозаик. Лауреат премии Макнотона [1955], Квебекской премии по литературе [1964], премии Канадской ассоциации писателей [1988], почетный доктор ряда канадских университетов, офицер Ордена Канады, а с 2003 г. – компаньон Ордена Канады – высшая честь, которой может удостоиться в Канаде гражданское лицо.

Автор многочисленных сборников стихов, среди которых *Сравним мифологии* [*Let Us Compare Mythologies*, 1956], *Солонка земли* [*The Spice-Box of Earth*, 1961], *Энергия рабов* [*The Energy of Slaves*, 1972], *Смерть кавалера* [*Death of Lady's Man*, 1978], *Книга милосердия* [*Book of Mercy*, 1984] и др.; романов *Излюбленная игра* [*The Favorite Game*, 1963] и *Прекрасные неудачники* [*Beautiful Losers*, 1966], десяти музыкальных альбомов.
Публикуемые стихи взяты из сборника *Музыка незнакомца: избранные стихи и песни* [*Stranger Music: Selected Poems and Songs*. Vintage, 1994].

Патрик Лейн
Patrick Lane
[р. 1939]. Поэт и прозаик. Лауреат Премии генерал-губернатора [1979], премии Нелли [1987], Нацио-

Автор более 26 поэтических книг, среди которых *Письма дикаря* [*Letters from the Savage Mind*, 1966], *Городская тюрьма в Калгари* [*Calgary City Jail*, 1969], *Проход в бурю* [*Passing into Storm*, 1973], *Мера* [*The Measure*, 1980], *Смертные останки* [*Mortal Remains*, 1995], *Слива зимнего дождя* [*The Bare Plum of Winter Rain*, 2000], *Живой огонь*

нальной премии радио [США, 1987], премии Канадской ассоциации писателей [1988].

[*Breathing Fire*, 1995], *Зима* [*Winter*, 1990] и др., романов, эссе, сборников рассказов, книги воспоминаний *Такой сезон* [*There is a Season*, 2004].
Публикуемые стихи печатаются по изданию *Стихотворения. Новое и избранное* [*Poems. New & Selected.* Toronto: Oxford University Press, 1978].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Лучшие канадские рассказы 04* [*Best Canadian Stories 04.* Oberon Press, 2004].

Джо Розенблатт
Joe Rosenblatt
[р. 1933]. Поэт, прозаик, художник. Лауреат Премии генерал-губернатора [1976], Книжной премии Британской Колумбии [1986] и др.

Автор многих поэтических сборников, среди которых *Спящая леди* [*The Sleeping Lady*, 1980], *Речные невесты* [*Brides of the Stream*, 1983], *Отель "Поэзия"* [*Poetry Hotel*, 1985], романа *Побег с клеевой фабрики* [*Escape from the Glue Factory*, 1986] и других книг.
Стихи взяты из сборников *Девственницы и вампиры* [*Virgins & Vampires.* Toronto, 1975] и *Сладострастный садовник* [*The Voluptuous Gardener.* Vancouver, 1996].

bpNichol
[Барри Филип Николь]
[1944–1988]. Поэт, художник, режиссер. Лауреат Премии генерал-губернатора [1970] и др.

Автор многочисленных рассказов, памфлетов, миниромanов, оперных либретто, сборников стихов, среди которых: *Переводя переводимого Аполлинера: черновой отчет* [*Translating Translating Appolinaire: A Preliminary Report*, 1979], *Что выбрано, то выбрано: избранные произведения* [*As Elected: Selected Writing*, 1980].
Тексты публикуются по изданиям *Поминальник. Книги I–VI* [*Martyrology. Books I–VI.* Coach House Books, 1998], *ЗИГАЛ* [*ZYGAL.* Coach House Books, 1998].

Майкл Ондатже
Michael Ondaatje
[р. 1943]. Поэт, писатель, фотограф и режиссер. Лауреат Премии генерал-губернатора [1971 и 1979], Букеровской премии [1992] и др.

Автор многих романов, самый известный из которых – *Английский пациент* [*The English Patient*, 1992; рус. перев. 2003], сборников стихов *Утонченный монстр* [*The Dainty Monster*, 1967], *Собрание сочинений Билли Кида* [*The Collected Works of Billy the Kid*, 1970], *Трюк с ножом, которому я учусь* [*There is a Trick with a Knife I'm Learning to Do*, 1979], *Светская любовь* [*Secular Love*, 1984] и др.
Публикуемые стихотворения взяты из сборников *Шелушащая корицу* [*The Cinnamon Peeler.* Vintage, 1992] и *Написанное от руки* [*Handwriting.* New York: Alfred A. Knopf, 1998].

Кристиан Бёк
Christian Bök
[р. 1966]. Поэт. Лауреат Гриффинской премии за достижения в поэзии [2002].

Опубликовал сборники стихов *Кристаллография* [*Crystallography*, 1994], *Эвноя* [*Evnoia*, 2001]. Автор работы *Патафизики: поэтика воображаемого знания* [*Pataphysics: The Poetics of an Imaginary Science*, 2002].
Стихи публикуются по изданию: *Эвноя* [*Evnoia.* Coach House Books, 2001].

Мириам Тоуз
Miriam Toews
Прозаик, журналист, лауреат нескольких премий, обладательница Золотой медали за юмор, присуждаемой авторам канадских журналов.

Автор двух романов *Лето, когда мне удивительно повезло* [*Summer of My Amazing Luck*, 1996] и *Мальчик хорошей породы* [*A Boy of Good Breeding*, 1998], а также книги мемуаров об отце *Низкое кружение: жизнь* [*Swing Low: A Life*, 2000].
Фрагменты романа публикуются по изданию *A Complicated Kindness* [Vintage, 2004].

Эмиль Мартель
Emile Martel
[р. 1941]. Писатель, поэт и переводчик.

Автор романов и поэм *Разбитое детство* [*Les enfances brisees*, 1969], *Тень и молчание* [*L'ombre et le silence*, 1974], *Брошенные перчатки* [*Les gants jetés*, 1977] и др.
Публикуемая поэтическая проза печатается по изданию *Pour orchestre et poète seul* [Ottawa: Ecrits des Forges, 1996].

Элис Манро
Alice Munro
Писательница, лауреат множества национальных и международных премий.

Автор сборников рассказов *Танец счастливых теней* [*Dance of the Happy Shades*, 1968], *Жизни девушек и женщин* [*Lives of Girls and Women*, 1971], *Путь любви* [*The Progress of Love*, 1986], *Подруга юности* [*Friend of My Youth*, 1990], *Раскрытые тайны* [*Open Secrets*, 1994], *Любовь доброй женщины* [*The Love of a Good Woman*, 1998], *Ненавижество, дружество, ухажерство, влюбленство, замужество* [*Hateship, Friendship, Courtship, Loveship, Marriage*, 2001].
Публикуемый рассказ *Chance* взят из сборника *Беглянка* [*Runaway*. London: Chatto & Windus, 2004].

Мейвис Галлант
Mavis Gallant
Писательница, журналист. С 1950-х живет в Париже.

Автор романов *Зеленая вода, зеленое небо* [*Green Water, Green Sky*, 1959], *Неплохие времена* [*A Fairy Good Time*, 1970] и др., сборников рассказов *Другой Париж* [*The Other Paris*, 1956], *На воздушном шаре* [*Overhead in a Balloon*, 1985], *Разновидности изгнания* [*Varieties of Exile*, 2003] и др.
Публикуемый рассказ *Latehomecomer* взят из сборника *Парижские истории* [*Paris Stories*. New York: Georges Borchardt, inc., 2002].

Элистер Маклеод
Alistair MacLeod
[р. 1936]. Писатель, лауреат нескольких литературных премий.

Автор сборников рассказов *Утраченный дар крови* [*The Lost Salt Gift of Blood*, 1976], *А солнце рождает птиц* [*As Birds Bring forth the Sun*, 1986], *Остров* [*Island*, 2000] и романа *Без особого вреда* [*No Great Mischief*, 2001].
Публикуемый рассказ взят из сборника *С Инк-озера* [*From Ink Lake*. Vintage, 1995].

Мадлен Тьен
Madeleine Thien
Писательница, лауреат нескольких премий.

Автор сборников рассказов, книги для детей *Китайская скрипка* [*The Chinese Violin*, 2006], романа *Уверенность* [*Certainty*, 2006].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Простые рецепты* [*Simple Recipes*. Boston, New York, London: Little, Brown and Company, 2001].

Тереза Гринвуд
Therese Greenwood
Писательница.

Автор новелл на криминальные темы *Сестра-компаньонка* [*Sister Companion*, 2000], *Добрые воры* [*Good Thieves*, 2002], *Машина доктора Спанки* [*Dr. Spankie's Car*, 2003], *Малый мятеж* [*A Minor Rebellion*, 2004], *Так бывает с лошадьми* [*A Way with Horses*, 2004].
Рассказ *Суд равных* [*A Jury of Her Peers*] занял первое место на конкурсе канадского детективного рассказа [2002]; вошел в сборник *Проклятые слова* [*Bloody Words*] и печатается по изданию [Toronto: Baskerville books, 2003].

Нил Смит
Neil Smith
Писатель, переводчик, печатает рассказы в литературных журналах.

Публикуемый рассказ *Green Fluorescent Protein* взят из сборника *Coming Attractions 04* [Oberon Press, 2004].

Анар Али
Anar Ali
Писательница, родилась в Танзании, выросла в Кении.

Публикуемый рассказ взят из ее дебютного сборника *Крылья малышки Хаки* [*Baby Khaki's Wings*. Viking, 2006].

Уильям Меткаф
William Metcalfe
[р. 1946]. Журналист.

Опубликовал несколько рассказов в канадских литературных журналах.
Публикуемый рассказ *Nice Big Car, Rap Music Coming out of the Window* взят из сборника *Рассказы, отмеченные премией "Джорни прайз"* [*The Journey Prize Stories*. McClelland & Stewart, 2004].

Малькольм Лаури
Malcolm Lowry
[1909–1957]. Англо-канадский писатель.

Автор романов *Ультрамарин* [*Ultramarine*, 1933] и *У подножия вулкана* [*Under the Volcano*, 1947; рус. перев. 1972], книги стихов *Избранные стихотворения* [*Selected Poems*, 1962].
Публикуемый рассказ *Strange Comfort Afforded by the Profession* взят из сборника *Услышь нас, Господи, с небес, чертога Твоего* [*Hear Us o Lord in Heaven Thy Dwelling*. London: Jonathan Cape, 1962].

Маргарет Этвуд
Margaret Atwood
Писательница, поэт, критик. Лауреат Букеровской премии [2000] и многих других национальных и международных литературных премий. С 1984 по 1986 – президент англо-канадского национального ПЕН-клуба.

Автор романов *Лакомый кусочек* [*The Edible Woman*, 1969; рус. перев. 2004], *Рассказ служанки* [*The Handmaid's Tale*, 1986, рус. перев. 2006], *Слепой убийца* [*The Blind Assassin*, 2000; *Букеровская премия*; рус. перев. 2003], *Пенелопиада* [*Penelopiad*, 2005; рус. перев. 2006], сборников рассказов, поэтических сборников, книг для детей и др.
В *ИЛ* опубликованы ее рассказ *Восход солнца* [1997, № 6] и фрагменты романа *Та самая Грейс* [1994, № 4].
Эссе *Orientation: Who Do You Think You Are?* взято из книги *Беседуя с мертвыми* [*Negotiating with the Dead: A Writer on Writing*. Cambridge University Press, 2002].

Робертсон Уильям Дэвис
Robertson William Davies
[1913–1995]. Романист, драматург, эссеист, профессор английской литературы Университета Торонто. Лауреат многих литературных премий, почетный член Американской академии искусств и литературы.

Автор множества романов, в том числе трех трилогий: *Салтертонская трилогия* [*Salterton Trilogy*, 1951–1958], *Дептфорская трилогия* [*Deptford Trilogy*, 1970–1975; рус. перев. 2005], *Корнишская трилогия* [*Cornish Trilogy*, 1970–1989], а также ряда пьес, в том числе *Эрос за завтраком* [*Eros at Breakfast*, 1949], сборников эссе, среди которых *Эссе об искусстве чтения* [*Essays on the Art of Reading*, 1990] и др.
Эссе *A View in Winter: Creativity in Old Age* взято из сборника *Веселое сердце* [*Merry Heart*. Penguin Books, 1998].

Мария Поэлевна Карп
Переводчик стихов и прозы с английского и немецкого языков, литературный критик. Живет в Лондоне, работает редактором Русской службы Би-би-си. Лауреат премии *ИЛ* [1991].

В ее переводе публиковались стихи У. Х. Одена, Дилана Томаса, Э. Дженнингс, поэма Н. Ленау *Дон Жуан*, повесть Дж. Оруэлла *Скотское хозяйство* [2001], роман В. Вулф *Комната Джейкоба* [*ИЛ*, 1991, № 9] и др. Один из авторов журнальной рубрики *Письма из-за рубежа*.

Уилл (Уильям) Фергюсон
Will Ferguson
[р. 1964]. Писатель и журналист. Лауреат нескольких литературных премий.
Иан Фергюсон
Ian Ferguson
[р. 1961]. Драматург и сценарист.

Автор книг *Автостопом по Японии* [*The Hitchhiker's Guide to Japan*, 1998], *Воспоминания о путешествии по Азии* [*An Asian Travel Memoire*, 1998], романов *Генерика* [*Generica*, 2001], *Нравоучения о красоте* [*Beauty Tips from Moose Jaw*, 2005] и др.
Автор более десяти пьес, в том числе *Деревня из домиков* [*Village of the Small Houses*, 2004] и сценария телесериала *Город грехов* [*Sin City*].
Фрагменты книги печатаются по изданию *How To Be a Canadian* [Vancouver, Toronto, Berkly: Douglas & McIntyre, 2003].

Леонид Владимирович Костюков
[р. 1959]. Прозаик, эссеист, преподаватель. Лауреат премии *Улов* за луч-

Автор книг *Он приехал в наш город* [1998], *Великая страна* [2002], *Просьба остановить вагон* [2004], а также многих статей в периодических изданиях.

ший рассказ [2000], премии журнала *Дружбы народов* [2000].

Переводчики

Казавчинская Тамара Яковлевна
Переводчик с английского и польского языков.

В ее переводе выходили эссе Д. Дефо, У. М. Теккерея, Ш. Бронте, Д. Б. Пристли, Г. Грина, рассказы и повести У. Коллинза, Э. Бульвера-Литтона, Р. Киплинга, С. Моэма, Г. Лавкрафта, М. Спарк и др. В ИЛ в ее переводе напечатаны эссе У. М. Теккерея [1986, № 12], главы книги *Западный канон* Х. Блума [1998, № 12], фрагменты книги Г. Стайн *Париж Франция* [1999, № 7], главы *Автобиографии* Б. Рассела [2000, № 12].

Елена Викторовна Клокова
Переводчик с французского.

В ее переводе выходили книги С. Коллара *Дикие ночи*, П. Сибо *Эпоха диктатур*, Латифы *Украденное лицо*, А. Труайя *Крушение*, А. Гавальда *Просто вместе*, Шань Са *Игра в го*. В *ИЛ* в ее переводе печаталась автобиография Ильича Рамиреса Санчеса *Кто я?* [2004, № 9] и статьи из французских газет в рубрике *Полемика* [2006, № 9].

Нина Осиповна Хотинская
Переводчик с французского.

В ее переводах выходили романы П. Брюкнера *Похитители красоты*, П. Модиано *Дора Брюдер*, М. Дюрас *Летний вечер, половина одиннадцатого*, П. Констан *Банановый парадиз* и *Откровенность за откровенность*, А. Вяземски *Горстка людей*, Ф. Аррабаля *Красная мадонна* и *Необычайный крестовый поход влюбленного кастрата*, рассказы М. Эме, Ф. Саган и др.
В *ИЛ* в ее переводе опубликована повесть М. Дюрас *Любовник* [1990, № 6] и фрагменты книги П. Брюкнера *Искушение невинностью* [2003, № 6].

Григорий Геннадьевич Стариковский
[р. 1971]. Поэт, переводчик, филолог-античник. С 1992 г. живет в США.

Автор книги стихов *На углу* [2005]. Переводил стихи Г. Тракля, Л. Арагона, Дж. Джойса, С. Беккета, Э. Хекта, Д. Махуна, античных поэтов и др. В *ИЛ* публиковались его переводы Л. Арагона [2002, № 5], Л. Глик [2004, № 4], П. Каванаха [2006, № 3], Р. Крили [2006, № 4].

Ирина Викторовна Машинская
Поэт, переводчик с английского. Лауреат Первого международного конкурса Клуба русских поэтов [Нью-Йорк, 1995], конкурса *Сетевой Бродвей* [2000], поэтического сетевого конкурса *Русская Америка* [2001], 3-го Филаретовского конкурса религиозной поэзии [2002], Первого международного конкурса им. М. Волошина [2003].

Автор поэтических книг *Потому что мы здесь / Because We Are Here* [1995], *После эпиграфа* [1996], *Простые времена* [2000], *Стихотворения* [2001], *Путнику снится* [2004]. Ее стихи переводились на сербский, итальянский, французский и английский языки. В ее переводах публиковались стихи И. Греннана, Р. Фроста, Р. Л. Стивенсона, Э. Файнстайн, К. Чури, Дж. Дрю, Р. Крили. В *ИЛ* публиковались ее переводы из Роберта Крили [2006, № 4].

Марина Яковлевна Бородицкая
Поэт, переводчик с английского и французского языков. Лауреат премии *Единорог и Лев*.

Автор стихотворных сборников *Одиночное катание* [1999], *Год лошади* [2002], а также книг для детей *Последний день учения* [1989], *Ракушки* [2001] и др. Переводила стихотворения и поэмы Дж. Чосера, Дж. Донна, Дж. Китса, Р. Киплинга, Г. Честертона, Г. Лонгфелло, Р. Бернса, П. Ронсара, П. Верлена, Э. Фарджен, А. Милна и др. В *ИЛ* в ее переводах печатались стихи Г. К. Честертона, Д. Паркер, В. Набокова, В. Сета, Р. Фэйнлайт, Р. Браунинга, Р. Крили и др.

Ольга Сергеевна Дементиевская
Переводчик с английского.

В ее переводе опубликованы романы Т. Вулфа *Мужчина в полный рост* [*A Man in Full*, 1998] и Д. Гутерсона *Снег на кедрах* [*Snow Falling on Cedars*, 1994].
В *ИЛ* публикуется впервые.

Мария Львовна Аннинская (Иванова-Аннинская)
Переводчик с французского и итальянского языков.

В ее переводах выходили произведения Ж. Кокто, С. де Бовуар, Ж.-Ж. Арно, Р. Гарри, Т. Ландольфи, А. Жида, Алена (Эмиля Шартье). В *ИЛ* в ее переводе печатались избранные новеллы Д. Буцати [1994, № 12], роман Б. Виана *Осень в Пекине* [1995, № 3], фрагменты *Мемуаров* А. Моруа [1998, № 6], главы из книги Оливье Тодда *Жизнь Камю* [2000, № 4], пьеса Н. Саррот *Иссм* [2006, № 9].

Анна Асланян
Переводчик с английского.

Переводила эссе и рассказы современных авторов, в том числе З. Смит, Дж. Летема, Р. Лиддла, А. Смит и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Анна Александровна Парра
Переводчик с английского.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Екатерина Михайловна Ривкина
Переводчик с английского.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Анна Алексеевна Веденичева
Переводчик с английского.

В ее переводе вышли романы Т. Вулфа и Дж. Фитч.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Елизавета Ильинична Домбаян
Преподаватель, переводчик с английского и французского языков.

В ее переводе публиковались произведения Г. Грина, Г. Пинтера, Дж. Янга, Д. Ноге, Ф. Лина. В *ИЛ* в ее переводе напечатан роман Э. Бёрджесса *Железо, ржавое железо* [совместно с А. Пинским, 2004, № 1-3] и роман Й. Шкворецкого *Два убийства в моей двойной жизни* [2005, № 3].

Олеся Леонидовна Качанова
Переводчик с английского.

В ее переводе опубликованы романы Р. Сейфферт *Темная комната* и З. Смит *Белые зубы*. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть Р. П. Уоррена *Цирк на чердаке* [2001, № 5], рассказы М. Чейбона [2004, № 4] и Т. Капоте [2005, № 10].

Александра Евгеньевна Соколинская
Переводчик с французского и английского языков.

В ее переводе [совместно с Н. Усовой] вышел роман П. Г. Вудхауса *Везет же этим Бодкиным!* [2002].
В *ИЛ* в ее переводе печатался рассказ Питера Хо Дэвиса *Загробная жизнь* [2003, № 1].

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также перевод романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4] и Д. Делило *Мао II* [2003, № 11—12] и др.

Ксения Константиновна Подгорная
Студентка.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Екатерина Владимировна Скрылева
Переводчик с английского.

В ее переводе вышли романы Дж. Деверо *Искушение*, Э. Джордж *Ради Елены*, М. Али *Брик-лейн*, Г. Вука *Слава*.
В *ИЛ* публикуется впервые.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент американского художника Рокуэлла Кента [1882–1971]

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.10.2006
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2485.
Тираж 7550 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

“ИЛ” в 2007 году:

“Лондонские затейники” — повесть знаменитого английского писателя ПИТЕРА АКРОЙДА о юных почитателях творчества Шекспира, спровоцировавших одну из самых скандальных литературных мистификаций XVIII века.

“По версии Барни” – роман классика современной канадской литературы МОРДЕХАЯ РИХЛЕРА, увлекательный многоплановый рассказ о жизни Барни Панфоски – бонвивана и циника, тонко чувствующего, исключительно наблюдательного и глубоко несчастного человека.

“Теракт” – роман одного из самых читаемых на Западе франкоязычных алжирских писателей ЯСМИНА КАДРА о судьбе живущего в Израиле палестинца.

“Признания туриста. Допрос” – книга знаменитого австрийского романиста КРИСТОФА РАНСМАЙРА о реальных и воображаемых путешествиях, для него нераздельных и ставших образом жизни.

“Клонировать Христа?” – документальная книга известного французского писателя Д. ВАН КОВЕЛЕРА, в которой рассказывается, как вчерашняя научная фантастика сегодня становится научной реальностью.

“Поцелуй Иуды” – пьеса английского драматурга ДЭВИДА ХЭЙРА, новая версия трагических событий последнего периода жизни Оскара Уайльда, когда писатель оказался покинут всеми, даже тем, кого он любил и защищал.

“Лолита и немецкий лейтенант” – книга ныне забытого немецкого прозаика ГЕНРИХА ФОН ЛИХБЕРГА, чьи новеллы, опубликованные в 1916 году, возможно, послужили прообразами для “Лолиты” и “Изобретения Вальса” Владимира Набокова.

---

[12] 2006

РАССКАЗЫ ДЖУЛИАНА БАРНСА И ОРХАНА ПАМУКА / СТИХИ АЛЬБЕРТО КАРАМЕЛЛЫ / ДЖЕРАРД МЭНЛИ ХОПКИНС В РУБРИКЕ “ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ” / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: ФРАГМЕНТЫ КНИГИ КАРЛО БОНИНИ “ГУАНТАНАМО. ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЮРЬМУ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ” / “КВАДРАТУРА КРУГА” ЛЕОНИДА ГИРШОВИЧА В РУБРИКЕ “ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО”

РЕКЛАМА

№8

non/fiction№8

Восьмая Международная Ярмарка интеллектуальной литературы

29 ноября – 3 декабря 2006

Центральный Дом Художника, Москва

Гость ярмарки – Израиль

Организатор: Компания «ЭКСПО-ПАРК Выставочные проекты»

119049, Москва, Крымский вал, 10, офис 165

Тел./факс: (495) 238 4516

E-mail: mailbox@expopark.ru, http://www.expopark.ru

Генеральный информационный партнер

Главный интернет-партнер Яndex

Главные информационные спонсоры НЕЗАВИСИМАЯ РАДИО РОССИИ

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ EXPO-PARK

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2006, №11, 1-320